ISSN 0130–6545

1. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

АМЕЛИЯ ПЕЛАЕС ДЕЛЬ КАСАЛЬ «Натюрморт с ананасом»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1984

Содержание

Рассказы кубинских писателей

НИКОЛАС ПЕРЕС ДЕЛЬГАДО. ЛУИС РОХЕЛИО НОГЕРАС. МАНУЭЛЬ КОФИНЬО *(Перевод с испанского В. Майорова, Ю. Павлова)* 2

Из болгарской поэзии

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ. ХРИСТО РАДЕВСКИЙ. ИВАН МИЛЧЕВ. ПЕТЯ ЙОРДАНОВА *(Перевод с болгарского Лорины Дымовой, Л. Кондрашенко, В. Викторова)* 25

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — Человек с Лабрадора *(Повесть. Перевод с французского Тамары Ерофеевой)* 31

СТИВЕН КИНГ — Мертвая зона *(Роман. Перевод с английского О. Васильева и С. Таска. Вступление А. Зверева)* 71

Литературные иллюстрации

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ — Стихи *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 159

Критика

ЕЛЕНА ОГНЕВА — Эпоха единения *(Заметки о кубинских романах и повестях последних лет)* 166

Трибуна переводчика

К проблеме передачи разговорной речи в переводах современной зарубежной литературы *(Встреча за «круглым столом» в редакции)* 173

Наши интервью

Т. РОТЕНБЕРГ — Муин Бсису (Палестина) 192

Публицистика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Ташкентская ассамблея *(К 25-летию Движения писателей стран Азии и Африки)* 197

Документальная проза

ЖОРЖ СИМЕНОН — Я диктую *(Монтаж по книгам. Перевод с французского Э. Шрайбер. Вступление В. Балахонова)* 219

Антирубрика

ПИТ ХЕЙН — Груки *(Перевод с датского Норы Киямовой)* 234

ДЖИЛАНИ БАНО — Ушла *(Перевод с урду Владимира Соколова)* 236

ДОРОТИ ПАРКЕР — Перед рассветом *(Перевод с английского Евгении Шварц)* 237

Среди книг

Издано в СССР

СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Социология песни, мифология будней *(Тони Моррисон. Песнь Соломона)* ✦ К. МЯЛО — Лицо под маской *(В. Б. Иорданский. Хаос и гармония)* 240

Издано за рубежом

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ — Сага об учителе *(Зденек Плугарж. В шесть вечера в «Астории»)* ✦ УРБАНО ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ — Что читают сегодня в Португалии ✦ МАРИО ВЕНТУРА — «Диссертация о преступлении» *(Жозе Кардозо Пиреш. Баллада о собачьем пляже)* 244

Из месяца в месяц 249

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы кубинских художников СЕРВАНДО КАБРЕРЫ МОРЕНО «Сельская милиция» и АМЕЛИИ ПЕЛАЕС ДЕЛЬ КАСАЛЬ «Натюрморт в голубом».

© «Иностранная литература», 1984.

НИКОЛАС ПЕРЕС ДЕЛЬГАДО

Они спустились с гор

Занималась заря, но до восхода солнца было еще далеко. Густой, стелющийся туман плотным белым покрывалом окутывал горы и долины, так что в двух шагах ничего нельзя было различить. Их лагерь находился неподалеку от вздувшейся из-за недавних дождей горной реки, бурные воды которой яростно бились о каменистые берега. Птицы уже начали свой день, порхая в ветвях деревьев.

— Сегодня дождя не будет,— сказал Кампечуэла.— Туман всегда к сухой погоде. Вон какой густой, хоть ножом режь.

— Ну уж, если ты так говоришь,— отозвался Хулиан,— жди дождя.

— Тихо, вы! — сказал капитан.— Прямо как мальчишки.

Все бойцы небольшого отряда, за исключением двоих, стоявших в дозоре, были заняты минированием дороги на Са́гуа. Земля была влажной, и копалось легко, хотя, конечно, приятного в этом деле было мало. Вязкая грязь комьями налипала на кирку и лопаты, и нужно было то и дело соскребать ее.

— Смотрите, чтоб никаких следов,— сказал капитан. Это был рослый мужчина с огромной всклокоченной бородой, закрывавшей чуть ли не половину груди. Спутанные пряди длинных прямых, гладких волос ниспадали на широченные плечи, выбиваясь из-под черного берета.

Выемки под мины располагались с таким расчетом, чтобы на протяжении сорока метров дороги ни одно транспортное средство не смогло бы их объехать. Затем принесли «лечерас»[1], которые назывались так потому, что по форме напоминали молочные бидоны, только размером они были поменьше и сделаны не из алюминия, а из железа. Уложив «лечерас» в выемки, партизаны забросали их землей до уровня покрытия дороги, оставшиеся комья собрали и выбросили за кусты. Дорога снова стала такой, как была прежде, с той лишь разницей, что теперь под ее полотном лежали набитые динамитом «лечерас», которые взорвутся, когда по ней будет проходить патруль противника.

Командир отдал приказ всем имевшимся в его распоряжении силам сомкнуть кольцо вокруг Сагуа — крупного населенного пункта. Операция по окружению проводилась почти с математической точностью, и засады устраивались теперь уже не только ночью, а в любое время дня. Далеко позади остались горные вершины Кучильяс-де-Тоа и Сьерра-де-Кристаль, и барбудос пребывали в хорошем настроении, предвкушая наступление. Все чаще и чаще встречались

[1] От испанского слова «leche» — молоко. *(Здесь и далее прим. перев.)*

крестьянам отряды повстанцев, которые в походном порядке продвигались в направлении равнин, напевая в промежутках между боями свою боевую песню «Сон де ля лома»[1].

Вернулись дозорные, и капитан Акилес приказал всем занять свои места и изготовиться к бою.

За спиной из-за горных вершин уже выглянуло солнце, озаряя лучами пустынную горную дорогу. Место для засады было идеальным. Бойцы надежно укрылись среди голубоватых камней, оставшихся еще со времени прокладки дороги и сложенных в каких-нибудь двенадцати метрах от проезжей части. Бронетранспортер и грузовик с солдатами должны были вот-вот появиться как обычно в эти утренние часы; взорвутся мины, и тогда партизаны откроют огонь. Затем, подавив сопротивление, соберут оружие, подберут убитых и раненых и вернутся в свой лагерь.

Правая рука Пепе Кардосы покоилась на прикладе его «гаранда»[2], лежавшего справа у головы. Рядом с «гарандом» лежала граната, граненый корпус ее был покрыт ржавчиной. Он не очень-то доверял этой гранате, не исключено, что при броске она взорвется не на дороге, а у него в руке или вообще не взорвется.

Трава под ним все еще хранила ночной холод и была мокрой от утренней росы. «Дерьмо, а не граната»,— думал он, оглядывая столь знакомый ему рельеф. Он уже не впервые встречал здесь рассвет, ведя наблюдение за передвижением противника. По ту сторону дороги, как раз напротив того места, где он сейчас лежал, были густые заросли атэхе[3], за которыми вполне мог бы укрыться солдат противника, доберись он до этого места во время боя. Оттуда, прикрываясь толстыми корнями, выпиравшими из-под земли, он мог бы вести прицельный огонь по нападавшим. Но дальше местность была совершенно открытой. Лишь кое-где виднелись островки влажной травы, которая просохнет только к полудню, когда солнце будет в зените. Трава эта, конечно же, могла бы скрыть человека от чужих глаз, но только не от града пуль, который несомненно обрушится на это место. В каких-нибудь четырехстах метрах по ту сторону дороги на возвышенности стоял одинокий крестьянский дом. Кардоса рассчитал, что никто из батистовцев не успеет добраться за время боя до него, а дом этот, будучи расположенным гораздо выше уровня дороги, был вне опасности попасть случайно под обстрел.

«Гуахиро[4], наверное, уже там проснулся,— подумал он.— Он всегда встает, как пройдет бронетранспортер с солдатами, а они вот-вот должны появиться. Эх и натерпится же он сегодня страху, это уж точно. Небось с перепугу и волов запрячь забудет. Я бы на его месте взял табурет, уселся бы у ворот, да и наблюдал себе за боем, как в кино. А драчка здесь сейчас будет вполне приличной, похлеще, чем в кино. Но этот лентяй гуахиро не любитель вставать рано».

Остальные восемь залегли слева от Пепе Кардосы, метрах в шести друг от друга, «чтобы получше сосредоточить огонь» — как объяснил им капитан Акилес. Сам капитан находился в центре боевого порядка, и никто не смел открыть огонь, пока не раздастся столь знакомый им дробный перестук его «томпсона»[5].

Патруль должен был показаться слева, и вполне возможно, что он даже не дойдет до того места, где лежал Пепе. «Это же самое что ни на есть невыгодное место,— думал Кардоса.— Стоило мотаться сюда и обратно за две лиги от лагеря и торчать здесь каждое утро, чтобы чертов Акилес положил бы меня самым последним».

---

[1] «Они спустились с гор» *(исп.)*.
[2] Марка боевой винтовки.
[3] Дикорастущий колючий кустарник.
[4] Крестьянин на Кубе.
[5] Автомат американского производства.

Но капитан сказал ему, что с таким превосходным оружием, как его «гаранд», и с его исключительно метким глазом он должен находиться именно в этом месте, чтобы не дать уйти ни одному сукиному сыну.

Разговор этот происходил еще вчера вечером в лагере, когда капитан чертил на земле план предстоящего боя.

— Вот эта самая дорога,— говорил Акилес, проводя по земле черту своим остро отточенным ножом.— Ведь так, Пепе?

— Точно.

— Вот кювет, расположенный на метр с лишним выше полотна дороги. Наш разведчик Пепе подыскал нам превосходную позицию,— и улыбка затерялась где-то в непроходимых дебрях его огромной бороды.

— Ну прямо как в тире, а? — сказал Чино.

— Вот здесь занимает позицию Понсе,— и он кончиком ножа сделал лунку, отмечая таким образом первую огневую позицию на левом фланге засады.— Дальше ты, Чино,— продолжал он, делая еще одну лунку.— За ним — Негро де ла Каридад, дабы пресвятая дева милосердия была всегда с нами [1].

— Ты с этим не шути, капитан,— сказал Негро.— Не шути, говорю тебе, и оставь святых в покое.

— Ну он же говорит вполне серьезно,— сказал Пепе,— а ты обижаешься.

— Ладно,— продолжал капитан,— за Негро займет позицию Кампечуэла, затем я, дальше Хулиан, Ниньо, Тоска и Пепе. Домишко этого гуахиро здесь, Пепе?

— Да, на этом самом месте,— отвечал Пепе, и капитан сделал отметку крестиком.

Акилес подробно растолковал задачу, еще раз объяснил принцип установки мин на дороге, уточнил порядок отхода и прочие мелкие детали.

— Вопросы есть? — спросил он, завершая инструктаж.— Выступаем в два часа ночи, чтобы успеть заранее все подготовить. Пусть Ниньо захватит с собой походную аптечку. А сейчас всем отдыхать. Завтра предстоит веселый денек.

— Может, сначала все же поедим чего-нибудь, а? — сказал Тоска.

— Конечно, поедим, Тоскита,— ответил капитан.

— Этот тип вечно голоден,— сказал Хулиан.— Попади он в плен, так за еду душу отдаст.

— Иди к черту,— сказал Тоска, вынимая из рюкзака банку консервов.— Уж ты-то все отдашь просто за так — из любви к искусству. Чем жужжать, как муха, дай-ка мне лучше свой нож.

— На, держи,— сказал Хулиан, протягивая ему свой охотничий нож с рукояткой, обмотанной изоляционной лентой.

Все они уже давно не мылись, одежда их была изодрана, пропахла потом. Понсе ножом открыл банку сгущенного молока, Негро де ла Каридад протянул полплитки гуайабы [2] и пачку давно искрошившегося печенья, Хулиан достал банку консервированных сосисок, Пепе — длинный кусок твердой, как палка, сухой колбасы, появление которой вызвало всеобщее оживление и целый поток шуток, характерных для молодой сугубо мужской компании. Когда из вещевых мешков были извлечены все съестные припасы, приступили к трапезе, меняя во время еды друг у друга то кусок гуайабы на сосиску, то хлеб с почерневшим сахаром на вяленое мясо, пока, наконец, все восемь человек почти насытились и, лежа на земле, наслаждались тишиной, нарушаемой временами лишь громкой отрыжкой Чино. Затем все, кроме Хулиана, который первым заступал на дежурство, подвесили на деревья свои гамаки и завалились в них, укутавшись в ста-

[1] Caridad в переводе с испанского означает «человеколюбие», «милосердие».

[2] Пастила из плодов тропического дерева гуайабы.

рые землистого цвета одеяла и джутовые мешки, поскольку уже начинал дуть холодный и влажный ветер.

— Капитан,— сказал Кампечуэла,— как ты думаешь, скоро мы возьмем Сагуа-де-Танамо?

— Точно не скажу,— ответил Акилес,— но, надеюсь, что в ближайшие дни.

— По-моему, тоже,— сказал Пепе, чей гамак висел рядом с гамаком капитана.

— Эх, черт побери, до чего же хочется поскорее войти в Сагуа,— сказал Кампечуэла.

— А чего это тебе так не терпится? — спросил Понсе.

— Ну как же, еще один пункт в наших руках,— сказал Чино.— И одним пунктом меньше у них. Вот так мало-помалу и выигрываются войны.

— Все это верно, конечно,— сказал Кампечуэла.— Но кроме всего прочего там живет вся моя родня — мать, отец, братья. Эх, если бы только увидела меня моя мама!

— А сестры у тебя случайно нет? — спросил Тоска.

— Моя сестра, даже если она и есть, то не про твою честь, рогатик!

— И чего это ты ерепенишься? Твоя сестра — это и моя сестра.

— «Увезу к себе домой,— запел Негро,— с ласкою большою, обниму потом с детскою душою...»

Все дружно рассмеялись.

— Это с какой еще такой детскою душою? — спросил Пепе.— Уж не с душой ли Ниньо Вальдеса?[1]

— Вот когда возьмем мое селение,— продолжал Кампечуэла, оставляя шутку без внимания,— я приглашу вас всех к себе домой. И мы отведаем таких цыплят, какие умеет готовить только моя мама.

— Вот это мне уже нравится,— сказал Тоска.

— Моя матушка, скажу я вам, великая мастерица в этом деле. А отец приготовит нам такую штуку, какой вы в жизни своей не пробовали. Он сам изобрел этот напиток и рецепт свой держит в секрете. Вот посмотрите, как славно мы повеселимся.

— Дай-то бог,— заметил Негро.

— Бог или Каридад дель Кобре?[2]— спросил шутник Понсе.

— Оба.

— А хорошо бы, черт побери, пропустить сейчас стопку агуардьенте,— сказал Пепе Кардоса.— Проклятый холод пронимает до костей.

— Подожди немного,— отозвался капитан Акилес.— Вот придем в Сагуа, там отец Кампечуэлы даст тебе все, что твоей душе будет угодно.

— Вот и я говорю,— сказал Кампечуэла.— До чего же хочется повидать своих стариков!

— Всем хочется,— сказал Понсе.— А вот мои родные далеко отсюда, в Кабайгуане. Эх, мне бы пойти с Камило[3].

— Так ведь это где-то в Лас-Вильяс, а, Понсе?

— Я слышал,— говорит Тоска,— что твое селение получило такое название потому, что во времена испанского владычества жил там один галисиец, у которого было много денег. И вот он время от времени говорил своему самому преданному рабу по имени Хуан: «Кава́ ай, Гуан, кава ай, Гуан»[4], чтобы тот зарывал в землю кувшины с монетами. Отсюда и название «Кабайгуан».

— Точно не знаю, но думаю, что все это чистая выдумка.

---

[1] Игра слов: niñō — ребенок, дитя *(исп.)*.

[2] Богоматерь — «покровительница» Кубы.

[3] Имеется в виду Камило Сьенфуэгос (1932—1959), один из руководителей Кубинской революции, соратник Фиделя Кастро, командовавший Второй повстанческой колонной имени Антонио Масео.

[4] «Копай здесь, Хуан» *(искаж. исп.)*.

— А хорошо было бы после того, как мы свергнем Батисту и все останемся живы,— сказал Пепе,— собраться нам вот так всем вместе и вспомнить, о чем мы здесь говорили.

— Да поможет нам пресвятая дева милосердия,— сказал со вздохом Негро и перекрестился.

Чино уже стал похрапывать в своем гамаке. Начал он с прерывистых звуков, какие издает мотор, который никак не хочет заводиться. Потом эти звуки перешли в сплошной рокот, когда мотор наконец завелся с акселератором, выжатым до отказа.

Ветер блуждал в кронах деревьев. В просветах между ветвями проглядывало уже начинающее сереть небо, густо усеянное мириадами звезд.

— А вот лично для меня пулю еще не отлили, и даже свинец для нее еще не вынули из рудника,— сказал Понсе.

— Иногда перед боем мне бывает немного страшновато,— сказал Тоска.— Но я так думаю, что страшно вовсе не оттого, что вот ты умрешь, и все тут, а оттого, что уже больше никогда не увидишь всего, что тебя окружает, никогда не побудешь наедине с женщиной, не войдешь в дом, где ты родился и жил, никогда больше не поешь вволю жареного поросенка с юккой, обильно политого мохо[1], и с черной фасолью, которая так и сверкает в оливковом масле.

— Ну, умора! Все-то он сведет к еде,— сказал Пепе.

— А я вот постоянно боюсь умереть,— сказал Ниньо.— Мне все кажется, что умирать очень больно. Так бы ничего, если бы не больно. А ведь умирать наверняка больно.

— Больней всего тем, кто в живых остается, а не тем, кто умирает, Ниньо,— сказал капитан.

Капитан Акилес подумал сейчас, что ему никогда еще не приходилось задумываться о жизни и смерти. Ему всегда казалось, что он неуязвим, и в минуты боя он не испытывал ничего, кроме страшной ненависти к врагу, ведь любой из солдат противника мог оказаться тем, кто пытал, а затем убил его младшего брата там, в Мансанильо. С самого начала своей партизанской жизни он снискал уважение за свою беззаветную храбрость. Вскоре его назначили командиром. Раньше им, бывало, восхищались спецотрядовцы (или, как их еще называли, смертники). Тот отряд был сформирован из специально подобранных бойцов, готовых идти в огонь и в воду. Но потом, когда стал командиром, когда ему доверили жизни людей, он сделался более осмотрительным и осторожным. Днем и ночью он заботился о своих подчиненных, к нему впервые пришло чувство страха. Не за себя, нет. За них. Он боялся, что любое его неверное решение может стоить жизни кому-то из товарищей. Теперь перед каждым боем он волновался как никогда, тщательно проверяя, изучая и анализируя все, что предстояло выполнить его отряду. Но он также знал и то, что, к великому несчастью, война есть война, и иногда было необходимо посылать на верную гибель своего товарища, любого из этих вот самых боевых ребят, которые сейчас в шутку говорили, по сути, о вещах очень серьезных. Он любил этих парней как братьев, хотя и не знал их матерей. И вдруг сейчас он понял, как все же мало знал о них. Исключение составлял лишь Пепе Кардоса, который вырос с ним в одном квартале, почти в его собственном доме, будто младший брат.

— Ну ладно,— приказал он строгим голосом,— хватит болтать. Закрыть всем рты и спать. Назавтра нам надо быть бодрыми.

Все замолчали, однако кто-то вполголоса все же отпустил еще пару шуток, выслушанных всеми с превеликим удовольствием. Потом наступила тишина. Один за другим бойцы засыпали крепким сном. Только Акилес не спал. Лежа в гамаке, он слушал столь знакомые

[1] Соус, приготовленный из сока горьких апельсинов, тертого чеснока, соли и сливочного масла.

ему шумы ночного леса: вот быстро прошмыгнул юркий хорек, вот затрещала падающая на землю пальмовая ветвь, вот прокричал сиху [1], напоминая о своем неспокойном ночном бдении, в зарослях монотонно звенели цикады.

Он проснулся на рассвете оттого, что кто-то тряс его гамак. Хоть и спал он самую малость, чувствовал себя вполне отдохнувшим. Сквозь листву деревьев все еще виднелась большая ярко-желтая луна.

— Нам вроде бы пора, капитан,— послышался шепот Негро.

Акилес взглянул на светящийся циферблат часов. Было ровно два часа ночи. Негро, как всегда, был абсолютно точен. «Как будто в голове у него будильник,— подумал капитан.— А ведь у самого-то даже и часов нет».

Вскоре после подъема они покинули лагерь. Люди шли, взяв с собой лишь самое необходимое, и, еще не согревшись после сна, дрожали от холода и чертыхались про себя, спотыкаясь о корни лиан, которые то и дело попадались на их пути. Шли гуськом, соблюдая полное молчание, двигаясь бесшумно и быстро, как дикие собаки в чащобе горного леса. Впереди шел Пепе Кардоса, остальные следовали за ним, не теряя из виду спину товарища.

В засаде каждый занял свою позицию. Оружие, которое они сейчас держали наготове, поблескивало свежей смазкой. Еще вчера вечером оно было аккуратно почищено и смазано машинным маслом.

Понсе, лежавший со своим «гарандом» на левом фланге засады, пододвинул к себе поближе походную фляжку, сделанную из стеклянной бутылки, обтянутой мешковиной. Он носил эту флягу у пояса, привязав бечевкой из пальмового волокна. Ему хотелось пить, и он, потянувшись за бутылкой, сразу ощутил ладонью шероховатую и влажную джутовую ткань. Он вспомнил о том, как всего лишь несколько часов тому назад хвастал по поводу смерти. А сейчас вот у него, как, впрочем, всегда перед боем, стало совершенно сухо во рту. И в это самое мгновение он вдруг услышал отдаленный, пока еще неясный шум и прижался ухом к земле.

— Едут,— сказал Чино приглушенным голосом, отхлебывая из своей фляги. Его сообщение о приближении противника передали дальше по цепочке, которую замыкал Пепе Кардоса.

Через некоторое время из-за поворота дороги показался бронетранспортер, за которым следовал грузовик с солдатами.

«Почти целое отделение»,— подумал капитан, вглядываясь в каски солдат, походившие издалека на скорлупу недозрелых орехов. Патруль между тем уже вплотную приблизился к засаде. В нужный момент Акилес привел в действие электрический детонатор. На дороге яркой молнией сверкнуло пламя, оглушительный взрыв потряс окрестности. Земля дрогнула и всколыхнулась под лежавшими в засаде людьми.

Тотчас же раздалась очередь из «томпсона», послужившая сигналом открыть огонь. Облако земли и пыли, поднятой взрывом, медленно оседало на дорогу, заслоняя цель, поэтому повстанцы стреляли пока наугад.

— Черт возьми!— вымолвил Акилес сквозь стиснутые зубы и дал длинную очередь по солдатам, выпрыгивавшим из кузова грузовика.

Взорвалась только одна из пяти «лечерас», установленных на дороге. Взрывом разорвало покрышку огромного колеса бронетранспортера и разнесло переднюю ось. Машину отбросило на левую сторону дороги, и она, накренившись, замерла у самого края кювета. Однако крупнокалиберный пулемет, возвышавшийся на корпусе бронированной машины, вдруг ожил и стал поливать свинцом позиции пов-

[1] Ночная птица, похожая на сову.

станцев. Было видно, как металось пламя на кончике ствола пулемета, а оглушительный грохот его очередей и частый посвист крупнокалиберных пуль, прокладывавших свои огненные трассы туда, где залегли повстанцы, вселяли ужас, прижимая людей к земле.

Грузовик остался стоять посреди дороги. Сквозь его разбитое ветровое стекло можно было видеть тело водителя, уткнувшегося в баранку. Двое солдат повисли на борту грузовика, бессильно свесив руки.

— Бейте по этому проклятому пулемету! — крикнул капитан, и тотчас же вся мощь партизанского огня сосредоточилась на узкой вертикальной щели бронещитка пулемета.

Пулемет продолжал бить не переставая, дробя камни и вздымая зловещие фонтанчики земли и грязи вокруг повстанцев. Но вот он внезапно умолк, словно поперхнувшись, и из-за щитка с правого борта, как в замедленной съемке, стала медленно высовываться, заваливаясь набок, фигура стрелка. Несколько новых попаданий подбросили обмякшее тело, задержав его падение на какую-то долю секунды. И все же пулеметчик, сделав пол-оборота, перевалился через борт и тяжело упал на землю вниз головой.

— Хулиан! — крикнул Акилес.— Не подпускай никого к пулемету!

Хулиан не ответил, потому что в этот момент был занят стрельбой. Но он услышал приказ командира и перенес огонь своего карабина «сан-кристобаль» на тех из солдат, кто находился в непосредственной близости от бронетранспортера.

После того как вышел из строя крупнокалиберный пулемет, Акилес почувствовал себя хозяином положения. Судя по тому, как вели стрельбу его бойцы, не допуская излишней спешки и не тратя патронов попусту, он был уверен, что бой закончится их победой. Хорошо зная оружие каждого, он по звуку выстрела мог определить, кто именно из товарищей стрелял. С чувством удовлетворения слушал он нечастые хлопки охотничьих ружей «ремингтон», которые были у Ниньо и Кампечуэлы, находившихся ближе к противнику, а на таком коротком расстоянии их «ремингтоны», заряженные крупной картечью, являли собой смертоносное оружие.

Лишившись поддержки пулемета, противник вряд ли был в состоянии оправиться и организовать отпор. Акилес полагал, что в сложившейся обстановке бой вскоре должен был закончиться.

— Сдавайтесь! — донесся до него голос Понсе.— Сдавайтесь, пока целы!

Пепе Кардоса чувствовал себя легко и уверенно. Он никогда не тратил зря патроны, стараясь при каждом выстреле поразить цель. Его отлично пристрелянный «гаранд» повиновался ему так, будто был частью его тела.

Тоска, лежавший рядом, вел огонь из своего «спрингфилда», содрогаясь всем телом при отдаче после каждого выстрела. Затем он кивком головы смахивал с лица длинные вьющиеся волосы и, закусив ус, спокойно брал на мушку очередную цель. Он обожал «спрингфилд», как наездник — необъезженных лошадей.

Между тем капот грузовика превратился в решето. Солдаты противника стреляли в общем довольно плохо, но тем не менее у них пока что было превосходство в огневой мощи, так как многие из них были вооружены автоматическим оружием. Вот почему Акилес медлил с приказом о всеобщей атаке. И тем не менее надо было торопиться, так как с бронетранспортера по радио уже, вероятно, сообщили о нападении, и подкрепление, разумеется, не заставит себя долго ждать.

Пепе Кардоса заметил этих солдат, когда они ползком пробирались по зарослям низкорослого кустарника. Временами солдаты пол-

ностью скрывались в густой траве, с тем чтобы вскоре снова появиться.

Он был уверен, что они не смогут уйти от него и что он им никогда не позволит добраться до возвышенности, где стояла усадьба гуахиро. Никто из товарищей их не заметил, поэтому Пепе Кардоса решил приберечь их для себя.

Выбрав того, что был посредине, он прицелился ему чуть повыше ягодиц, чтобы пуля попала точно посреди спины. Эти трое находились от него на расстоянии около двухсот метров, и ему не потребовалось передвигать прицельную планку на «гаранде». Он затаил дыхание перед выстрелом, но нажать на спусковой крючок не пришлось — солдат вдруг исчез из поля зрения. Двое других также успели добраться до промоины, о наличии которой он даже не подозревал. Солдаты тотчас же открыли ураганный огонь со своей столь легко доставшейся им позиции. А позиция их была превосходной, так как господствовала над местностью.

«Чертовы рогатики, как же это я их упустил? Проклятие! Кто же думал, что там есть эта промоина, будь она неладна! Здорово же они там окопались, карамба!»

По звуку выстрелов капитан Акилес сразу понял, что солдаты открыли огонь из двух ручных пулеметов и автоматической винтовки М-1. Было ясно, что свою позицию они просто так не отдадут, а поскольку позиции повстанцев стали простреливаться огнем их пулеметов, нужно было что-то срочно предпринять.

Но в тот же миг капитан увидел также, что слева от него несколько солдат стали размахивать белыми платками.

— Не стреляйте по ним!— крикнул он больше для порядка, зная, что никто по сдающимся в плен стрелять не станет.

В этот момент на дорогу вдруг выскочил Пепе Кардоса. Он быстро бежал, пригнувшись почти до самой земли, пытаясь поскорее проскочить простреливаемое место. На полпути он вдруг вскинул обе руки и, уронив свой «гаранд», упал как подкошенный на дорогу.

Между тем солдаты, оставшиеся на дороге, продолжали размахивать платками. Тогда Акилес вскочил и побежал к дороге, продолжая с бедра вести огонь по солдатам, которые все еще оказывали сопротивление. Вслед за ним вскочил Негро де ла Каридад и все остальные.

С ружьем в одной руке и санитарной сумкой в другой к Пепе помчался Ниньо. Сюда же подбежал капитан, лицо его было багровым от ярости, всегда овладевавшей им во время боя.

— Он мертв, капитан,— сказал Ниньо.

Новая очередь сверху подняла фонтанчики земли рядом с ними. Чуть ли не на четвереньках прибежал сюда Кампечуэла.

Понсе и Чино между тем, прячась за бронетранспортер, вели беглый огонь по засевшим в промоине пулеметчикам, не давая им поднять головы. За грузовиком Хулиан и Тоска, уложив пленных на землю с руками, закинутыми на затылок, держали их под прицелом.

— Пойду-ка я да выковырю их оттуда,— сказал Кампечуэла.

— Огонь по пулеметчикам! — крикнул Акилес.— Всем! Чтобы головы не смогли поднять эти сукины дети!

Кампечуэла между тем, осторожно разжав пальцы Пепе, вынул гранату из его мертвой руки.

— Возьми и его «гаранд»,— сказал Ниньо.

— Нет, с ружьем сподручней,— ответил Кампечуэла и пополз к промоине, откуда солдаты по-прежнему продолжали вести огонь.

Высунувшись по пояс из зарослей атэхе, Акилес бил короткими, но частыми очередями. Позади лежал Пепе, которого Ниньо перетащил с дороги, чтобы уберечь от новых попаданий. Первая пуля, попав ему в скулу, оставила маленькое отверстие, но на выходе у основания черепа зияла страшная рана, откуда фонтаном била кровь, окрашивая в темный цвет траву и маленькие красные ягодки атэхе.

Граната, описав траекторию подобно мячу, который осторожно бросают ребенку, упала прямо туда, откуда все еще стреляли. Сухо прогремел взрыв, и Кампечуэла со своим «ремингтоном» наперевес в несколько прыжков достиг позиции пулеметчиков и скрылся в яме.

Наступила мертвая тишина. Такая тишина, тяжелая и гнетущая, наступает всегда в первые минуты после боя.

Акилес повернулся назад и встал на колени рядом с мертвым другом.

— Пепе... эх, черт. Как же это ты?..— сказал он и провел рукой по жестким курчавым волосам мулата.

Затем он быстро поднялся.

— Собрать все оружие! Ты, Понсе, сними пулемет с бронетранспортера.

Пленные смотрели на партизан широко раскрытыми от ужаса глазами. Они сидели на земле тесной кучкой. В стороне один из солдат перевязывал раненых. Хулиан с карабином под мышкой и пальцем на спусковом крючке не сводил с них глаз. Свободной рукой он картинно упирался в бок.

Понсе, взобравшись на бронетранспортер, приступил к демонтированию пулемета. И в этот миг все услыхали в наступившей тишине крик Кампечуэлы:

— Я убил его! Я убил его!

Негро, взбежав наверх, увидел Кампечуэлу, который сидел на дне ямы, сжимая голову руками. Застывшим взором он смотрел на одного из убитых им пулеметчиков. То был паренек примерно такого же возраста, как и Ниньо, которому только что исполнилось девятнадцать. На его безбородом загорелом лице, которое уже начинала заливать смертельная бледность, застыло кроткое выражение удивления и ужаса. Кампечуэла нагнулся и посадил его, прислонив к стенке ямы. Тот как будто силился что-то сказать, но жизнь быстро покидала его тело, вся нижняя часть которого представляла собой кровавое месиво из костей, мяса и сухожилий. Граната разорвалась у его ног, размозжив всю нижнюю половину тела и обнажив бедренную кость, торчавшую, как сабля, подвешенная к поясу.

— Это же моя родная кровь, Негро! Это моя кровь! — рыдал Кампечуэла, обнимая остывающее, обмякшее тело.— Что я теперь скажу матери, когда мы придем в Сагуа? Что я ей скажу, а, Негро?

Словно в забытьи, Кампечуэла медленно поднялся и вытащил из-за пояса старый бискайский револьвер. Но Негро прыгнул в яму и одним ударом выбил револьвер у него из рук.

— Я хочу умереть, будь оно все трижды проклято! Оставь меня!

— Что здесь происходит? — послышался строгий голос Акилеса, спрыгнувшего в яму. Негро молча смотрел на него.

— Я убил его, капитан. Вот этими руками. Это мой брат, капитан. Научите, что мне теперь сказать маме. Как я ей все объясню?

В ответ Акилес своей тяжелой рукой отвесил ему солидную оплеуху сначала по одной, а затем по другой щеке. Брызнувшие из глаз Кампечуэлы слезы попали на плечи и бороду капитана.

— Щенок! — сказал сквозь зубы Акилес.— Мало нам своих убитых? — И он, резко повернувшись, вылез из ямы и медленно стал спускаться к месту недавнего боя.

Негро, оставшийся с Кампечуэлой, мучительно подыскивал слова утешения, но у него ничего не получалось.

Понсе с высоты бронетранспортера видел и слышал все, что происходило там, наверху, и поэтому, когда подошел капитан, он ничего не спросил.

Чино, Хулиан и Тоска были заняты трофеями, которые они складывали у обочины дороги. Они тоже ничего не спросили.

Солнце, выглянувшее из-за горных вершин, еще не успело согреть холодный утренний воздух. Но несмотря на то, что было холод-

но, и повстанцы и пленные солдаты обливались потом. Их одежда, мокрая и от пота, и от утренней росы, насквозь пропахла порохом. Утренняя тишина не нарушалась даже птицами, которые взлетели с ветвей еще при взрыве мины.

Акилес подошел к пленным. Один из них поднялся и обратился к нему со словами:

— Команданте, мы ведь всего лишь выполняли приказ.

— Я никакой не команданте, и к тому же мы также выполняли приказ. Есть среди вас кто-нибудь из офицеров? Кто здесь офицер, я спрашиваю?

Пленные молчали, как воды в рот набрав. Они опасливо посматривали на грозную фигуру партизанского командира, стоявшего перед ними, широко расставив ноги, с «томпсоном» наперевес. Весь он был сделан будто из костей, волос и неимоверной бороды.

— Я, кажется, о чем-то спросил?..— медленно, растягивая слова, сказал он.

— Я, начальник,— ответил наконец один из находившихся в центре группы пленных. На нем не было никаких знаков различия, и он сидел на земле, как и другие солдаты, прижимая свою руку пальцами другой руки.

— Звание? Встать!

— Младший лейтенант, начальник,— сказал офицер, подымаясь с земли.

— Я вам не начальник. Батиста — ваш начальник. После того как мы уйдем, вы примете командование над этими людьми. Слушайте внимательно. В течение получаса после нашего ухода вы будете сидеть тихо, как мертвые. Потом можете делать все что вам заблагорассудится. Но предупреждаю: не вздумайте перетъся туда,— и он указал большим пальцем назад, где за его спиной синели горы.— Это для вас может плохо кончиться. Даже в том случае, если вы получите подкрепление. И еще. Будь у вас чувство собственного достоинства, вместо того чтобы проливать кровь своих братьев, вы бы лучше повернули свое оружие против Батисты. Но кажется мне, что это чувство у вас отсутствует. Это все.

Он круто повернулся, направляясь туда, где лежало тело Пепе Кардосы. Сверху к дороге, обнимая за плечи Кампечуэлу, спускался Негро. Кампечуэла продолжал еще плакать.

Тем временем Тоска уже приготовил носилки: большой мешок, привязанный концами к длинной жерди, только что срезанной в лесу. Носилки предназначались Пепе.

— Пепе тоже мертв? — потерянно спросил, ни к кому не обращаясь, Кампечуэла.

Акилес понимал, что им удалось захватить довольно много оружия и боеприпасов и что ноша будет чудовищно тяжелой, поскольку им предстояло пройти две лиги в горах.

И тем не менее он приказал:

— Приготовьте еще одни носилки. Мы возьмем с собой брата Кампе.

Через некоторое время отряд покинул поле боя. Они на славу поработали. Им удалось захватить богатые трофеи. Они потеряли в бою одного из своих товарищей. К несчастью, Пепе был далеко не первым, кто сложил голову в этой кровопролитной борьбе. Но у них было слишком мало времени, чтобы предаваться философским размышлениям. И кроме того, каждый был до предела нагружен оружием и боеприпасами. Да и разве этот бой был последним?

«Может, в следующий раз и меня отыщет пуля»,— думал Тоска. Ниньо наконец-то заполучил М-1, о которой мечтал днем и ночью, капитан сказал, что отныне винтовка будет принадлежать ему, Ниньо.

Они изо всех сил старались идти как можно быстрей, но тем не менее продвигались крайне медленно. Шли, как обычно, гуськом.

Акилес шел впереди. На левом плече он нес две винтовки и одну на правом; несколько патронташей, заполненных патронами, перепоясывали его грудь; под правой рукой был его неразлучный «томпсон».

Вслед за ним шел Тоска, натирая правое плечо жердью, другой конец которой нес Хулиан. На носилках мерно раскачивалось тело Пепе Кардосы, на груди которого лежал его «гаранд». За ними шли Кампечуэла и Чино и несли другие носилки — с мертвым солдатиком.

Остальные бойцы отряда, нагруженные, как мулы, замыкали шествие. Они едва передвигали ноги, сгибаясь под тяжестью груза. Ноги их были так напряжены, что, казалось, вот-вот лопнут сухожилия. А тропа вела все в гору и в гору. Но иногда приходилось и спускаться, и тогда ноша тащила их за собой, еще увеличивая и без того большую нагрузку на ноги.

Через полчаса ходу, когда огибали крутой склон, они заметили, как капитан время от времени стал посматривать куда-то вниз, где должна была проходить дорога. Не прерывая движения, все также стали смотреть в том направлении.

Дорога внизу извивалась желтовато-бурой змейкой. Огромное облако пыли быстро неслось по ней. Уже можно было различить грузовики, следовавшие в клубах пыли. «Штук десять будет»,— сказал Негро, верный своей привычке к преувеличению. Колонна противника спешила к месту недавнего боя. Однако всем было известно, что это уже не опасно. Давно прошли те времена, когда противник бросался в горы, преследуя отходивших партизан. Никто, даже сам господь бог, не мог бы сказать со всей уверенностью, что небольшой отряд повстанцев не заманит врага в ловушку, из которой живым уже не выбраться.

Акилес посмотрел вперед, поправил оружие на плече.

— Эх, мне бы еще человек пятнадцать... черт побери,— проговорил он.

Перевод с испанского В. МАЙОРОВА

ЛУИС РОХЕЛИО НОГЕРАС

Цветок для Мауры

До слез доводят нас воспоминания
СЕСАР ВАЛЬЕХО

1

Что в мире может быть сильнее, чем любовь? Ничто. Разве только смерть. Но ведь мы живы, дорогой мой, пусть далеко друг от друга, но живы, и это главное. А все остальное — наше прошлое, твое и мое, и прежде всего суровое настоящее — это всего лишь воспоминания о завтрашнем дне, не правда ли? Разве это не какие-то тени, что исчезнут с первыми лучами солнца будущего?

Несмотря на то, что помещение отапливалось, ему было холодно. Очень хотелось курить, но не мог он решиться вытащить руку из глубокого кармана шерстяной куртки, другой рукой он сжимал ручку черного кожаного портфеля. Там, в Нью-Йорке, стояла хорошая погода, но когда он сошел с самолета голландской компании «KLM» в Монреале, термометр показывал десять градусов ниже

ноля, теперь же в Гандере[1] температура была чуть ли не минус семнадцать.

В зале ожидания аэропорта находилось десятка два человек, примерно столько же — в кафетерии и в shopy center[2]. Большинство — пассажиры рейса Стокгольм — Виннипег самолета швейцарской авиакомпании Swissair. Он уселся лицом к летному полю; за его спиной немногочисленные транзитники слонялись по залу, клевали носом в креслах. Сквозь стеклянные двери он мог наблюдать за огнями снегоуборочных машин, медленно перемещавшихся по аэродрому.

Он взглянул на часы, висевшие над закрытой кассой Pan American[3]: восемнадцать минут первого. Стало быть, кубинский самолет из Праги, если не опоздает, должен прибыть через час. Пожалуй, неплохо выпить еще чашечку кофе.

Он встал и не спеша пошагал по свеженатертому полу к кафетерию. И как раз в этот же момент монашка в длинном черном пальто, быстро поднявшаяся с кресла, чуть было не столкнулась с ним. Он кивнул в знак извинения и уступил ей дорогу. Монашка — бледнолицая, еще молоденькая,— не отрывая глаз от пола, пробормотала что-то невнятное, похожее на «мерси».

В кафетерии было не так холодно, как в зале, и официантки тут не слишком тепло одеты. Одна из них направилась к нему, по другую сторону стойки.

— Coffee, please. Very hot.

— Yes, sir[4].

В ожидании кофе он еще раз повторил в памяти инструкции, содержавшиеся в письме. Сандро будет одет в плащ, на шее — красный шарф, а в руках точно такой же «дипломат», какой был сейчас при нем, этот портфель, но в запакованном виде ему был доставлен в монреальский отель «Шато Ренессанс». Сандро войдет в кафетерий спустя десять минут после посадки кубинского самолета, выберет место у стойки такое, чтобы рядом был свободный табурет, поставит у ног свой «дипломат» на пол и закажет какой-нибудь напиток. Минут через пять он тоже должен войти в кафетерий, сесть на свободный табурет рядом с Сандро, поставить собственный портфель рядом с «дипломатом» Сандро и попросить чай или кофе. Сандро первым расплатится и покинет кафетерий, взяв не свой «дипломат»; почти сразу же вслед за Сандро он покинет кафетерий, прихватив оставленный там портфель, возьмет такси, поедет в ближайший городок, в какой-нибудь бар с круглосуточным обслуживанием, и там подождет отлета кубинского самолета, после чего вернется в аэропорт, купит билет на рейс от Сент-Джонса до Монреаля. А потом через Нью-Йорк возвратится в Майами. Пока ему было неизвестно, что содержится в «дипломате» Сандро, быть может и ничего или что-нибудь зашифрованное (обо всем он узнает, лишь открыв портфель перед тем, как сесть в канадский самолет, направляющийся в Сент-Джонс). А в его «дипломате», что захватит Сандро в Гавану, будут микрофильмы с планами баз кубинских контрреволюционеров в Никарагуа, где еще правил диктатор Сомоса, и сведениями о маршрутах, которыми пользуются вооруженные катера контрреволюционных пиратов, братьев Агустина и Роландо Диасов.

Ему подали кофе. Жидковатый, но по крайней мере горячий. Он высыпал в чашку три пакетика сахара *и хорошенько размешал, стал медленно потягивать, придерживая чашку обеими ладонями, чтобы хоть немного согреть руки, Маура.*

---

[1] Международный аэропорт в Канаде.

[2] Магазин беспошлинной торговли *(искаж. англ.).*

[3] Авиакомпания США.

[4] Кофе, пожалуйста. Погорячее.— Да, сэр. *(англ.).*

Ты знаешь, в этом году я закончила университет. Представляешь? Я — архитектор! И учиться я пошла, осуществляя свою давнишнюю мечту; но прежде всего, конечно, чтобы хоть чем-то заняться и не думать дни напролет о том, что ты далеко, совсем один. Но я-то знаю, что ты сильный и что тебя поддерживает сознание того, что ты приносишь пользу. Это и в меня вселяет силы и бодрость духа. Порой, когда встречаю кого-нибудь из наших друзей-революционеров, кто знал нас обоих, и он спрашивает меня, как же могло случиться, что ты продал свои идеалы «за горсть долларов», мне приходится над собой делать страшное усилие, чтобы не прокричать во весь голос всю правду, не объяснить, кто ты есть на самом деле, что делаешь; чтобы не сказать им, что ты не только не продал свои идеалы, но именно потому и находишься там, чтобы мечты превратить в действительность, чтобы дело, за которое мы все боремся, восторжествовало.

А имел ли он право что-то вложить в портфель, отправляемый с Сандро? Нет, не имел. Однако нелегко ему было расставаться с мыслью о том, что хорошо бы послать Мауре письмо или хотя бы записку к семейному юбилею.

Нет, невозможно. Он не мог допустить даже минимального риска. В портфеле, вручаемом Сандро, только шесть микрофильмов, тщательно заделанных в подкладку.

И больше ничего.

На другое он не имел права.

Он поставил чашку на стойку бара, слегка склонился на вращающемся табурете и закурил сигарету с пробковым мундштуком.

Он, Пабло Молина, после четырех долгих и трудных лет, которые провел в Майами, выполняя оперативное задание среди контрреволюционных группировок, не имел права ни на один лишний шаг. И не потому, что это явилось бы нарушением какого-то предписания: такого рода задания выполняются без многочисленных предписаний. Он не мог пойти на это как-то инстинктивно, в силу своей твердой убежденности, что безопасность прежде всего, в силу своей уверенности в том, что даже годовщина свадьбы не может служить оправданием риска (даже если этот риск минимален и никакой реальной угрозы не существовало). Но нельзя было подвергать ни малейшей опасности ни связного (Сандро), ни его самого (разведчика).

Сегодня — пятница, 16 ноября 1965 года, завтра — десятая годовщина свадьбы. Из этих десяти лет они пробыли вместе всего лишь три года: первые два после свадьбы и тот славный незабываемый пятьдесят девятый.

Он жадно затянулся еще два или три раза и погасил сигарету в пепельнице на стойке бара. Во рту ощущалась горечь. Слишком много курил, да и более двадцати чашек кофе выпил сегодня. И, кроме того, целый день ничего не ел, хотя есть не хотелось. Спать тоже. Вот только чувствовал себя очень усталым. Усталым и постаревшим.

Когда дня три назад в одном из номеров мотеля «Сиеста» в Ки-Ларго (с левой стороны автострады, если поехать на юг от Майами, примерно в двух милях за первым мостом) он получил шифровку от Сиро, то вначале обрадовался, хотя затем радость сменилась печалью. А обрадовался он потому, что его поездка в Канаду совпадала с годовщиной их свадьбы, и, быть может, отсюда ему удастся послать Мауре открытку, написанную левой рукой и подписанную другим именем; и напишет-то он что-нибудь этакое, дурашливое (между его нарочито корявых букв она, конечно же, сумеет ощутить жар его сердца...); загрустил же он потому, что почти тотчас заставил себя расстаться с этой мыслью.

Да. Последняя шифровка Сиро (принимал он шифровку, как правило, по средам в одном из отелей или мотелей в Ки-Весте, Майами-

Бич или даже в Уэст-Пальм-Бич) и впрямь наполнила его сердце и радостью и печалью. Он прикрыл веки и увидел самого себя в том крошечном со стенами кремового цвета номере «Сиесты», сидящим перед заправленной кроватью, на которой развернул портативную рацию RT-48A. Вот он, закончив прием, перематывает магнитофонную пленку в исходное положение «00», откуда берет начало краткий, напоминающий одну из радиопомех звуковой сигнал (01... 02... еле улавливаемый ухом свист общей продолжительностью не более двух секунд). Вот он включает редуктор скорости магнитофона, и тот же сигнал, только принятый им из эфира, теперь уже слышится с замедлением в тысячу двести раз; это все тот же размеренный анонимный голос, который он слушает один раз в неделю вот уже в течение трех лет:

037585 586798 958672 666887 447923 464353
090809 707234 672223 908876 141234 981564

Затем, пользуясь кодом, он стал подставлять буквы, и слова стали появляться медленно, подобно тому как возникает изображение на фотобумаге, опущенной в проявитель:

СИРО ЛУКАСУ СВЯЗНОЙ САНДРО ВЫЛЕТИТ САМОЛЕТОМ ПРАГИ ГАВАНУ РАНО УТРОМ ПЯТНИЦУ 17 ПОСАДКОЙ ГАНДЕРЕ ЧАС ТРИДЦАТЬ НОЧИ ПЕРЕСЛАТЬ ЧЕРЕЗ СВЯЗНОГО ПЛЕНКИ ТЧК ТЕБЕ ИНСТРУКЦИИ ПАКЕТЕ НА ИМЯ ГУСТАВО АВИЛА ПОЧТОЙ ИЗ ПАРАГВАЯ НА ОТЕЛЬ ШАТО РЕНЕССАНС РЮ БЁРНСАЙД МЕЖДУ БЛЕРИ И МЕТКАЛЬФ МОНРЕАЛЬ.

Тогда и родилась мысль послать открытку или хоть что-нибудь своей Мауре, его любимой, единственной и такой далекой. Но тотчас же он назвал эту мысль безумством.

Он допил остывший на донышке чашечки кофе. Начал воспринимать приглушенные, чуть ли не музыкальные звуки передвигаемой посуды, шипение пара, время от времени извергаемого автокофеварками, голоса немногих посетителей кафетерия. Отвлекшись от своих воспоминаний, он вновь окунулся в реальность аэропорта Гандер.

Наручные часы показывали без десяти час. Оставалось сорок долгих минут. Он заплатил за кофе и вышел из кафетерия, снова засунув руку в карман, другой сжимая ручку «дипломата».

Он стал прогуливаться по залу ожидания. Никто не обращал на него никакого внимания. Он казался всего лишь одним из транзитных пассажиров, изнывавших от скуки и бессонницы в ночном аэропорту. В качестве меры предосторожности он выяснил, в котором часу прибывает самолет Air Canada рейсом из Галифакса (ему было известно, что этот самолет совершит посадку через час после того, как самолет Сандро улетит на Гавану). В общем, он мог производить впечатление человека, ожидавшего в этом промерзшем и далеком канадском аэропорту какого-нибудь родственника, друга или похожего на него бизнесмена. Ничем не выделялся среди других.

Он зашел в shopy center. Две пожилые шведки, толстые и чрезмерно накрашенные, разговаривали вполголоса, стоя перед металлическим стендом, сплошь занятым изданиями детективов, книжками «ужасов», среди которых кое-где выглядывали последние американские бестселлеры. У стенда с журналами он остановился, поставив портфель на пол так, чтобы его можно было чувствовать ногой. Выбрал журнал «Тайм», на обложке которого была изображена мясистая физиономия ЛБД[1], под ней довольно иронически звучала подпись: «The little big society»[2]. *Почти не глядя, Маура, я полистал*

[1] Линдон Бэйнс Джонсон — президент США в 1963—1968 гг.
[2] «Маленькое великое общество» *(англ.)*.

страницы журнала, поскольку охватили меня воспоминания, образы прошлого.

Твои товарищи по работе (Хорхе, Карлос, Хоакин) заботятся обо мне, как о родной сестре. Не проходит и недели, чтобы кто-то из них не поинтересовался, как я живу, не нуждаюсь ли в чем. Но мне ничего не нужно. Работаю и учусь. Они каждый раз передают мне, что у тебя все в порядке. Впрочем, я у них ничего и не спрашиваю. Зачем ставить их в неловкое положение? Ведь главное я знаю: ты жив. Этого достаточно.

Когда же все-таки он вернется на Кубу? Через год? Через два? Когда же он, наконец, сможет жить своей собственной жизнью, вместе с Маурой, иметь от нее ребенка?

Вот уже десять лет как женаты, а вместе пробыли всего лишь три года. Они расстались в начале пятьдесят восьмого, когда он ушел в Сьерра-Маэстра. И вновь встретились в следующем, пятьдесят девятом году — самом счастливом году их совместной жизни. Но уже в январе шестидесятого года революция опять позвала его. Он уволился из рядов Повстанческой армии, вошел в контакт с контрреволюционным подпольем в стране — с той группой, которая переправляла оружие и медикаменты в горы Эскамбрай, где еще активно действовали враги революции. В середине того же года он был «задержан». До конца шестидесятого пробыл в тюрьме. Маура трижды навещала его на месте заключения на острове Пинос. И при каждом посещении она вела себя строго в соответствии с инструкциями, полученными от товарищей из Г2[1]. Ей нужно было производить на остальных заключенных впечатление, что их пути, дескать, разошлись, так как она продолжала оставаться преданной идеалам революции; она должна была делать вид, что упрашивает его пересмотреть свои взгляды, чтобы оба они могли бы начать новую жизнь. Она, конечно, знала, что все это требовалось для дела, знала, к чему он готовился, и все это было лишь частью его «легенды». Ей было известно также и то, что в начале следующего года он отправится на моторной лодке в Соединенные Штаты...

Он положил журнал на стенд и стал задумчиво разглядывать безделушки, выставленные в витрине: брелоки для ключей, солнцезащитные очки, дешевые часы, зажигалки, предметы косметики. Да, вон тот светло-розовый крем очень подошел бы к ее белоснежной коже; а вон те тени как бы отвечали ее черным, словно маслины, глазам...

За четыре года, проведенных им в Майами, они обменялись весточками лишь однажды, и то в самом начале. Как и было условлено, в своем письме он сообщал о намерении возбудить ходатайство, чтобы ей разрешили приехать к нему в Соединенные Штаты и остаться тут вместе с ним. Она, разумеется, поплакала: как между строк отыскать те заветные слова, которые предназначались только для нее? Ответ, полученный от нее, содержал также заранее оговоренный текст. На узеньком листке бумаги ее убористым почерком было написано очень кратко: «Ты утверждаешь, что по-прежнему любишь меня. Я ведь тоже тебя очень любила. Но тогда почему ты уехал от нас, изменив своей Родине и ...» Как теперь она выглядит? Стала полнее? А может, наоборот, похудела? А ее грудь все такая же упругая и горячая, а ее губы...

Крепко сжимая ручку своего «дипломата», он вышел из shopy center и снова опустился в кресло у окна, чтобы можно было видеть летное поле. Откинувшись в мягком кресле, он закурил сигарету. Его красные от бессонницы глаза напряженно всматривались в черноту

[1] Г2 — органы контрразведки Кубы.

ночи за широким окном. *Снег падает медленно, Маура. Куда ему спешить? Временами порывы ветра подхватывают снежинки, кружа их над взлетной полосой, по которой, утробно урча, ползают снегоуборочные машины, напоминающие гигантских светляков, заблудившихся в метели.*

Я немного пополнела, сделала себе короткую прическу. Понравлюсь ли тебе? Понравлюсь ли я тебе вообще, когда ты вернешься? Какая я все же глупая. Ты уж извини меня. Бывают ночи, когда я не смыкаю глаз. Мне все время чудится, что в дверь кто-то постучал. И я думаю, что это ты. Я выхожу в переднюю, открываю дверь. И в этот момент мне хочется быть такой красивой!

2

По радио объявили посадку на самолет компании Swissair, следующий в Виннипег. Небольшая группа мужчин и женщин засуетилась, внеся на какие-то минуты оживление в сонную атмосферу зала ожидания. Часы над кассой Pan American показывали час ночи.

Пассажиры, отправляющиеся рейсом на Виннипег, пошли к автобусу, который доставляет к трапу самолета. По одному они выходили из дверей аэровокзала на летное поле, где на них тотчас же обрушивалась снежная круговерть, ярко освещаемая прожекторами, и растворялись в сумасшедшей игре света и снега. Он обернулся, решил посмотреть, многие ли еще оставались в зале. Всего каких-нибудь пять или шесть человек.

А что, если взять и послать ей что-нибудь, положив в портфель, который повезет Сандро?

Сама мысль об этом застала его врасплох. Послать что-нибудь для Мауры? Но что? Он прикрыл глаза: снова перед ним возникло ее лицо, подобно яркой падающей звезде, прочертившей небосвод в темноте ночи. Приближение заветной даты как будто бередило старые раны. И вдруг ее лицо исчезло. Вместо него — с чего бы это? — всплыла квадратная физиономия портье из отеля «Шато Ренессанс»:

— Your name is Gustavo Avila, sir?

— Yes, Gustavo Avila [1].

— Тут на ваше имя пришел пакет, мистер Авила. Его доставили еще вчера.

Он ответил с улыбкой:

— О да. Я должен был прибыть сюда еще вчера, но пришлось немного задержаться в Нью-Йорке.

И как это умудрились его товарищи из Гаваны переслать этот пакет в адрес монреальского отеля с марками, погашенными в Парагвае? Этого он никак не мог представить. Придя к себе в номер, он открыл пакет: внутри него оказался небольшой портфель типа «дипломат», а в нем письмо на имя сеньора Авилы, коммивояжера. К письму прилагался каталог с ценами на различного вида чемоданы, портфели, бумажники и тому подобное, выпускаемое для канадского рынка. Он расшифровал «цены», указанные в каталоге: шифровка содержала условия встречи с Сандро в аэропорту Гандера.

Он открыл глаза. Все шведы уже исчезли. За окном глухо ревели моторы швейцарского самолета «Суперконстелейшн».

Болела голова. Боль была не очень сильной, но непрекращавшейся. Он помассировал затылок и почувствовал некоторое облегчение. Сегодня вечером он уже будет в Нью-Йорке, а на следующий день, в субботу, в Майами. Диасам он сказал, что ему нужно поехать на двое суток в Нью-Йорк по личным делам (и дал понять, что речь шла о некой женщине). Диасы доверяли ему, но один из них, Роландо,

[1] Ваше имя — Густаво Авила, сэр? — Да, Густаво Авила *(англ.)*.

стал в последние месяцы чересчур нервным и подозрительным: почти все его вылазки в кубинские территориальные воды заканчивались неудачей, потоплены уже два катера. Однако он, Пабло Молина, был пока вне подозрений, скорее наоборот, Роландо посвящал его во все дела. «Даже брату родному так не верю, как верю тебе, тот не сукин сын лишь потому, что мы родились от одной матери»,— сказал он ему однажды. Действительно, дела у «правителей Кубы» шли не блестяще, и не только из-за радиограмм, отправляемых Пабло раз в неделю, но и потому, что солнце, поначалу светившее «правителям», миновало свой зенит и близилось к закату. В кубинской эмигрантской среде возникали новые группировки, прибегавшие к современным методам пропаганды, твердившие о новых «контактах в верхах». Пабло уже подумывал: не пришло ли время попытать удачи в другой организации (скажем, в «Командо антикоммуниста де Америка», где верховодил Иносенсио Сальгадо, казавшейся более перспективной из всех тех, что появились в Майами зимой шестьдесят четвертого года).

Он посмотрел еще раз на часы, *и снова мне стало грустно, Маура. Что бы такое послать тебе в этом портфеле, чтобы ты поняла, что я по-прежнему люблю тебя, подтвердить тебе — я жив?*

У нас ведь еще впереди целая жизнь. Вернее, две жизни: сегодняшняя и вчерашняя. И мы проживем с тобой минута в минуту все то время, что мы не были вместе, и будем счастливы, как никто и никогда, потому что будем знать, какой высокой ценой оплачено наше счастье и счастье других.

А что?

Он невольно улыбнулся.

Тюльпан!

Внезапно всплыло в памяти: как-то однажды она ему говорила о тюльпанах. *Конечно же, тебе никогда не приходилось видеть живой тюльпан. Вот если бы можно было послать тебе хотя бы один.* Но где же его взять здесь, зимой, на исходе ночи, в крошечном заснеженном аэропорту Гандера? А кроме того, тюльпаны... *они ведь такие большие, любовь моя, и такие хрупкие...*

Улыбка слетела с его губ. Закрыв глаза, он провел пальцами по воспаленным векам. Что же все-таки ей послать?

Да к тому же имеет ли он на это право?

А если нарисованный тюльпан? А? *Красиво нарисованный тюльпан, Маура?*

Но он совсем не умел рисовать. Да и какие они из себя, эти тюльпаны? Вроде бы тюльпан похож на перевернутый колокол, имеет сочные утолщенные лепестки на длинном и совершенно голом стебле, очень красивый и...

А что скажут товарищи в Гаване?

Имеет ли он право?

Да и сумеет ли он нарисовать тюльпан? Получится?

А как было бы чудесно снова вместе пойти в парк Альмендарес, как тогда, когда мы были женихом и невестой.

Он вынул записную книжку и шариковую авторучку. Руки покраснели от холода. Покраснели и онемели. Попытался нарисовать цветок. Появилось нечто бесформенное, странное. Что-то наподобие скверно изображенного треугольника. Перевернув страничку, *еще раз попробовал, на этот раз помедленнее.*

Здесь много нового. Ты можешь себе представить: в нашем парке спустили на воду лодки. Лодки! Ты помнишь? Ты еще всегда говорил...

Нет. Получалось все что угодно, но не тюльпан. Ничего похожего. Может, просто написать «я тебя люблю», без всякой подписи? Товарищи там, в Гаване, поймут, кому адресованы эти слова, и передадут по назначению. Но черт побери! *Ведь я все же хочу, хотел, мне очень хотелось бы, Маура, послать тебе тюльпан!*

«Вот если бы у нас сейчас была лодка, а?» Помнишь там, на берегу, где мы с тобой сидели в те чудные вечера...

Как же его рисуют, этот цветок? Как? Почему пальцы не могут изобразить этакий великолепный тюльпан, слегка заштрихованный, чтобы показать игру теней и света на твердых глянцевых лепестках? Отчего? Перевернул еще одну страничку. Руки дрожали. *Попробую еще раз, Маура.*

...того замечательного и теперь уже столь далекого пятьдесят девятого года. Ты помнишь?..

Громкоговорители объявили о прибытии самолета кубинской авиакомпании, следующего рейсом Прага — Гавана.

Он поднял бледное лицо, еще раз взглянул на часы над Pan American. Один час тридцать пять минут. Несмотря на низкую температуру, лоб его покрывали капельки холодного пота. Он оторвал взгляд от часов, и какое-то ощущение тоски сдавило ему грудь. В записной книжке уже почти не оставалось чистых страничек. И как это он раньше не выучился рисовать? Его тюльпаны с каждым разом становились все менее узнаваемыми. Рисунки не улучшались, а, наоборот, были все хуже и хуже. Лишь первый из них, пусть весьма отдаленно, напоминал о жалкой попытке изобразить тюльпан.

— ...To Habana, Cuba... Your attention, please [1].

Его пальцы вздрагивали, *когда я обнаружил, что* оставалась последняя чистая страничка, *осталось всего лишь несколько минут.* Снаружи уже доносился рев моторов — from Praga to Habana [2], — а имеет ли он право? *Как нарисовать тюльпан? Имею ли право?* Как изобразить

...те далекие вечера, которые нам уже никогда не забыть, любимый мой.

тюльпан?

3

Он вышел из аэровокзала и пошагал по снегу, направляясь к стоянке такси. Холода не ощущал. Сна и усталости тоже как не бывало. Им овладело какое-то неопределенное чувство подавленности.

В правой руке он нес «дипломат» Сандро, а в кармане его канадской куртки лежало двадцать помятых листочков с уродливыми рисунками, теперь уже ненужными и бесполезными, он так и не решился их послать.

Все произошло так, как было предусмотрено. Сандро и он беспрепятственно обменялись портфелями. Затем Сандро ушел. А потом и он. В зале ожидания было полным-полно кубинцев, прибывших из Праги. Его братья. А он не мог себе позволить даже посмотреть в их сторону.

Уже два часа ночи. Через десять минут взлетит кубинский самолет. На одном из сидений у окошка будет сидеть Сандро с «дипломатом» на коленях. Но в нем не будет цветка для Мауры.

---

[1] ...На Гавану, Куба... Будьте внимательны, пожалуйста *(англ.)*.

[2] Из Праги в Гавану *(англ.)*.

Ему оставалось добраться до какого-нибудь ресторанчика в городе, открытого сутки напролет, заказать там коньяк и посмотреть, нет ли чего-нибудь для него в портфеле, переданном ему Сандро. Затем предстояло вернуться обратно в аэропорт.

На стоянке было три такси. Водители дремали в своих машинах. Он сел в первую из них. Расположившись на заднем сиденье, он откинулся, положил голову на спинку.

— Bring me some place where I can have a brandy, pal [1].

Водитель включил фары, и в двух ярких лучах взвихрился мелкий сверкающий снег.

Он закрыл глаза. Ему было грустно, он чувствовал себя одиноким.

Я так любил тебя, Маура.

Сколько страниц я уже исписала! Целых десять! Думаю, не надо больше писать. Хотя могла бы исписать целые тома, однако не хочу злоупотреблять этим чудесным и поистине братским жестом со стороны твоих товарищей. Когда Хоакин сообщил мне, что они решили предоставить мне возможность написать тебе, с тем чтобы ты смог получить мое письмо как раз в канун нашей годовщины, я проревела более двух часов подряд. Что тебе сказать? Какими словами заполнить столь долгое молчание? А вот, видишь, уже исписала целых десять страниц... Не знаю, каким образом это письмо попадет в твои руки. Знаю только то, что ты должен будешь его сжечь сразу же, как только прочтешь. И также знаю, что, пусть ты сожжешь его, тебе запомнится каждое мое слово. Жду тебя. Очень жду, дорогой мой человек. Я так люблю тебя!

Перевод с испанского В. МАЙОРОВА

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО

Дания

Все спокойно и умиротворенно, будто ничего не случилось. В зарослях вьюнка гудят пчелы. Солнце над дорогой, надо всем, что живет и страдает, и трудится, и грезит, и борется. Солнце уже низко, вечер умирает, но еще теплится, подобно иным мечтам. И что-то еще уходит с этим вечером, тает, пока не исчезнет совсем...

Среди сосен—дом. Цветы в саду. Изгородь из олеандров. Переплетения плюща. И окно. В окне — Дания, смотрит на дорогу, на питомник, на излучину реки, на улетающих птиц... Вот и опять воскресенье. И она ждет в ласковой тиши вечера.

По щекам покатились слезы. Она смахнула их, сердясь на себя за то, что плачет, и за то, что ей чудится в глубине сада. В самом воздухе. Это он смотрит на нее, и она думает: «Вот поговоришь с человеком раз-другой и еще раз — и незаметно подкрадывается привязанность».

Это было вот тут, в питомнике, а сейчас здесь так пустынно. Но в тот день... Он появился энергичный, с какой-то особенной манерой смотреть и улыбаться. Потом после его отъезда девушки затараторили: «Правда, что это новый лесотехник? Хотелось бы стать кустиком, чтобы он погладил. А что он у тебя спросил, Дания? Ты ему хоть сказала, что мы ударницы и ты наш бригадир? Сказала, конечно. А тебе он понравился?» — «Мне кажется, что вы только об этом и думаете».

Он уехал к водокачке, а они, стоя посреди плантации, провожали его взглядами, пока Дания не сказала:

[1] Свези-ка меня, приятель, куда-нибудь, где мог бы я выпить коньяку *(англ.)*.

— Ну хватит. За работу,— сказала, как отрезала.

Дания, рожденная, чтобы трудиться, любить и холить саженцы своего питомника, отдает делу все и требует совсем немногого. Живет одна, но одиночество ее не гнетет. Ходит по дорогам в спецовке широким солдатским шагом с книжкой по лесоводству в руках. Любит эти места, где у нее родились мечты, словно дикий розмарин, взращенный собственными заботами.

Поначалу Хорхе вроде сдружился с Надией, болтали о чем-то, и Надия хихикала будто от щекотки. А потом отдалился от нее, стал больше с Данией, они гуляли до самого вечера, беседовали на делянках питомника или на террасе дома.

В день «Фестиваля сосны» Дания удивила всех, появившись в платье апельсинового цвета, от которого, казалось, запылал даже воздух вокруг. Хорхе потанцевал с Надией. Потом с Тересой, с другими девушками, работающими в питомнике. Дания ждала, когда он подойдет к ней. И он подошел.

Привыкшая к рабочей одежде, она, танцуя, чувствовала себя в новом платье голой. Лицо пылало. Но танцевала хорошо. Улыбалась. Хорхе старался прижать ее к себе, она отстранялась. Взглядывала на окружающих — смотрят ли на них. Запах мужчины, полусвет и легкая ткань платья, ласково прикрывавшая ее тело,— ей же казалось — ничего не прикрывавшая. Кружилась голова. Их груди соприкасались, а ноги двигались в едином ритме. Он был совсем рядом и говорил-говорил: «Я не думал, что вы так хорошо танцуете... Девушки из питомника много о вас рассказывают...» А она чувствовала его руку на своей талии, и ее не покидало впечатление, что ткань платья исчезла, улетучилась. Смотрела на губы Хорхе, которые шептали: «Завтра я поеду в заповедник. Хотите со мной? Неплохо бы вам познакомиться с этой работой... Заеду за вами в шесть утра». Она кружилась и кружилась, глядя по сторонам, пытаясь угадать, слышит ли это кто-нибудь, потому что ей казалось, будто между ней и Хорхе возникло что-то интимное, связывающее их, оно чудилось ей во взглядах, в пожатиях руки, и у нее возникло ощущение, что этот их разговор стал как бы тайным свиданием. «Хорошо. В шесть». Он смотрел ей в глаза, а она прятала себя в них.

После вечера Хорхе довез ее на газике до дома и поехал отвозить еще Надию и Тересу.

А потом в ночной тишине: «К чему? Зачем все это? Ведь глупость... Он слишком молод... Правда, и я не старуха. И не безобразная... А вдруг все это взаправду?.. Да нет, просто мои выдумки». Дания, распростершись в постели, слушала в глухой ночи шум сосен, отдавшись мечтам и не веря им.

Когда она увидела появившийся из-за поворота газик, по телу словно искра пробежала. Ничего не сказали друг другу. Он открыл дверку, она пригнулась и поднялась в кабину.

— Хорошо захлопнули?

— Да,— ответила Дания.

Но он все-таки протянул руку, коснувшись ее груди, и с сухим щелчком захлопнул дверцу.

— Вот теперь действительно хорошо.

И рванул машину, отбросив назад плантации питомника. Над дорогой разлилась прохладная тишина. Прикосновения Хорхе на каждом ухабе будто током обжигали ее всю — от груди до ног и обратно до груди. Она смотрела на него. Но он не отрывал взгляда от ветрового стекла. Темные горы. Силуэты сосен, подернутые туманом. Дания глубоко вдыхала свежий воздух, напитанный смолой. На рытвинах их тела соприкасались. По сухой траве прядями стелился туман. Дорога петляла между соснами, и Дания, чего-то ожидающая и расслабленная этим ожиданием, произносит:

— Люблю рассветы...

Но он, кажется, не слышит. Она смотрит на него, ждет, что он заговорит, ответит ей, оторвет взгляд от дороги, смотрит на его рот, ждет его голоса. И вдруг чувствует такое желание провести рукой по его волосам, впиться в его губы, что сама пугается. Все как и при прежних встречах, только намного острее. Что-то ведь должно произойти, должно же случиться... Взошло солнце, и его лучи высушили росу на траве под соснами. Трава стала мягкой и свежей. Въехали еще в одну сосновую рощу. Высоченные деревья с прямыми и могучими стволами. Меж стволов играют солнечные блики.

— А вот и зона семенных сосен,— сказал Хорхе и остановил газик.

Вышли из машины. Среди ветвей гомонила уйма птиц. Томегины порхали с ветки на ветку. Их было такое множество, и большинство держались в воздухе. И от этого создавалось впечатление, будто они никогда не садятся.

— Когда-то их привезли в клетках и выпустили здесь,— сказала Дания.

— И правильно сделали.

— А я так и не поняла, зачем это.

— Очень нужная птица. Помогает сохранению экологического равновесия. Их привезли из Майари?

— Не знаю. Я ведь много чего не знаю.

Дания заметила, что стволы некоторых сосен, самых здоровых и мощных, помечены желтыми крестиками.

— А кресты зачем?

— Метки. Их наносят на деревья, от которых берут семена. Это лучшая роща в лесхозе.

— Как интересно! Мне бы хотелось пойти учиться. Только возраст уже не тот...

Он приблизился к ней и встал почти вплотную.

— Ну зачем вы так говорите?

Она стояла молча, опустив голову.

— Учиться никогда не поздно. То есть... К тому же вы еще совсем молодая.

Дания продолжала стоять, потупив взор.

— Пойдемте, сейчас я вас научу кое-чему.

Вышли на опушку. Сюда падала тень. Ветер раскачивал сосновые ветви, и между ними проглядывало небо, а по земле вперемежку пробегали темные и яркие пятна.

— Вот это женские особи сосен,— показал Хорхе.

— То есть?

— Да, да, есть сосны-мужчины и есть женщины...

— А как же их различить?

— Это немного трудно, но со временем научитесь разбираться. Женские деревья зацветают чуть раньше мужских — в июле, а мужские — в августе.

— А там что за соснища?

— О, это старожил. Такие сосны здесь, видимо, застал еще Колумб.

Она легко, крупными шагами поднималась на взгорок, уверенно выбирая точки опоры. Изредка Хорхе поддерживал ее за руку, продолжая свои объяснения и заглядывая ей в глаза. Взобравшись на вершину, остановились.

— Отдохнем? Вы тяжело дышите...

Хорхе растянулся на ковре из сосновой хвои. Она прилегла рядом, заложив руки под голову, и смотрела на вершины сосен, раскачивающиеся на ветру.

— Вы интересная девушка...

Она ждала, что он будет продолжать говорить, скажет ей что-нибудь такое... прикоснется, возьмет руку, и думала: «А что, если я

его попрошу? Нет, это нехорошо. Он должен сам. Парни из питомника делают это запросто, только мне не нравится. Он должен только забросить крючок или накинуть лассо, но сделать это он должен сам. Обязательно он».

Но Хорхе уже не смотрел на нее, внимательно изучая сосновую шишку и выколупывая из нее семена. Вдруг поднялся, отряхнул брюки и сказал:

— Ну пора. Еще много дел.

Он протянул ей руку, помог встать и пошел впереди, растирая пальцами сосновую хвою и поднося к носу, вдыхал смолистый запах. Дания двигалась в нескольких шагах сзади. Подошли к газику. Он снова принялся объяснять, почему так важно, чтобы она училась и как следует овладела лесоводческой профессией. Потом заговорил о Надии, и на глаза Дании набежали слезы. Она быстро отвернулась. Но он понял. Взял ее за руки.

— Что с вами?

Она не ответила.

— Дания, что случилось?

За нее ответили томегины своей металлически пронзительной песней.

— Вы действительно сможете учиться. Вы способная. А я вам буду помогать.

Быстрым движением Дания вытерла глаза и ответила:

— Конечно, смогу. Что тут такого...

Но все в ней медленно наполнялось грустью, тихой грустью любви, которая прячется за улыбкой.

Перевод с испанского Ю. ПАВЛОВА

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ

* * *

Что значит этот хаос
бесконечный, безначальный —
осознанная мной материя?

Я чувствовать могу.
Есть у меня
кровь жаркая.
И память.

Я властелин.
И под ногами у меня
рождаются моря, державы, континенты.
И вырастают горы.

Я сею хлеб.
И мысль.
Застраиваю древнюю планету.
Брожу среди созвездий...

Мгновенье делится
на прошлое и предстоящее.

Рабочий делает машины, плавит сталь.
Крестьянин сеет жито.
Читает книги ученик.
Строитель строит зданья.

Я песни создаю.
Мгновения ловлю, чтоб превратить их в песни.

Таков я по природе...

© Владимир Голев, 1981.

■ ■ ■

Горжусь, что я родился в наше время!
Я в том же веке жил,
что и Эйнштейн, и Королев,
Гарсиа Лорка и другой Гарсиа —
Маркес.
Блок и Стравинский.
Жолио Кюри,
и хриплый Армстронг,
и Высоцкий.
Пикассо, Лютер Кинг.

Я в атом вещества проник
и расщепил его.
Преодолел земное тяготенье.
Познал
Луну и Марс,
Венеру
и Юпитер.
Я вторгся в клетку,
понял, что такое ген,
загадку разгадал нейтрино
и тайну вечную
космических лучей...

Я —
краб,
что выброшен на сушу,
назад ползущий
к матери-воде...

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ

Любимый бульвар

Как я люблю широкий тот бульвар,
где темные аллеи, как тоннели,
где — Всадник, где орлы на мост присели,
людской поток заполнил тротуар.

Люблю тот нескончаемый поток
людей, как ручейки весной, журчащий —
из города в тенистый парк спешащий,
чтоб заключить он их в объятья мог.

Издалека пришел он к нам, Герой,
что в бронзе гимном воплощен по праву,
защитник, осененный вечной славой,
собой нас заслонивший, как горой!

Я очень часто думаю о том:
пусть всюду станут улицы такими,
чтоб люди вечно любовались ими,
бродя по ним счастливым светлым днем.

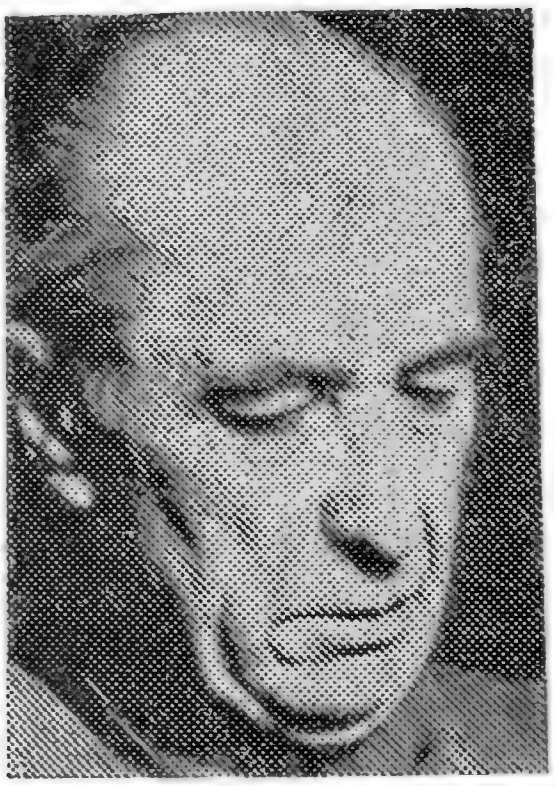
Да, я люблю широкий тот бульвар,
что не привык вздыхать от перегрузки.
Лежит на нем болгарский наш загар,
но дорог он своим названьем — Русский!

Перевод Л. КОНДРАШЕНКО

■ ■ ■

Поэты,
обитайте на Парнасе,
богам подвластные,
хранимые богами,
а землю и людей вы мне оставьте,
людей —
с высокими их страстями
и грехами.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ



ИВАН МИЛЧЕВ

■ ■ ■

Отхлынула атаки лава.
Убит боец. Спит вечным сном.
Его оплакивает Драва,
снег покрывает полотном,
знамена красные склоняет
заря холодная над ним,
и тело бронзой отливает
под солнцем медно-золотым.

© Иван Милчев, 1979.
© Иван Милчев, 1980.

Землетрясение

Оно пришло внезапно и нежданно,
его в один и тот же миг
и в той же мере ощутили
в домах и загородных дачах.
И ошарашенные люди
забыли споры и обиды,
и глиняные лопнули величия,
исчезли разом все различия,
и каждый думал о себе,
и равенство тут было полным.
Но матери остались матерями
и кинулись спасать своих детей,
себя не помня.
Все — одинаково,
поскольку матери все одинаковы,
для них дитя дороже жизни.
И за какие-то мгновенья
к людям
первоначальное их равенство вернулось.
Но растревоженная плоть земли
вновь задышала в равномерном ритме,
и первобытный страх исчез.
Жизнь в колею вошла,—
и люди ринулись спасать
утраченные вдруг различия...

Обращение к моему юному спутнику

Иду своим путем, по старому асфальту,
к случайным я прислушиваюсь звукам:
нестройному, глухому шуму рощ,
и к реву полноводных бурных рек,
и к голосам вблизи и вдалеке.
А ты, внезапно появившись на дороге,
смутил меня...

Да, нелегко идти с тобой вдвоем,
я шаг ускорить должен,
а ты, из вежливости пряча скуку, —
себя попридержать.
К тому же мне немного грустно:
нам вместе — лишь до перевала,
мне дальше нет пути.

Меня настигнет там минута,
мысль о которой сна меня лишала,
и след мой оборвется,
словно река в песках пустыни.
Один ты дальше путь продолжишь...

Ну а сейчас, пока еще есть время,
пойдем мы рядом.
Нет, нам вдвоем идти не будет легче —
я стану упрекать тебя, порой несправедливо,
а ты мне станешь возражать
и будешь прав.

Я прошлое несу как бремя
и потому немного медленней иду.
А ты вперед стремишься, как стихия,
и хочешь ветер обогнать.

И полетишь! И перегонишь!
Но только от земли не отрывайся слишком.
Когда слепые ветры понесут
воздушный шар твоих мечтаний,
тебе придется
часть груза моего взвалить на плечи —
балласт необходим.
Еще одно запомни:
не выверяй шаги по мне,
ведь я прихрамывал порой...

Перевод В. ВИКТОРОВА

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА

Комната

До утра
что-то страшное происходило
в этом доме.
И что-то от взглядов таила
эта странная комната.
И до рассвета
было слышно в тиши бормотанье поэта.
До рассвета он пел,
до рассвета он плакал
и в окошко глядел
среди полного мрака,
он писал, он страдал,
он слонялся в потемках,
и стихи свои рвал,
и сжигал их, и комкал...

Задержитесь у двери.
Не входите, не надо —
в эту комнату, скрытую
от пытливого взгляда.
Там сейчас тишина,
и войду я одна.

© Петя Йорданова, 1981.

Сяду на пол, усеянный тайнами грустными,
соберу по клочкам все слова безыскусные,
что пока ни признанья, ни славы не знают.
Я золу соберу, что уже остывает,
соберу по частям
его душу бездомную,
и возникнет он снова
в этой маленькой комнате.

Он душою коснулся
звезд далеких небесных
и живет в этих горестных
пламенных песнях.

Дом

Здесь мне страшно даже подметать —
в этом доме, сгорбленном и белом,
старом, как моя седая мать,
тихом, как отец мой поседелый.
Словно дуб — такой же долговечный
мой родимый дом со взглядом строгим.
Он начальный пункт и пункт конечный
всех моих надежд, любой дороги.

Выметая мусор из угла,
я боюсь, что вымету случайно
из уютной детской два крыла,
давние бесхитростные тайны,
мамин взгляд, ее лицо простое...
Дом умолкнет, станет как пустыня —
и внезапно детство золотое
навсегда мой старый дом покинет.

Кто же в мире защитит меня,
что же мне останется в наследство,
если дуб засохнет у плетня,
старый дуб, который помню с детства?
Коль исчезнет дом и я забуду,
как стоял он и с годами спорил...
И куда я возвращаться буду,
если потеряю этот корень?

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Человек с Лабрадора

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского ТАМАРЫ ЕРОФЕЕВОЙ

Жаку Трюфемю, который рисовал мир, глядя на него сквозь запотевшие окна лионского бистро.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.

I

Конец ноября 1937 года. Вечереет. Навстречу сумеркам с Соны ползет густой серый туман, лакируя булыжную мостовую.

За стойкой кафе «Три Марии» пухленькая рыжая барменша перебирает в деревянном ящике чечевицу. Заслышав шаги, она поднимает глаза. Одни прохожие, не глядя на нее, идут мимо, другие поворачивают голову и приветствуют легким кивком; рыжая девушка кивает в ответ, отчего огненной волной колышется грива ее волос, распущенных до плеч. Бистро на узкой улице самого старого квартала Лиона в эту унылую пору с утра до вечера погружено в полумрак. Летом лишь в полдень удается выключать свет на час-другой.

Скрежет дверной ручки и дребезжание стекол заставляют барменшу оторваться от чечевицы. Она не слышала шагов. Должно быть, мужчина, который сейчас пытается открыть дверь, носит обувь на мягкой подошве. Рыжая подает ему знак — надо толкнуть сильнее. Задребезжав, дверь со скрипом подается. Мужчина спускается на ступеньку и поворачивается, чтобы ее закрыть.

— Нужно чуть-чуть приподнять,— советует девушка. — Дерево разбухло от сырости. Посетители уже привыкли к этому.

В том месте, где облупилась серая краска, на каменный порожек стекает вода. Закрыв дверь, мужчина оборачивается и с улыбкой говорит:

— Откуда мне знать.

Барменша, видимо, его не поняла, и он повторяет:

— Ведь я-то не привык.

Она рассматривает мужчину с головы до ног, как будто он с луны свалился.

— Видно, что вы не здешний,— рассеянно замечает она. — Если б вы хоть раз сюда заходили, я бы вас узнала!

Такой мужчина приглянулся бы каждой девушке. Высок и строен, с черной, слегка растрепанной, но холеной бородкой. У него живой и вместе с тем глубокий взгляд, глаза темнее черных, как смоль, волос. Улыбка обнажает крупные, идеально ровные, белые зубы. Его

стройная фигура затянута в пальто из светло-коричневой кожи с широким поясом, который расстегнут. Под кожанкой пиджак и вельветовые брюки ржавого цвета. Расстегнутый ворот бордовой рубашки обнажает грудь, покрытую курчавыми волосами. Когда он, сняв фетровую шляпу с загнутыми полями, швыряет ее на мраморный столик, его кудри слегка взъерошиваются, словно шелковистая шерсть у животного, внезапно вырвавшегося на волю.

Барменша встала, отложив чечевицу. Взяв серую холщовую тряпку, она начинает протирать блестящую цинковую стойку. Несколько секунд незнакомец с легкой улыбкой наблюдает за ней, затем его взгляд останавливается на руке девушки, неторопливо водившей тряпкой.

— Чисто. Теперь вы можете заняться мной.

В его теплом голосе проскальзывает ирония. Барменша кладет тряпку на сушилку для посуды, вытирает кухонным полотенцем руки и спрашивает:

— Что желаете?

— Стаканчик белого со смородиновой наливкой, если оно хорошее.

— Хорошее, его достает сам хозяин.

— Где же?

— Точно не знаю. Но оно правда хорошее, все так говорят. Здесь есть знатоки.

Она наливает на дно маленькой рюмки немного маслянистой смородиновой наливки, затем до краев наполняет рюмку вином. В смеси образуются розовые и золотистые завихрения. Мужчина пьет не сразу. Он поднимает рюмку, потом ставит ее на стойку и пристально, почти сурово смотрит в карие глаза молодой женщины. Понизив голос, он спрашивает:

— Господин Уоллес тоже считает его хорошим?

— Это вы о ком?

Ее круглое, скуластое, сплошь усеянное веснушками личико и маленький вздернутый носик выражают крайнее изумление. Такой носик всегда, даже во сне, сохраняет удивленное выражение.

— Уоллес,— повторяет мужчина,— Диллон Уоллес... Американец. Здоровенный детина. У него такой акцент, что за лионца его никак не примешь.

От напряжения ее низкий лобик морщится, рыжая девушка на мгновенье задумывается, затем отрицательно поводит головой из стороны в сторону, и это вызывает ураган в ее огненной гриве.

— Я здесь никогда не встречала американца... Итальянцев тут полно. И все ругают Муссолини, чтобы им морды не били. Есть «козлята» [1]... Местные испанцы и беженцы. Но вашего, как его...

— Уоллес, Диллон Уоллес.

— Нет, такого не знаю. Я здесь работаю уже больше года и могу вам точно сказать, что ни разу не слышала этого имени. Ни разу.

Войдя в кафе, мужчина облокотился на стойку и свесил левую руку, которую барменша не видела. Сменив позу, он кладет эту руку на серый металл стойки. На большом, указательном и безымянном пальцах ампутированы по две фаланги.

— У Диллона Уоллеса то же самое, только на обеих руках. Пальцы у него еще короче.

У девушки перехватывает дыхание. На мгновенье устанавливается тишина, нарушаемая лишь стуком капель, падающих из крана на цинк. Рука незнакомца лежит неподвижно, словно вопрос, ожидающий ответа.

---

[1] Оскорбительное прозвище алжирцев и марокканцев. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— Ну так вот, совершенно точно, я никогда не видела вашего парня. Ведь я же запоминаю людей. А такого не забудешь!

Рука сжимается в кулак и медленно сползает вниз. Мужчина снова опирается на стойку. Он пьет маленькими глотками, а рыжая с беспокойством наблюдает за ним, на сжатых губах вертится вопрос, который она, наконец, задает:

— Отчего это? Несчастный случай?

Мужчина тяжело вздыхает. Лицо его озаряется улыбкой, глаза прищуриваются, и взгляд будто пронзает закопченные стены, устремляясь вдаль, за тысячи километров. Его ухмылка, похоже, означает: «Несчастный случай! Вот дуреха! Да разве такой человек, как я, может стать жертвой пошлого несчастного случая?»

— Нет,— мрачно отвечает он. — Отморозил.

— Отморозили? О ля-ля! И где это вас угораздило?

Снова наступает тишина, словно оставляя мужчине время мысленно совершить путешествие.

— На Лабрадоре! — роняет он.

Слово заполняет маленькое кафе «Три Марии». Оно кажется слишком емким, слишком таинственным, слишком чужим в этом старом квартале, пропитанном запахами плесени и нечистот.

— На Лабрадоре! — повторил мужчина глухим, усталым голосом. Правой рукой он поднимает почти полную рюмку. Только что рука была твердой. Сейчас она дрожит, и вино льется через край. Мужчина наклоняется вперед, чтобы не закапать пальто, залпом выпивает рюмку и ставит на стойку.

— Еще одну,— просит он. — Если вы хотите выпить рюмочку, то я от чистого сердца...

— Мне лучше кофе.

— Я угощаю.

— Большое спасибо.

Девушка подает белое вино со смородиновой наливкой, потом поворачивается к огромной кофеварке, сверкающей медью и никелем. Их отражения искажаются и соединяются на выпуклом аппарате, из которого валит пар.

Как только она обернулась к нему с чашечкой горячего кофе, мужчина спросил:

— Надеюсь, вы знаете, где это?

— Что?

— Лабрадор.

Она явно стесняется признаться в своем незнании. Но все-таки отвечает:

— Не совсем представляю.

— И не одна вы.

Мужчина вновь овладел собой. Рука перестала дрожать, в глазах — огонь. Могло показаться, что он вдруг узрел чудо.

— Представляете себе Америку?

— По правде сказать...

— Дайте мне листок бумаги.

Девушка отходит вправо, выдвигает ящичек со звоночком и вынимает оттуда блокнот фирмы «Сюз». Вместе с карандашом она кладет его перед мужчиной. Вновь появляется левая рука с изуродованными пальцами, которой он придерживает бумагу, а правой рисует нечто вроде двух груш. Острие карандаша упирается в середину верхней.

— Вот это Соединенные Штаты.

Карандаш ползет вверх.

— Это Канада.

Карандаш вновь поднимается вверх, смещаясь вправо.

— А вот здесь Лабрадор. Совсем рядом,— он рисует маленький овал,— Ньюфаундленд. Это остров.

— О Ньюфаундленде я слышала. Там ловят треску. — Рыжая явно довольна своими познаниями.— Край неблизкий,— прибавляет она.

— Да!

Карандаш отрывается от бумаги и останавливается на цинковой стойке, на расстоянии по крайней мере в две ладони от Лабрадора.

— Франция здесь,— говорит мужчина. — Как видите, совсем не близко.

— И вы были там?

— С моим другом Уоллесом... И собираюсь туда вернуться. Но сперва мне нужно разыскать этого парня. У него есть для меня бумаги.

— Вы думаете, он в Лионе?

— Мы расстались в Нанте. Он сказал: «В ноябре я буду в Лионе. Зайдешь в кафе «Три Марии» и спросишь меня. Если уеду, то черкну записочку и оставлю у барменши».

— У меня выходной по вторникам. Если он заходил во вторник, то, значит, оставил записку хозяину. Тот положил бы ее в кассу.

Она снова выдвинула ящик со звоночком.

Незнакомец перегнулся через стойку, чтобы самому заглянуть в ящик. Но в кассе лежало лишь несколько купюр, мелкая монета рядом с другим блокнотом фирмы «Сюз».

— Вот видите, ничего.

— А когда приходит хозяин?

— Каждый вечер перед закрытием, часов в десять, чтобы забрать выручку.

— Хорошо. Я зайду вечером.

Широким плавным жестом мужчина берет свою шляпу, надевает ее и выходит не оглянувшись.

II

Всю вторую половину дня и вечером беспрестанно мелькали завсегдатаи, приходившие в кафе точно, как на работу. Каждый заказывал одно и то же и выпивал на свой манер. Рыжая девушка подала дьявольски крепкий мятный ликер приказчику из бакалейной лавки, который вечно болтал о кино. На прошлой неделе он смотрел фильм «Пепе лё Моко» и влюбился в Мирей Балэн, две фотографии которой носил с собой в книжке заказов. Сразу же после него пришли два пенсионера, которые обменялись своими газетами. Они без конца спорили о «Боевых крестах» [1], полковнике де ля Роке [2] и процессе по делу о секретных фондах, выплачиваемых ему Лавалем или Тардьё[3]. Барменша считала, что напрасно они спорят о людях, не стоящих, как всем известно, даже веревки, на которой их следует вздернуть.

Два старика ушли, продолжая свой спор, а рыжая девушка обслужила низенького торговца брезентом, который вечно мусолил толстыми губами слюнявый окурок, вынимая его лишь тогда, когда отхлебывал вино «Понтар»; затем шорника с улицы Сен-Жан — он двумя глотками выпивал целый стакан красного вина; четырех картежников — они каждый вечер приходили к восьми часам и играли до самого закрытия; она принесла им обитую зеленым сукном доску, карты, жетоны вместе с двумя кувшинами «божоле». Она встречала посетителей одними и тем же словами и жестами; работая, она ус-

---

[1] Фашистская группировка, действовавшая во Франции перед второй мировой войной.

[2] Полковник граф Казимир де ля Рок — главарь «Боевых крестов».

[3] Лаваль Пьер (1883—1945) — правый французский политический деятель, в 30-е годы не раз возглавлял кабинет министров. Тардьё Андрэ (1876—1945) — правый французский политический деятель, в 30-е годы трижды возглавлял кабинет министров.

певала закусывать хлебом, сыром и яблоком — они заменяли ей ужин.

К рыжей редко забредал посетитель, незнакомый в здешнем квартале. Чужаки появлялись лишь по утрам, потому что на набережной размещался оптовый рынок. Так потихоньку и текла серенькая жизнь сырой поздней осенью. Но в тот вечер барменша вела себя не совсем обычно. Она то и дело украдкой поглядывала на улицу. Подавая кофе москательщику, который всегда пил его в восемь часов десять минут, она забыла налить молока. Мсье Саутер, швейцарец, давным-давно обосновавшийся в этом квартале, ни в чем не изменил своих привычек.

— Ты что, спишь? — проворчал он. — Может, любовника ждешь? А как же, милочка, мое молоко?

Девушка пожала плечами. Ее лицо залилось краской, она поспешно отвернулась, чтобы взять кружку с молоком. Картежники и другие посетители громко рассмеялись вместе с швейцарцем.

Без четверти десять пришел хозяин — человек небольшого роста, лет шестидесяти, кожа да кости, с угловатым, невероятно живым лицом. Он снял клеенчатую фуражку, которая оставила на его лысом черепе красную полоску, и вместе с плащом и пиджаком понес ее в крошечный закуток в конце зала, за баром.

Почти следом за ним вошел незнакомец.

Картежники, онемев, застыли с картами в руках, даже не успев объявить козыри. Маньен — зеркальщик, смаковавший у стойки третью рюмку коньяка, отпрянул с рюмкой в руке. Лицо барменши опять сделалось пунцовым, и ее глаза цвета увядших листьев быстро перебегали с патрона на вновь пришедшего; бросив шляпу на столик, незнакомец облокотился на стойку бара и сказал:

— Привет честной компании!

— Добрый вечер,— ответили ему.

— Что вам угодно, мсье? — спросил хозяин.

— Не дадите ли мне рома?

Рыжая повернулась, чтобы взять бутылку, стоящую на деревянной полке, справа от кофеварки.

— Ну так как, есть для меня новости? — спросил мужчина.

Хозяин, похоже, удивлен. Картежники, собравшиеся было приняться за игру, снова замерли. Зеркальщик, вытянув шею, чтобы лучше рассмотреть лицо незнакомца, робко подвинулся вперед.

— Я еще не успела спросить,— ответила она, с заметным трудом подавляя волнение.

Хозяин вопросительно посмотрел на нее, но чернобородый великан уже сказал:

— Неважно. Вы хозяин?

Старик утвердительно кивнул.

— Позвольте представиться: Фредди Жакье, друг Диллона Уоллеса. Мы вместе пытались пересечь Лабрадор... Он должен был оставить вам весточку для меня.

Старик — в недоумении. Все морщинки на его лице пришли в движение, маленькие, неопределенного цвета глазки расширились от удивления, затем подозрительно сощурились.

— В чем, собственно, дело?

Двое сидевших к ним спиной игроков снова повернулись на своих стульях, а зеркальщик все никак не осмеливался подойти поближе.

— Разве вы не видели Уоллеса?

Разговаривая, Фредди Жакье кладет левую руку на стойку. Кажется, обрубленные пальцы еще больше усиливают недоверие хозяина кафе, который недовольно ворчит:

— Никогда не встречал.

— Это американец, высокий такой, у него обе руки искалечены. Мы обморозились вместе. Ужасное было приключение, поверьте.

— Охотно вам верю, но я-то здесь при чем?

Незнакомец повторяет свой рассказ о записке, хозяин еще раз подтверждает:

— Ничего не было. Я в этом уверен.

Незнакомец встревожился. Его лицо нахмурилось, глаза стали какими-то бездонными. Несколько секунд он раздумывал, затем, наклонившись к хозяину и понизив голос, начал рассказывать:

— Я хорошо знаю Диллона. Когда переживаешь столько, сколько мы с ним пережили, то, поверьте, узнаешь друг друга. Не тот он парень, чтобы не сдержать слова. Если не пришел, значит, с ним случилось несчастье.

Отдельные слова незнакомец произносил так, что они приобретали пугающую значительность и силу. Вот и несчастье, о котором он упомянул,— никто из присутствующих даже не предполагает, что бы это могло быть,— взволновало весь зал. Оно подавило всех. Кажется, оно поразило их до глубины души, как будто каждый только что потерял близкое существо. Сообщение о том, что Гитлер вступил в старый Лион вместе с Муссолини и сотней тысяч коричневорубашечников, пожалуй, удивило бы меньше.

Довольно надолго кафе словно оцепенело, только сплетались и закручивались над головой сигаретные струйки, и дым колыхался, точно живой парус. Один из игроков в белот кашлянул; зеркальщик почесал грудь. По мостовой без конца, то приближаясь, то удаляясь, грохотали подкованные сапоги.

— Он сказал мне, что придет в ноябре, у него есть еще три дня. Если его не будет в среду, пиши пропало!

Фредди потеребил бороду изуродованной рукой. То, что он снова заговорил, слегка разрядило гнетущую атмосферу. Рыжеволосая девушка что-то завертывала в газету.

— Разве это так важно? — спросил хозяин.

— Важно? Для меня это вопрос жизни и смерти.

Человек с отрезанными пальцами сделал паузу, как бы желая убедиться, что его слышат все, затем, более спокойно, словно намереваясь рассказать длинную историю, продолжал:

— Лабрадор, уж вы поверьте мне,— прóклятая богом земля. Паскудный край, гиблое место. Но если он заденет вас за живое, все кончено. Вонзит в вас свои когти, как настоящий хищник, и не отпускает. Я оставил ему три пальца и знаю, что он отнимет у меня остальные, но я вернусь туда. Иного пути нет. Вот Уоллес уже не сможет. У него практически нет пальцев на руках, да и на ногах тоже. И все же он снова хочет туда.

Рыжая барменша, которая не проронила ни слова и не шевельнулась, пока Фредди рассказывал, не смогла сдержаться:

— Это же безумие!

— Ученые называют это магией Севера. Поверьте мне, ей все подвластны.

Игроки в белот решительно отложили карты. Зеркальщик подошел ближе и облокотился на стойку.

— Любой скажет вам,— продолжал незнакомец,— про чары золота. Верно, вначале так оно и есть. Но потом это быстро отходит на второй план. Да, скажу я вам, когда там побываешь, то поймешь, что вас покоряет пространство. Бескрайние просторы. Вас пьянит снег. Волки. Лес, который постепенно становится низкорослым, пока не сменяется лишайниками... Он как водоросли обледенелых земель. Пустота. Даже настоящего мха нет... Вы представить себе не можете... Безумие пустоты. Какое-то головокружение... Вот суть этого края. Его сила. Его великая правда. Он весь продут ветрами. Ветер там куда страшнее золота, вкрапленного в скалы...

В то мгновение, когда Фредди переводит дыхание, чтобы продолжать рассказ, который завладел вниманием всех, скрипя и дребезжа, открывается дверь. Полная женщина неопределенного возраста, в серой косынке, вошла в кафе со словами:

— Вы что? О времени забыли?

Это жена зеркальщика. Все взгляды устремились на настенные часы фирмы «Дюбоне», на бегущие стрелки которых никто не обращал внимания. Двадцать минут одиннадцатого.

— Черт возьми! — вырвалось у хозяина. — Так не годится. Завтра всем на работу!

Игроки в белот поднимаются, барменша убирает стаканы и карты, а посетители гуськом выходят за женой зеркальщика. Человек с Лабрадора берет шляпу, надевает ее слишком торжественным для подобного бистро жестом, затем становится посреди зала. Хозяин уже оделся. Девушка вытирает руки, надевает зеленое пальто с большим воротником, повязывает волосы красным бумажным платком. Мужчина идет за ней так, словно он всегда жил здесь. Он ждет, пока она прикрывает деревянные ставни, которые хозяин запирает на засов и большой висячий замок.

— Пока,— говорит хозяин, сворачивая налево.

— Всего доброго,— отвечает человек с Лабрадора,— я еще зайду.

Старик, владелец кафе, удаляется мелкими семенящими шажками, гулко отдающимися между стенами погруженных в темноту домов, в которых кое-где еще светятся красноватым светом несколько закрытых окон.

III

Они смотрели вслед старику, тот неуверенно шагал в темноте по неровной мостовой. Едва он повернул за угол, между высокими стенами, которые сливались с бесконечностью ночи, наступила прекрасная тишина. Фредди Жакье повернулся к рыжеволосой девушке:

— Вам в какую сторону?

— Я живу на улице Бёф,— показала она вправо.

Не спросив разрешения проводить, он пошел рядом по узким улочкам, где стремглав носятся кошки, гоняясь за жирными писклявыми крысами. Порой в туманной дали возникают смутные силуэты, освещенные уличными фонарями или полосками света, пробивающимися сквозь темные занавески на окнах. Кое-где слышатся из радиоприемников звуки аккордеона или голос певицы. Все кажется бесконечно далеким в этом приглушенном мире, наполняемом омерзительными запахами. Она стучит каблучками, иногда спотыкается, и тогда каблучки скрипят. Человек с Лабрадора в ботинках на мягкой резиновой подошве бесшумно, словно по свежему снегу необъятных просторов, шагает в ногу с ней.

Они свернули за угол, потом за другой и шли теперь по улице Сен-Жан. Когда они почти подошли к площади Шанж, мужчина сказал:

— Что говорить, золото там можно загребать прямо лопатой. Ну, а если освоился, это не так трудно, как кажется.

Девушка не ответила, лишь слегка приблизилась к нему, почти касаясь его локтем.

— Надо видеть Лабрадор, он — особенный... Ад, что всегда обещает превратиться в рай. Нет, надо видеть его...

Несколько шагов он идет молча, но заметно, что мысленно он все еще продолжает свой путь по той далекой земле. Ясный свет белых просторов озаряет его лицо; бескрайняя даль обширных равнин отражается в черных омутах его глаз.

— По озеру Мишикамо мы прошли около двухсот километров.

разыскивая индейцев из племени наскопи. Диллон рассчитывал, что они станут нашими проводниками. Я же в это не верил. Я стоял за то, чтобы пройти туда другой дорогой, но Уоллес всегда был упрям, как баран. Так как у экспедиции должен быть начальник, то мы договорились, что в случае спора последнее слово за ним. Никуда тут не денешься. Ведь он составил карту с помощью геологических планов, которые продал ему в Нью-Йорке старый индеец. Дело ясное, индеец пришил какого-то геолога... Уоллес расплатился честно. Остальное нас не касалось. Мы ведь не полиция. Пусть этой работенкой занимаются «красные мундиры».

Они доходят до середины улицы Бёф, более узкой и мрачной, чем остальные в этом квартале. Какой-то пес с грохотом опрокидывает бак для кипячения белья, из которого в сточную канаву льется зловонный поток. Пес удирает. После оглушительного грохота наступает такая тишина, что четко слышен стук когтистых лап по мостовой.

— Здесь,— шепчет девушка. Она не приглашает его войти, но и ничем не выказывает намерения оставить на улице. Он теребит бороду, затем спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Софи... Софи Марион.

— Я буду звать тебя Нелли,— решительно заявляет он.— Мне так больше нравится.

Рыжеволосая девушка жестом показывает, что ей это безразлично.

Едва она делает еле заметное движение, чтобы войти в дом, как он берет ее за локоть и поворачивает к себе. Его взгляд кажется еще более мрачным, более жестким при слабом освещении, которое резче подчеркивает черты его лица. Низким, чуть свистящим голосом он спрашивает, словно охваченный тревогой:

— А тебя интересует Лабрадор?

Нелли не находит что ответить. Круглое ее личико даже слегка осунулось. Мгновенье она с испугом всматривается в его лицо, которое, должно быть, чуть-чуть пугает ее. Как бы подыскивая извинение, она бормочет что-то невнятное:

— Разве женщины могут...

— Конечно,— перебивает он,— в состав экспедиции ты войти не сможешь, это слишком тяжело. Но на берегу есть база, жилье. Место это называется Норт-Уэст-Ривер-Пост. Там обычно высаживаются, когда приезжают с Ньюфаундленда. Нужно оставить кого-нибудь на базе, чтобы он мог заняться припасами и позаботиться обо всем в наше отсутствие. С этим ты бы справилась! Может, придется вызывать помощь, если с нами что-то случится.

Нелли качает головой.

— Это ты смогла бы,— настаивает Фредди,— и получила бы свою долю добычи, если рудник станет приносить доход.

— Все же,— шепчет Нелли,— это не так просто! И даль-то какая. О, боже праведный!

Она ничего не обещает, но все в ней уже выражает покорность. Всякий раз, когда мужчина произносит новые названия, вроде Сент-Джонс на Ньюфаундленде, залив Джеймс или Норт-Уэст-Ривер-Пост, ее взгляд затуманивается. Веки вздрагивают. Ноздри ее маленького вздернутого носа трепещут, как будто она уже вдыхает этот ужасный северный ветер, который несет острые снежинки и волны ледяного холода. Прошло много времени, прежде чем ее головка медленно склонилась в знак согласия, но не с сожалением, а напротив, с какой-то твердой уверенностью.

Словно уже подталкивая ее к пароходному трапу, бородач повернул девушку в сторону входа, где царила непроницаемая мгла и откуда несло запахом помоев и мочи.

— Идем,— сказал он.

И она пошла, шепча:

— Здесь темно. Дай руку, я тебя поведу.

Держа Фредди за руку, она повела его между отсыревшими стенами, затем по винтовой лестнице, которая, казалось, бесконечно ввинчивается в ночь.

Они поднимались медленно, ступая на самые широкие, истертые каменные ступени. Наконец, вошли в коридор, куда через слуховое окно проникает слабый свет. Нелли остановилась, отпустила руку Фредди и повернула ключ в замке, который щелкнул, как крысоловка.

IV

Они уже больше двух часов находились в комнате, а незнакомец без умолку рассказывал о Лабрадоре. Едва Нелли открыла дверь, он быстро оглядел по сторонам, как человек, привыкший мгновенно оценивать обстановку. В мансарде, чьи стены выкрашены охрой, стояли узкая железная кровать, плетеный стул, серый табурет, обшарпанный комод с тремя ящиками и кухонный стол, на котором скопились «Эко де ля мод» и «Прогре де Лион». Мужчина сразу же взял стул.

— У тебя бумага есть? — спросил он, присаживаясь к столу.

— Посмотри в ящике.

Он взял пачку розовой почтовой бумаги и, не теряя времени, принялся рисовать. Ему понадобилось положить рядом два листа, чтобы нарисовать фиолетовыми чернилами неровный круг с утолщениями, пунктирами, внизу, с правой стороны,— длинное овальное пятно, наверху, с левой стороны,— более крупное пятно в форме растрепанного цветка. Он рисовал молча, с прилежанием хорошего ученика, придерживая бумагу изуродованной рукой.

Ни звука, ни слова. Только изредка он глубоко вздыхал и слегка покачивал головой.

Пока он чертил свой план, Нелли стояла чуть подавшись назад, чтобы тень ее не падала на стол. Закончив рисунок, он выпрямился, чуть отодвинулся назад и, кажется, лишь теперь заметил присутствие Нелли. Его перо остановилось внизу, в самом правом углу листа бумаги.

— Вот здесь Норт-Уэст-Ривер-Пост.

Он пишет крупными буквами: НУРП.

Нелли подошла ближе, но сесть не осмелилась.

— Стань с другой стороны, свет загораживаешь.

Нелли сменила место. Она слушала и старалась внимательно следить за его пером, отчего ее маленький лобик, на котором дрожала прядь волос, морщился. Перо медленно поднялось по извилинам чертежа.

— Вот здесь, смотри, Гранд-Лейк.

Он делает пометку — ГЛ.

— На северном берегу есть хижина траппера. Неизвестно, кто ее построил, но всегда находятся люди, которые не дают ей развалиться. Не поверишь, но она как новая.

— В ней кто-нибудь живет?

— Сейчас там живет парень, англо-канадец. Его зовут Диксон Макферлан. Крепкий малый. Но с ним нелегко сойтись. Можно подумать, что перед тобой бульдог. Он тебе и трех слов не скажет. Но если нужна помощь, когда ты в беде, можешь смело идти к нему. Эти люди знают, что такое Север. Они умеют рисковать. Они не дадут погибнуть сбившемуся с пути... Это он помог мне спасти Уолле-са... Без него мы пропали бы.

На мгновенье он замолк. Должно быть, вновь переживал те страшные часы. Нелли тоже молчала. Что-то таинственное повисло в комнате. Словно натянутая струна, которая могла порваться от любого пустяка.

Перо начертило крест.

— Здесь две реки, по которым можно подняться... Но этого никак нельзя делать. Это Крукед-Ривер и Сьюзен-Ривер. Они никуда не ведут. Кругом лишь голые, как этот лист, скалы, они выщерблены ветром, который может свалить канадского лося... Ты даже себе представить не можешь, какие ветры бывают в этом краю.

Он опять молчит, несомненно, хочет вновь услышать мрачное завывание ветра, который манит его.

— Вот почему не надо подниматься ни по этой, ни по той реке. Нужно идти по реке Наскопи. Довольно легко. Конечно, Наскопи не Сона. И даже не Рона, если взять по течению вверх от Лиона. Реки, которые ты можешь здесь увидеть, это просто сопли ту́пика.

— Сопли кого?

— Тупика. Красивая тамошняя птица. Если поедешь, сама увидишь. И, конечно, попробуешь ее мясо... Так о чем я говорил? Ах да! Разливы здешних речек — просто лужи по сравнению с реками Лабрадора. Ручейки для французских скаутов. Если хочешь понять, вообрази Рону, но в десять раз более капризную. Со спокойными бродами, они раз в сто больше озера Золотая Голова. Есть такие бурные участки, что приходится вытаскивать лодки на сушу и волочить поклажу долгие километры.

— А как же лодки?

— Несешь на себе.

Нелли, кажется, не поверила.

— Ну ты и заливаешь,— с улыбкой говорит она.

Он хмурится. Взгляд его становится жестоким, и он бросает:

— Неужто ты думаешь, что мне хочется травить тебе байки?

— Но ведь это же лодки...

— Говорю тебе, их вытаскивают из воды и тащат на спине.

— Как же так?

— Ты не думай, это не деревянные лодки. А каноэ из коры. Покупают у индейцев. Их довольно легко нести вдвоем. Но там нет шоссе, сама понимаешь. Все время продираешься сквозь кусты, идешь по осыпям и скалам, с которых нужно не сорваться. Таких мест ты и в жизни не видела. Вначале перетаскиваешь лодку, а следом за ней — снаряжение.

— И ты называешь это жизнью?

Он с улыбкой посмотрел на нее.

— Лучше не бывает.

Мужчина задумался. Лицо его стало печальным. Он медленно встал, словно ему на плечи давит тяжелый груз каноэ, провианта и снаряжения. Своей изуродованной дрожащей рукой он ожесточенно ерошил бороду. В глазах мелькали тревожные огоньки. Он, как загнанный зверь, оглядывался по сторонам.

— Мы с ним,— сказал он,— не ошиблись. Мы удачно поднялись вверх по Наскопи. Диллон Уоллес знал, что делает. Индеец из Нью-Йорка снабдил его отличной картой. Вот только...

Он замолчал. Его молчание давило сильнее, чем груз, который он таскал по скалам Севера. Взглянув на Нелли полными тоски глазами, он продолжал:

— Я должен сказать тебе правду. Нас было не... двое, а трое.

На мгновенье он закрыл глаза. Должно быть, он думал о чем-то своем, об очень далеком, о сути того давнего прошлого, наполненного страшными картинами.

— Нас уехало трое,— дрожащим от волнения голосом рассказывает он,— вернулось только двое. Однако третий тоже был крепкий

парень. Его звали Джордж Элсон, он канадец. Уоллес старше меня на четыре года. Прошел войну. Там, в восемнадцатом году, он и познакомился с Элсоном. Надежный с виду малый, который утверждал, что знает Север как свои пять пальцев. Но, черт его дери, этот парень, наверно, видел Север только на картинках. И леса вроде тех, что изображаются в календарях, выпускаемых на фабриках в Сент-Этьене. Родился он в Ванкувере, на Тихоокеанском побережье. Парень смелый, но без царя в голове. Ему это стоило жизни, а наша экспедиция провалилась.

Голос его стал менее хриплым. Похоже, Фредди несколько успокоился.

— Я расскажу тебе,— продолжал Фредди,— как он умер. Клянусь, это было страшно! Теперь могу сказать лишь одно: тащить такого верзилу, наполовину замерзшего, право же, каторжная работенка. Кроме того, у этого типа была какая-то карта, калька, снятая с карты, составленной еще до девятисотого года неким Лоу. Это моряк, который, наверное, видел Лабрадор лишь с мостика своего судна, плывшего по заливу Гроссуотер!

Фредди залился саркастическим смехом. Нелли тоже рассмеялась, глупо повторяя:

— Гроссуотер, Гроссуотер! Ну и названьице!

Но полярный исследователь не слушал ее. Он снова стал серьезным.

— Все думают, что Лабрадор — это шуточки. Забывают об одном: даже Джеймс Кук, знаешь, знаменитый Джеймс Кук, не посмел туда сунуться. Именно он первым сделал наброски карты побережья. Но составить карту внутренних районов полуострова не смог. Он не хотел рисковать, этот мистер Кук. Единственный, кто попробовал до нас сделать это, был Генри Йуль Хьюид. Американец, который собирался пересечь этот край, но, наверное, не сумел зайти вглубь... Признаюсь тебе, Нелли, чтобы иметь верный шанс на успех, нужно сколотить группу из здешних парней. Из молодежи. На Лабрадоре я знаю одного траппера, который может нам помочь. По-моему, работенка там не для американцев. Эти парни — ковбои. Их дело — завоевывать на лошадях Запад. В остальном за них не дашь и навоза карибу.

Фредди замолчал. Он немного разволновался и, казалось, нуждался в передышке. Несколько минут Нелли молчала, не желая тревожить его задумчивость, затем спросила:

— Чьего навоза?

— Карибу. Ты, конечно, не знаешь, что это такое. Он похож на оленя, но куда больше на быка! И бегает он, как заяц. Я немало их пострелял... Без них меня сегодня здесь бы не было. Запас продовольствия у нас был вчетверо меньше необходимого. Много продуктов потеряли в пути. Мы промокли, пропахли зловоньем, нас по пятам преследовало зверье... Когда подстрелишь карибу, то объедаешься мясом, потом его коптишь и забираешь с собой лучшие куски. А остатки сожрут волки.

Нелли явно охватил страх.

— Волки?

— О, этих вполне хватает. И с ними надо держать ухо востро, уверяю тебя. Пока снег не выпал, жить еще можно, но когда у них от голода брюхо сводит, лучше им не попадаться.

И он принялся рассказывать про волков. Рыжая девушка скрещивает руки на груди. Она прикрывает ладонями плечи, чтоб было не так страшно. Красные глаза горят совсем рядом, в комнате, шерсть у волков вздыбилась, пасти с клыками, которые навели бы дрожь на целый полк кирасир, широко раскрыты. Худые, с впалыми боками, они идут следом за людьми, чтобы в конце концов напасть на них на привале.

Надо сохранять адский огонь и держать их в отдалении. Надо бороться с усталостью, сном, холодом, следить, как бы не обморозиться. Уснуть — значит дать погаснуть костру и погибнуть, это голодное зверье перегрызет тебе горло. Пристрелить одного или двух — значит потерять патроны, которые рано или поздно кончатся. Стая отбегает всего на несколько шагов и сразу же возвращается обратно, еще более сплоченной, еще более свирепой. Движущаяся цепочка холодных волчьих глаз все ближе и ближе. Они уже здесь, в маленькой мансарде, где девушка стучит зубами от страха.

— Что с тобой? Страшно?

Она утвердительно кивнула головой, и мужчина захохотал от чистого сердца. Добродушный смех тотчас же разогнал стаю волков. Смех словно погасил огонь в костре и вернул мансарду на место, в старый, окутанный туманом Лион.

— Ты что, вправду испугалась?

— Да... Немного.

Он тихо, почти с нежностью, рассмеялся; сделав легкое движение, Фредди обнял девушку. Он прижал ее к груди и прошептал:

— Нелли... Я знал, что встречу тебя... Мы уедем на Лабрадор... Ты останешься в Норт-Уэст-Ривер-Пост... Подождешь, пока мы найдем месторождение. И как только мы отыщем золото, на руднике построят город. Ты будешь королевой этого города. У тебя будет все, что пожелаешь. И даже больше.

Он обнял ее и поцеловал в губы долгим поцелуем, подталкивая к кровати, на которую она покорно упала. Заскрипели пружины и матрас. Они скрипели долго-долго, затем скрип стих.

Одежда разбросана на полу, по обеим сторонам кровати. Фредди и Нелли сжимают друг друга в объятиях.

— Знаешь,— сказал мужчина,— в палатке, под меховыми шкурами, места не больше, чем здесь. Но там ты будешь слышать не скрип матраса, а рычание диких зверей... Только вот в глубь материка женщины не проникают никогда... никогда... никогда...

Он растягивал эти три слова, словно выражал тягостное сожаление... Взгляд его уже стремился через океан, к той земле, где он так упорно трудился, так много страдал и зов которой, кажется, проникал ему в самую душу.

V

Шум города разбудил их гораздо раньше, чем серенький рассвет, в котором еще дрожат отблески фонарей, погасил уличное освещение. Слуховое окно довольно далеко от края крыши, и на улицу не выглянуть. Отсюда виднелась лишь крыша напротив, а также крыши других домов, что громоздятся друг на друга. И вдали — последний сноп дымовых труб, верхушки голых деревьев Фурвьера [1] на фоне остекленелого неба, где нарождающийся день, казалось, боролся с ночью, упрямо вцепившейся в город. Дыхание тумана проникало сюда с Роны и Соны, как бы растворяя город в облаках.

Человек с Лабрадора долго стоял у окна, всматриваясь в небо. Он накинул кожаную куртку прямо на голое волосатое тело. Лежа в постели, Нелли какое-то время наблюдала за ним, не осмеливаясь прервать его раздумья. Так как он не шевелился, она наконец тихонько поднялась, безуспешно пытаясь не скрипеть. Накинула красно-желтый цветастый халат, достала из шкафа кувшин и вышла. В самом конце коридора, куда выходят двери других мансард, находится туалет с умывальником. Все это домовладелец именует комнатами со всеми удобствами и водопроводом.

---

[1] Фурвьер — высокая гора в Лионе на правом берегу Соны, на которой построена базилика Нотр-Дам де Фурвьер.

Молодая женщина ненадолго закрылась в туалете. Затем снова открыла дверь, наполнила кувшин и медленно пошла назад по щербатому сосновому полу коридора. Половицы стонут под ее ногами. Она осторожно приоткрыла дверь. Фредди отошел от окна и сел за стол. Он, не сняв куртки, оперся локтями на стол и обхватил голову руками. Перед ним карта, которую он начертил вчера. Не поворачивая головы, словно продолжая начатый разговор, он спокойно заметил:

— Труднее всего на севере Потерянного озера. Там ужасный волок. Кроме индейцев, никто никогда не заходил так далеко. Дальше лишь несколько пустяковых маленьких порогов. Потом мы выходим в озеро Мишикамо... Вот там есть золото. Ясно, что оно там, но поди узнай, где именно. Этот район равен трем департаментам... Если я не разыщу своего Уоллеса, то, поверь мне, туго нам придется.

Он замолчал. Нелли с кувшином в руке стояла посреди комнаты. Несколько секунд она подождала, пока стихнет грохот колес на мостовой, затем сказала:

— Сейчас сварю кофе.

— Я бы выпил чаю.

— С удовольствием, но у меня заварки нет.

Повернувшись к ней, он пригладил бороду и покачал головой.

— Не важно. Тому, кто пережил с мое, чтобы согреться, хватит даже кружки растопленного снега с щепоткой любой травы.

Он встал, наброшенная на голое тело куртка распахнулась. Нелли тут же ставит кувшин на стол и бросается к нему в объятия. И вот они снова на кровати...

...Нелли, умывшись в большом эмалированном тазу, слила воду в широкое голубое ведро с крышкой.

— Здесь у меня не слишком уютно,— заметила она.

— И все же лучше, чем на привале... Правда, говоря «лучше», я имею в виду тебя. Мне только дай простор, а на все остальное наплевать.

Он рассмеялся и прибавил:

— С простором тут, конечно, плоховато. Чтобы пиджак натянуть, приходится чуть ли не окно открывать. Ничего другого не остается, как лежать обнявшись.

Молодая женщина вынула из шкафа спиртовку, зажгла ее и осторожно поставила на огонь алюминиевую кастрюльку. Пока закипает вода, она садится на табурет, чтобы помолоть кофе. Треск кофейной мельницы и шум с улицы мешают им разговаривать. Мужчина, совсем голый, умывается в тазу, который поставил на стул. Нелли смеется, глядя, как он брызгается. Она на мгновенье перестает молоть кофе и говорит:

— Думаешь, что ты на берегу своего Ширамо.

— Не Ширамо, а Мишикамо!

— Мишикамо.

Они оба хохочут.

— А ты славная девушка,— сказал Фредди.

Она медленно высыпала кофе из маленького деревянного ящичка в керамический фильтр. Он подошел и положил ей руки на плечи. Она встала, держа ящичек в руке. Лицо путешественника исполнено серьезности. Он шепчет, придавая, насколько может, значительность каждому своему слову:

— Это правда... Я знал, что встречу тебя... Ты так была мне нужна. Для великих дел мужчине необходима поддержка.

Он задумался. Потом слегка наклонился к ней, словно хотел поцеловать, но остановился и тихо признался:

— Мне надо, чтобы меня понимали, это главное.

Они поцеловались. Затем, когда губы их разъединились, Нелли прошептала:

— По-моему, я люблю тебя.

Тогда Фредди, немного отстранив ее, пристально посмотрел ей в глаза.

— Малышка моя, знаешь, такой мужчина, как я, кое-чего стоит... Кое-чего стоит.

VI

Человек с Лабрадора отправился за своим чемоданом. Он не сказал, куда именно, и Нелли его ни о чем не спросила. Она проводила его на другой берег Соны через мост Шанж, гордясь тем, что идет рядом, затем возвратилась по мостику Пале. И, как обычно, без пяти одиннадцать была на работе. Хозяин тут же дал ей денег на продукты. Она купила два отличных куска свиной печенки, батон хлеба и килограмм красных яблок. На гарнир к печенке она приготовит лапшу.

С половины двенадцатого до часа в кафе наплыв посетителей. Люди толкаются, стараясь пробиться к стойке. Только поворачивайся. Хозяин без конца ворчит. Он считает, что рыжая слишком нерасторопна, и называет ее неуклюжей деревенщиной. Она родом из Курбузона [1] — маленькой деревеньки в Ревермоне, поблизости от Лон-ле-Сонье. Эти названия — неисчерпаемый источник шуток для посетителей. Девушка лишь пожимает плечами, она ведь не дочь крестьянина. Ее отец, старший сержант сорок четвертой дивизии, получил медаль за Верден. Дважды ранен. Он служит вахтером на фабрике «Ля ваш ки ри». Мать по утрам убирает кабинеты дирекции, а после обеда ведет хозяйство у доктора. У Нелли есть брат, он старше ее на два года, механик на той же фабрике. Это почтенная семья, которая честно зарабатывает себе на жизнь.

Сегодня рыжая девушка не обращает внимания на шутки. Она привычно выполняет свою работу — подает «божоле», перно, смородиновую наливку или кофе. Она делает все автоматически, мысли ее далеко от их жалкого бистро. Она не замечает потрескавшейся штукатурки стен, на которых пузырится и лопается краска, она вырывается из ничтожных пределов города, даже континента, устремляясь к просторам, о существовании которых выпивохи, присосавшиеся к своим рюмкам, и не подозревают. Эти люди ничего не знают. Кое-кто из них полагает, будто пережил великое приключение, потому что провел четыре года в окопной грязи; другие без конца толкуют о жалких событиях своей военной службы, но никто не хочет по-настоящему уйти от серых будней.

Сейчас за всеми столами в центре разговоров — повышение цены пачки «Голуаз» с двух франков тридцати сантимов до двух франков семидесяти; воспоминания о подвигах Лапеби на Тур де Франс; Макс Дормуа [2], который якобы сделал скандальные разоблачения; поджигательские речи Адольфа Гитлера, этого сумасшедшего, которого они обсуждали часами. Но эта болтовня ее мало сегодня интересовала.

Сотни раз девушка подбегала к двери, провожая взглядом прохожих.

Но вот суматоха кончилась. Она ненадолго ушла в закуток, чтобы поджарить печенку и сварить лапшу. Открыла банку с томатным соусом. Они с хозяином ели, сидя друг против друга за столиком в углу зала, у самой стойки. Нелли еще не успела вымыть тарелки, когда хозяин выпил горячего кофе и ушел, бросив ей на ходу:

— Не знаю, чем у тебя с утра голова забита, но ты сама не своя. Постарайся взять себя в руки, пока меня не будет.

---

[1] Курбузон (Courbouzone) — холмистая местность. Здесь — намек на ягодицы.

[2] Дормуа Макс (1886—1941) — французский политический деятель, министр внутренних дел в кабинете Леона Блюма.

Она что-то проворчала в знак согласия и поспешно принялась мыть посуду, стаканы, протирать тряпкой столы, подметать пустой зал. Каждую секунду она бросала взгляды на улицу.

Такие важные персоны, как он, вряд ли войдут туда, где еще царит беспорядок, и человек с Лабрадора появился лишь тогда, когда Нелли уже вымыла руки после уборки.

Он нес маленький чемоданчик из коричневой кожи с обитыми жестью углами и выглядел очень усталым. Нелли немного растерялась, будто луч солнца внезапно ударил ей в лицо.

Потом бросилась к нему.

И вот она, порывисто дыша, дрожа, разрумянившись, прижалась к Фредди.

Он ставит чемоданчик и крепко обнимает ее. Они выглядят так, словно встретились после войны, пережив разлуку, страх и надежду.

— Я люблю тебя,— шепчет Нелли.— Да, я люблю тебя.

— А я верю, что искал только тебя.

— Ты думаешь, мы уедем?..

Вопрос Нелли остается без ответа. Задребезжала дверь. Они отпрянули друг от друга.

Входит шорник с улицы Сен-Жан вместе с коммивояжером по продаже шорных товаров, у которого выговор южанина. Они усаживаются за столик; коммивояжер без умолку болтает.

Нелли обслуживает их, даже не спросив, чего они желают. Большой бокал красного — для шорника и кофе с коньяком — для болтуна, который заходит в бистро раз в месяц.

Фредди облокачивается на стойку. Нелли занимает свое место у бара, наклоняется над раковиной и тихо говорит:

— Обычно, когда они приходят, мне интересно их послушать. Сейчас мне хотелось бы, чтобы они помолчали. А их разговоры о Гитлере... ты знаешь, если бы я хоть что-нибудь в них понимала!

Мгновенье они молчат, потом Фредди спрашивает:

— Не найдется ли у тебя что-нибудь пожевать?

Взгляд рыжей девушки помрачнел.

— Бог мой, я совсем забыла. Ты же ничего не ел?!

— Я и не к такому привык.

— Могу сварить яйца. Лапша осталась.

— Подогрей лапшу и разбей туда яиц.

— Да ты, старик, еще и повар!

— Если привык обходиться безо всего, лапша и яйца — просто королевская еда.

Их связывает какая-то глубокая радость, явное желание жить вместе и все делить пополам.

Он проходит за ней в закуток, приподнимает ее волосы и целует в шею, пока она занимается готовкой.

— А если хозяин войдет?..

— Бояться нечего. Ты же говорила, что после обеда он никогда не приходит.

— А если кто ему скажет?

Она выходит в зал, пока человек с Лабрадора ест яичницу с лапшой на краешке откидного столика. Она с восторгом глядит на него из-за стойки. Двум посетителям до нее нет дела.

Незаметно наступил вечер. Маленький торговец брезентом явно некстати затеял с Фредди разговор, толкуя ему о рабочих, которые своими забастовками втянули Францию в беду.

— Представьте себе, Международная ярмарка закрылась, а павильон Мексики так и не достроили!

Но его собеседник только посмеивается над Мексикой, а заодно над Блюмом и выставкой. Он тут же начинает во всех подробностях рассказывать о своей экспедиции.

Они сидят за столиком, стопка блюдечек от аперитивов перед ними растет. Человек с ампутированными пальцами говорит, а торговец брезентом молча слушает, зажигая время от времени слюнявый окурок, который мусолит во рту. Сквозь огромные стекла роговых очков он пристально смотрит на собеседника, будто подсчитывает рулоны самого лучшего, невиданного брезента. Он изумленно покачивает головой, то и дело поворачивается к стойке и кричит девушке:

— Ты-то хоть понимаешь? Вот это люди!

Почти все другие посетители задерживаются дольше обычного, но никто не может засиживаться так долго, как он, поскольку на работе его подменяет приказчик.

К шести часам приходят сапожник с улицы Жюивери, угольщик с набережной и еще двое. Обычно в это время их здесь не бывает, как и булочника с площади Шанж или штукатура-маляра с улицы Сен-Жорж. Однако сегодня они пришли сюда, словно их кто-то позвал. Расставили стулья в кружок. Особый интерес проявляет булочник. Во всяком случае, он задает вопросы, другие же впитывают слова этого незнакомца, который, кажется, может рассказать обо всей земле. О земном шаре во всех его измерениях. О его длине, ширине, высоте, округлости, а также о глубине земли, которая бездонна, как время.

Булочник Жозеф Бертон много читает. У него немало книг о Севере. Вначале он слушает с недоверием. Похоже, он сомневается в том, что рассказывает Фредди. Булочник говорит со знанием дела и задает очень точные вопросы о флоре и фауне. Остальные слушают, покоренные познаниями двух собеседников, которые перебрасываются через стол удивительными названиями. Канадский лось, карибу, северная синица, тундровая лиса, кипрей, голубика, черный терновник и другие диковины.

Наконец булочник, кажется, поверил. Он уже подсказывает Фредди, как будто сам участвовал в экспедиции.

Если кто-нибудь вмешивается, стараясь узнать подробности, то чаще всего он сам дает разъяснения, досадуя на потерю времени:

— Тысяча чертей! Да ты ничего не знаешь!

В конце концов его охватывает волнение. Беспрестанно вздыхая, он повторяет:

— Черт возьми! Будь я хотя бы годков на десять моложе, ни минуты бы не колебался. Поехал бы с тобой, Фредди. И даже без плана, говорю тебе, мы найдем твои золотые россыпи. Мы найдем их вместе. Я уверен! Это не страшнее, чем Шмэн де Дам[1] или Дарданеллы![2]

— Я хоть на десять лет моложе,— вмешивается в разговор торговец брезентом,— но не чувствую в себе достаточно сил. Мне всего сорок восемь лет, а я уже в путешествия не гожусь. Но если эти ребята хотят поехать, то я готов снабдить их материалом для палаток и багажа. Уверяю вас, все будет сделано на совесть!

Все переглянулись.

— Пожалуй, кое-что может дать каждый из нас. Так всегда финансируют большую экспедицию! — подхватывает булочник.

Вошел хозяин. Никогда он еще не видел у себя столько народу в такой поздний час. Даже картежники отложили карты и просто пьют вино. Хозяин тоже начинает прислушиваться к разговору.

Только Нелли не стоит на месте. Ей удается не пропустить ни слова из того, о чем рассказывает Фредди. Каждый раз, когда нужно подать новую порцию, она делает это бесшумно, старается не звенеть

---

[1] Место в Альпах, где шли бои между французскими и немецкими войсками в апреле 1917 г. — мае 1918 г.

[2] Место боев между англо-французской экспедицией и турками в 1915 г.

стаканами и бутылками. Ей не надо спрашивать, она знает, кто что пьет. Девушка наливает коньяк, вино, пиво или кофе так же, как человек с Лабрадора — свои слова. Она совсем не торопится, а он болтает без передышки и заговорил бы своих слушателей до утра, если б хозяин не напомнил, что кафе, как положено, закрывается в определенное время.

Все уставились на него, словно он затянул веселую песенку о Мадлон в разгар праздничной мессы в соборе Сен-Жан. Хозяин помолчал, на секунду наступила тишина.

— Значит, ты говоришь,— тихо спрашивает булочник,— это место называется Нейн...

— Да,— ответил Фредди,— лишь оно пригодно для жилья. А кроме него в долине стоят три-четыре полуразвалившихся хижины. Когда-то там, дальше на Север, была деревня. Называлась Хиброн. Это — земля миражей. Волков там больше, чем людей, но бог мой, какая красота! Северное сияние просто дух захватывает... Ради одних ночей, когда горят костры, защищая тебя от зверья, стоит поехать туда, поверьте мне... А если маленький камешек сорвется со скалы, раздается гром и эхо повторяет его бесконечно.

Он ненадолго замолкает.

— Пора по домам,— сказал, вставая, Фредди. — А то хозяин рассердится.

Посетители с сожалением встают, недовольные тем, что кафе закрывается.

— Как вспомню те края,— продолжает Фредди,— поверьте, у самого сердце замирает. Если бы мог, сейчас же уехал бы, один и без плана.

В бистро, казалось, по-прежнему бушует свирепый северный ветер. И если бы снег вдруг вихрем закружился вокруг кофеварки, никто бы не удивился.

Улицы старого Лиона темны и золотисты под мелким холодным дождем, который словно высекает из булыжника мостовой мгновенно гаснущие отблески. Дождь, хотя и не такой страшный, как бури Великого Севера, пронизывает насквозь и быстро убивает мечты о чистоте снежных просторов.

VII

Едва они вошли в мансарду, Нелли тут же прижалась к Фредди. В ее глазах сквозит глубокая тревога. От волнения у нее перехватило дыхание, и она еле слышно спрашивает:

— Ты ведь не уедешь один, правда? Я только что с тобой познакомилась, ты же сразу не бросишь меня? Ты обещал взять меня с собой, ты ведь не бросишь меня, правда?

Он слегка отстранил ее, чтобы заглянуть в глаза. Его суровое мужественное лицо было напряжено. То, что он намеревался сказать, было нелегко выразить словами. Он смотрел взглядом человека, которого в глубине души терзают угрызения совести.

— Я чувствую,— наконец заговорил он,— у тебя хватит сил помочь мне. Теперь я тебя знаю, ты не будешь нам обузой. Наоборот. Я же тебе говорил, что в подобной экспедиции необходимо, чтобы кто-то оставался на базе... человек, которому доверяешь.

Он помолчал, снял руки с плеч Нелли, погладил бороду, и продолжал:

— Главная трудность в том, что я еще сам не знаю, каких ребят подберу в свою группу... Есть парни, которые слышать не хотят о том, чтобы в деле участвовали женщины.

— Почему? Я ведь крепкая!

— Дело не в том, но так принято. У мужчин такая примета. На военный корабль, например, никогда не берут женщин... Даже мед-

сестер. Если на корабле женщина, ни один моряк не согласится выйти в море.

Он долго рассказывал о кораблях с видом знатока, проведшего на море много лет. Нелли узнала, что он долго плавал. Фредди рассказал ей, как отбывал службу на разведочном судне. О ночных вахтах, разминировании прибрежных вод. О мысе Горн. О том, как рыбачил на Ньюфаундленде, о страшных штормах.

— Тогда я впервые увидел Лабрадор. Когда смотришь на него с моря, даже берег пугает тебя до дрожи. Понятно, почему моряки не очень-то любят там высаживаться.

Они уже легли, а Нелли долго еще слушает его. Казалось, он может говорить до скончания времен, будто Лабрадор, который он любил сильнее всего на свете, был и в самом деле неисчерпаемой темой.

Более всего поражало то, что он без конца называл Лабрадор почти пустыней, но все-таки сколько же чудес он там повидал!

Нелли слушала молча, прижавшись к тому самому плечу, на котором Фредди целые километры таскал тяжелые грузы по тропе среди скал, через снега и льды. Она слышала его голос, и эхо его слов, как в гулкой пещере, отдавалось в его груди, к которой она прижалась ухом.

Когда Фредди, наконец, замолчал, она совершенно спокойно, словно собиралась выйти за сахаром, сказала:

— Я уверена, что с тобой мог бы поехать мой брат.

— Твой брат?

— А почему бы и нет?

Человек с Лабрадора рассмеялся. Нелли приподнялась и посмотрела на него. Красивым жестом она откинула волосы, упавшие ей на лицо.

— Знаешь, на такое дело первого встречного не возьмешь. Нужен здоровый парень, который действительно хочет ехать.

— Жоржу двадцать три года. Малый он крепкий. Регбист, играет во второй линии. Это не каждый может.

— А кем он работает?

— Механиком по оборудованию на «Ваш ки ри». Такой парень, как Жорж, может здорово помочь. Он на все руки мастер.

— Когда мы займемся рудником, я бы мог поручить ему всю техническую часть. Меня волнует лишь разведка. И организация экспедиции. А остальное меня не интересует.

— Он справится. Можешь не сомневаться.

— Это надо обдумать. Часто на отдаленных стройках хороший умелый техник нужнее инженера, который не желает пачкать ручки в мазуте.

Нелли все рассказывала о брате и родителях, у которых должны быть кое-какие сбережения. Затем их снова захватила любовь, она утомила и сморила их; и они заснули, уставшие, как люди, что возвращаются из долгих странствий по неизведанным землям.

VIII

В то утро Фредди поднялся чуть свет. Предложение Нелли не давало ему спать.

— Теперь,— сказал он почти с яростью,— когда я подобрал людей, мне абсолютно необходимо разыскать этого чертова Уоллеса. Я его из-под земли достану, ручаюсь тебе. Я его насквозь знаю и представляю, где он может шляться.

Нелли вскочила с кровати.

— Сегодня вторник. У меня выходной. Я думала, что мы могли бы еще поваляться в постели, но если ты идешь его искать, то я с тобой.

Лабрадорец с удивлением посмотрел на нее, потом рассмеялся:

— Если ты решилась ехать со мной за тридевять земель, то уж проводить на другой берег Соны сумеешь.

Они быстро оделись и вышли на улицу. Густой туман все еще окутывал город, сдерживая рассвет. Они направились в сторону Соны и быстро пересекли мост Шанж, будто спешили вырваться из этого квартала с его булыжными мостовыми, старыми стенами и набережными, где находятся рынки.

Добравшись до Сен-Низье, они зашли в бар. Две женщины пили кофе и болтали о своих делах. По утрам, до прихода служащих, они убирали кабинеты в каких-то учреждениях.

— Если бы ты знала прежнего директора,— объясняла одна,— который был до мсье Лапласа, вот уж дрянь. Эльзасец. Мы называли его бошем. Сволочь, приносил железные опилки, которые брал у слесаря, и разбрасывал по углам своего логова, чтобы проверить, чисто ли убирают.

— Да, бывает. Если б такая мразь сунулась на завод, ему бы сразу морду набили.

Они макали в кофе длинные ломтики хлеба с маслом. Фредди несколько секунд прислушивался к их жалобам, потом сказал:

— Однако чем так жить, лучше не жить совсем. Когда я вернулся с Лабрадора и ехал через Париж, то насмотрелся на этих несчастных — они проводят в метро годы жизни. И сказал себе: «Чем так жить, уж лучше сразу под поезд». Годы под землей, ужас!

Вошли мужчины и стали пить у стойки, разговаривая с гарсоном, маленьким брюнетом с испанским акцентом. Фредди какое-то время наблюдал за ними.

— Когда они уйдут, я порасспрошу гарсона. У Уоллеса были дружки в квартале Терро.

— А как твой Уоллес очутился в Лионе? Ведь Америка — край неблизкий! Он тут знал кого-нибудь?

Фредди наклонился к ней через стол, на котором еще лежат в корзиночке две ароматные булочки. Понизив голос, он доверительно сказал:

— Знай, я не привык совать нос в чужие дела. Пока человек мне не вредит, его прошлое меня не касается. Со мной Уоллес всегда вел себя честно. Правда, что́ скрывать, кусок хлеба он добывал не молитвами. Парень почти во всех странах шустрил на бирже. А для этой братии границ не существует. Во всяком случае, он часто вспоминал о Лионе. Об остальном я его не спрашивал. Только знаю, что у него были связи среди этих дельцов.

Посетители ушли. Оставив шляпу на столе, Фредди поднимается и идет к стойке бара из красного полированного дерева. Он бросает подозрительный взгляд на двух женщин, которые продолжают громко разговаривать, не обращая на него внимания, затем наклоняется к гарсону.

— Вам что-нибудь говорит фамилия Уоллес? Вы не знаете такого Диллона Уоллеса? — спрашивает он.

Гарсон, подумав, спрашивает:

— Он сюда часто приходит?

— Нет. Но в этом месяце мог заходить, и не раз.

Фредди описывает Уоллеса, как раньше в кафе «Три Марии». Он показывает руку и рассказывает, где он ее отморозил.

— Ну что вы,— прерывает его гарсон. — Я абсолютно уверен, что никогда его не видел... Никогда! Я бы запомнил. Подумать только, отмороженные руки!

Фредди поблагодарил, расплатился за кофе и булочки, возвратился за шляпой и сказал Нелли:

— Идем. Нам, видимо, скорее повезет в квартале Круа-Рус.

Туман еще не рассеялся, но ветерок со стороны Соны несет с со-

бой сизо-зеленый свет, который смешивается с огнями витрин и вывесок. Уже оживленное уличное движение словно гасит смрадом выхлопных газов бледный рассвет.

На площади Терро, по западной стороне которой они идут, день, кажется, победил ночь. Раздражающе звенят трамваи.

— Мы пойдем в эту сторону,— говорит Фредди. — Я знаю, что он поддерживал связь с одним парнем, отец которого владел шелковой фабрикой. Он говорил мне о какой-то забегаловке рядом с фабрикой, но названия ее я не помню.

Они поднимаются в гору, поворачивают налево. Переполненные трамваи спускаются к центру.

— Когда вижу этих людей набитых, как сельди в бочке, я чувствую себя счастливым, поверь мне!

— Не так уж они несчастны. Все-таки надо же им работать!

— Мучиться вот так? Нет, уволь!

— Чудак! Ты ведь не хочешь, чтобы все эти люди оказались на Лабрадоре?

— Конечно нет. Тогда бы я остался здесь,— смеется он.

И Фредди начинает расписывать ей совершенно опустевший город. Никого. Ничего. Тысячи дверей и окон распахнуты настежь. Страшный ветер хлопает ими и несет с Великого Севера бесконечный густой снег.

Нелли оторопела. Изредка у нее вырывается легкий смешок, но она быстро его подавляет, чтобы ничего не упустить из рассказа Фредди.

Теперь Фредди привозит ее в полярный Лион. У них упряжка из десяти великолепных собак, они колесят на ней по всему городу, переезжают через замерзшие Рону и Сону, останавливаются где хотят, чтобы обследовать пустые дома, все богатства в которых принадлежат им. Они, как и сегодня, разыскивают Диллона Уоллеса и находят его уже под вечер. Холодный ветер доносит до них чьи-то громкие голоса. Они искали Уоллеса, двигаясь против ветра. Собаки примчали их прямо на голос. Они у Перраша. Огромная, ярко освещенная пивная. Уоллес сидит за столом, уставленным батареей бутылок, и во всю глотку распевает марш американской армии. Похоже, он пил все подряд. И, конечно же, делал себе ужасные коктейли. Они с порога пристально смотрят на него — человек с искалеченными руками встает. Хватая за горлышко одну бутылку за другой, он швыряет их через стойку бара по батарее бутылок, что стоят перед огромным зеркалом на стеклянных полках. Нелли хочет помешать Уоллесу, но Фредди удерживает ее.

«Не мешай. Это ведь ничье. Теперь это все наше. Город принадлежит нам. Мы можем прожить сто лет, но никогда до конца не опустошим все кафе и погреба».

Едва Фредди закончил свой рассказ, Нелли крепко сжала ему руку и сказала:

— Потрясающе. Никогда не встречала такого мужчину. Откуда ты берешь свои истории? Прямо как в романах!

— Детка моя, когда поживешь с мое, то видишь жизнь такой, какой другие ее не видят.

Внезапно он останавливается на перекрестке. Указывая на серый фасад дома с высокими окнами, из которых лишь немногие освещены, он спрашивает:

— Ты знаешь, кто тут живет?

— Нет, а ты?

— Я тоже, но если хочешь, я могу рассказать тебе всю жизнь этих людей.

— Всю жизнь! Ты с ума сошел! Ты даже не знаешь, как их зовут.

— Пустяки, Нелли. Я расскажу тебе о ней и знаю, что ты поверишь.

Она пожимает плечами.

— Как-нибудь, когда будет время, мы попробуем. В любом месте. И ты сама убедишься.

— Ну и что?

— А то, что все это будет вымыслом. Просто здесь все жизни похожи одна на другую. Я могу рассказать тебе о каждой, ты поверишь мне и будешь права.

Он замолчал и зашагал дальше. Пройдя несколько шагов, Нелли со вздохом сказала:

— Ты так считаешь? А жизнь моего хозяина совсем не похожа на мою. Зачем далеко ходить? Ведь если я начну сравнивать жизнь моих стариков с жизнью их хозяина... Завод, шофер и все такое прочее... ты что же, думаешь, все живут одинаково?

Но Фредди уже не слушает ее. Внезапно он останавливается перед бистро: его фасад, выкрашенный в зеленый цвет, он увидел в глубине переулка, в нескольких шагах от людной улицы.

— «У Жоза»! Это здесь. Я сразу же вспомнил, едва увидел название. Угадать нетрудно. Это так просто, и как я мог забыть! Это здесь, точно.

Увлекая за собой Нелли, он идет к кафе, сквозь запотевшие окна которого угадываются темные силуэты посетителей.

IX

«У Жоза» они встретили маленькую толстуху с пышной грудью, обтянутой цветастой кофтой. Жестикулируя полными руками, она объяснила, что стала владелицей бара два месяца тому назад. Мсье Жоз умер от болезни печени. Его жена живет в Божё у своих детей, но точного адреса она не знает. Адрес должен быть у нотариуса. В таком квартале очень трудно сохранить клиентуру. Мужчины не любят, когда женщина живет одна, или же, наоборот, слишком любят. И это, честно говоря, противно. Ее Фернан умер — старые раны войны.

Бесконечный монолог, прерываемый десятки раз посетителями и снова возобновляемый.

Толстуха лишь обещала позвать нотариуса, чтобы узнать адрес.

Фредди выпил рюмку белого вина со смородиновой наливкой, а Нелли чашку кофе. Затем они ушли, слегка разочарованные, но все еще не теряя надежды на нотариуса.

— Если понадобится, я поеду в Божё,— сказал Фредди,— и уж поверь мне: эту матушку Жоз я разыщу и без адреса.

Затем они зашли в несколько ближайших баров. В полдень пообедали фаршированной грудинкой с сухариками в ресторане на рынке. Нелли и Фредди добрались туда пешком, пройдя по набережной Роны.

Фредди в Лионе больше всего любил эти набережные, где вода мощной реки словно грозит захлестнуть берег.

— Рона напоминает мне кое-какие реки Лабрадора в их самых спокойных местах. Сама увидишь. Ты представляешь — течение там раза в три сильнее, и по рекам плывут огромные льдины.

После обеда они отправились на вокзал Перраш, где Фредди узнал расписание поездов на Нант.

Затем они прошли по улице Виктора Гюго, внимательно разглядывая витрины. Лабрадорец хотел, чтобы они зашли в магазин подобрать Нелли вельветовые брюки и стеганую куртку с меховым капюшоном. Она примеряла одежду много раз, и продавщицы находили, что на ней все сидит отлично, но Фредди непременно все браковал.

— Понимаете, это же для Крайнего Севера. Там бывает шестьдесят и больше градусов мороза. Я точно знаю, что́ именно нужно: куртку на пуху диких гусей с капюшоном из волчьего меха. Если здесь не найдем, купим на Ньюфаундленде.

К вечеру, когда они шли вдоль левого берега Соны, солнце наконец прорвалось сквозь облака, осветив оба холма, крыши и башни собора. Просвет был узким, как колодец, луч холодного света озарял свинцовые, безжизненные воды.

Они остановились, завороженные этим светом.

— Веришь ли ты в знамение, которое посылает нам небо? — прошептал Фредди.

— О! Я, знаешь, не суеверна...

— Да я не о том. Я тоже не верю в подобное. Но великая тайна существует. Будущее кем-то предначертано, но кем именно — это вопрос. Сейчас, когда появился этот луч, я подумал о проливе Гонгюэдо, где я плавал до того, как высадился на Лабрадоре. Я отлично помню вечер, когда в устье реки Святого Лаврентия точно так же прорвался сноп света... Точно так же... Поверь мне, Нелли, это знамение. Инстинкт никогда меня не обманывает!

У Дворца юстиции они перешли мост, доски которого дрожали под колесами автомобилей. На улице Сен-Жан купили запеченный паштет, хлеб, сыр, килограмм яблок и литр вина.

— Сегодня ляжем спать пораньше,— сказал Фредди.— Завтра утром я буду у толстухи к самому открытию кафе и, лишь узнаю адрес, помчусь в Божё. Я чувствую, Нелли, что на этот раз мы напали на след.

X

Фредди проснулся гораздо раньше, чем зазвенел будильник. Он был в прекрасном настроении.

— Ты застанешь старуху еще в постели,— поддразнивала его Нелли.— Смотри не утони там в ее ямочках.

— Да будет тебе. Мне бы показалось, что я сплю с тюленем.

Он оставил чемодан у Нелли, взяв с собой только сумку, которую вытащил из-под белья, и вышел.

И вот рыжая девушка опять в кафе. Едва она появилась, хозяин поинтересовался, есть ли новости о «путешественнике».

— Он ушел за документами,— сказала она,— скоро придет.

— Держи карман шире! — пошутил старик.— Лучше посчитай выручку и выпей минеральной воды, это поможет тебе избавиться от мании величия.

Она ничего не ответила. Наступил час пик, затем время обеда с хозяином. Но так как в кафе еще сидели несколько торговцев, хозяин разговорился с ними.

Больше часа Нелли сидела одна. Она принялась чистить медные и никелированные части кофеварки. Старательно терла их, но часто останавливалась, бросая взгляды на улицу.

В кафе вошел маленький торговец брезентом. Он поздоровался. Нелли налила ему выпить, и он спросил:

— Он здесь?

— Кто?

— Как кто? Да твой лабрадорец, черт побери.

— Нет ещё.

— Я подожду. Мне надо с ним поговорить.

— Наверно, он вернется поздно.

— Вот как!

У маленького человечка разочарованный вид. Его круглое лицо морщится. Он внимательно смотрит на рыжую девушку, затем наклоняется над стойкой и доверительно сообщает:

— Я все обдумал. И знаешь, попрошу его взять меня с собой... А свой магазин на несколько месяцев смогу оставить братишке. Надоело мне наше убожество. Этот парень прав, мы стареем раньше времени, скоро совсем плесенью зарастем. Бог мой, как подумаю о том, что он нам порассказал! Как представлю себе, сколько всего можно купить на золото с этого проклятого рудника! А тут с нашим глупым правительством совсем пропадешь.

Он замолкает. Его большие круглые глаза светятся мечтой. Молодая женщина молча смотрит на него. Он снова спускается на грешную землю и спрашивает:

— Ты что на меня уставилась?

Нелли стоит в нерешительности. Ее узкий лоб морщится под огненной челкой. Она кладет тряпку и флакон с жидкостью для чистки металла, облокачивается на стойку. Нелли на целую голову выше торговца брезентом. Тяжело вздохнув, девушка говорит:

— Не знаю, имею ли я право сказать вам, но думаю, что он уже кого-то подыскал.

— Как так? Чтобы ехать с ним?

— Наверно.

Маленький человечек явно подавлен. Сначала он побледнел, потом залился краской. Он с трудом перевел дыхание.

— Кто-нибудь из здешних?

Она отрицательно качает головой, и волосы закрывают ей рот.

— Надеюсь, не булочник?

— Нет, тот человек не из нашего квартала... Даже не из Лиона.

— Проклятье! Вчера еще ничего не было известно. Что же он, позвонил по телефону?

— Не знаю.

И тогда маленький человечек сделал то, чего прежде Нелли за ним не замечала. Он поставил локти на стол и, обхватив голову, сказал дрожащим от гнева голосом:

— Дай-ка мне коньяку... Я в себя не могу прийти.

Она вышла из-за стойки, подошла к нему. Пока она наполняла рюмку, он, морщась, покачал головой и проворчал:

— Вот невезуха! И всегда так. Прежде всего работа. Покупатели. Порядочность и прочее... Сам себе твердишь, что не имеешь права все бросить. Начинаешь думать, колебаться, а потом — всему конец. Обязательно найдется толковый малый, который тебя обскачет.

Нелли ставит на стол литровую бутылку, пододвигает стул и садится напротив. Стараясь его утешить, она говорит:

— Может, ничего еще не решено.

— Не говори, я ведь знаю жизнь. Все всегда проходит мимо меня... Подходящих случаев, говорю тебе, было множество, я их упустил, а только потому, что невезучий. Вчера еще хотел ему сказать: я еду с тобой. Но вот не сказал. Такой уж я дурак.

Голос его дрожит, чувствуется, что он действительно зол на себя.

— Так мне и надо! Когда силенок не хватает, тебя любой обгонит!

— Не надо так отчаиваться... Неизвестно, может, он и не согласился бы вас взять.

Маленький человечек подскочил, словно его иголкой укололи.

— Что? Не захотел бы? Ты думай, что говоришь! Я ведь не старая развалина... Те, кто выше ростом, не всегда сильнее. Я ведь служил в альпийских стрелках... В четырнадцатом году был в Альпах. С границы нас тут же отправили на фронт. Я просился на самые опасные участки. Уверяю тебя, я ни разу не струсил. Верден. Шмэнде Дам, Италия, чтобы поддержать «макаронников», которые улепетывали; словом, все прелести войны. Вот так-то! Четыре раза награжден. Этого в обозе не заслужишь!

— Знаю,— устало сказала рыжая,— мой отец без конца твердит то же самое.

— Я твоего отца не знаю, но если он...

Открывается дверь, торговец брезентом замолкает и оборачивается.

Все в этот день складывается решительно не так, как прежде. Входит сапожник с улицы Жюивери, высокий и сухощавый, правое плечо у него выше левого. Он даже не снял свой синий фартук, громадный карман которого набит гвоздями, а нагрудник заляпан воском.

— Я только что встретил «беляша» и «черныша»,— смеясь, сказал он.— Они наверняка сейчас припрутся сюда.

Он осматривает зал, сует нос в закуток и с удивлением спрашивает:

— Так его нет?

— Хозяина? — спросила рыжая.

Сапожник пожал плечами:

— Ты что, смеешься?

Не успела она ответить, как вошел булочник с площади Шанж, а за ним по пятам угольщик с набережной. Оба в рабочих спецовках. Угольщик в лоснящемся черном комбинезоне, булочник в серой куртке поверх сине-белого фартука. Его картуз испачкан мукой, присохшим тестом, на козырьке — грязное пятно. Даже не прикрыв дверь, он спрашивает:

— А где лабрадорец?

— Скоро придет,— сказала барменша.

— Уехал?

— Да, за своим планом.

— Планом и каким-то малым, что отправится вместе с ним,— вмешался торговец брезентом.— Не такое, видно, дурачье, как мы, тот три дня раздумывать не станет...

— Это я нашел ему парня, который поедет с ним,— бросает булочник.— Он крепкий малый!

Торговец брезентом поднимается с угрожающим видом. Он значительно ниже булочника и не такой сильный. Однако он подается вперед, будто хочет нанести удар.

— Твоего молодца я не знаю, но я раньше сказал, что еду с Фредди,— крикнул он.

Булочник в недоумении. Взгляд его переходит с Нелли на собеседника.

— А кому ты это сказал? — с издевкой спрашивает он.

— Да вот ей!

Все рассмеялись.

— Она-то при чем?

— Ведь рыжая не едет на Лабрадор!

— Во всяком случае, у Фредди уже кто-то есть!

— Но я же первым дал согласие!

— Господи, да он найдет себе сколько хочет крепких парней.

— Кстати, прежде ему нужно найти свой план.

— Этот Уоллес, видать, тоже парень не промах. Может, он уже умотал со своей шайкой и обчистил рудник.

Какое-то время все говорят хором, громко шумят, затем внезапно смолкают. Наступает полная тишина, которая, кажется, удивляет спорщиков. Нелли немного выжидает, потом, словно ее толкает какая-то непреодолимая сила, с вызывающим спокойствием объявляет:

— Так вот... С ними еду я.

Все, переглянувшись, с недоверием уставились на нее.

— Ты шутишь? — спросил угольщик.

— Нет.

Она была вполне уверена в себе. Посетителям показалось, что

они видят ее впервые. Гордость придала ей сил. Она вдруг выросла прямо у них на глазах.

— А кто же третий? — после долгого молчания спросил угольщик.

— Этого я пока сказать не могу.

— Она сама не знает кто,— проворчал торговец брезентом.

Булочник повернулся к нему, затем, смеясь, хлопнул по плечу:

— Ну так что, старина, тебе лишь остается приготовить для них палатку с полным снаряжением, а для нее — постельку помягче.

Когда торговец брезентом, сказав, что раз он не едет, то с него взятки гладки, попытался улизнуть, все хором закричали:

— Ты же обещал.

— Ты же клялся при всех.

— Я,— обещает булочник,— разыщу для них поставщиков печенья и шоколада...

— А я знаю обувную фирму в Романе...

Все принимают участие в сборах. Снова садятся в кружок. Нелли начинает разливать напитки. Она не упускает ни слова из их разговора. Лицо ее сияет, и лишь когда она бросает взгляд на стенные часы или темнеющую улицу, легкая тень пробегает в ее прекрасных карих глазах.

XI

В кафе «Три Марии» вечер прошел очень оживленно. Но хозяин, едва войдя, сразу же осадил собравшихся, заявив, что этот незнакомец, задуривший им головы, несомненно, никогда больше не сунется сюда.

— Поищите лучше золотые россыпи у меня на заднице. Глядя на вас, дурачье, сразу скажешь, что вы все из Курбузона. Право слово!

Булочник и торговец брезентом еще артачились. Началась перебранка. Несколько раз Нелли пыталась вмешаться, но хозяин обозвал ее тупой деревенщиной. Тогда она замолчала, гневно сжав зубы, взгляд ее помрачнел, она часто и тяжело дышала.

Посетители продолжали ссориться до самого закрытия бистро.

— Ну что? — торжествовал хозяин.— Где же ваш лабрадорец? Испарился? Уплыл без вас? Эх вы, сумасброды! Говорю вам: он просто псих. И все тут. Бедняга, которому пальцы оторвало какой-нибудь машиной.

Они, обозленные, разошлись. Нелли, чуть не плача, ушла, ни с кем не попрощавшись.

Вот уже более двух часов она лежит в постели. Она не осмеливается открыть чемодан Фредди. Со сжатыми от злости губами девушка твердит про себя:

— Он вернется... Я верю... Мы уедем... И все они сдохнут от зависти.

Она долго убеждала сама себя, осуждая каждого, кто в этом подлом мире не верил Фредди. И все-таки разрыдалась. А потом тихо плакала, уткнувшись в подушку.

Внезапно Нелли замерла и прислушалась. В темноте она присела на постели. В коридоре скрипнула половица. Скрипнула еще раз. Рыжая девушка поспешно ищет выключатель и зажигает свет в тот самый момент, когда открывается дверь. Улыбаясь, входит Фредди. Он бросает шляпу на кровать. Девушка выскальзывает из-под одеяла, бросается ему навстречу, и ее прекрасное белое тело прижимается к холодной коже его пальто. Вздрагивая от еле сдерживаемых рыданий, Нелли шепчет:

— Я знала... я знала...

— Что случилось?

Он смотрит ей прямо в глаза.

— Что с тобой, ты плачешь?

Теперь она уже нервно смеется. Ее охватывает дрожь.

— Они сказали, что ты сбежал, заморочил мне голову и больше не вернешься. Что ты вовсе не был на Лабрадоре.

Лицо мужчины искажается. Он сжимает плечи Нелли и шепчет:

— Кто это сказал?

— Сперва мой хозяин, эта обезьяна, старый дурак. Затем угольщик, а потом все остальные.

— Не понимаю, зачем ты слушаешь этих болванов. Я оставил свой чемодан у тебя. Ты же знала, что я вернусь.

— О чемодане я не могла им сказать. Хозяину не понравилось бы, что я сплю с клиентом да еще хвастаюсь этим в бистро.

Она сбивчиво рассказывает о минувшем дне. Фредди заливается смехом, узнав, что маленький торговец брезентом хотел бы отправиться с ним.

— Этот малый, поверь мне, действительно верит в деда-мороза.

Лабрадорец снял кожанку. Из сумки он вытащил бумаги, положил их на стол и сказал так спокойно, словно всего лишь купил булочку:

— Вот, все здесь. Абсолютно все.

— Как? Ты нашел своего друга?

— Не его, а планы.

— Значит, мы можем ехать?

— Конечно.

— Вот здорово!

Нелли не могла сдержать радости, она подпрыгнула на постели. Но тут в стенку постучали, и сосед закричал:

— Да тише вы, черти. Людям завтра на работу вставать!

— Это поляк,— тихо поясняет Нелли.— Он работает на шелковой фабрике. Встает в четыре утра.

Они быстро ложатся в постель, и молодая женщина спрашивает:

— Ну, рассказывай, был у толстухи?

— Да.

— А она звонила?

— Да. Я успел на первый автобус в Божё.

— Жену Жоза видел?

— Видел и ее, и сына. Они стали чепуху нести, будто Уоллес ничего им не оставлял.

— А ты что?

— У меня не было выбора. Мальчишка в счет не шел. А я знал, что он врет. Я схватил парня за шиворот и сказал старухе: «Если ты не отдашь планы, я придушу твоего выродка».

— Неужели до этого дошло?

— Драться я не люблю, но что оставалось делать?

— Ну а дальше?

— Они сразу струхнули,— сказал он насмешливо.— Все мне отдали, а после, представь себе, этот щенок плакался мне в жилетку, упрашивая взять с собой. Никогда не встречал такого слюнтяя. Подумать только, его отец всю войну протрубил в колониях.

Отстранившись немного от молодой женщины, он мрачно сказал:

— Диллон Уоллес умер.

— Умер?

— Да. Он вернулся в Нью-Йорк, но пробыл там недолго. Через месяц Жоз получил извещение о его смерти.... Конечно, Уоллес совсем измотался. Он так и не пришел в себя по-настоящему.

Они долго лежали неподвижно и молча, как будто мысль о смерти разделяла их.

— Значит, нам нужно ехать к брату?

— Да, и поскорее. Если с ним ничего не выйдет, тогда разыщем того парня, о котором говорил булочник.

— Когда поедем?

— Когда хочешь.

Рыжая девушка немного подумала, а потом со злостью в голосе заявила:

— Если б эта старая развалина не поносила тебя, я бы задержалась и помогла ему управиться. Но теперь не хочу. Я проработаю два дня и уйду. Позвоню на завод брату и скажу, что приеду.

Лабрадорец ничего не ответил. Искалеченной рукой он обнял Нелли, которая, с облегчением вздохнув, прошептала:

— Не говори матери, что твой друг умер, надорвавшись в этой экспедиции. Не надо... Она с ума сойдет.

XII

Еще до начала работы Нелли захотелось, чтобы все знали о возвращении Фредди. Теперь ей незачем скрывать правду. И они вместе ходили по улицам квартала, из пекарни в мастерскую торговца брезентом, из кладовки угольщика в гараж, где штукатур хранил свои материалы. Они все всем объяснили, а Фредди доставал из сумки планы, показывал их.

Булочнику они сообщили, что брат Нелли, конечно, поедет, но если дело сорвется, то...

— А может, лучше, чтобы мужчин было трое? — спросил булочник.

Фредди задумался:

— Лучше, конечно, но тогда доходы от рудника придется делить на троих. Посмотрим. Будем решать вместе с братом Нелли.

Впервые он называет ее этим именем при посторонних.

Булочник вытаращил глаза.

— Нелли? Тебя разве зовут Нелли? А я думал Софи.

Молодая женщина краснеет, но лабрадорец поясняет:

— Нелли — это ее второе имя, и я предпочитаю его.

— Ты прав,— смеется булочник,— это звучит на американский манер.

Они пришли в кафе «Три Марии» на добрый час раньше. В зале находились три зеленщика, сидевшие за столиком перед кувшином белого вина, и две женщины, что пили кофе с пирожными на бумажных тарелочках. Хозяин за стойкой устанавливал кувшины с вином, которые только что принес из погреба. Заметив лабрадорца, он, ничуть не удивляясь, сказал:

— Привет. А я думал, вы уехали.

— Нет. Но с этим задержки не будет,— с насмешкой отвечает Фредди.

— А!

— И уеду не один.

Нелли все еще в пальто, стоит чуть поодаль. Она подходит поближе и добавляет:

— Мы уезжаем через три дня.

На морщинистом лице владельца кафе появляется кислая улыбка. Пристально глядя на барменшу, он насмешливо говорит:

— Вот дуреха! Куда ты уедешь?

Опершись на стойку бара, Фредди наклоняется к хозяину. Негромко, но твердым голосом предупреждает:

— Полегче! Теперь вы будете иметь дело со мной, если ее обидите... Она останется сегодня и завтра, чтобы помочь. Если вам это не подходит, мы можем уйти хоть сейчас!

— Она должна предупредить меня за две недели...— недовольно ворчит владелец кафе.— Она не имеет права...

Смех Фредди прерывает его:

— Свои права ты приедешь качать на Лабрадор. Мой тебе совет — ехать туда лучше по прямой!

Посетители замолчали. Наступило замешательство, в котором,

словно эхо, отдается смех Фредди. Эхо его слов, как огромный камень, с шумом разорвало серую тишину квартала.

Лабрадорец медленно обвел глазами маленький зал. Он не замечает ничего, кроме смущенных улыбок. Чувствуется, что незнакомец здесь сильнее всех. Кажется, возьми он хозяина за шиворот и выброси за дверь, сказав, что ему здесь больше не место, никто не удивится и не вмешается. Завтра весь мир может принадлежать этому сильному, красивому и надменному мужчине, который презирал бы их всех, превратив в своих рабов.

Он спокойно сказал рыжей девушке:

— Снимай пальто.

Нелли снимает пальто, надевает фартук. Хозяин вновь поднимает узенькую крышку люка, проделанного в полу бара. Этот люк ведет в подвал, откуда доносится запах плесени и кислого вина. Если люк открыт, то пройти в закуток нельзя, и поэтому хозяин лазал в погреб лишь тогда, когда Нелли не было. Нелли неудобно работать, она вытирает стаканы и наклоняется над открытым люком, чтобы взять их из сушилки.

Хозяин поднимается с корзиной, в которой звенят бутылки. Крышка люка падает, и лампочка гаснет.

— Мне надо еще зайти в пару местечек,— говорит лабрадорец,— Я вернусь к обеду.

Он бросает жесткий взгляд на хозяина, который пытается улыбнуться. Лицо Фредди смягчается. Возникает какое-то замешательство. Уйдет ли лабрадорец? И заговорит ли с ним хозяин?

Тишину нарушает лишь звон стаканов, которые молодая женщина собирает со столов, только что покинутых первыми посетителями. Она идет к стойке и проходит мимо хозяина, лицо которого расплывается в улыбке, когда он обращается к Фредди:

— Если ты придешь ровно в полдень, мы поставим еще один прибор.

Фредди в ответ улыбается. Хозяин впервые обратился к нему на «ты».

— Ладно, шеф. Буду вовремя! — бросает он на ходу.

Едва Фредди вышел из кафе, хозяин сказал барменше:

— Может, я и ошибаюсь, но на темную лошадку он не похож... И все-таки зачем тебе ехать в такую даль?..

— Я вот думаю, как вы здесь без меня справитесь.

— Не беспокойся. Тетушка Ренар поможет мне, пока подыщу кого-нибудь. Дьявол побери! Кто же захочет заниматься нашим черным делом!

Женщины, которые ели пирожные, встают. Нелли убирает со стола картонные тарелочки. Она уносит чашки, затем возвращается с тряпкой и вытирает стол; собирает крошки в горсть и выбрасывает их на улицу голубям. Входят посетители. Приближается время обеда, и хозяин дает ей деньги, говоря:

— Беги быстрее, купи что-нибудь к обеду.

— Что вы хотите?

— Не знаю. Для такого мужчины, как он, надо что-нибудь посолиднее. Возьми антрекотов. Поджаришь картошку с салом, сделаешь салат. А на десерт купи торт. Сыр, кажется, у нас еще есть.

— Да. Мюнстерский. И даже очень вкусный!

Никогда Нелли не бегала так быстро из одной лавки в другую. Мясник, кондитер, бакалейщик-испанец — все в один голос говорили что у нее такой вид, будто она получила большое наследство. И она не могла отказать себе в удовольствии похвастаться:

— Я работаю последние дни. Ухожу.

— Куда же?

— Сначала дома побуду. Потом, может, уеду очень далеко... И, конечно, замуж выйду.

Они поздравили ее, смущенно улыбаясь, словно не верили. Но молодая женщина даже не замечала этого. Она очень быстро вернулась, положила покупки на откидной столик и принялась обслуживать посетителей.

— Честное слово, у тебя все горит в руках! Такой я тебя никогда не видел! Жаль, что ты уходишь. Без тебя мне будет трудно,— смеясь, говорит ей хозяин.

Посетители, зная о ее отъезде, заговаривали с ней, хватали за фартук.

— Давай рассказывай. Ты что, нашла мужа с золотой жилой?

Она била их по рукам.

— Отстаньте, некогда мне.

— Боишься, как бы хозяин не выставил тебя за дверь?

Раздается смех, он охватывает весь зал, словно радость рыжеволосой освещает весь квартал и свет ее достигает берегов Соны.

— Эта девка бросает меня, — шутит хозяин,— но когда она составит себе состояньице, то я продам ей свое кафе. Она прилично заплатит, а у меня будет хорошая рента.

Фредди возвратился около полудня. С его приходом обстановка в кафе сразу изменилась. Шум тут же стихает. Слышится шепот восхищения, затем гул нарастает, каждый старался пригласить за свой столик этого человека, побывавшего в таких дальних краях и собирающегося ехать туда снова. Его спрашивают, для чего он берет с собой Нелли.

— Очень важно, чтобы кто-то оставался на базе, откуда отправится экспедиция. А я верю, что на эту девушку можно положиться, она будет ждать нас.

— Ну, а где американец?

— Умер.

— Как вы об этом узнали?

Он рассказывает о своей поездке в Божё. Затем, поскольку некоторые посетители ничего не знают о том, что уже случилось, повторяет свой рассказ. Те из них, кто уже слышал эту историю, вступают в разговор. Они как бы сами стали участниками экспедиции. Они помогают ему вспомнить подробности:

— А помнишь волков в тот вечер?

— Ты не рассказал, как ты свалился в воду.

— А ваш друг-траппер?

— Ты забыл об индейце-носильщике.

У Фредди прекрасное настроение. Он не заставляет себя упрашивать. Большинство посетителей — это зеленщики, продавцы бананов или апельсинов, чьи жены уже давно поджидают их дома с пережарившимся мясом.

Наконец, они с сожалением начинают расходиться по двое, по трое, чтобы взбодриться перед встречей с женами и продлить удовольствие, пересказывая друг другу все то, о чем только что слышали.

— Черт подери! — говорят одни.— Если бы я знал, как это сделать, я поехал бы с ними. На войне вон четыре года колошматили друг друга, а что такое по сравнению с этим их Лабрадор? Повкалываешь несколько месяцев и все, там ведь людей не убивают.

Большинство настроено скептически:

— Верь-то верь, да не слишком доверяй... На месте рыжей я бы все-таки не торопился. В конце концов, кто он такой, этот парень? Никто не знает, откуда он взялся!

XIII

Обедали они втроем, и хозяин задержался в бистро на добрых полчаса, смакуя кофе с коньяком. Он покинул их, с сожалением сказав:

— Эх, парень, взбаламутил ты старый Лион. Теперь самое время тебе сматываться отсюда, иначе всем туго придется. Ведь они работу забросили.

Вторая половина дня промелькнула быстро. Завсегдатаи пришли пораньше, чтобы вновь начать обсуждение. Булочник принес атлас. Они долго сидели, склонившись над картами. Со знанием дела Фредди пальцем показывал им дорогу. Здесь — переправа. Здесь — Ньюфаундленд. Огромное устье реки Святого Лаврентия, которое — и они с трудом в это верили — по меньшей мере в сотню раз шире, чем вместе взятые устья Соны и Роны.

Он быстро провел пальцем по побережью континента, усеянного озерами и испещренного реками, о названиях которых можно лишь догадываться. Они уже поднялись почти до залива Унгава и Гудзонова пролива. Фредди воспользовался этим, чтобы восстановить в памяти весь Великий Север, который он мечтал исследовать позже, как только оборудует свой рудник.

Затем лабрадорец вновь вытащил из уже знакомой им сумки карту. Бобровая река. Озеро Потерянной тропы. И много других таинственных мест. Он разложил на мраморном столике свой дополнительный план, оставленный Диллоном Уоллесом. Линии, нанесенные синими, черными и красными карандашами, были столь запутанными, что лишь такой человек, как Фредди, мог в них разобраться. Для него каждая черточка, каждая точка что-то значили: утес, впадину, чахлое дерево, родник, маленькую расщелину.

— Надо проявлять осторожность,— сказал он,— нельзя надеяться на карту. Из-за ветров, которые свирепствуют там, впадины могут перемещаться на две-три сотни метров.

Словами, которые в этот полдень поразили их всех, Фредди обрисовал им целый континент. В узеньком, насквозь прокуренном зале словно возникла огромная прекрасная страна.

Когда торговец брезентом стал говорить, какие материалы им понадобятся, Фредди рассмеялся:

— Видно, сумел я тебя завести. Материалы, старина, нужны специальные, очень легкие. Ты парень славный, но чтобы тащить твой брезент для грузовиков, нужны мулы. У меня все готово. Снаряжение есть. Оно в Нанте, у одного приятеля, который связан с торговым пароходством. Он быстро поможет нам найти подходящее судно, и мы сразу же погрузимся.

Он замолчал, и его взгляд, казалось, на мгновенье затерялся в такой дали, о которой знал лишь он один, затем сказал:

— У него все мои вещи. Значительная часть фотографий, сделанных в первом путешествии. Жаль, что я не прихватил их с собой, вы бы увидели, что это такое... Но при отъезде я посмотрю, нет ли у меня дубликатов. Вроде должны быть. Я вам их пришлю, чтобы вы могли составить себе представление о Лабрадоре... Нелли, напомни мне!

Рыжая девушка утвердительно кивнула. Казалось, она находится уже далеко, и кое-кто из посетителей смотрел на нее с завистью.

Вот так прошла вторая половина дня. Любопытные остались еще на часик-другой, чтобы послушать Фредди. Другие ушли и скоро снова вернулись. Жена торговца брезентом трижды заходила за мужем. И, каждый раз на улице слышался ее крик, когда она вела его домой, словно нерадивого ученика в школу.

Наступило время закрывать кафе. Хозяин пришел раньше обычного.

— Когда будете возвращаться от Нелли, не зайдете сюда? — спросил он.

— Конечно,— сказал Фредди.— Еще немало деталей, которые нужно уточнить. Если хотите, Нелли будет вам помогать, пока я займусь всем этим.

— Не откажусь. Тетушка Ренуар еще довольно крепкая, но годы дают себя знать: у нее ноги болят, расширены вены, и с каждым днем она сдает.

Было очень холодно, когда они вышли на улицу. Ветер, прорывавшийся из узкого переулка, гнал тяжелые клочья тумана, в котором тонул свет окон и фонарей.

— А морозец пощипывает,— говорит хозяин.

— Пустяки,— возражает человек с Лабрадора.— Вот когда тридцать пять градусов мороза или больше, быстро превращаешься в сосульку.

XIV

По улице Сен-Жан проезжают редкие автомобили и, кутаясь в теплые одежды, торопливо пробегают прохожие. На перекрестке Фредди оборачивается и сжимает руку Нелли, словно чего-то испугавшись.

— Что с тобой? — спрашивает девушка.

Лабрадорец взволнованно говорит:

— ...Уверен, это он!

— Кто он?

Продолжая тащить ее за руку, он бросается между двумя автомобилями и устремляется по улице.

— Пошли быстрее. Я тебе потом объясню.

Он бежит вдоль стен домов, выбирая затененные места и выступы, прижимается к фасадам зданий, чтобы оглянуться назад.

— Если в тебя будут стрелять, падай на землю.

Нелли бежит из последних сил. Она спотыкается, теряет правую туфлю, подбирает ее в канаве и снимает левую.

— Пропали мои чулки.

Они углубляются в темный переулок и вбегают в подъезд дома Нелли, где Фредди наконец переводит дух. С удивительным хладнокровием он объясняет:

— Не волнуйся. Теперь можешь подняться одна. Я же ненадолго спрячусь в проходном дворе напротив. Я должен убедиться, что он отстал. Тебе нечего бояться. Они гонятся за мной.

— Но все же...

Он резко ее обрывает, как настоящий хозяин, человек, привыкший решать сам и не терпящий возражений.

— Слушай меня, Нелли. Сейчас не время рассуждать. Это может быть опасно, милая. Не задерживайся. Если мне придется удирать, я побегу вверх по улице Сен-Бартоломе. Я там давно приметил одно местечко. Меня выследили. Ты запрись и жди.

Он тихо уходит своей мягкой походкой. Его фигура выделяется на фоне слабо освещенной улицы. Она еще не успела войти в подъезд, как он обернулся и прошептал:

— Ступай же, не медли!

Нелли поднимается в темноте по выщербленной лестнице, и ее босые ноги, кажется, чувствуют каждую ступеньку. Несмотря на то что здесь холодно, как на улице, молодая женщина обливается потом. Сердце ее сильно стучит. Руки дрожат, когда она пытается попасть ключом в замочную скважину. Не осмеливаясь зажечь свет, она все время натыкается на мебель. Она запирает дверь, снова ее открывает, говоря:

— Если за ним гонятся, нужно, чтобы он смог укрыться здесь.

Она продолжает стоять около двери, чтобы в случае необходимости можно было быстро ее запереть.

Ночь кажется невероятно шумной. Но нет, это у нее в висках стучит. Она прислушивается, затаив дыхание, просовывает руку под пальто, которое не осмеливается снять, и прижимает к сердцу.

Потом все же Нелли подходит к окну, широко его распахивает,

чтобы слышать звуки с улицы. Вдали слышен шум проезжающих машин, внизу — чьи-то шаги. И больше ничего.

Она напрягает слух и прислушивается то к шуму улицы, то к звукам в коридоре.

Наконец скрипнула половица. Она осторожно приоткрывает дверь, которую Фредди рывком распахивает настежь.

— Это я,— шепчет он.

Он идет прямо к окну, закрывает его. Задергивает шторы, говорит:

— Можешь зажечь свет.

Свет сразу же ослепляет их. Они раздеваются. Фредди садится на край кровати и начинает рассказывать:

— Я тебе не все сказал. По правде, мне не следовало бы ничего от тебя скрывать. Но я не хотел волновать тебя. Ведь я действительно был уверен, что эти подонки потеряли мой след... Подумать только, я специально ехал через Южную Америку, чтобы от них скрыться, а они, сволочи, эти британцы, оказались отлично организованны.

Он молчит. Вид у него совсем удрученный... Нелли тихонько подходит и садится рядом с ним. Смущенно она спрашивает:

— Кто эти люди?

Он улыбается с таким видом, как будто хочет сказать, что только он один может понимать некоторые вещи. Однако безропотно ей объясняет:

— Милая моя, подобные дела не всегда идут гладко. Редко можно действовать без конкурентов... Эти же, ну, трое англичан, тоже искали золото. Но они пошли не той дорогой. Вместо того чтобы подняться по Наскопи, направились вверх по Сьюзен-Ривер. Вроде бы тоже купили план у старого индейца в Нью-Йорке. Решили его надуть, а в итоге сами накололись. Индейцы, если ты их облапошишь, всегда тебя разыщут. Индеец продал два плана,— ухмыляется Фредди.— Один из них был фальшивым. Он-то и достался британцам.

Нелли рассмеялась.

— Ты смеешься, да, смешно. А вот им, думаю, было не до смеха...

Он замолкает, прислушивается, бесшумно встает и выключает свет. Они сидят неподвижно. Фредди подходит к окну. Он движется по комнате тихо, словно тень. Слегка раздвигает шторы, затем снова задергивает и зажигает свет.

С дрожью в голосе Нелли спрашивает:

— Ты уверен, что это они?

— Еще бы. То был самый молодой из них. Я его сразу признал. Едва он заметил, что я обернулся, как тут же притаился в засаде. Если б я был уверен, что он один, не стал бы прятаться. Сам разделался бы с ним, с этим жалким мерзавцем.

Правым кулаком Фредди стучит по ладони изуродованной руки. Губы его плотно сжаты. Чувствуется, что он злится.

— Я сделал глупость. Если он так быстро смылся, значит, точно был один. А теперь предупредит других. Они объединятся и станут охотиться за мной.

— Ты думаешь, они все в Лионе?

— Не уверен. Они должны были разделиться.— И Фредди, вздохнув, добавил: — Ну вот, теперь ты обо мне все знаешь.

Фредди был счастлив, что признался Нелли. Он снова рассказал ей во всех подробностях об англичанах, не способных найти месторождение золота, но готовых на все, чтобы завладеть ценным документом.

— У Уоллеса, как я тебе говорил, темное прошлое. Я полагаю, что он уже имел какие-то делишки с этими ребятами. Но я не хочу с ними связываться. Я им ничего не должен.

— А ты не боишься, что однажды они появятся на Лабрадоре и житья нам не дадут?

Фредди вдруг преобразился. Он вновь обрел свою царственную осанку и улыбку, означавшую, что на Лабрадоре ему ничего не страшно.

— Конечно, я очень хочу, чтобы все решилось на месте. Прежде всего справедливость, и я добьюсь ее. Не беспокойся, даже один против троих я ничем не рискую... Здесь я безоружен. Я лишь боюсь, что они повязаны с полицией.

Перед тем как раздеться, Фредди снова гасит свет, слегка раздвигает шторы и смотрит на крыши домов напротив, как будто опасается увидеть там англичан.

Сидя на краю кровати, рыжая девушка, которая еще не сняла платья, спросила:

— Ты что, думаешь, они начнут стрелять в нас с крыши в самом центре города?

— Нет, конечно, но с подобными типами всегда надо быть начеку.

Осторожно он задергивает шторы и вновь зажигает лампу. Кажется, он не решается сказать еще о чем-то, что его тревожит. Дважды проходит от стола к кровати и затем, глядя молодой женщине прямо в глаза, тихим, но твердым голосом произносит:

— Я не хотел волновать тебя, но уверен, что они убили Уоллеса.

— Уоллеса?

Она застыла, раскрыв от удивления рот.

— Да. Тетушка Жоз не говорила мне, что он болел. Она сказала лишь о каком-то таинственном происшествии на охоте. Но ты понимаешь, что могло там случиться с таким парнем, как он!

Он долго вспоминает о своем друге. Перед глазами Фредди встают их совместные охоты, этот ловкий, осторожный, как дикий зверь, человек. Нет, он никак не может поверить в эту историю на охоте.

Он замолчал, обхватив голову руками, точно она отяжелела от горя. Нелли, затаив дыхание, боялась шелохнуться, словно из уважения к памяти человека, с которым Фредди делил все надежды и муки.

Время шло. Через несколько минут Фредди медленно поднялся с таким растерянным видом, словно он внезапно проснулся в незнакомом месте. Нелли по-прежнему сидит неподвижно. Он подходит к столу и начинает медленно раздеваться. Нелли тоже стягивает платье.

— Знаешь,— говорит Фредди,— не надо бояться. Я разыщу их, поверь мне. Уоллес был недостаточно осмотрителен. Я ему сто раз говорил: будь осторожнее, они тебя прикончат. Но он, такой осторожный на Лабрадоре, не думал об опасности в этом проклятом цивилизованном мире.

Нелли разделась, легла в постель и, слегка волнуясь, сказала:

— Я уверена, что брата англичане не испугают. Он большой задира, это его только больше расшевелит. Но моим старикам лучше ничего не рассказывать. А то они с ума сойдут.

Они ложатся спать. Насладившись любовью, Нелли уткнулась в плечо Фредди и долго слушала его рассказы о той жестокой войне, которую они вели со своими врагами. Все это напоминало приключенческий роман с бесконечными интригами, и молодая женщина заснула, не дослушав его до конца.

XV

В то утро, встав с кровати, Фредди оценивает сложившуюся обстановку.

— Если не считать этих мерзавцев англичан — я еще сведу с ними счеты,— все не так уж плохо.

— Но все же надо остерегаться.

— Не сомневайся, я буду осторожен. Будь спокойна, я продумал все. Перед тем как мы поедем к твоему брату, мне необходимо заскочить в Нант. Я хочу проверить — может, эти негодяи растащили мое снаряжение.

— А они знают, где ты его спрятал?

— Милочка моя, не будь наивной. Всегда все можно узнать. Стоит лишь постараться.

Нелли прижимается к нему и крепко его обнимает.

— Я хочу поехать с тобой. Если останусь одна, то я места себе не найду.

Он обнимает ее.

— Нет. Ты останешься здесь. Зачем бросать деньги на ветер? Сегодня вечером я сяду в ночной поезд, там мне хватит одного дня, и следующей ночью вернусь... Не волнуйся, красавица моя, мы уедем отсюда. Я в это верю. Вот увидишь, все будет отлично.

Заметив, что Нелли, несмотря на улыбку, едва сдерживает слезы, он нежно встряхивает ее и спрашивает:

— Скажи откровенно, ты, наверно, даже не представляла, что с тобой может такое приключиться?

Она отрицательно качает головой и признается:

— Даже сейчас я иногда спрашиваю себя: не сон ли это?

— Ущипнуть тебя, что ли, чтоб ты проснулась? — смеется он.

— Нет,— говорит она печально,— но мне будет страшно, пока ты будешь в Нанте.

— Уверяю тебя — ничего не случится...

— Я боюсь, что ты не вернешься.

Он смотрит на нее и недовольно ворчит:

— Ты что же, принимаешь меня за подлеца? Думаешь, что я могу уехать без тебя? А как же твой брат?

Она глубоко вздыхает.

— Между нами все произошло так быстро! Порой мне кажется, что ты можешь найти другую... Встретить новых друзей. И более подходящего парня, чем мой брат...

— Нелли, да ты бредишь!

— Нет... Предчувствие. Когда я думаю о Лабрадоре, то говорю себе: не может быть, я же в этом ничего не смыслю. Как я могу уехать так далеко? Мне всего двадцать два года, и я слишком глупа для такого дела.

Ее глаза наполняются слезами. Человеку с Великого Севера становится не по себе. Должно быть, этот «переход» оказался сложнее, чем все речные пороги и обвалы. Он целует ее еще раз. Он чувствует себя крайне неловко. Слезы льются по щекам рыжей девушки; пытаясь улыбнуться, она шепчет:

— Не обращай внимания. Понимаешь ли, для тебя это — дело привычное. Для меня же все как в кино: грезишь наяву, но ведь хорошо знаешь, что в жизни этого никогда не будет.

— Послушай, если уж ты так хочешь, я возьму тебя в Нант, но ведь безумие — платить вдвое дороже... Смотри, я разочаруюсь в тебе, если ты будешь настаивать.

— Нет, что ты,— перебивает она.— Я ведь не избалованная девчонка. Когда собираешься в такую экспедицию, нужно быть смелой. Если я стану тебе надоедать, ты волен подыскать себе другую спутницу.

Оба смеются.

— Не сердись на меня,— повторяет она.— Просто я чуть-чуть струсила... Вот и все... Пойми. Ведь если ты меня бросишь, что ска-

жут те, кто уже обо всем знает. И потом, это же моя заветная мечта... И вдруг она рухнет!

Он усаживает ее на кровать рядом с собой, обнимает за плечи и объясняет мягким, бархатным голосом:

— Я понимаю тебя, я пережил то же самое. Правда, все мое детство прошло в мечтах о Великом Севере. А когда я дома говорил об этом, все надо мной смеялись. После моего отъезда никто не хотел верить, что я туда доберусь. Когда вернулся, нашлись такие, что, показывая на мои пальцы, острили: «И это все, что ты оттуда привез, стоило забираться в такую даль! Острым топором ты мог бы изуродовать руку и здесь». Одному из них я даже морду набил, так он меня довел.

Он недолго молчит и, сжав кулаки, продолжает:

— Будь уверена, малышка, когда у нас карманы будут набиты золотом и ты впрямь вырядишься, как актриса, наденешь драгоценности, которых тебе девать будет некуда, у этих шутников будет бледный вид. Ты увидишь, все эти молодцы станут нам сапоги лизать.

Он гладит молодую женщину по голове, потом встает во весь свой рост, распрямив плечи и выпятив грудь. Она смотрит на него и чувствует себя маленькой и хрупкой рядом с таким великаном. В ее глазах светится весь восторг мира. Он подходит к двери.

— Ты бы подождал здесь до отхода поезда.

Он смеется. Решительным жестом, в котором угадывается неодолимая сила, снимает с крючка кожаную куртку и, надевая ее, говорит:

— Одевайся, пошли. Мне надо немного проветриться. Среди бела дня эти ребята не станут со мной связываться.

Он открывает дверь и выходит в коридор; Нелли надевает свое зеленое пальто. Она начинает закрывать дверь, а Фредди, повернувшись к ней, вполголоса говорит:

— Об англичанах никому ни слова. Люди слишком глупы.

XVI

Они направились в кафе «Три Марии», но по пути зашли к булочнику, на площадь Шанж.

— Кто бы ни поехал с вами,— сказал булочник,— твой брат или мой помощник, я решил вложить в дело немного деньжат.

Торговца брезентом в магазине не оказалось, но приказчик обещал, что пошлет своего хозяина в кафе, когда тот придет.

— Уговаривать его не надо,— с улыбкой добавил он.

Ровно в десять они вошли в кафе «Три Марии». По дороге Фредди часто оборачивался, чтобы посмотреть, не идет ли кто за ними. В кафе он спросил хозяина, не искали ли его.

— Нет, а ты ждешь кого-нибудь?

— Не исключено. Если в мое отсутствие обо мне будут спрашивать, отвечайте, что я уехал в Париж. Этого достаточно.

Поскольку посетителей в кафе не было, они уселись за столик, и хозяин сразу же сказал:

— Я подумал, что если рудник станет акционерным обществом, то и я вложу кое-что. Не рискнешь, ничего и не получишь.

— Браво! — крикнула Нелли.— Я так и знала!

Когда старик встал, она бросилась к нему и поцеловала. Растрогавшись, он бормотал:

— Знаешь, я делаю это не ради вас, а ради себя. Если года через три-четыре я выгодно продам акции, рента моя увеличится.

— Я уверена,— рассмеялась рыжая,— что у вас кубышка битком набита!

Погода стояла пасмурная, облака нависли над самыми крышами домов, но старое кафе, казалось, освещалось солнцем. Они напо-

минали людей, которые, надеясь на что-то хорошее, греются у костра, поддерживая его лишь взрывами собственного хохота. Задребезжала дверь, которую толкает человек, не знающий, что ее надо приподнять. Все оборачиваются. Входит маленького роста крепкий мужчина с костлявым лицом. На нем куртка на меху и кожаный картуз.

— Проходил мимо,— обращается он к Фредди,— и, кажется, узнал тебя.

Человек с Лабрадора хмурит брови и раздраженно отвечает:

— Вы ошибаетесь, я вас не...

— Брось, Альфред,— смеется вошедший,— не валяй дурака. Опять собрался на свой Лабрадор! А твоя Мадо тебя повсюду разыскивает.

Он бросает быстрый взгляд на Нелли, потом на хозяина и говорит:

— Не слушайте его. Бывают моменты, когда...

— Заткнись! — не кричит, а воет Фредди.

От этого воя у него сорвался голос, от этого воя задрожали стекла. В этом душераздирающем вопле сквозила боль, которая, казалось, сжигала ему душу. Вновь пришедший продолжает хохотать, и тогда лабрадорец бросается к нему и хочет ударить. Но тот уклоняется и сам наносит удар. Всего один удар, к тому же не сильный, но как раз в ту секунду, когда разъяренный Фредди стремительно пролетает мимо него. Руки Фредди бессильно опускаются. Со всего размаху он падает на пол, ударяясь головой о гранитную ступеньку порожка, на которую из-под двери стекает струйка воды. Глухой звук падения, потом — тишина.

Все произошло мгновенно, никто толком не успел ничего сообразить.

— Фредди! — раздался еще один душераздирающий вопль.

Нелли бросается на колени рядом с лабрадорцем, берет его голову в руки, приподнимает ее. Глаза Фредди широко раскрыты. Струйка крови стекает из левой ноздри по щеке.

Человек в куртке на меху тоже становится на колени.

— Боже мой! — шепчет он.— Боже мой!..

Хозяин, который прощупывал пульс Фредди, бормочет:

— Это конец...

Молодая девушка, прижавшись к груди мертвого Фредди, рыдает:

— Вы убили его... Убили! Убили! Фредди, Фредди, любовь моя!

Какое-то время слышны только рыдания Нелли, затем хозяин помогает ей встать, а незнакомец оттаскивает труп в сторону, чтобы освободить проход. Появляются торговец брезентом и угольщик.

— Нужно вызвать «скорую помощь», — говорит человек в меховой куртке.

— И полицию,— кричит хозяин.— А вы останетесь здесь!

Человек падает на стул. Он мертвенно бледен.

— Не бойтесь,— бормочет он.— Я с места не сойду... Бог мой. Что я натворил! Он хотел меня ударить. Я уклонился... Я ведь едва его зацепил... Вы же сами видели... Сами видели.

Хозяин заставляет Нелли выпить рюмку коньяка. Она сидит за столиком в глубине зала и дрожит всем телом. Под действием коньяка она пришла в себя и хриплым голосом спросила:

— Что он вам сделал?

— Хотел ударить, вы же сами видели...

— Я не об этом... Раньше...

— Раньше? Ничего. Я еще вчера вечером заметил его на улице! Но он улизнул. Не хотел, чтобы я рассказал, кто он такой.

— Кто же он? — спросил хозяин.

— Он, как и я, из Вильфранша. Жена вот уже десять дней его ищет. Он не в первый раз сбегает. Наверно, рассказывал вам о Лабрадоре... Бедняга Альфред, у него была мания. Про обмороженные пальцы и все такое прочее... Он столяр, как и я... Отрезал себе пальцы на фрезерном станке.

— Замолчите! — кричит Нелли.

Молодая женщина совсем сникла. Поставив локти на стол, она обхватывает голову руками и шепчет:

— Фредди... Клянусь тебе... Мы уедем туда... Обязательно уедем...

XVII

«Скорая помощь» приехала вместе с полицейской машиной. Труп уложили на носилки.

Нелли была совсем без сил. Все заботы взял на себя хозяин. Человек в куртке на меху сам сказал полицейским:

— Он хотел ударить меня, а я уклонился. Я его едва зацепил. Он потерял равновесие и стукнулся головой о ступеньку.

— Это верно,— сказал хозяин,— я могу быть свидетелем.

Сержант, знакомый хозяина, попросил его явиться к полицейскому комиссару.

— Моя барменша тоже будет свидетельницей. Сейчас она очень расстроена. Дайте ей прийти в себя. Никуда она не денется.

Жители квартала собрались на улице вокруг синего фургона, куда человек в куртке на меху влез сам, без всякого принуждения. Казалось, он нес какой-то страшный груз, голова его совсем ушла в плечи.

После отъезда фургона зал бистро сразу же заполнили любопытные, которым все хотелось знать. Хозяин увел Нелли в закуток, куда принес стул. Нелли села у откидного столика на то самое место, где человек с Лабрадора ел яичницу с лапшой. Она перестала плакать. Она уставилась на газовую горелку совершенно пустыми глазами. Ее застывшее лицо, которое изредка подергивалось, походило на безжизненную маску.

В маленьком зале ступить было некуда. Тетушка Ренар, услышав сирену «скорой помощи», приплелась сюда из своей комнатушки консьержки. Она помогает хозяину обслужить посетителей. В бистро «Три Марии» это утро запомнится навсегда. Маленький торговец брезентом, булочник и угольщик — в самом центре внимания. Они хором разъясняют:

— Я так и знал, все время догадывался.

— Видно, поэтому-то ты хотел отдать ему свои деньжата.

— Ну, ты и хватил, он же не получил их.

— А я вот не скажу, что не поверил ему, но все же...

— В любом случае Лабрадор этот парень знал!

— Верно, так интересно о нем рассказывал.

— Он не врал, правда. Я все перепроверил по своим книгам.

— Он был ненормальный.

— И все же этот парень мечтал туда уехать.

— Уверен, что и уехал бы. Бедняга рыжая, она еще дешево отделалась.

— Поди и в ее карманы уже залез. Если только не сделал ей ребеночка!

— Да замолчите вы,— прикрикнул на них хозяин.— Она там, за перегородкой. Думаете, она без памяти, а она там все слышит.

— Ну вот ты и получил назад свою барменшу.

— Бедная малышка, пришлось ей рухнуть с облаков.

Когда бистро опустело, хозяин размял остатки пюре, перемешав его с яйцом и молоком. Он выложил все это на сковородку, где растапливался большой кусок масла. Нелли, которая по-прежнему сиде-

ла в закутке в полной прострации, слышала шипенье сковородки, до нее доносился запах еды.

— Хватит, милая, так нельзя, займись чем-нибудь... Это — несчастный случай... Что тут поделаешь... Несчастный случай.

Она поднимается и ставит на стол приборы. Хозяин открывает банку сардин.

— Садись,— говорит он,— закуси, пока пюре разогревается.

Нелли покорно идет за ним. Как и хозяин, она разминает сардины в масле и поливает уксусом.

— Немного я наработала сегодня утром,— словно извиняясь, говорит она.

— Ты всегда много работаешь,— улыбается хозяин.— Ну, разок мне пришлось повозиться, готовка ведь не ахти какая.

Нелли откладывает вилку. Грудь ее вздымается от сдавленных рыданий, и, наконец, она вскрикивает:

— А ему было наплевать на готовку.

И слезы вновь катятся по ее скуластым щекам, на которых краска от ресниц оставляет темные полоски.

XVIII

Сразу после полудня пришли завсегдатаи, потом другие люди из этого квартала и незнакомцы из более дальних мест.

Нелли, по-прежнему никого не замечая, принялась за работу.

К трем часам полицейский приехал за хозяином, который отсутствовал чуть ли не до самого закрытия кафе. Вслед за хозяином появился еще один полицейский в сопровождении маленькой брюнетки с поблекшим лицом и неприятным взглядом.

— Это его жена,— говорит хозяин,— она хотела бы забрать чемодан Фредди.

Нелли меняется в лице. Она в упор смотрит на худую, не старше сорока лет простоволосую смуглянку. В глазах рыжей девушки мелькает отвращение, которое другая замечает и потому с раздражением говорит:

— Я тоже была молодая! Тогда он бы на вас даже не взглянул.

— Если хочешь,— вмешивается хозяин,— дай мне ключи, я сам схожу за чемоданом.

— Я пойду с вами,— подхватывает женщина; у нее сильный марсельский акцент.

— Нет,— отвечает Нелли,— сама схожу.

— Ну тогда,— вмешивается смуглянка,— я пойду с ней и попрошу полицейского проводить нас. Не хочу, чтобы она рылась в вещах моего мужа.

Рыжую всю передернуло. Какое-то мгновенье казалось, что сейчас она схватит первую попавшуюся бутылку и размозжит голову этой уродине, которая — никто бы никогда не подумал — делила постель с красавцем Фредди. Полицейский испугался, как бы чего не случилось, и встал между двумя женщинами.

— Если хозяин хочет пойти, так будет проще.

В зале находились трое незнакомцев и шорник, сидевший напротив торговца брезентом. Лица у всех напряжены. Нелли овладела собой. Она выпрямилась и обвела глазами зал. Всем явно не по себе. Они опустили глаза и уткнулись носами в стол, чтобы избежать пристального взгляда. Медленно, почти театральным жестом, столь несвойственным ей, словно собираясь раздавить эту смуглянку из Марселя, Нелли делает три шага в сторону закутка, протягивает руку, берет свою сумочку и не спеша ее открывает. Затем вынимает два ключа на большом погнутом кольце, с которого свисает брелок. И протягивает маленькую связку хозяину, поясняя:

— Самый большой ключ — от комнаты... Чемодан под кроватью, у окна. Вы его легко найдете.

Хозяин берет ключи и почти шепотом отвечает:

— Я быстро управлюсь. Дай что-нибудь выпить этой даме и господам, Софи.

Он уже перестал называть ее Нелли.

Барменша провожает его глазами, переводит взгляд на полицейского и женщину, которые все еще стоят посреди зала, и твердым голосом предлагает:

— Может, вы присядете? Что вам подать?

— Большое спасибо,— скрипучим голосом отвечает вдова.

— По-моему,— смущенно замечает полицейский,— так-то оно лучше будет.

Рыжая девушка скрещивает руки, опираясь бедром о стойку, на которой высится кофеварка. Она с презрением разглядывает вдову. Постепенно ее лицо светлеет, она почти улыбается.

Вдова пытается выдержать ее взгляд, но через две-три минуты, пожав плечами, отворачивается к окну. Но и там, на стекле, словно в тусклом зеркале, она продолжает видеть барменшу. Каждый прохожий словно стирает отражение Нелли.

Посетители вскоре снова разговорились, но беседу вели вполголоса и все о каких-то пустяках. Таким образом они словно заполняют гнетущую тишину, пленницу этих печальных стен.

Полицейский подсаживается к вдове, и та довольно громко обращается к нему, чтобы все могли ее слышать:

— Его уже три раза забирали в психиатрическую больницу... Он рассказывал про свой Лабрадор всем на свете. Но это никому не вредило. Те, кто знал его, хорошо понимали, что уехать он не рискнет... Слишком труслив. Вот уже несколько лет, как он перестал травить свои байки в Вильфранше. Однажды он отправился в Макон и уже дважды был в Лионе, только в других кварталах. Он всегда находил дураков, готовых одолжить ему денег... А я в это время вкалывала, растила его детей. Ничтожество! Уж лучше бы сломала себе ноги в тот день, когда его встретила, по крайней мере, давным-давно бы выздоровела... О, господи! Попадись мне только эти олухи, которые отправили его служить в Марсель...

Она замолкла. Все сидели притихшие, слушая ее. А теперь воцарилась тишина. Эта тяжелая тишина, словно ледяная вода, заполняла кафе.

При каждом стуке каблуков головы поворачивались в сторону улицы, но Нелли знала походку хозяина. Он еще не вошел в кафе, а она уже объявила:

— А вот и он!

Все задвигали стульями. Начали откашливаться. Торговец брезентом пытался раскурить слюнявый окурок, который мусолил уже минут десять.

Входит хозяин и передает чемодан вдове. Она кладет его на столик, поближе к свету. Открывает дрожащими руками. Лихорадочно выбрасывает белье. Приподняв картонный лист на дне, вытаскивает из-под него толстый журнал, на цветной обложке которого изображен скалистый, изрезанный бухтами берег, покрытый снегом. Затем достает толстый коричневый пакет. Зло усмехаясь, подходит к стойке и швыряет все это в лицо Нелли, которая, отпрянув, сумела все же поймать журнал; пакет падает на подставку для посуды, сбивая стаканы.

— На, получай свой Лабрадор! Тут все. Все, что он мог тебе наплести. Если ты хочешь туда отправиться, тоже с ума сойдешь...

Ее смех звучит, как трещотка, которой когда-то возвещали о чуме или другом бедствии.

Обернувшись, она начинает яростно запихивать в чемодан одежду мужа, его туалетные принадлежности, затем, закрыв крышку, вручает его полицейскому величественным жестом:

— Пойдемте.

Они уходят.

Задребезжала дверь. Ведь полицейский здесь не завсегдатай, он не знает, что ее надо чуть-чуть приподнять.

Слышатся удаляющиеся шаги. Резкий сквозняк врывается в прокуренный зал. Он вихрем кружит дым, потом все успокаивается. Шорник первым нарушает тишину, замечая:

— Хороша, ничего не скажешь! Неудивительно, что бедняга мечтал смотаться! И не от такой с ума сойдешь!

И они принялись обсуждать эту мегеру. Но Нелли, казалось, не слушает их. Она поднимает большой конверт, прижимает его к груди вместе с цветным иллюстрированным журналом. Долгое время она стоит с потерянным взглядом, словно оцепенев, затем, еле переставляя ноги, как будто двигается в густом молочном тумане, доходит до закутка. Стул все еще придвинут к откидному столику. Молодая женщина садится, кладет перед собой журнал и отдергивает руки, не осмеливаясь прикоснуться к нему. Она смотрит на этот неровный, засыпанный снегом, пасмурный берег, который окружает ярко-голубое море, отсвечивающее свинцовыми отблесками. Ее взгляд блуждает по фотографии, останавливается, снова устремляется куда-то, задерживается на отдельных расщелинах, словно надеясь отыскать тропинку, лыжню, следы на снегу или, может быть, кучку камней, над которой высится сделанный из засохших веток крест.

Но ничего нет, пустота. Пусты расщелины. Кругом голые скалы и ледники. Безлюдье.

Внезапно берег заколыхался, словно слившись с бегущими волнами. Золотистый туман окутал этот край.

Поставив локти на стол, молодая женщина обхватывает голову руками. Перед ней лежит фотография. Тихо, не всхлипывая, она плачет.

Слезы быстро скатываются по ее скулам, и первая капля падает прямо в открытое море — посередине между устьем Льюис-ривер и буквой «о» в названии Лабрадор.

Монреаль. Декабрь 1981 г.

Морж. Март 1982 г.

СТИВЕН КИНГ

Мертвая зона

РОМАН

Перевод с английского О. ВАСИЛЬЕВА и С. ТАСКА

«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»

Новое имя открывают для себя наши читатели, и есть смысл предварить знакомство небольшими пояснениями, поскольку роман Кинга почти наверняка вызовет дискуссию, как всегда происходит с его книгами в США.

Стивен Кинг (род. в 1947 г.) завоевал успех и популярность стремительно: уже первые его книги возбудили немалый интерес, и все, что он писал в дальнейшем, сразу оказывалось в центре внимания, побуждая к суждениям самым крайним — и восторженным и уничижительным. Подобная амплитуда оценок сама по себе очень красноречива — ведь о явлениях простых и самоочевидных не спорят. А у Кинга, несмотря на великое множество приверженцев, и сегодня остаются ожесточенные противники, отказывающиеся признать его писателем серьезным или хотя бы характерным для современных США. И чем несомненнее авторитет Кинга у широкой читательской аудитории, тем язвительнее становится тон отзывов влиятельных американских критиков, за редкими исключениями рассматривающих его творчество как достояние «массовой культуры» с ее установками на пустую сенсационность и низкопробные эффекты.

Так было после романа Кинга «Светящийся» (1977), экранизированного Стэнли Кубриком и закрепившего за автором репутацию одного из самых читаемых современных американских прозаиков. Так было и после других романов Кинга — «Позиция» (1978), «Мертвая зона» (1979), «Несущая огонь» (1980), «Кристина» (1983).

В какой-то мере можно понять ту, мягко говоря, сдержанность, которая обычно чувствуется в критических откликах на произведения Кинга. И дело не только в том, что при всей одаренности этого писателя его творческий почерк еще не установился: мелодраматическая концовка «Мертвой зоны» — лучшее тому подтверждение. Кинг и впрямь делает определенные уступки шаблонам, распространенным в американской «литературе для миллионов». Он слишком заботится о занимательности интриги, нередко жертвуя при этом многомерностью характеров и глубиной разработки коллизий. Он чересчур пристрастен к изображению всякого рода патологии и жестокости, порою живописуемых в таких выразительных подробностях, что невольно закрадывается сомнение: да полно, стремился ли писатель обличить и осудить или, может быть, просто потакал нездоровому обывательскому интересу к «темным» сторонам будничности?

Промахи Кинга, что называется, видны невооруженным глазом, но несколько настороженное отношение к нему критики порождается главным образом не ими. Подозрительной выглядит сама легкая предсказуемость бума, возникающего вокруг каждой его книги,— эти броские рекламные объявления, появляющиеся в газетах еще за месяц-другой до публикации, эти огромные тиражи. Ни для кого не секрет, насколько тесно породнены в США литература и коммерция. Битва за читателя не прекращается ни на минуту, и лишь редко побеждает в ней настоящая проза. Большой литературе непросто выдерживать конкуренцию со стороны всевозможных более или менее искусных поделок, эксплуатирующих модную тематику или раболепно следующих убогим запросам публики, которая привыкла к шпионским боевикам и душещипательным историям из жизни кинозвезд. В подобной ситуации писательская удача, измеряемая количеством проданных экземпляров, парадоксальным образом становится не показателем значимости произведения, а гораздо чаще только свидетельством особой приспособляемости к невзыскательным вкусам.

Кингу выпало в полной мере испытать на себе последствия такого парадокса. Было бы, конечно, преувеличением назвать его просто жертвой тех нелепостей и уродств, которые почитаются нормой вещей на американском книжном рынке,— он и сам охотно учитывает существующие здесь «правила игры». Но намного несправедливее было бы причислить Кинга к поставщикам скоропреходящих литературных сенсаций лишь на

том основании, что его книги пользуются большим успехом. Намного несправедливее было бы не заметить значительности проблем, возникающих в романах Кинга, и жгучей актуальности исследуемых им конфликтов, пусть даже и дает себя почувствовать — подчас ощутимо — стремление писателя непременно обеспечить своим книгам престижную строку в списке бестселлеров.

Это раз за разом удается Кингу, и раз за разом критика бьется над объяснением причин. Всего проще и соблазнительнее свести дело к популярности жанров, в которых работает писатель. Но что это за жанры? Споры начинаются уже отсюда. Научная фантастика? Детектив? Так называемая «литература ужасов»? Или философская аллегория, а может быть, и беллетризованная эссеистика, касающаяся некоторых остродискуссионных вопросов современной науки? Или, наконец, картина повседневной американской действительности последних лет, только выполненная не в формах самой жизни, а в форме гротеска, иносказания, притчи?

Для каждого такого определения найдутся свои доводы в романах Кинга. И каждое из них, видимо, будет недостаточным, потому что, как правило, у Кинга смешаны элементы самых разных жанров. Как раз смелость соединения этих на первый взгляд несочетаемых элементов во многом объясняет и своеобразие прозы Кинга, и неоднозначность ее читательского восприятия.

Та же «Мертвая зона» может быть прочитана и как захватывающий детектив, и как повествование о тайнах парапсихологии, и как рассказ о стоическом мужестве человека, вернувшегося к полноценной жизни, хотя его положение выглядело безнадежным, и даже как специфическая хроника политической истории США 70-х годов. Такой синтез очень типичен для Кинга. В его лучших произведениях достигнута настолько высокая степень концентрации содержания, что затруднительным становится всякое однозначное определение их творческой природы.

Несомненно одно: Кингу тесны рамки романа, достоверно и опознаваемо передающего течение будней, и у него обязательно присутствует момент художественного допущения, условности. Поначалу считалось, что это та же самая условность, какую мы встречаем у Рэя Брэдбери или Айзека Азимова. Но неправомерность подобного отождествления стала ясна довольно быстро. Не говоря уже о том, что у Кинга действие происходит не на иных планетах, а в гуще обыденности, сами описываемые им ситуации отличаются от тех, какие возникают в «Марсианских хрониках» Брэдбери или азимовском «Конце вечности». Точнее сказать, они иначе сконструированы — так, чтобы, невзирая на условность, нас не покидало ощущение реальности происходящего, доподлинности картин, которые перед нами проходят.

«Несущей огонь» Кинг предпослал эпиграф из романа Брэдбери «451° по Фаренгейту»: «И было так приятно гореть». Перекличка основных мотивов двух книг бросается в глаза, но они построены по-разному. У Брэдбери — типичная антиутопия или, как он сам выразился, «реальность, доведенная до абсурда». А у Кинга? Он рассказывает историю восьмилетней девочки, чей сосредоточенный взгляд способен возжигать пламя. От этого взгляда запылает рассердивший ее своим «упрямством» плюшевый медвежонок. В конце романа от этого взгляда запылают постройки экспериментального центра, где разрабатывается программа, призванная использовать с военными целями новую энергию разрушения.

Невероятно? Да нет, не совсем. Редкий и страшный дар, которым наделена маленькая героиня романа, действительно отмечен и получил на языке парапсихологов особое название: пирокинез. И вот что самое любопытное: даже читатель, впервые узнавший об этом загадочном феномене из романа Кинга, едва ли сочтет книгу чистым вымыслом. Наоборот, трудно избавиться от чувства, что Кинг показал события, если и не происходившие реально, то обладающие высокой степенью вероятности — как жестокая угроза человечеству.

Суть дела не в тех свидетельствах о пирокинезе, которые Кинг упомянул в авторском послесловии. Компетенция специалистов — судить, насколько соответствуют сегодняшним научным представлениям постоянно совершаемые Кингом экскурсы в область экстрасенсорной перцепции, пока еще далеко не понятой в своем происхождении и возможностях. Но не может возникнуть и тени сомнения: эти экскурсы предпринимаются не ради того, чтобы поиграть на нынешнем ажиотаже вокруг таинственных явлений человеческой психики.

Эти феномены вызывают у Кинга стойкий интерес прежде всего по той причине, что за ними с удивительной наглядностью обнаруживаются некоторые социальные тенденции, внушающие писателю законную тревогу. И если не искать у Кинга каких-то ошеломляющих откровений относительно тех или иных скрытых свойств сознания, если освободить его книги от присущего им налета мистики, окажется, что они всегда основаны на доподлинных явлениях общественной жизни Запада, которые незачем «доводить до абсурда», используя прием гротескного заострения. Ведь такие явления ясно выступили как реальность мира, в котором мы живем. И Кинг стремится им противостоять — точно так же, как пытался, используя свой дар ясновидения, предотвратить катастрофу герой «Мертвой зоны» Джонни Смит.

Наделяя своих персонажей «вторым зрением», Кинг точно бы обретает его и сам, и его лучшие романы полны предчувствия угроз, в которых человечество должно отдавать себе отчет, чтобы они не осуществились.

Как же его назвать, это «второе зрение» Стивена Кинга? Фантазией? Наверное, да — только фантазией особого типа. Мы помним, как у испанца Луиса Гевары, а потом у Лесажа хромой бес Асмодей срывал крыши домов, позволяя студенту Клеофасу быть в курсе всех секретов обитателей города, которые поражались его осве-

домленности. Помним Рипа ван Винкля, героя новеллы американского романтика Вашингтона Ирвинга,— хлебнув крепкого зелья, этот персонаж проспал двадцать лет и не узнал родных краев после пробуждения. Помним рассказанную Стивенсоном странную историю о докторе Джекиле и мистере Хайде, его двойнике, сосредоточившем в себе все то низменное и жестокое, что скрывалось в тайниках души благородного и обходительного джентльмена. Все эти мотивы прямо или опосредованно отзовутся в «Мертвой зоне», убеждая, что Кинг унаследовал одну из самых старых и прочных литературных традиций.

А если искать аналогий, более близких к нам по времени, то и они обнаружатся в изобилии. Как тут не назвать поэтичную и глубокую повесть болгарского прозаика Павла Вежинова «Барьер», где та же, что и у персонажей Кинга, психическая неординарность становится емкой метафорой человеческой разделенности, создаваемой конфликтом мечты и усталого равнодушия, романтики и своекорыстия. Как не упомянуть некоторые фильмы Ингмара Бергмана с их житейски немотивированными озарениями героев, с этими властно вырывающимися из подсознания импульсами, которые словно переносят в иную, им одним доступную реальность персонажей «Другого лица» и «Персоны».

Да и другие ассоциации возникают над страницами Кинга едва ли не сразу же. Это и француз Веркор, чей роман-эссе «Люди или животные» проложил дорогу литературе, впрямую обращающейся к проблематике, сегодня активно осваиваемой научным знанием. Это и англичанин Колин Уилсон, и японец Кобо Абэ, и соотечественник Кинга Курт Воннегут....

Разные творческие индивидуальности, разные художественные устремления, да и объективные возможности у каждого из названных писателей тоже разные, хотя бы по масштабу дарований. Но явление, обозначившееся в их творчестве, по сути, едино — и, думается, весьма знаменательно. В век науки появилась литература, сближающая с наукой по характеру своих интересов, по содержанию анализируемых ею проблем. Фантазия рождается как обобщение фактов, добытых наукой, и как попытка — другой вопрос, насколько успешная,— на основе таких фактов достичь понимания существенных процессов сегодняшней жизни, ее близких и отдаленных перспектив. Обостряется потребность во «втором зрении». Уже давно это не просто литературный прием.

Произведения Кинга принадлежат этой литературе. И подтверждается такой вывод вовсе не обилием экстрасенсов в его романах, не приверженностью автора к чудесам телепатии и ко всему комплексу проблем парапсихологии. Разумеется, тут не просто художественная условность, и все же для понимания Кинга такие мотивы важны не более, чем, например, важна для понимания романов Воннегута планета Тральфамадор, где развернуто действие ряда эпизодов «Бойни номер пять» и «Сирен Титана». Воннегут показывает Тральфамадор лишь как логическое завершение тех процессов сплошной механизации сознания, которые происходят здесь и сейчас, в сегодняшнем капиталистическом обществе. Так и у Кинга ясновидение героев снова и снова позволяет им различить за кажущимся спокойствием будничного американского быта действие жестоких, антигуманных сил, грозящих разрушить фундаментальные основы нравственности, человечности, разумности.

И как бы нас ни увлекали вторжения Кинга в таинственную сферу экстрасенсорной перцепции, для самого писателя они прежде всего являются способом опознания реальных опасностей, которые создает стихия этической вседозволенности, и безудержная милитаризация, и деятельность новоявленных приверженцев фашизма, и политический авантюризм, пренебрегающий жизненными интересами человечества.

Перед читателем «Мертвой зоны» пройдут многие ключевые события американской жизни минувшего десятилетия. Бесславный конец войны во Вьетнаме, уотергейтский скандал, обострение социальных противоречий и, как ответная реакция, усиление неоконсервативных веяний, инфляция, политические кризисы, вакханалия насилия — все это в конечном итоге и определяет атмосферу романа, решающим образом воздействуя и на позицию, избранную героем, на его этический выбор, приведший к трагическому финалу.

Наивно убеждение Джонни Смита, будто ему в одиночку дано остановить «смеющегося тигра», который рвется к президентскому креслу, чтобы насаждать в Америке порядки, мало чем отличающиеся от установлений третьего рейха, и едва ли могут быть оправданы избранные героем Кинга средства противодействия. Но отнюдь не грезой больного сознания Джонни Смита является настойчиво преследующее его ощущение, что весь общественный климат нынешней Америки необычайно благоприятен для таких вот «смеющихся тигров», чье торжество означало бы непоправимое бедствие для американского народа, да, вероятно, и для каждого жителя земли. Только кажется, будто Джонни «выпал из времени», существуя в призрачном и нереальном мире телепатических видений. На самом деле он постигает самую суть конфликтов, характерных для Америки наших дней.

И поэтому «Мертвая зона» воспринимается в первую очередь как книга, заключающая в себе социальное предупреждение.

На него нельзя не откликнуться.

А. ЗВЕРЕВ

ПРОЛОГ

К окончанию колледжа Джон Смит начисто забыл о падении на лед в тот злополучный январский день 1953 года. Откровенно говоря, он забыл об этом еще в школе. А мать с отцом вообще не знали.

Дети катались на расчищенном пятачке Круглого пруда в Дареме. Мальчишки повзрослей играли в хоккей старыми клюшками, обмотанными клейкой лентой, воротами служили старые корзины из-под картофеля. Малыши, как водится, вертелись тут же, коленки у них смешно вихляли, дети выпускали в двадцатиградусный морозный воздух клубочки пара. У кромки расчищенного льда горели, чадя, две автомобильные покрышки; неподалеку сидели кучкой родители, наблюдавшие за детьми. До эпохи снегомобилей было еще далеко, и люди предпочитали размяться на свежем воздухе, а не возиться с мотором.

Джонни с коньками через плечо шел от своего дома, который стоял на другой стороне Паунал-стрит. Для шестилетнего мальчика он катался совсем неплохо. Не так хорошо, чтобы играть со старшими ребятами в хоккей, но все же мог выписывать вензеля вокруг других малышей, а те только и делали, что размахивали руками для равновесия или плюхались мягким местом на лед.

Он плавно заскользил по краю расчищенной площадки, мечтая прокатиться задом наперед, как Тимми Бенедикс, и прислушиваясь к таинственному потрескиванию и покряхтыванию льда под снегом, крикам хоккеистов, тарахтению цементовоза, направлявшегося через мост к зданию фирмы «Ю. С. Джипсум» в Лисбон-Фолсе, обрывкам разговоров взрослых. Здорово жилось на свете в тот холодный, ветреный зимний день. Все было хорошо, ничто не тревожило, ничего не хотелось... разве что суметь прокатиться задом наперед, как Тимми Бенедикс.

Он проехал мимо костра и увидел, как трое взрослых передавали друг другу бутылку.

— Дайте и мне! — прокричал он Чаку Спайеру, одетому в просторную короткую куртку и зеленые фланелевые штаны.

Чак ухмыльнулся:

— А ну проваливай, малыш! Смотри, вон мамаша тебя зовет.

Улыбаясь, шестилетний Джонни покатил дальше. С той стороны, где расчищенный пятачок примыкал к дороге, он увидел спускавшихся с откоса Тимми Бенедикса с отцом, Тимми шел впереди.

— Тимми! — крикнул Джонни.— Смотри!

Он развернулся и неуклюже заскользил задом наперед. Джонни не заметил, что едет в гущу хоккеистов.

— Эй, малыш! — крикнул кто-то.— С дороги!

Джонни не слышал. Он добился своего. Он катил задом наперед! Он наконец уловил ритм движения. Просто надо научиться владеть своим телом...

Джонни восхищенно посмотрел вниз, он хотел проследить, как двигаются ноги.

И не заметил, что мимо него пролетела старая, побитая, с выщербленными краями шайба. Один из взрослых ребят, не очень-то хорошо стоявший на коньках, стремительно летел за ней, ничего не видя перед собой.

Чак Спайер понял, что столкновение неизбежно. Он вскочил и закричал:

— Джонни! Берегись!

Джон поднял голову — и в этот миг неуклюжий хоккеист со всей силой врезался в Джона Смита на полном ходу.

© Stephen King, 1979.

Джонни взлетел на воздух, беспомощно раскинув руки. Через мгновение он ударился головой о лед и провалился в черноту.

Чернота... черный лед... чернота... черный лед... чернота... Мрак.

Потом ему сказали, что он потерял сознание. Он помнил только, как, открыв глаза, увидел вокруг лица испуганных хоккеистов, обеспокоенных взрослых, любопытных малышей. Ухмылялся Тимми Бенедикс. Чак Спайер поддерживал Джонни.

Черный лед. Черный.

— Ну что? — спросил Чак.— Все в порядке, Джонни? Здорово он в тебя врезался.

— Черный,— глухо произнес Джонни.— Черный лед. Больше не прыгай на нем, Чак.

Чак испуганно обвел глазами столпившихся людей, затем перевел взгляд на Джонни. Потрогал большую шишку, которая вырастала на лбу мальчика.

— Извини,— сказал неуклюжий игрок.— Я его даже не заметил. Малышам нечего делать там, где играют в хоккей. Это — закон,— он неуверенно оглянулся, ища поддержки.

— Джонни! — позвал Чак. Ему не понравились глаза мальчика. Они были темные и отсутствующие, далекие и холодные.— Как ты себя чувствуешь?

— Больше не прыгай на нем,— сказал Джонни, не понимая, что говорит, думая только про лед, черный лед.— Взрыв. Кислота.

— Может, отвести его к врачу? — спросил Чак Билла Гендрона.— Он говорит невесть что.

— Обожди минутку,— посоветовал Билл.

Они подождали. В голове у Джонни в самом деле прояснилось.

— Все в порядке,— пробормотал он.— Дайте подняться.— Тимми Бенедикс все еще ухмылялся, вонючка. Джонни решил, что покажет еще Тимми. К концу недели он будет выписывать вензеля вокруг него... как обычно и задом наперед.

— Давай-ка посиди немного у костра,— сказал Чак.— Здорово он в тебя врезался.

Джонни подтащили к костру. Запах плавящейся резины был сильным и едким, он вызывал легкую тошноту. Болела голова. Он чувствовал, что над левым глазом образовался странный нарост. Шишка, казалось, выпирала на целую милю.

— Ты хоть помнишь, кто ты или что-нибудь вообще? — спросил Билл.

— Конечно. Конечно, помню. Все в порядке.

— Кто твои папа и мама?

— Герберт и Вера. Герберт и Вера Смит.

Билл и Чак переглянулись и пожали плечами.

— Кажется, с ним все в порядке,— сказал Чак и затем вновь, в третий раз: — А он здорово в него врезался, правда? Бр-рр.

— Ох уж эти малыши,— сказал Билл, любовно посмотрев на своих восьмилетних девочек-близняшек, катавшихся рука об руку, и затем вновь на Джонни. — Такой удар мог бы убить и взрослого.

— Только не негра,— сказал Чак, и они оба рассмеялись. Бутылка «Бушмилла» вновь пошла по кругу.

Через десять минут Джонни был уже снова на льду, головная боль затихала, синяя шишка маячила над глазом как причудливое клеймо. Джонни вернулся домой к обеду, он совсем забыл, что упал, затем потерял сознание, и радовался тому, что научился кататься задом наперед.

— Боже милостивый! — воскликнула Вера, увидев его. — Как это тебя угораздило?

— Упал,— ответил он и принялся уплетать консервированный суп.

— Ты хорошо себя чувствуешь, Джон? — спросила мать, дотронувшись до его лба.

— Конечно, мам. — Так оно и было, если не считать кошмарных снов, мучивших его месяц или два... кошмарных снов и появлявшейся временами сонливости в те часы, когда раньше ему совсем не хотелось спать.

Он чувствовал себя хорошо.

Однажды утром в середине февраля Чак Спайер обнаружил, что сел аккумулятор старенького «де сото» сорок восьмого года выпуска. Чак решил подзарядить его от грузовичка. Когда он присоединял провод ко второй клемме аккумулятора, тот взорвался, брызнув осколками и кислотой прямо ему в лицо. Он потерял глаз. Слава богу, что не оба, сказала Вера. Джонни очень переживал, и спустя неделю они с отцом пошли навестить Чака в льюистонскую клинику. Вид Чака на больничной койке, где он казался каким-то потерянным и маленьким, потряс Джонни — в ту ночь ему снилось, что это он, Джонни, лежит там.

В последующие годы у него иногда появлялись предчувствия — он знал, например, какая пластинка зазвучит по радио еще до того, как диск-жокей проигрывал ее,— но он никогда не связывал их с падением на лед. К тому времени он забыл о нем.

Да и предчувствия не были столь уж необычными и не часто тревожили Джонни. До вечера на сельской ярмарке и истории с маской ничего особенного не произошло. А потом вдруг несчастный случай.

Позднее Джонни часто думал об этом.

Выигрыш на «Колесе судьбы» выпал перед вторым несчастным случаем.

Как тревожное предостережение из детства.

Стояло лето 1955 года; под палящим солнцем по Небраске и Айове кружил коммивояжер. Он сидел за рулем «меркюри» выпуска тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, на спидометре было уже свыше семидесяти тысяч миль. Клапаны «мерка» начинали заметно стучать. Это был крупный молодой человек, эдакий рубаха-парень со Среднего Запада; летом 1955-го, спустя каких-нибудь четыре месяца после того, как он прогорел на малярном бизнесе, Грегу Стилсону исполнилось только двадцать два года.

Багажник и заднее сиденье машины были забиты картонными коробками с книгами. В основном библиями. Разного формата и толщины. Самой ходовой была «Библия Американского Праведного Пути» по доллару шестьдесят девять центов за штуку, с переплетом на авиационном клее, снабженная шестнадцатью цветными иллюстрациями и гарантией не рассыпаться по крайней мере десять месяцев; еще дешевле — шестьдесят пять центов — стоил «Новый Завет Американского Праведного Пути», тоже карманное издание, но без цветных иллюстраций, зато со словами Господа Нашего Иисуса Христа, набранными красным шрифтом; а для толстосумов имелось «Слово Божие Американского Праведного Пути», роскошная книга за девятнадцать долларов девяносто пять центов, с обложкой под белую кожу — на ней было оставлено место для имени владельца, которое надлежало вывести золотом; книгу украшали двадцать четыре цветных иллюстрации, а в середине располагались чистые листы, куда можно было записывать дни рождений, даты свадеб и похорон. Это великолепное «Слово Божие» могло протянуть целых два года. Была там также коробка с книжками в мягких обложках под названием «Праведный Путь в Америке; коммунистическо-еврейский заговор против наших Соединенных Штатов».

Эта книжка, напечатанная на дешевой макулатурной бумаге, шла у Грега лучше, чем все библии вместе взятые. Там рассказыва-

лось в подробностях о том, как Ротшильды, Рузвельты и Гринблатты прибирают к рукам американскую экономику и американское правительство.

В Вашингтоне помнили времена Маккарти; на Среднем Западе звезда Джо Маккарти еще не закатилась, и Маргарет Чейз Смит из штата Мэн за ее нашумевшую Декларацию совести называли не иначе как «эта стерва». Не считая книг о коммунизме, сельские клиенты Грега Стилсона питали нездоровый интерес к литературе, в которой говорилось о том, что евреи правят миром.

Грег завернул на пыльную подъездную аллею, ведущую к фермерскому дому, что стоял в двадцати милях к западу от Эймса, штат Айова. Дом казался заброшенным и нежилым — шторы опущены, двери коровника на запоре, не поймешь, есть ли кто дома или нет, но с фермерами всегда так: сам не попробуешь — не узнаешь. Этот девиз хорошо служил Грегу Стилсону уже около двух лет, с тех пор как они с матушкой переехали из Оклахомы в Омаху. На окраске домов не разбогатеешь, но ему хоть ненадолго нужно было избавиться от привкуса Иисуса во рту, да простится это маленькое святотатство. Теперь же он снова занялся своим делом — только на сей раз не как проповедник или борец за религиозное возрождение; он с облегчением оставил прежний чудотворный бизнес.

Грег открыл дверцу машины и только ступил в пыль подъездной дорожки, как из-за коровника показался большой злющий пес с прижатыми ушами. Он остервенело лаял.

— Привет, песик,— произнес Грег низким, приятным, но многозначительным голосом — в свои двадцать два года он уже обладал опытом оратора и умел завораживать аудиторию.

«Песик» не откликнулся на дружеское приветствие. Он приближался, большой и злющий, явно рассчитывая полакомиться на завтрак коммивояжером. Грег забрался обратно в машину, хлопнул дверцей и дважды просигналил. По его лицу бежал пот, на белом льняном пиджаке образовались под мышками темно-серые полукруглые пятна, на спине они растеклись ветвистым деревом. Грег просигналил снова, но никто не отозвался. Дуболомы наверняка погрузились в свой «интернэшнл харвестер» или «студебеккер» и уехали в город.

Грег улыбнулся.

Вместо того чтобы включить заднюю скорость и выехать из подъездной аллеи, он пошарил сзади рукой и достал опрыскиватель — только заряженный не дезинсектицидом, а аммиаком.

Оттянув поршень, Грег довольно улыбнулся и вышел из машины. Пес, который было присел на задние лапы, тут же вскочил и стал рыча приближаться.

Грег все улыбался.

— Ну-ну, песик,— произнес он тем же приятным, многозначительным голосом. — Давай иди-ка сюда. Иди-ка и получи свое.

Он ненавидел этих мерзких фермерских псов, которые вели себя на крохотном пятачке у входа в дом подобно заносчивым самодержцам; к тому же по собаке можно судить и о хозяевах.

— Чертова деревенщина,— произнес он еле слышно. Улыбка не сходила с его лица. — Ну иди-ка сюда, собачка.

Пес приблизился. Задние лапы напряглись перед прыжком. В хлеву мычала корова, ветер нежно шелестел листьями кукурузы. Когда собака прыгнула, улыбка Грега сменилась жесткой и злобной ухмылкой. Он надавил на поршень и плеснул струйкой жгучего аммиака прямо псу в глаза.

Злобный собачий лай сменился коротким, мучительным визгом, который перешел, по мере того как аммиак разъедал глаза, в истошный вой. Пес поджал хвост, из сторожевой собаки он превратился в поверженную дворняжку.

Лицо Грега Стилсона потемнело. Глаза сузились до неприятных

щелочек. Он подскочил и резко ударил собаку в бок ногой, обутой в ботинок с дырочками на носке. Пес визгливо, протяжно завыл и подписал себе приговор — от боли и страха он вступил в бой со своим мучителем, вместо того чтобы убраться к коровнику.

С рычанием он слепо рванулся вперед, вцепился в брюки Грега и порвал правую штанину.

— Сучье вымя! — Грег задохнулся от ярости и снова пнул пса, на сей раз так сильно, что тот покатился в пыль. Со злобным криком Грег опять подскочил к собаке, нанес удар, затем еще. И только сейчас, когда одно ребро было сломано, а другое вывихнуто, пес, у которого слезились глаза, почуял всю опасность, грозившую ему от этого идиота, но было уже поздно.

Грег Стилсон, задыхаясь и крича, мокрый от пота, гнал пса через весь пыльный двор и бил до тех пор, пока тот не заскулил, едва волочась в пыли. Пес истекал кровью. Он умирал.

— Нечего было кусаться,— шипел Грег. — Слышишь? Слышишь меня? Нечего было кусаться, дерьмо ползучее. Мне никто не смеет мешать. Слышишь? Никто.

Он нанес еще один удар окровавленным носком ботинка, но обессилевшая собака лишь с бульканьем захрипела в ответ. Никакой радости он не чувствовал. Голова у Грега болела. Это все солнце. Гнаться за псом под палящим солнцем. Хорошо еще, что не потерял сознания.

Грег тяжело дышал, он на секунду закрыл глаза, пот, подобно слезам, катился по лицу, его капли жемчужинами блестели в ежике волос. Избитый пес умирал у его ног. Под опущенными веками Грега в темноте плыли пульсировавшие вместе с ударами сердца цветные точечки света.

Болела голова.

Иногда Грег спрашивал себя, не рехнулся ли он. Как сейчас, например. Ведь он хотел лишь пустить в пса струю аммиака из опрыскивателя, загнать его в коровник и оставить свою визитку в щели входной двери. А теперь что? Противно смотреть на это месиво. Пожалуй, неразумно оставлять свою визитную карточку, не так ли?

Он открыл глаза. Пес лежал у его ног, задыхаясь, из носа капала кровь. Грег Стилсон посмотрел на собаку, она униженно лизнула ему ботинок, как бы признавая себя побежденной.

— Нечего было рвать брюки,— сказал он псу. — Я отдал за них целых пять долларов, дерьмо ты собачье.

Самое время убраться. Ничего хорошего не выйдет, когда Клем Кадидлмужлан с женой и шестерыми детишками вернется из города на своем «студебеккере», увидит умирающего пса и стоящего над ним разбойника-коммивояжера. Эдак он потеряет работу. «Компания американского праведного пути» не держит торговцев, которые убивают собак, принадлежащих христианам.

С нервным смешком Грег вернулся к своему «меркюри», сел в машину и быстро, задним ходом, выехал из подъездной аллеи. Он свернул на проселочную дорогу, которая подобно струне протянулась через кукурузное поле, и вот уже мчал по ней со скоростью шестьдесят пять миль, оставляя за собой пыльный шлейф длиной мили в две.

Это уж точно — работу он терять не хотел. Пока, во всяком случае. Зарабатывал он неплохо — помимо уловок, известных «Компании американского праведного пути», Грег использовал несколько изобретенных им самим ухищрений, о которых ей было неведомо. Да, сейчас он неплохо зарабатывал. Кроме того, разъезжая, он встречал людей... девочек. Жизнь была прекрасна, вот только...

Только этого ему было мало.

Он продолжал путь. Голова раскалывалась. Да, ему было этого мало. Он чувствовал, что его ожидает нечто большее чем мотание

по Среднему Западу, торговля библиями и подделка счетов ради двух лишних долларов в день. Он чувствовал, что его ожидает.

Величие.

Да, именно так, определенно так. Несколько недель назад он уволок какую-то девицу на сеновал, ее родители уехали в Давенпорт, набив машину цыплятами для продажи, она сначала спросила, не хочет ли он лимонада, а там пошло-поехало, и после того, как ЭТО произошло, она сказала, что в любви он похож на зануду-проповедника, и тут он непонятно почему дал ей пощечину.

Нет, не совсем так.

На самом деле он ударил ее раза три или четыре. Пока она не заплакала и не стала звать на помощь, тут он остановился и с трудом — пришлось пустить в ход все свои чары — утихомирил ее. Тогда у него тоже разболелась голова, пульсирующие яркие точки мчались и сталкивались перед глазами, он пытался убедить себя, что всему виной жара, убийственная жара на сеновале, однако не только она одна вызывала головную боль. В нем поднялась та же самая смутная злоба, что и во дворе перед домом, когда собака разорвала ему брюки,— какая-то темная и безумная.

— Я не псих,— громко произнес Грег. Он быстро опустил боковое стекло, в машину ворвался летний зной вместе с запахом пыли, кукурузы и навоза. Он включил радио и поймал песню в исполнении Пэтти Пейдж. Головная боль немного отпустила.

Главное, держать себя в руках и не подмочить репутацию. Если следовать этому, ты неуязвим. И в том и в другом он начинал преуспевать. Теперь во сне ему все реже являлся отец, который стоял над ним в шляпе, сдвинутой на затылок, и орал: *Ты же дерьмо, сопляк! Ты же сущее дерьмо!*

Этот сон снился ему реже и реже, потому что все изменилось. Он уже не тот низкорослый сопляк. Конечно, в детстве он много болел, был тщедушным, но быстро выправился и теперь заботился о матери...

Правда, отца уже не было. Он не мог этого знать. Но и Грег не мог затолкнуть слова отца обратно ему в глотку, потому что отец погиб при взрыве на нефтяной платформе; он был мертв, и Грег хотел бы разок, ну хотя бы разок выкопать папашу из могилы и крикнуть в разложившееся лицо: *«Ты ошибся, отец, ты ошибся насчет меня!»* — и затем дать ему хороший пинок, такой же, как тот...

Как тот, что дал псу.

Головная боль возобновилась, но уже с меньшей силой.

— Я не псих,— произнес он снова, теперь музыка перекрывала его голос. Мать часто говорила Грегу, что его ждет нечто большое, нечто великое, и он верил этому. Главное — не срываться и не допускать таких промахов, как пощечины, которые он влепил девчонке, или убийство собаки, и оставаться чистеньким.

Какое бы величие ни ожидало Грега, он узнает о его приходе. В этом он был совершенно уверен.

Грег вновь подумал о собаке, на этот раз при воспоминании о ней улыбка едва коснулась его губ, холодная, равнодушная.

Грега ожидало величие. Оно, правда, могло наступить еще не скоро — Грег был молод,— ну что ж, ничего плохого, если тебе не так много лет, если ты понимаешь, что не все сразу получается. Но когда веришь, желаемое в конце концов сбывается. А он верил.

И да поможет бог и сынок его Иисус тому, кто посмеет стать на пути Грега.

Стилсон высунул загорелый локоть из окна машины и начал насвистывать мелодию песни, звучавшей по радио. Он нажал на акселератор, разогнал старый «меркюри» до семидесяти миль в час и покатил по прямой дороге среди ферм штата Айова навстречу будущему, какое бы оно ни было.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Колесо судьбы

От того вечера у Сэйры осталось два воспоминания — везение Джонни у Колеса судьбы и маска. Но шло время, годы, и в памяти, когда она могла заставить себя думать о том ужасном вечере, всплывала лишь маска.

Он жил в многоквартирном доме в Кливс Милс. Без четверти восемь, оставив машину за углом, Сэйра позвонила в парадную дверь. Сегодня они поедут на ее машине, Джонни отвез свою в гараж Тиббетса в Хемпдене — подшипник в колесе заел или что-то в этом роде. Работы на сто долларов, сказал Джонни по телефону и засмеялся таким знакомым смехом. Сэйра была бы уже в слезах, если бы это касалось ее машины — ее *кошелька.*

Она прошла через вестибюль к лестнице, миновала доску объявлений. Обычно доска была утыкана записками с предложениями купить мотоциклы, стереосистемы, воспользоваться услугами машинисток, а также присоединиться к уезжающим в Канзас, Калифорнию или Флориду, чтобы попеременно вести машину и платить за часть бензина. Но сегодня почти всю доску объявлений занимал большой плакат, изображавший сжатый кулак на тревожно-красном фоне, который напоминал пламя. На плакате крупными буквами было написано: «Забастовка!» Стоял конец октября 1970 года.

Джонни жил на втором этаже, в квартире с окнами на улицу — мой пентхаус [1], говорил он. Там он мог стоять в смокинге, как Рамон Новарро [2], с пузатым бокалом в руке, полным сока или воды, и лицезреть большое бьющееся сердце Кливс Милс: его толпу, которая валила из кинотеатра, снующие такси, неоновые вывески.

По существу, Кливс Милс состоял из главной улицы со светофором на перекрестке (после шести часов вечера он превращался в мигалку), двух десятков магазинов и небольшой фабрики по производству мокасин. Как и большинство городков, окружавших Ороно, где находился университет штата Мэн, Кливс Милс жил в основном за счет студентов, обеспечивая их всем необходимым — пивом, вином, бензином, рок-н-роллом, полуфабрикатами, наркотиками, бакалейными товарами, жильем, фильмами. Кинотеатр назывался «Тень». Когда шли занятия, в нем показывали некоммерческие фильмы и ностальгические боевики 40-х годов. В летнее время беспрерывно крутили «вестерны» с Клинтом Иствудом в главной роли.

Джонни и Сэйра год назад окончили учебу, и оба преподавали в средней школе в Кливс Милс, которая в числе немногих еще не вошла в окружную общеобразовательную систему. Университетская профессура и администрация, а также студенты снимали в Кливсе жилье, так что деньги в городской казне не переводились. Средняя школа была оборудована по последнему слову техники. Обыватели могли зудеть по поводу университетской публики с ее заумными разговорами и антивоенными маршами, не говоря уже о ее вмешательстве в городские дела, но они не имели ничего против долларов, которые капали в их карманы в виде налогов на элегантные профессорские особняки и многоквартирные дома,— они располагались в районе, который студенты окрестили Никчемной Землей, или Дурацкой Аллеей.

Сэйра постучала, и Джонни каким-то странно приглушенным голосом крикнул:

---

[1] Особняк, выстроенный на крыше небоскреба *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Популярный актер кино 20-х годов.

— Открыто, Сэйра!

Слегка нахмурившись, она толкнула дверь. В квартире Джонни было совершенно темно, если не считать мелькающего желтого света от мигалки с улицы. Вместо мебели горбились темные тени.

— Джонни?..

Решив, что перегорели пробки, она неуверенно шагнула вперед — и тут на нее из темноты надвинулось лицо, ужасное лицо, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Оно светилось неземным, могильным зеленым светом. Один глаз был широко раскрыт и смотрел на нее как-то затравленно. Другой злобно уставился сквозь щелочку век. Левая половина лица — та, что с открытым глазом, была нормальная. Зато правая, казалось, принадлежала чудовищу: нечеловечески перекошенная — толстые губы растянуты, кривые зубы оскалены и блестят в темноте.

Сэйра приглушенно вскрикнула и отшатнулась. Вдруг зажегся свет, и вместо какого-то темного подвала она вновь оказалась в комнате Джонни: на стене — фотомонтаж — Никсон торгует подержанными автомобилями, на полу — плетеный ковер, сделанный матерью Джонни, повсюду винные бутылки вместо подсвечников. Лицо перестало светиться, и она поняла, что это была всего лишь маска, которую продают в дешевых магазинах ко Дню всех святых. Голубой глаз Джонни моргал в пустой глазнице.

Джонни сорвал маску, и вот он перед ней — в выцветших джинсах и коричневом свитере, с неотразимой улыбкой на лице.

— С праздником, Сэйра,— сказал он.

Сердце ее продолжало стучать. Он действительно напугал ее.

— Очень забавно,— сказала она и повернулась, собираясь уйти. Ей совсем не нравилось, когда ее так пугали.

Он перехватил Сэйру уже в дверях:

— Эй... Я свалял дурака.

— Еще бы. — Она смотрела на него холодно, по крайней мере пыталась так смотреть. Гнев уже проходил. На Джонни просто нельзя было долго сердиться. Любила она его или нет — на этот вопрос у нее еще не было ответа,— но долго дуться на него или таить обиду она была не в состоянии. Разве можно злиться на Джонни, подумала Сэйра, и эта мысль показалась такой нелепой, что она невольно улыбнулась.

— Ну вот, так-то лучше. А я уж думал, что ты, парень, хочешь меня бросить.

— Я не парень.

Он окинул ее взглядом:

— Это я заметил.

На ней была толстая меховая шуба — искусственный енот или что-то столь же недорогое,— и бесхитростность, с какой он выдал свое желание, снова вызвала у нее улыбку:

— В этой шкуре и не различишь.

— Я-то различу,— сказал Джонни. Он обнял ее и поцеловал. Она не хотела отвечать на его поцелуй, но, конечно же, ответила.

— Прости, что напугал тебя,— сказал он и потерся носом о ее нос, потом разомкнул объятья. Он поднял маску вверх. — А я думал, она тебе понравится. Хочу ее надеть в пятницу на уроке.

— Но, Джонни, это же нарушит порядок.

— Как-нибудь обойдется,— сказал он с усмешкой. И, черт возьми, у него наверняка бы обошлось.

Сэйра приходила в школу каждый день в больших очках, как у сельской учительницы, волосы стянуты в пучок такой тугой, что, казалось, она вот-вот закричит от боли. Сэйра носила юбки чуть выше колен, хотя у большинства девчонок они едва прикрывали трусики (а ноги у меня все равно лучше, со злорадством думала Сэйра). Она рассаживала учеников в алфавитном порядке, что, по закону

средних чисел, должно было вроде удерживать шалунов на расстоянии друг от друга, и решительно отсылала провинившихся к заместителю директора, руководствуясь при этом соображением, что он — в отличие от нее — получает дополнительные пятьсот долларов в год за выполняемую им роль экзекутора. И все равно школа была для нее постоянной борьбой с дьяволом, преследующим всякого начинающего учителя,— с Беспорядком. Особенно раздражало Сэйру постоянное присутствие негласного суда присяжных — своего рода общественного мнения учеников,— который оценивал каждого нового учителя, и вынесенный вердикт был не в ее пользу.

Джонни, по крайней мере внешне, вовсе не соответствовал представлению о том, каким должен быть хороший учитель. Он слонялся из класса в класс, витая в каких-то сладких грезах, и частенько опаздывал на урок, заболтавшись с кем-нибудь на переменке. Он разрешал детям сидеть там, где им захочется, и они каждый день меняли место, причем классные драчуны неизбежно оказывались в задних рядах. При таком условии Сэйра не смогла бы запомнить их имен до марта, а Джонни уже знал всех учеников как свои пять пальцев.

Он был высокого роста и немного сутулился, за что дети прозвали его Франкенштейном [1]. Правда, Джонни был скорее этим доволен, чем раздосадован. На его уроках царили тишина и покой, прогульщиков было мало (у Сэйры ученики постоянно сбегали), и тот же суд присяжных относился к нему благосклонно. Он был из тех учителей, которым через десяток лет посвящают школьные ежегодники. У Сэйры так не получалось. И она часто выходила из себя, не понимая почему.

— Хочешь пива на дорогу? Или стакан вина?

— Нет. Надеюсь, ты при деньгах,— сказала она, беря его под руку и решив больше не сердиться. — Я ведь меньше трех сосисок не съедаю. Особенно на последней ярмарке в году.

Они собирались в Эсти, отстоявший на двадцать миль к северу от Кливс Милс; единственной претензией этого городка на сомнительную славу было проведение САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ В НОВОЙ АНГЛИИ. Ярмарка закрывалась в пятницу вечером, в канун Дня всех святых.

— Если учесть, что зарплата у нас в пятницу, с деньгами неплохо. У меня восемь долларов.

— Мать честная! — Сэйра закатила глаза. — Я всегда знала, что, если буду ангелом, небо пошлет мне в один прекрасный день папулю-толстосума.

— Мы, сутенеры, делаем ба-а-а-льшие деньги, крошка. Сейчас возьму пальто, и едем.

Сэйра смотрела на него с отчаянной нежностью, и внутренний голос, который звучал все чаще и чаще — когда она стояла под душем, читала, готовилась к урокам или стряпала одинокий ужин,— заговорил вновь, словно в одной из полуминутных рекламок по телевизору: *Он очень и очень приятный человек, с ним легко, он занятный, никогда не заставит тебя плакать. Но разве это любовь? То есть достаточно ли всего этого для любви? Даже когда ты училась кататься на двухколесном велосипеде, ты падала не раз и сбивала себе коленки. Даром ничего не дается. А тут тем более.*

— Я в туалет,— сказал он.

— Давай. — Она слегка улыбнулась. Джонни был из тех, кто почему-то неизменно ставит всех в известность о своих естественных надобностях.

Она подошла к окну и выглянула на Главную улицу. На площадку для стоянки автомашин, рядом с пиццерией О'Майка, высыпали

[1] Главный персонаж романа английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

ребятишки. Неожиданно ей захотелось побегать с ними, превратиться в маленькую девочку, оставить все свои заботы позади или — перебросить в будущее.

Она отвернулась от окна и подошла к софе, на которую Джонни положил маску.

— С праздником,— фыркнула она.

— Что? — откликнулся Джонни.

— Если ты сейчас не выйдешь, я еду без тебя.

— Выхожу.

— Отлично!

Она провела пальцем по маске с лицом Джекиля и Хайда. Левая сторона от доброго доктора Джекиля, правая, звероподобная,— от Хайда. Что с нами будет ко Дню благодарения? — подумала она. А к рождеству?

Эта мысль вызвала странный нервный озноб, пробежавший по всему телу.

Он ей нравился. Он был совершенно нормальный, приятный мужчина.

Она вновь взглянула на маску: мерзкий Хайд, подобно раковой опухоли, вырастал из лица Джекиля. Маска была покрыта люминесцентной краской, потому она и светилась в темноте.

А что такое нормальный? Никто. Ничто. Пожалуй, нет. Будь он нормальный, разве ему пришло бы в голову надеть нечто подобное в классе и думать при этом, что дисциплина не пострадает? И как могли дети называть его Франкенштейном и все-таки любить и уважать? И это нормально?

Сквозь занавес из бус, отделявший туалет и спальню от гостиной, проскользнул Джонни.

Если он захочет сегодня лечь со мной в постель, я, пожалуй, не буду против.

От этой мысли стало тепло, как бывает, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия.

— Ты что улыбаешься?

— Да так,— сказала она, бросая маску на софу.

— Ну а все-таки. Что-нибудь приятное?

— Джонни,— сказала она, положив руку ему на грудь и вставая на цыпочки, чтобы поцеловать его,— не обо всем надо говорить вслух. Пошли.

Они задержались в вестибюле, пока он застегивал свою джинсовую куртку, и взгляд ее опять невольно остановился на плакате ЗАБАСТОВКА! — со сжатым кулаком на пылающем фоне.

— В этом году будет новая студенческая забастовка,— проследив за ее взглядом, сказал он.

— Против войны?

— На сей раз не только. Вьетнам, призыв резервистов и волнения в Кентском университете взбудоражили студентов. Думаю, что никогда еще в аудиториях не сидело так мало *хрюкал.*

— Это ты о ком?

— Да об отличниках, которым наплевать на наше общество, лишь бы оно обеспечило им потом оклад в десять тысяч долларов. Хрюкале наплевать на все, кроме своей шкуры. Но теперь другие времена. Большинство из них проснулись. Грядут большие перемены.

— И это для тебя важно? Даже когда учеба уже позади?

Он подобрался:

— Мадам, я же из Мэнского университета. Смит, выпуск семидесятого! Мы высоко держим марку старого доброго Мэна.

Она улыбнулась:

— Ладно, поехали. Я хочу прокатиться на карусели, пока ее не закрыли.

— Прекрасно,— сказал он, беря ее за руку. — За углом моего дома случайно оказалась твоя машина.

— И есть восемь долларов. Нас ждет блестящий вечер.

Вечер был облачный, но не дождливый, для позднего октября достаточно теплый. Наверху серп луны пытался пробиться сквозь завесу облаков. Джонни обхватил ее рукой, она прижалась к нему.

— Знаешь, Сэйра, я о тебе все время думаю,— сказал он почти небрежно, но только *почти*. Сердце у нее слегка замерло, а затем бешено застучало.

— Правда?

Они обогнули угол, и Джонни открыл ей дверцу. Обойдя машину, он сел за руль.

— Тебе холодно?

— Нет,— ответила она. — Вечер очень теплый.

— Да,— согласился он, отъезжая. Она вновь мысленно вернулась к нелепой маске. Половина доктора Джекиля с голубым глазом Джонни в пустой глазнице, расширенной от удивления:— *Слушайте, я вчера изобрел новый коктейль, но едва ли его будут подавать в барах,*— с этой половиной лица было все в порядке, потому что за ней проглядывала частица самого Джонни. Ее испугала другая половина — Хайда. За ней мог скрываться кто угодно, потому что тот глаз превратился в щелку.

Но когда они приехали на ярмарку в Эсти, где в темноте на центральной аллее мигали голые лампочки, а длинные неоновые спицы чертова колеса мелькали вверх-вниз, она уже забыла о маске. Он был рядом, их ждал приятный вечер.

Они пошли по центральной аллее, держась за руки, почти не разговаривая, и Сэйра поймала себя на том, что вспоминает ярмарки своего детства. Она была родом из Саут-Париса, городка, производившего целлюлозу, в западной части штата Мэн, а большая ярмарка обычно проходила во Фрайберге. Джонни, выросший в Паунале, наверное, посещал ярмарку в Топсеме. По сути все ярмарки в таких городках походили одна на другую и с годами почти не менялись. Паркуешь машину на грязной стоянке, платишь при входе два доллара, и едва оказываешься на ярмарке, как чувствуешь запах горячих сосисок, жареного перца и лука, бекона, леденцов, опилок и сладковатый аромат конского навоза. Слышишь лязг русской горки для малышей, которую называют «полевая мышь». Слышишь хлопанье ружей в тире, металлический рев репродукторов, которые выкликают номера для игроков в бинго; репродукторы развешены вокруг большого тента, заполненного длинными столами и складными стульями из местного похоронного бюро. Рок-н-ролл по громкости спорит с ревом органа. Доносится нескончаемый крик зазывал — два выстрела за два десятицентовика, и ты получаешь набитую опилками собачку для своего ребеночка. Эй-эй-как-вас-там, стреляйте, пока не выиграете. Ничего не изменилось. Ты снова ребенок, жаждущий, чтобы тебя облапошили.

— Смотри! — остановила она его. — Карусель! Карусель!

— Конечно,— успокоил ее Джонни. Он протянул женщине в кассовой будке долларовую бумажку, та сунула ему два красных билета и две десятицентовые монетки, не поднимая глаз от журнала «Фотоплей».

— Что значит «конечно»? Почему ты так со мной разговариваешь?

Он пожал плечами. Лицо его выражало полную невинность.

— Речь не о том, что ты, Джон Смит, сказал. Важно, *как* ты это сказал.

Карусель остановилась. Люди слезали и проходили мимо — в основном подростки в голубых армейских рубашках из плотной хлоп-

чатобумажной ткани или расстегнутых куртках. Джонни провел ее по деревянному помосту и подал билеты служителю, у которого был вид самого скучающего создания во вселенной.

— Эко диво,— сказал Джонни, когда тот усадил их в маленькие круглые скорлупки и закрепил страхующую перекладину. — Просто эти кабинки вращаются по замкнутому кольцу, так?

— Так.

— А эти замкнутые кольца уложены на большой круглой тарелке, которая сама вращается, так?

— Так.

— И когда карусель разгоняется, кабинка, где мы сидим, вертится по своей маленькой орбите и может развить такую скорость, которая не намного меньше, чем у космонавтов при взлете с мыса Кеннеди. Я знал одного парня... — Джонни с серьезным видом наклонился к ней.

— Ну да, очередная твоя сказка,— неуверенно сказала Сэйра.

— Когда этому парнишке было пять лет, он упал со ступенек и заработал маленькую, с волосок, трещинку в шейном позвонке. А *десять лет спустя* он разогнался на карусели в Топсеме на ярмарке... и...— Он передернул плечами и похлопал ее сочувственно по руке...— Но с тобой, очевидно, будет все в порядке, Сэйра.

— Ой... Я хочу *сойти*...

А карусель несла их все быстрее, превращая ярмарку и центральную аллею в наклонное смазанное пятно из огней и лиц. Сэйра вскрикивала, смеялась, затем начала колотить его.

— Трещинка с волосок! — кричала она ему.— Я покажу тебе трещинку, когда мы слезем, врун несчастный!

— Как, уже чувствуешь что-нибудь в шейном позвонке? — вкрадчиво спросил он.

— Врун!

Они кружились все быстрей и быстрей, и когда пролетали мимо служителя — в десятый? пятнадцатый раз? — Джонни наклонился и поцеловал ее, а кабинка со свистом вращалась по своей орбите, их губы сливались во что-то горячее, волнующее и родное. Затем круг замедлил движение, кабина как бы нехотя сделала еще один оборот и, наконец, покачиваясь и подергиваясь, остановилась.

Они вылезли, и Сэйра обхватила его шею.

— Трещинка с волосок, балда ты! — прошептала она.

Мимо них проходила тучная дама в голубых брюках и дешевых кожаных туфлях, похожих на тапочки. Джонни обратился к ней, показывая большим пальцем на Сэйру:

— Эта девочка пристает ко мне, мадам. Если увидите полицейского, скажите ему.

— Вы, молодые люди, считаете себя слишком умными,— презрительно сказала тучная дама. Она заковыляла по направлению к тенту для игры в бинго, еще крепче зажав под мышкой сумочку. Сэйра прыснула.

— Ты невозможен.

— Я плохо кончу,— согласился Джонни.— Моя мама всегда так говорила.

Они снова пошли бок о бок по центральной аллее в ожидании, когда мир перестанет качаться у них перед глазами и под ногами.

— Она очень религиозна, твоя мама?— спросила Сэйра.

— Она баптистка до мозга костей,— ответил Джонни.— Но она ничего. Ее не заносит. Когда я дома, она не может удержаться и подсовывает мне несколько брошюрок, но тут уж ничего не попишешь. Мы с отцом смирились. Я пытался было затевать с ней разговоры — скажем, спрашивал, с кем, черт подери, мог Каин сожительствовать в земле Нод, если его папаша и мамаша были первыми людьми на земле, ну и всякое такое,— но потом решил, что это, в общем-то,

гадко, и бросил. Два года назад мне казалось — Юджин Маккарти спасет мир... что до баптистов, то они по крайней мере не выставляют Иисуса кандидатом в президенты.

— А отец твой не религиозен?

Джонни рассмеялся.

— Не знаю. Во всяком случае не баптист.— На мгновение задумался и добавил: — Он плотник,— будто это все объясняло. Сэйра улыбнулась.

— Что подумала бы твоя мать, если бы узнала, что ты встречаешься с пропащей католичкой?

— Попросись ко мне в гости,— отпарировал Джонни,— чтобы она могла всучить тебе несколько брошюр.

Сэйра остановилась, продолжая держать его под руку.

— Ты хочешь пригласить меня к себе домой? — спросила она, глядя ему в глаза.

Добродушное лицо Джонни посерьезнело.

— Да,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты познакомилась с ними... и наоборот.

— Почему?

— А ты не знаешь? — мягко произнес он, и вдруг у нее перехватило горло и застучало в висках, и слезы уже готовы были навернуться на глаза. Она сильно сжала его руку.

— Джонни, ты мне нравишься, ты знаешь это?

— Ты мне нравишься еще больше,— серьезно сказал он.

— Покатай меня на чертовом колесе,— вдруг потребовала она с улыбкой. Больше никаких разговоров на эту тему. Сначала надо все обдумать, попытаться заглянуть в будущее.— Я хочу взлететь наверх, откуда мы все увидим.

— Можно тебя поцеловать наверху?

— Дважды, если успеешь.

Она привела его к билетной кассе, где он оставил еще одну долларовую бумажку. Покупая билеты, он рассказывал:

— Когда я учился в школе, я знал парня, служившего на подобной ярмарке, так он рассказывал, что работяги, собирающие эти колеса, обычно в стельку пьяные и забывают завинтить...

— Иди к черту,— беззаботно сказала она.— Никто не живет вечно.

— Но все стремятся к этому, ты разве не замечала? — сказал он, усаживаясь следом за ней в качающуюся гондолу.

Наверху он поцеловал ее несколько раз, октябрьский ветер ерошил волосы, и ярмарочные аллеи раскинулись внизу, подобно светящемуся в темноте циферблату.

После чертова колеса они покатались на детской карусели, хотя он честно сознался, что чувствует себя паршиво. Ноги у него были такие длинные, что ему пришлось широко их расставить, садясь на гипсового коня. Она нарочно рассказала ему, что знала в школе девочку, у которой было больное сердце, но никто об этом не догадывался, и вот однажды она пошла кататься на карусели с приятелем и...

— Когда-нибудь ты пожалеешь,— со спокойной убежденностью произнес он.— Нельзя, Сэйра, строить отношения на обмане.

Она показала ему язык.

Потом был зеркальный лабиринт, действительно хороший, Сэйре вспомнился роман Брэдбери «Кто-то страшный к нам идет» — в нем изображался такой же лабиринт, и маленькая старая учительница чуть не потерялась там окончательно. Сэйра видела, как Джонни неуклюже топчется среди зеркал и машет ей рукой. Десятки Джонни, десятки Сэйр. Они проходили мимо друг друга, мелькали за неэвклидовыми углами и как бы исчезали. Она поворачивала голову налево, направо, утыкалась носом в прозрачное стекло и беспомощно хихикала, отча-

сти из страха, что оказалась в замкнутом пространстве. Одно зеркало превратило ее в приземистого карлика из книг Толкиена [1]. В другом она выглядела длиннющей долговязой девчонкой с ногами в четверть мили.

Наконец они выбрались из лабиринта, он купил пару сосисок и здоровый бумажный стакан жаренных в масле картофельных ломтиков, которые были сейчас такие же вкусные, какими они бывают, когда тебе еще нет пятнадцати.

Они миновали веселое заведение. Перед входом стояли четыре девицы в юбках с блестками и в бюстгальтерах. Они пританцовывали под старый мотивчик Джерри Ли Льюиса, а зазывала расхваливал в микрофон их достоинства. «Обними меня, милый, покрепче,— ревел Джерри Ли Льюис, его рояль выплескивал буги-вуги на присыпанные опилками аллеи.— Обними меня, милый, покрепче... ухвати-ка быка за рога... надоели мне сладкие речи... ну давай не валяй дурака...»

— Клуб «Плейбой»,— восхитился Джонни и рассмеялся.— Раньше такое заведение было в Гаррисон Бич. Зазывала там божился, что девицы с завязанными за спиной руками могут снять очки прямо с вашего носа.

— Любопытный способ подцепить модную болезнь,— сказала Сэйра, и Джонни покатился со смеху.

По мере их удаления голос зазывалы, усиленный динамиком, звучал все глуше под звуки рояля Джерри Ли, этой знойной музыки, долетавшей из отживших и смолкших пятидесятых как некое будоражащее напоминание: «Давайте, ребята, заходите, не стесняйтесь, а наши девочки и вовсе не стеснительные! Главное происходит за стенами... ваше образование будет неполным, пока вы не увидите представление в клубе «Плейбой».

— Не хочешь ли вернуться и закончить свое образование? — спросила она.

Он улыбнулся.

— Я уже завершил курсовую на эту тему. А с диссертацией, пожалуй, можно подождать.

Она взглянула на часы:

— Гляди-ка, уже поздно. А завтра опять в школу.

— Да. Хорошо еще, что сегодня пятница.

Она вздохнула, вспомнив свой пятый и седьмой классы, где завтра у нее современная литература. В обоих — невозможные хулиганы.

Они протолкались назад, к середине главной аллеи. Толпа редела. Карусель уже закрылась. Двое рабочих с сигаретами в углах рта задергивали брезент на «полевой мыши». Хозяин аттракциона «ставь-пока-не-выиграешь» тушил свет.

— Ты занята в субботу? — спросил он, вдруг оробев.— Конечно, до субботы времени осталось немного, но...

— Есть кое-какие планы,— ответила она.

— Ясно.

Она не могла вынести удрученного вида Джонни, было бы подло дразнить его дальше.

— Я занята с тобой.

— Да?.. Правда? Слушай, это же прекрасно.— Он улыбнулся ей, она — в ответ. Внутренний голос, который иногда, казалось, принадлежал другому человеку, внезапно заговорил:

Тебе снова хорошо, Сэйра. Ты счастлива. Разве это не здорово?

— Да, здорово,— сказала она. Она привстала на цыпочки и быстро его поцеловала. Она заставила себя говорить, пока не передумала: — Знаешь, иногда в Визи бывает так одиноко... Пожалуй, я могла бы... провести с тобой ночь.

---

[1] Английский писатель, автор фантастического повествования о вымышленной стране Средиземье, населенной сказочным маленьким народом «невысокликами».

Он взглянул на нее с теплотой, с такой задумчивостью, что у нее внутри все затрепетало.

— А ты этого хочешь, Сэйра?

Она кивнула.

— Да, очень.

— Прекрасно,— сказал он и обнял ее.

— Ты уверен? — спросила Сэйра немного застенчиво.

— Я только боюсь, что ты передумаешь.

— Не передумаю, Джонни.

Он еще крепче притянул ее к себе.

— Это будет моя самая счастливая ночь.

Они проходили мимо Колеса судьбы — единственного открытого павильона в той части центральной аллеи, вспоминала позже Сэйра. Хозяин только что смел мусор в кучку — искал скатившиеся с игральной доски десятицентовики. Наверно, он скоро закроет свое заведение, подумала Сэйра. За хозяином виднелось большое колесо со спицами, по его окружности светились маленькие электрические лампочки. Должно быть, он услышал последние слова Джонни, потому что почти автоматически занял свое рабочее место, глазами продолжая искать на грязном полу белые пятнышки серебра.

— Э-э-эй, крутаните, мистер, на счастье Колесо судьбы, превратите центы в доллары. Все зависит от этого Колеса, попытайте счастья, один маленький десятицентовик, и Колесо закрутится.

Джонни повернулся на звук его голоса.

— Джонни?

— Я бы попытал счастья, как он выразился.— Он улыбнулся ей.— Ты не против?..

— Нет, пожалуйста. Только не долго.

Он снова взглянул на нее с таким задумчивым выражением, от которого ее охватила странная слабость, одновременно промелькнула мысль: как-то у нас все получится? В животе у Сэйры что-то перевернулось, к горлу подступила тошнота, и ее неожиданно повлекло к нему.

— Я не задержусь.— Он посмотрел на хозяина заведения. Аллея перед павильоном почти совсем опустела; стало прохладнее, так как нависавшие облака рассеялись. Все трое выдыхали струйки пара.

— Попытаете счастья, молодой человек?

— Да.

Когда они приехали на ярмарку, Джонни переложил все деньги в маленький нагрудный кармашек; теперь он вытащил из него то, что осталось от восьми долларов. Один доллар и восемьдесят пять центов.

Игральная доска представляла собой полосу желтого пластика, на которой в квадратах были нарисованы цифры и комбинации. Она выглядела как поле в рулетке, но Джонни тут же заметил, что в Лас-Вегасе такие комбинации привели бы игроков в уныние. Ставка на серию цифр при выигрыше лишь удваивалась. Две цифры — зеро и двойное зеро — давали выигрыш хозяину. Джонни сказал об этом, но хозяин только пожал плечами.

— Поезжайте в Вегас, если хотите. Вольному воля.

Но у Джонни в этот вечер было слишком хорошее настроение. Все началось довольно неудачно из-за маски, но затем пошло прекрасно. По правде говоря, это был его лучший вечер за много лет и, может быть, лучший в жизни. Он взглянул на Сэйру. Она была возбуждена, глаза блестели.

— Что скажешь, Сэйра?

Та тряхнула головой.

— Для меня эта игра все равно что греческий. Что нужно делать?

— Поставить на номер. Либо на красное-черное. Либо на чет-нечет. Либо на серию из десяти цифр. Выигрыши разные.— Он взглянул

на хозяина, который ответил ему отсутствующим взглядом.— По крайней мере должны быть разные.

— Ставь на черное,— сказала она.— Как-то более волнующе, правда?

— Черное,— сказал Джонни и бросил десятицентовик на черный квадрат.

Хозяин уставился на монету, одиноко лежавшую на игральной доске, вздохнул:

— Круто взял, ничего не скажешь,— и повернулся к Колесу.

Джонни рассеянно поднял руку ко лбу.

— Стойте,— быстро сказал он и кинул один из своих четвертаков на квадрат с цифрами 11—20.

— Уверены?

— Уверен,— сказал Джонни.

Хозяин крутанул Колесо, и оно завертелось в кольце из лампочек, черный и красный цвет слились в одно. Джонни рассеянно потирал лоб. Колесо стало останавливаться, и теперь было слышно, как с размеренностью метронома пощелкивает маленькая деревянная трещотка, скользя мимо шпилек, разделявших номера. Она дошла до 8, затем до 9, остановилась было на 10, но проскочила на 11 и, щелкнув напоследок, окончательно успокоилась.

— Дама проигрывает, джентльмен выигрывает,— сказал хозяин.

— Джонни, ты выиграл?

— Похоже, что так,— сказал Джонни, в то время как хозяин доложил два своих четвертака к его монете. Сэйра издала легкий вскрик, едва успев заметить, как хозяин смахнул десятицентовик со стола.

— Я же сказал, это мой счастливый вечер,— проговорил Джонни.

— Один раз — везение, два раза — счастье,— заметил крупье.— Эй-эй-эй!

— Давай, Джонни,— сказала Сэйра.

— Хорошо. Мне на тот же номер.

— Запускать?

— Да.

Хозяин снова крутанул Колесо, и пока оно вертелось, Сэйра тихонько прошептала:

— А они не жульничают с этими колесами?

— Было дело. А теперь власти их проверяют, так что приходится полагаться исключительно на везение.

Колесо замедлило вращение и щелкнуло напоследок. Стрелка проскочила 10 и вошла в поле Джонни, замедляя бег.

— Давай, давай! — закричала Сэйра. Двое подростков, шедших к выходу, остановились посмотреть на игру.

Деревянная трещотка очень медленно миновала 16, затем 17 и остановилась на 18.

— Джентльмен снова выиграл.— Хозяин добавил еще шесть четвертаков к кучке Джонни.

— Ты богач! — воскликнула Сэйра и поцеловала его в щеку.

— Тебе везет, парень,— с готовностью согласился хозяин.— Никто не бросает такую везуху. Эй-эй-эй!

— Ставить опять? — спросил Джонни Сэйру.

— Почему нет!

— Давайте, давайте,— сказал один из подростков. На куртке у него был значок с Джими Хендриксом [1].— Этот тип ободрал меня сегодня на четыре доллара. Хотел бы я посмотреть, как его вздрючат.

— Тогда ты тоже,— сказал Джонни Сэйре. Он дал ей одну из девяти монет, лежавших столбиком. После короткого колебания она положила ее на 21. Отдельные цифры при выигрыше оплачиваются десять к одному — явствовало из правил.

[1] Популярный американский певец 60-х годов.

— Продолжаешь, парень?

Джонни глянул на восемь четвертаков, лежавших столбиком на доске, и стал потирать лоб, будто чувствовал приближение головной боли. Внезапно он смел с доски четвертаки и потряс ими в сжатых ладонях.

— Нет, крутите для дамы. Я посмотрю.

Она удивленно посмотрела на него:

— Ты что, Джонни?

Он пожал плечами.

— Так, предчувствие.

Крупье закатил глаза, как бы говоря: «Боже-дай-мне-силы-вынести-этих-дураков»,— и вновь запустил свое Колесо. Оно повертелось, замедлило ход и остановилось. На двойном зеро.

— Мой номер, мой,— пропел хозяин, и четвертак Сэйры исчез в его переднике.

— Это честно, Джонни? — Сэйра была задета.

— Зеро и двойное зеро дают выигрыш хозяину.

— Ты хитро сделал, сняв свои деньги с доски.

— Пожалуй.

— Ну что, крутить дальше или я пошел пить кофе? — спросил хозяин.

— Крутите,— сказал Джонни и выложил свои четвертаки двумя стопками по четыре на третий сектор.

Пока Колесо жужжало в кругу своей клетки из лампочек, Сэйра, не поднимая глаз от вращающегося поля, спросила Джонни:

— Сколько в этом заведении можно заработать за вечер?

Между тем к подросткам присоединилось четверо пожилых людей — двое мужчин и две женщины. Крупный мужчина, с виду рабочий стройки, сказал:

— От пятисот до семисот долларов.

Хозяин снова закатил глаза.

— Вашими бы устами... — проговорил он.

— Ладно, не прибедняйся,— сказал мужчина, похожий на строителя.— Лет двадцать назад я работал в такой лавочке. От пяти до семи сотен за вечер, две косых по субботам. Запросто. И это без всякого жульничанья.

Джонни следил за Колесом, которое сейчас вращалось достаточно медленно, так что можно было различить отдельные цифры, когда оно пробегало мимо. Промелькнуло одно зеро, другое, затем, медленнее, первый сектор, еще медленнее второй.

— Хорошего понемножку,— сказал один из подростков.

— Подожди,— произнес Джонни как-то странно. Сэйра взглянула на него; в его добродушном лице вдруг появилась жесткость, голубые глаза потемнели, стали чужими и далекими.

Стрелка остановилась на 30 и замерла.

— Игра продолжается, игра продолжается,— тоскливо пропел хозяин, а небольшая толпа позади Джонни и Сэйры издала радостный крик. Мужчина, похожий на строителя, хлопнул Джонни по спине, да так, что тот покачнулся. Хозяин полез под прилавок, достал из сигарной коробки четыре монеты и бросил их рядом с восемью четвертаками Джонни.

— Может, хватит? — спросила Сэйра.

— Еще разок,— сказал Джонни.— Если выиграю, этот парень оплатит нам ярмарку и твой бензин. Если проиграю, мы потеряем всего полдоллара или около того.

— Эй-эй-эй,— пропел хозяин. Он приободрился и вновь затараторил: — Ставьте где хотите. Приходи, не стесняйся. Этот спорт не для зевак. Крутится-вертится колесо, где остановится, не знает никто.

Мужчина, похожий на строителя, который назвался Стивом Бернхардтом, положил доллар на чет.

— А ты что, парень? — спросил хозяин у Джонни.— Оставляешь на том же месте?

— Да,— ответил Джонни.

— Ох, дядя,— сказал один из подростков,— с судьбой играете.

— Наверное,— сказал Джонни, и Сэйра улыбнулась ему.

Бернхардт оценивающе посмотрел на Джонни и вдруг переставил свой доллар на третий сектор.

— Чем черт не шутит,— вздохнул подросток, сказавший Джонни, что тот играет с судьбой. Он переложил пятьдесят центов, которые они наскребли с приятелем, на тот же сектор.

— Все яички в одной корзинке,— пропел хозяин.— Не передумаете?

Игроки стойко молчали. Двое чернорабочих подошли посмотреть игру, один из них с подружкой; теперь перед Колесом судьбы уже собралась довольно большая компания. Хозяин сильно крутанул Колесо. За его вращением наблюдали двенадцать пар глаз. Сэйра поймала себя на том, что смотрит на Джонни — какое чужое у него лицо в ярком и в то же время загадочном свете. Она вновь вспомнила о маске — Джекиль и Хайд, чет и нечет. У нее опять забурчало в животе, она почувствовала легкую слабость. Колесо замедлило бег и начало щелкать. Подростки стали кричать, как бы подталкивая его.

— Еще немного, крошка,— уговаривал Стив Бернхардт.— Еще немножко, дорогое.

Колесо дощелкало до третьего сектора и остановилось на 24. Толпа снова издала радостный возглас.

— Джонни, ты выиграл, ты выиграл! — закричала Сэйра.

Хозяин неприязненно присвистнул сквозь зубы и выплатил выигрыш. Доллар подросткам, два — Бернхардту и двенадцать долларов Джонни. Теперь перед Джонни лежали на столе восемнадцать долларов.

— Игра продолжается, игра продолжается, эй-эй-эй! Еще раз, дружище? Сегодня колесо с тобой на пару.

Джонни взглянул на Сэйру.

— Как хочешь, Джонни.— Ей вдруг стало не по себе.

— Давай, дядя,— подзадоривал подросток со значком Джими Хендрикса.— Одно удовольствие поглядеть, как отделывают этого типа.

— Ладно,— сказал Джонни.— Последний раз.

— Ставьте на что хотите.

Все взоры были обращены на Джонни, который стоял, задумчиво потирая лоб. Его обычно добродушное лицо застыло, стало серьезным и сосредоточенным. Он смотрел на Колесо в кольце огней, поглаживая пальцами гладкую кожу над правой бровью.

— Оставляю,— сказал он наконец.

По толпе прокатился вопросительный шепот.

— Ох, дядя, это уже чересчур.

— Разошелся,— сказал Бернхардт неуверенно. Он оглянулся на жену, но та пожала плечами, давая понять, что для нее это полная загадка.— Эх, была не была, я с вами.

Подросток со значком взглянул на дружка, тот пожал плечами и утвердительно кивнул.

— Хорошо,— сказал он, поворачиваясь к хозяину.— Мы тоже оставляем.

Колесо завертелось. Сэйра слышала, как сзади один из чернорабочих поспорил на пять долларов, утверждая, что третий сектор больше не выиграет. В животе у нее опять забурчало, но на этот раз боль не отпустила, а пошла кругами, снова и снова, и тут она поняла, что ей становится плохо. На лице выступил холодный пот.

Колесо начало останавливаться у первого сектора, и один из подростков вскинул руки от досады. Но не ушел. Колесо просчитало 11, 12, 13. Наконец-то хозяин выглядел довольным. Тик-так-тик. 14, 15, 16.

— Проскакивает,— сказал Бернхардт. В его голосе слышалось восхищение. Хозяин смотрел на свое Колесо с таким видом, что казалось, будь его воля, он протянул бы руку и остановил его. Оно прощелкало 20, 21 и остановилось на цифре 22.

В толпе, которая выросла уже человек до двадцати, снова раздался победный крик. Наверно, здесь собрались все запоздалые посетители ярмарки. Сэйра неясно слышала, как чернорабочий, проигравший пари, ворчал что-то о «дьявольском везении», отдавая деньги. В голове у нее шумело. Внезапно она почувствовала ужасную слабость в ногах, ее бил озноб, тело не слушалось. Она заморгала, и тут голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Мир покачнулся и накренился, словно они только что разогнались на карусели и вот теперь медленно останавливаются.

Мне попалась несвежая сосиска, подумала она с тоской. Вот чем, Сэйра, оборачивается счастье на деревенской ярмарке.

— Эй-эй-эй,— произнес хозяин без особого энтузиазма и раздал деньги. Два доллара подросткам, четыре — Стиву Бернхардту и целую кучу Джонни — три десятки, пятерку и один доллар. Хозяин не то чтобы лучился радостью, но был тем не менее оживлен. Если долговязый с хорошенькой блондинкой вздумает опять поставить на третий сектор, хозяин почти наверняка вернет свое. Пока этот парень не забрал со стола деньги, еще не все потеряно. А если он уйдет? Ну что ж, хозяин сегодня отхватил тысчонку на Колесе и может себе позволить поделиться с ближними. Станет быстро известно, что на Колесе Сола Драммора был крупный выигрыш, и завтра сюда повалят игроки, как никогда раньше. Выигрыш — хорошая реклама.

— Ставьте куда хотите,— пропел он. Несколько человек из толпы пододвинулись к столу и начали ставить десятицентовики и четвертаки. Однако хозяин смотрел только на одного игрока.

— Что скажешь, дружище? Играем по-крупному?

Джонни взглянул на Сэйру.

— Что ты... эй, что с тобой. Ты похожа на призрак.

— Что-то с желудком,— сказала она, выдавливая улыбку.— Я думаю, это сосиска. Может, поедем домой?

— Конечно. Пошли.— Он собирал кучку помятых денег со стола, и тут его взгляд снова упал на Колесо. Глаза перестали светиться теплом и заботой. Казалось, они опять потемнели, стали холодными, задумчивыми. Он *смотрит на это колесо, как маленький мальчик на собственный муравейник,* подумала Сэйра.

— Минутку,— сказал он.

— Хорошо,— ответила Сэйра. Хотя чувствовала какую-то пустоту в голове и боль в желудке. К тому же в животе бурлило, что ей совсем не нравилось. *Боже, только бы все обошлось. Пожалуйста.*

Она подумала: *Он не успокоится, пока все не проиграет.*

И затем, со странной уверенностью: *Но он не проиграет.*

— Ну что, приятель? — спросил хозяин.— Ставишь, нет? Играешь, нет?

— Слиняешь, нет? — передразнил один из чернорабочих; раздался нервный смешок. Перед глазами Сэйры все плыло.

Джонни вдруг сдвинул купюры и четвертаки на угол доски.

— Ты что делаешь? — искренне удивленный, спросил хозяин.

— Всю кучу на 19,— ответил Джонни.

Сейре хотелось застонать, но она сдержалась.

По толпе прошел шепот.

— Не искушай судьбу,— сказал Стив Бернхардт на ухо Джонни.

Джонни не ответил. Он уставился на Колесо с каким-то безразличием. Глаза его казались почти фиолетовыми.

Внезапно раздался звенящий звук, который Сэйра поначалу приняла за звон в ушах. Затем она увидела, как другие, уже поставившие деньги на кон, забирают их со стола, оставляя Джонни играть одного.

— *Нет!*— хотелось ей закричать.— *Не так, не в одиночку, это нечестно...*

Сэйра закусила губу. Она боялась, что ее стошнит, если она откроет рот. С животом у нее было совсем худо. Кучка денег, которую выиграл Джонни, одиноко лежала под ярким светом. Пятьдесят четыре доллара, а выигрыш на отдельной цифре был десять к одному.

Хозяин облизнул губы.

— Мистер, по закону я не должен разрешать ставить на отдельные цифры больше двух долларов.

— Ты это брось,— прорычал Бернхардт,— ты не должен был разрешать ставить свыше десяти на цифру, а ты только что дал ему поставить восемнадцать. Что, в штаны наложил?

— Нет, но...

— Давайте,— обрезал Джонни.— Или я ухожу. Моя девушка не совсем здорова.

Хозяин взглянул на толпу. Та смотрела на него враждебно. Глупцы. Не понимают, что парень выбрасывает деньги на ветер, а он пытается образумить его. Черт с ними. Все равно им не угодишь. Пускай хоть на голову становится и проигрывает вчистую. По крайней мере можно будет закрыть павильон на ночь.

— Ну что ж,— сказал он,— если среди вас нет государственного инспектора... — Он повернулся к Колесу.— Крутится-вертится колесо, где остановится, не знает никто.

Он крутанул, и цифры немедленно превратились в одно сплошное пятно. Какое-то время, показавшееся вечностью, не слышалось ни звука, лишь жужжало Колесо судьбы, вечерний ветерок где-то играл полой тента, и в голове у Сэйры болезненно стучало. Она мысленно просила Джонни обнять ее, но он стоял неподвижно — руки на столе, глаза прикованы к Колесу, которое словно решило крутиться вечно.

Наконец вращение замедлилось настолько, что она могла читать цифры и увидела 19—1 и 9, выведенные красным на черном фоне. Они то появлялись, то пропадали. Плавное жужжание Колеса перешло в мерное постукивание, громкое в этой тишине.

Цифры скользили мимо стрелки все медленнее и медленнее.

Один из чернорабочих с удивлением воскликнул:

— Мать честная, еще, глядишь, выиграет!

Джонни стоял спокойно, глядя на Колесо, и теперь ей казалось (может, из-за плохого самочувствия — живот то и дело схватывало), что глаза у него почти черные. Джекиль и Хайд, подумала она и внезапно почувствовала безотчетный страх перед ним.

Тики-таки-тики-таки.

Колесо щелкало, оно прошло второй сектор, миновало 15 и 16, щелкнуло на 17 и, после секундного колебания, на 18. Последний щелчок — и стрелка уткнулась в гнездо под номером 19. Толпа затаила дыхание. Колесо еще слегка качнулось вперед, и указатель уставился в шпильку между 19 и 20. Долю секунды казалось, что шпилька не удержит указатель на 19, что в последний миг он перескочит на 20. Однако силы Колеса иссякли, оно вернулось назад и замерло.

Какое-то время в толпе не раздавалось ни звука. Ни единого звука.

Затем один из подростков произнес благоговейным шепотом:

— Эй, дядя, вы только что выиграли пятьсот сорок долларов.

А Стив Бернхардт добавил:

— Никогда еще такого не видел. *Никогда.*

Затем толпа взорвалась. Джонни хлопали по спине, толкали. Люди протискивались мимо Сэйры, чтобы дотронуться до него, и на мгновение, когда ее оттерли, она почувствовала себя вконец несчастной, ее охватил панический страх. Сэйру пихали, обессиленную, туда-сюда, в животе у нее все переворачивалось. Перед глазами черными кругами ходило Колесо.

Через мгновение Джонни был уже с ней, и с затаенной радостью она увидела, что это был ее Джонни, а не тот, собранный, похожий на манекен, что смотрел, как Колесо совершает свой последний круг. Он выглядел смущенным и озабоченным.

— Прости, малыш,— сказал он, и ее захлестнуло чувство любви к нему.

— Все в порядке,— откликнулась она, совсем не будучи уверенной, что это так.

Хозяин откашлялся.

— Колесо закрыто,— сказал он.— Колесо закрыто.

Толпа понимающе зашумела.

Хозяин взглянул на Джонни.

— Я вынужден дать вам чек, молодой человек. Я не держу здесь таких денег.

— Пожалуйста, как вам угодно,— сказал Джонни.— Только поскорее. Девушке действительно нехорошо.

— Ну да, чек,— сказал Стив Бернхардт с безграничным презрением.— Этот тип выпишет вам чек, который вернется неоплаченным, а *сам* зимой будет уже во Флориде.

— Послушайте, сэр,— начал хозяин.— Уверяю вас...

— Иди уверяй свою мамашу, может, она тебе поверит,— сказал Бернхардт. Внезапно он перегнулся через доску и пошарил под прилавком.

— Эй! — завопил крупье.— Это же разбой!

На толпу это заявление не произвело никакого впечатления.

— Пожалуйста,— пробормотала Сэйра. Голова у нее шла кругом.

— Наплевать на деньги,— сказал вдруг Джонни.— Пропустите нас, пожалуйста. Девушке плохо.

— Во дает,— сказал подросток со значком Джими Хендрикса, однако вместе с дружком нехотя отодвинулся в сторону.

— Нет, Джонни,— сказала Сэйра, напрягая всю свою волю, чтобы сдержать тошноту.— Возьми деньги.— Пятьсот долларов — это была трехнедельная зарплата Джонни.

— Давай плати, дешевка,— прогремел Бернхардт. Он вытащил сигарную коробку из-под прилавка и отставил ее, не заглянув даже внутрь, затем пошарил снова и вытащил на сей раз стальной ящичек-сейф, окрашенный в серо-стальной цвет. Он бухнул его на стол.— Если тут нет пятисот сорока долларов, я сожру свою рубашку у всех на глазах.— Мощной, тяжелой рукой он хлопнул Джонни по плечу.— Обожди минутку, сынок. У тебя будет сегодня день получки, или я не Стив Бернхардт.

— Правда, сэр, у меня нет столько...

— Или ты платишь,— сказал Стив Бернхардт, наклонившись над хозяином,— или я позабочусь, чтобы твою лавочку прикрыли. Я не шучу. Говорю вполне серьезно.

Хозяин вздохнул и полез за пазуху. Он вытащил ключ на тонкой цепочке. Толпа выдохнула. Сэйре стало совсем невмоготу. Живот у нее вздулся и вдруг словно омертвел. Что-то бешено рвалось из нее наружу. Спотыкаясь, она отошла от Джонни и протиснулась сквозь толпу.

— Ты здорова ли, милочка? — спросила какая-то женщина. Сэйра только мотнула головой.

— Сэйра! — позвал Джонни.

От Джекиля и Хайда... не спрятаться, мелькнуло у нее в голове. Когда она пробегала мимо карусели, перед ее глазами в темноте центральной аллеи словно замаячила светящаяся маска. Она ударилась плечом о фонарь, пошатнулась, обхватила его, и тут ее вырвало. Казалось, ее вывернуло всю, начиная от пяток. Желудок судорожно сжимался, точно нервные пальцы.

— О боже,— сказала она ослабевшим голосом и, чтобы не упасть, крепче ухватилась за столб. Где-то позади ее звал Джонни, но сейчас она не могла отвечать, да и не имела желания. Желудок понемногу успокаивался, и в эту минуту ей хотелось одного: стоять в темноте и радоваться тому, что еще дышит, что пережила этот вечер.

— Сэйра? Сэйра!

Она дважды сплюнула, чтобы очистить рот.

— Я здесь, Джонни.

Он вышел из-за карусели, где застыли в прыжке гипсовые лошадки. Она заметила, что он рассеянно сжимает в руке толстую пачкую купюр.

— Пришла в себя?

— Нет, но уже лучше. Меня стошнило.

— О господи. Поедем домой.— Он нежно взял ее за руку.

— Получил свои деньги...

Он глянул на пачку денег и рассеянно сунул их в карман брюк.

— Да. То ли часть, то ли все, не знаю. Считал этот здоровяк.

Сэйра вытащила из сумочки платок и вытерла губы. Глоток бы воды, подумала она. Душу продала бы за глоток воды.

— Будь осторожен,— сказала она.— Это же куча денег.

— Шальные деньги приносят несчастье,— сказал он мрачно.— Одна из поговорок моей матушки. У нее их миллион. И она терпеть не может азартные игры.

— Баптистка до мозга костей,— сказала Сэйра и судорожно передернулась.

— Ты что? — обеспокоенно спросил он.

— Знобит,— сказала она.— Когда мы сядем в машину, включи подогрев на полную катушку и... О боже, кажется, опять...

Она отвернулась и со стоном выбросила все, что еще оставалось в желудке. Ее зашатало. Он осторожно, но твердо поддерживал ее.

— Ты можешь дойти до машины?

— Да. Сейчас уже хорошо.— Но голова у нее трещала, во рту стоял мерзкий привкус, и все кости так ломило, будто они выскочили из суставов.

Они медленно двинулись по центральной аллее, взметая ногами опилки, минуя палатки, которые были уже закрыты и прибраны. За ними плыла какая-то тень, и Джонни быстро оглянулся, осознав, по-видимому, какая сумма у него в кармане.

То был один из подростков — лет около пятнадцати. Он застенчиво улыбнулся им.

— Надеюсь, вам получше,— обратился он к Сэйре.— Это, наверно, сосиски. Запросто можно съесть испорченную.

— Ой, и не говори,— сказала Сэйра.

— Вам помочь довести ее до машины? — спросил он Джонни.

— Нет, спасибо. Мы управимся.

— Ладно. Тогда отрываюсь.— Но он задержался еще на мгновение, его застенчивую улыбку сменила широкая ухмылка.— Приятно было посмотреть, как вздрючили этого типа.

И он убежал в темноту.

На стоянке белел одинокий «универсал» Сэйры; он сжался под неоновым светом фонаря, подобно несчастному, забытому щенку.

Джонни открыл дверцу для Сэйры, и она осторожно села. Он проскользнул за руль и завел мотор.

— Придется подождать, пока обогреватель наберет силу,— сказал он.

— Не беспокойся. Мне уже тепло.

Он взглянул на Сэйру и увидел на ее лице капельки пота.— Может, отвезти тебя в больницу? — спросил он.— Если это ботулизм, то дело серьезное.

— Нет, все в порядке. Мне бы только добраться до дома и лечь в постель. Завтра утром, если что, успею позвонить в школу и снова завалюсь спать.

— Не волнуйся, спи себе. Я позвоню за тебя.

Она благодарно взглянула на него.

— Позвонишь?

— Конечно.

Они уже выезжали на главную магистраль.

— Извини, что не могу поехать к тебе,— сказала Сэйра.— Мне очень жаль. Правда.

— Ты ни при чем.

— А кто же? Я съела испорченную сосиску. Бедняжка Сэйра.

— Я люблю тебя, Сэйра,— сказал Джонни. Итак, слово было произнесено, его нельзя было взять обратно, оно повисло между ними в ожидании какого-то продолжения.

— Спасибо, Джонни,— только и могла ответить Сэйра.

Они продолжали путь в приятном молчании.

Была уже почти полночь, когда Джонни завернул машину к ее подъезду. Сэйра дремала.

— Эй,— сказал он, выключив мотор и легонько теребя ее.— Приехали.

— Ой... хорошо.— Она села прямо и плотнее запахнулась в шубу.

— Ну как ты?

— Лучше. Ноет желудок, и спина болит, но лучше. Джонни, езжай на машине в Кливс.

— Не стоит,— сказал он.— Еще кто-нибудь увидит ее утром перед домом. Ни к чему нам эти разговоры.

— Но я же собиралась поехать с тобой...

Джонни улыбнулся:

— Вот тогда стоило бы рискнуть, даже если бы пришлось пройти пешком три квартала. Кроме того, я хочу, чтобы машина была у тебя под рукой на тот случай, если ты передумаешь насчет больницы.

— Не передумаю.

— А вдруг. Можно, я войду и вызову такси?

— Конечно.

Они вошли, и едва Сэйра зажгла свет, как у нее начался новый приступ дрожи.

— Телефон в гостиной. Пойду-ка лягу и укроюсь пледом.

Гостиная была маленькая и без всяких излишеств; от сходства с казармой ее избавляли лишь броские занавески, изрисованные цветами немыслимых форм и оттенков, да несколько плакатов на стене: Дилан в Форест-Хиллс, Баэз в Карнеги-холл, «Джефферсон эйрплейн» в Беркли, «Бэрдс» в Кливленде.

Сэйра легла на кушетку и до подбородка натянула плед. Джонни озабоченно смотрел на нее. Лицо Сэйры было белое как бумага, лишь под глазами темные круги. Она выглядела действительно больной.

— Может, мне остаться на ночь,— сказал он.— Вдруг что-нибудь случится...

— Например, маленькая, с волосок трещинка в шейном позвонке? — Она взглянула на него с печальной улыбкой.

— Ну... Мало ли что.

Зловещее урчание в животе решило дело. Она искренне собира-

лась закончить ночь в постели с Джоном Смитом. Правда, из этого ничего не вышло. Не хватало теперь еще прибегнуть к его помощи, когда ее станет тошнить и она побежит в туалет глотать «Пепто-Бисмол».

— Все будет в порядке,— сказала она.— Это испорченная сосиска, Джонни. Ты запросто мог съесть ее сам. Позвони мне завтра, когда у тебя будет перерыв.

— Ты уверена?

— Да.

— Ладно, парнишка.— Решив больше не спорить, он поднял трубку и вызвал такси. Она закрыла глаза, убаюканная и успокоенная его голосом. Ей особенно нравилась в Джонни его способность делать всегда то, что нужно, что от него хотят, не думая о том, как он при этом выглядит. Прекрасная черта. Она слишком устала и чувствовала себя слишком паршиво, чтобы еще играть сейчас в светские игры.

— Готово,— сказал он, вешая трубку.— Они пришлют такси через пять минут.

— По крайней мере у тебя теперь есть чем заплатить,— сказала она улыбаясь.

— Чаевых не пожалеем,— отозвался он, подражая известному комику Филдсу.

Он подошел к кушетке, сел, взял ее за руку.

— Джонни, как ты это сделал?

— Ты о чем?

— Колесо. Как это тебе удалось?

— Какое-то озарение, вот и все,— сказал он без особой охоты.— У каждого бывают озарения. На лошадиных бегах или при игре в очко, даже в железку.

— Нет,— сказала она.

— Что — нет?

— Не думаю, что у *каждого* бывают озарения. То было что-то сверхъестественное. Меня... это даже напугало немного.

— Правда?

— Да.

Джонни вздохнул.

— Время от времени у меня появляются какие-то предчувствия, вот и все. Сколько я себя помню, с самого раннего детства. Мне всегда удавалось находить потерянные вещи. Как этой маленькой Лизе Шуман в нашей школе. Ты ее знаешь?

— Маленькая, грустная, тихая Лиза? — Она улыбнулась.— Знаю. На моих уроках практической грамматики она витает в облаках.

— Она потеряла кольцо с монограммой школы,— сказал Джонни,— и пришла ко мне в слезах. Я спросил ее, смотрела ли она в уголках верхней полки своего шкафчика для одежды. Всего-навсего догадка. Но оно оказалось там.

— И ты всегда мог это делать?

Он засмеялся и покачал головой.

— Едва ли.— Улыбка слегка угасла.— Но сегодня чувство было особенно сильным, Сэйра. Это Колесо...— Он слегка сжал пальцы и разглядывал их насупившись.— Оно было вот здесь. И вызывало чертовски странные ассоциации.

— Какие?

— С резиной,— произнес он медленно.— Горящей резиной. И холодом. И льдом. Черным льдом. Все это было где-то в глубинах моей памяти. Бог знает почему. И какое-то неприятное чувство. Как будто предостережение.

Она внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала. Его лицо постепенно прояснилось.

— Но что бы это ни было, сейчас все прошло. Может, так показалось.

— Во всяком случае повезло на пятьсот долларов,— сказала она. Джонни засмеялся и кивнул. Больше он не разговаривал, и она задремала, довольная, что он рядом. Когда она очнулась, по стене разлился свет фар, проникший в окно. Его такси.

— Я позвоню,— сказал он и нежно поцеловал Сэйру.— Ты точно не хочешь, чтобы я побыл здесь?

Внезапно ей этого захотелось, но она отрицательно покачала головой.

— Позвони,— сказала она.

— На третьей переменке,— пообещал он и направился к двери.

— Джонни?

Он повернулся.

— Джонни, я люблю тебя,— сказала она, и его лицо засветилось, словно вспыхнула электрическая лампочка.

Он послал воздушный поцелуй.

— Будешь чувствовать себя лучше,— сказал он,— тогда поговорим.

Она кивнула, но прошло четыре с половиной года, прежде чем она смогла поговорить с Джонни Смитом.

— Вы не возражаете, если я сяду впереди? — спросил Джонни таксиста.

— Нет. Только не заденьте коленями счетчик. Можно разбить.

С некоторым усилием Джонни просунул ноги под счетчик и захлопнул дверь. Таксист, бритоголовый мужчина средних лет, с брюшком опустил флажок, и машина двинулась по Флэгг-стрит.

— Куда?

— Кливс Милс,— сказал Джонни.— Главная улица. Я покажу.

— Придется взять с вас в полтора раза больше,— сказал таксист.— Мне ведь, сами понимаете, пустым оттуда возвращаться.

Рука Джонни машинально накрыла пачку купюр в брючном кармане. Он пытался вспомнить, держал ли когда-нибудь при себе столько денег сразу. Только однажды. Когда купил подержанный «шевроле» за тысячу двести долларов. По наитию он попросил в банке выдать ему наличными — хотелось своими глазами увидеть такую кучу денег. Оказалось, ничего особенного. Зато какое было лицо у торговца машинами, когда Джонни вывалил ему в руку двенадцать стодолларовых бумажек! На это стоило посмотреть. Правда, сегодня пачка денег в кармане его нисколько не радовала, скорее наоборот, вызывала какое-то беспокойство, и ему вспоминалось выражение матери: *шальные деньги приносят несчастье.*

— Хорошо, пусть будет в полтора раза больше,— сказал он таксисту.

— Ну вот и договорились,— таксист стал более разговорчивым.— Я так быстро приехал, потому что у меня был вызов на Риверсайд, а там никого не оказалось.

— Правда? — равнодушно спросил Джонни. Мимо проносились темные дома. Он выиграл пятьсот долларов, ничего подобного с ним еще не случалось. Его не оставлял призрачный запах горящей резины... словно он вновь переживает что-то, происшедшее с ним в раннем детстве... радость удачи отравляло ощущение грядущего несчастья.

— Да, эти пьянчуги сначала звонят, а потом передумывают,— сказал таксист.— Ненавижу поганых пьянчуг. Позвонят, а потом решают — какого черта, глотну-ка еще пивка. А то пропьют все деньги, пока ждут машину, а начнешь кричать: «Кто вызывал такси?» — молчат.

— Да,— сказал Джонни. Слева текла река Пенобскот, темная и маслянистая. А тут еще заболевшая Сэйра, и это признание в любви. Возможно, оно было проявлением слабости, но, бог мой, а вдруг это

правда! Он влюбился в нее прямо с первого свидания. Вот что было настоящей удачей, а не выигрыш на Колесе. Однако мысленно он возвращался именно к Колесу, оно вызвало тревогу. В темноте он все еще видел, как оно вращается, слышал, словно в дурном сне, замедляющееся пощелкивание указателя, который задевал за шпильку. Шальные деньги приносят несчастье.

Таксист повернул на автостраду № 6, теперь он увлеченно беседовал с самим собой:

— Вот я и говорю: «Чтоб я этого больше не слышал». Больно умный стал. Такого дерьма я ни от кого не потерплю, даже от собственного сына. Я вожу такси двадцать шесть лет. Меня грабили шесть раз. А сколько раз я «целовался», не сосчитать, хотя ни разу в крупную аварию не попал, спасибо деве Марии, святому Христофору и отцу вседержителю, правильно? И каждую неделю, какой бы неудачной она ни была, я откладывал пять долларов ему на колледж. Еще когда он был молокососом. И чего ради? Чтобы в один прекрасный день он пришел домой и заявил, что президент Соединенных Штатов свинья. Вот паразит! Парень небось думает, что *я* свинья, хотя знает, скажи он такое, я мигом пересчитаю ему зубы. Вот вам и нынешняя молодежь. Я и говорю: «Чтоб я этого больше не слышал».

— Да,— сказал Джонни. Теперь мимо пробегали перелески. Слева было Карсоново болото. Они находились примерно в семи милях от Кливс Милс. Счетчик накинул еще десять центов.

Одна тонкая монетка, одна десятая доллара, эй-эй-эй.

— Можно спросить, чем промышляете?

— Работаю учителем в Кливсе.

— Да? Значит, вы понимаете, о чем я говорю. И все-таки что за чертовщина происходит с этими детьми?

Просто они съели тухлую сосиску под названием Вьетнам и отравились. Ее продал им парень по имени Линдон Джонсон. Тогда они, знаете, пришли к другому парню и говорят: «Ради всего святого, мистер, нам чертовски скверно». А этот другой парень, Никсон, и отвечает: «Я знаю, как вам помочь. Съешьте еще несколько сосисок». Вот что произошло с американской молодежью.

— Не знаю,— ответил Джонни.

— Всю жизнь строишь планы, делаешь как лучше,— сказал таксист, и в голосе его на сей раз ощущалось какое-то замешательство, оно продлится не очень долго, ибо ему осталось жить какую-нибудь минуту. А Джонни, не зная этого, испытывал к нему жалость, сочувствовал его непонятливости.

Обними меня, милый, покрепче... ну давай не валяй дурака.

— И всегда ведь хочешь самого хорошего, а парень приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов свинья! Свинья! Ну не дрянь, я...

— *Берегись!*— закричал Джонни.

Таксист повернулся к нему лицом — это было пухлое лицо члена Американского легиона, серьезное, сердитое и несчастное в отблесках приборной доски и внезапном свете приближающихся фар. Он быстро глянул вперед, но было уже поздно.

— *Иииисусе...*

Впереди были две машины по обе стороны белой разделительной линии. «Мустанг» и «додж чарджер» вползали бок о бок на вершину холма. Джонни даже слышал завывание их форсируемых двигателей. «Чарджер» надвигался прямо на них. Он даже не пытался свернуть, и таксист застыл за рулем.

— *Ииииии...*

Джонни едва заметил, что слева промелькнул «мустанг». Вслед за тем такси и «чарджер» столкнулись лоб в лоб, и Джонни почувствовал, как его поднимает вверх и отбрасывает в сторону. Боли не

было, хотя он смутно сознавал, что зацепил ногами счетчик, да так, что сорвал его с кронштейна.

Звон бьющегося стекла. Громадный огненный язык полыхнул в ночи. Джонни пробил головой ветровое стекло. Все начало проваливаться в какую-то дыру. Он ощущал только боль, смутную, приглушенную в плечах и руках; а тело его устремилось вслед за головой сквозь дыру в стекле. Он летел. Летел в октябрьскую ночь.

Промелькнула мысль: *Умираю? Неужели конец?*

Внутренний голос ответил: *Да, вероятно.*

Он летел. Все смешалось. Октябрьские звезды, разбросанные в ночи. Грохот взрывающегося бензина. Оранжевый свет. Затем темнота.

Его полет закончился глухим ударом и всплеском. Он почувствовал влажный холод, когда очутился в Карсоновом болоте, в двадцати пяти футах от того места, где «чарджер» и такси, сцепившиеся воедино, выплеснули в небо столб огня.

Темнота.

Сознание угасало.

И наконец, осталось лишь гигантское красно-черное колесо, вращающееся в пустоте, в которой, возможно, плавают звезды, попытайте свое счастье, не повезет сейчас — повезет потом, эй-эй-эй. Колесо вращалось красно-черное, вверх-вниз, указатель щелкал по шпилькам, а он все пытался разглядеть, остановится ли стрелка на двойном зеро — цифре, приносящей выигрыш хозяину, одному лишь хозяину. Он пытался разглядеть, но колесо уже исчезло. Остались лишь мрак и эта всеобъемлющая пустота... Забвение.

Джонни Смит оставался в нем долго, очень долго.

Миновал 1971 год. Отшумели негритянские волнения на побережье Нью-Гэмпшира, и с ростом банковских счетов смолк ропот местных предпринимателей. До смешного рано выдвинул свою кандидатуру в президенты никому не известный тип по имени Джордж Макговерн. Любой мало-мальски разбирающийся в политике понимал, что кандидатом от демократов в 1972 году станет Эдмунд Маски, и кое-кто даже считал, что ему ничего не стоит сбить с ног тролля из Сан-Клементе[1] и положить его на обе лопатки.

В начале июня, перед самым роспуском школьников на летние каникулы, Сэйра в очередной раз встретила знакомого студента-юриста. В хозяйственном магазине Дэя она покупала тостер, а он искал подарок к годовщине свадьбы родителей. Он спросил, не пойдет ли она с ним в кино,— в городе показывали новый фильм с Клинтом Иствудом «Грязный Гарри». Сэйра согласилась. И оба остались довольны. Уолтер Хэзлит отрастил бороду и уже не казался ей очень похожим на Джонни. По правде говоря, она уже почти забыла, каким был Джонни. Сэйра ясно видела его лицо лишь во сне: он стоял у Колеса судьбы, хладнокровно наблюдая за вращением, будто оно слепо повиновалось ему, при этом глаза у Джонни, казалось, приобрели необычный и немного пугающий темно-фиолетовый цвет.

Они с Уолтом стали часто встречаться. С ним было легко. Он ни на чем не настаивал — а если такое и случалось, то его требования возрастали столь постепенно, что это было почти незаметно. В октябре он предложил купить ей колечко с бриллиантиком. Сэйра попросила два выходных на размышление. В субботу она поехала в «Ист-Мэн медикэл сентр», получила в регистратуре специальный пропуск с красной каймой и прошла в отделение интенсивной терапии. Она сидела у кровати Джонни около часа. Осенний ветер завывал в темноте за окном, предвещая холод, снег и пору умирания. Прошел почти год — без шестнадцати дней — со времени ярмарки, Колеса и лобового столкновения у болота.

[1] Имеется в виду Ричард Никсон.

Она сидела, слушала завывание ветра и смотрела на Джонни. Повязки были сняты. На его лбу в полутора дюймах над правой бровью начинался шрам, зигзагом уходивший под волосы. В этом месте их тронула проседь, как у Коттона Хоуса — детектива восемьдесят седьмого полицейского участка[1]. Сэйра не обнаружила в Джонни никаких перемен, если не считать неизбежной потери веса. Перед ней крепко спал молодой человек, почти чужой.

Она наклонилась и слегка коснулась его губ, словно можно было переиначить старую сказку, и вот сейчас ее поцелуй разбудит Джонни. Но он не просыпался.

Сэйра ушла, вернулась в свою квартирку в Визи, легла на кровать и заплакала, а за окном по темному миру бродил ветер, швыряя перед собой охапки желто-красных листьев. В понедельник она сказала Уолту, что, если он и вправду хочет купить ей колечко с бриллиантом — самым что ни на есть маленьким,— она будет счастлива и с гордостью его наденет.

Таким был 1971 год для Сэйры Брэкнелл.

В начале 1972 Эдмунд Маски расплакался во время страстной речи перед резиденцией человека, которого Санни Эллиман называл не иначе как «этот лысый холуй». Джордж Макговерн спутал все карты на предварительных выборах, и Лойб в своей газете радостно объявил, что жители Нью-Гэмпшира не любят плакс. В июле Макговерн был избран кандидатом в президенты. В том же месяце Сэйра Брэкнелл стала Сэйрой Хэзлит. Они с Уолтом обвенчались в первой методистской церкви в Бангоре.

Менее чем в двух милях оттуда продолжал спать Джонни. Когда Уолт поцеловал Сэйру на глазах у всех родных и друзей, собравшихся на обряд бракосочетания, она вдруг с ужасом вспомнила о нем — Джонни, подумала она, и увидела его таким, каким он был, когда зажегся свет,— наполовину Джекиль, наполовину злобный Хайд. На мгновение она застыла в руках Уолта, а затем все прошло. Было ли это воспоминание или видение — оно улетучилось.

После долгих размышлений и разговоров с Уолтом она пригласила родителей Джонни на свадьбу. Приехал один Герберт. На банкете она спросила, хорошо ли себя чувствует Вера.

Он оглянулся, увидел, что на какое-то время они остались одни, и допил остатки виски с содовой. За последние полтора года он постарел лет на пять, подумала Сэйра. Волосы поредели. Морщины стали глубже. Очки он носил осторожно и застенчиво, как всякий, для кого они в новинку, из-за слабых оптических стекол настороженно смотрели страдающие глаза.

— Нет... не совсем, Сэйра. По правде говоря, она в Вермонте. На ферме. Ждет конца света.

— *Чего?*

Герберт рассказал ей, что полгода назад Вера начала переписываться с группой, состоящей примерно из десяти человек,— они называют себя Американским обществом последних дней. Заправляют там мистер и миссис Стонкерс из Расина, штат Висконсин. Стонкерсы утверждают, что, когда они отдыхали, их захватила летающая тарелка. Стонкерсов доставили на небеса, но не на созвездие Орион, а на похожую на Землю планету, которая вращается вокруг Арктура. Там они попали в общество ангелов и лицезрели рай. Стонкерсам сообщили, что последние дни уже наступают. Их сделали телепатами и вернули на землю, чтобы они собрали немногих верующих — для первого, так сказать, челночного рейса на небо. И вот съехались десять человек, они купили ферму к северу от Сент-Джонсбери и сидят там уже около семи недель в ожидании тарелки, которая прилетит и заберет их.

---

[1] Герой многочисленных романов Эда Макбейна (псевдоним Ивена Хантера).

— Но это похоже...— начала Сэйра и тут же закрыла рот.

— Я знаю, на что это похоже,— сказал Герберт.— Похоже на сумасшествие. Местечко стоило им девять тысяч долларов. А там и нет-то ничего, кроме развалившегося фермерского дома да двух акров никудышной земли. Вклад Веры составил семьсот долларов — это все, что она могла собрать. Сохранить ее не было никакой возможности... Разве только посадить на замок.— Он помолчал, затем улыбнулся.— Не стоит об этом говорить на вашей свадьбе, Сэйра. У вас должно быть все отлично. Я знаю, что так и будет.

Сэйра постаралась тоже улыбнуться:

— Спасибо, Герберт. А вы... Вы думаете, что она...

— Вернется? О да. Если к зиме не наступит конец света, я думаю, вернется.

— Ну, желаю вам самого наилучшего,— сказала Сэйра и обняла его.

На ферме в Вермонте не было отопления, и в конце октября, когда тарелка так и не прилетела, Вера вернулась домой. Тарелка не прибыла, сказала она, потому что они еще не готовы к встрече с ней — они еще не отринули все несущественное и грешное в своей жизни. Но она была в приподнятом настроении и воодушевлена. Во сне она получила знак. Ей, возможно, и не придется улететь в рай на летающей тарелке. Но у Веры все больше крепло убеждение: ее призвание состоит в том, чтобы руководить сыном, направлять его на путь истинный, когда он очнется от забытья.

Герберт встретил ее, приласкал — и жизнь продолжалась. Джонни находился в коматозном состоянии уже два года.

Это был сон, мелькнула у него догадка.

Он находился в темном, угрюмом месте — в каком-то проходе. Потолок — такой высокий, что его не было видно,— терялся где-то во мраке. Стены были из темной хромированной стали. Они расширялись кверху. Он был один, но до него, как будто издалека, донесся голос. Он знал этот голос, слышал эти слова... где-то, когда-то. Голос испугал его. Он стонал и обрывался, эхо билось о хромированные стальные стены, подобно оказавшейся в ловушке птице, которую он видел в детстве. Птица залетела в сарай с отцовскими инструментами и не знала, как оттуда выбраться. В панике она металась, отчаянно и тревожно пища, ударялась о стены до тех пор, пока не погибла. В голосе слышалась та же обреченность, что и в птичьем писке. Ему не суждено было выбраться отсюда.

— Всю жизнь строишь планы, делаешь как лучше,— стонал призрачный голос.— И всегда ведь хочешь самого хорошего, а парень приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов свинья. Свинья! Ну не дрянь, я..

Берегись, хотел сказать Джонни. Ему хотелось предостеречь голос, но Джонни был нем. Берегись чего? Он не знал. Он даже не знал с уверенностью, кто он, хотя смутно помнил, что когда-то был то ли преподавателем, то ли проповедником.

Иисусе!— вскрикнул далекий голос. Голос потерянный, обреченный, тонущий.— Иииииии...

Потом тишина. Вдали затихает эхо. Когда-нибудь голос снова заговорит.

И вот это «когда-нибудь» наступило — он не знал, сколько пришлось ждать, ибо время здесь не имело значения или смысла,— и он начал ощупью выбираться из прохода, откликаясь на зов (возможно, только мысленно), в надежде — как знать,— что он и обладатель голоса вместе найдут выход, а может, просто желая утешить и получить такое же утешение в ответ.

Но голос удалялся и удалялся, становился все глуше и слабее (далеким и еле слышным), пока не превратился в отзвук эха. И совсем исчез. Теперь он остался один, двигаясь по мрачному и пустынному залу теней. Ему уже чудилось, что это не видение, не мираж и не сон — но все равно нечто необычное. Наверное, он попал в чистилище, в этот таинственный переход между миром живых и обителью мертвых. Но куда он шел?

К нему стали возвращаться образы. Тревожные образы. Они следовали вместе с ним подобно духам, оказывались то сбоку, то впереди, то сзади, потом окружали его странным хороводом — оплетали тройным кольцом, касались его век колдовскими перстами... но было ли все это на самом деле? Он почти что видел их. Слышал приглушенные голоса чистилища. Там оказалось и колесо, беспрерывно вращавшееся в ночи, Колесо судьбы, красное и черное, жизнь и смерть, замедляющее свой ход. На что же он поставил? Он не мог вспомнить, а надо бы: ведь от этого зависело само его существование. Туда или оттуда? Пан или пропал? Его девушке нехорошо. Ее нужно увезти домой.

Спустя какое-то время проход стал светлеть. Поначалу он подумал, что это игра его воображения, своего рода сон во сне, если такое возможно, однако прошло еще сколько-то времени и просвет стал чересчур очевидным, чтобы его можно было приписать воображению. Все пережитое им в проходе стало меньше походить на сон. Стены раздвинулись, и он едва мог видеть их, а тусклая темнота сменилась мягкой туманно-серой мутью, цветом сумерек в теплый и облачный мартовский день. И стало казаться, что он уже совсем не в проходе, а в комнате — *почти* в комнате, ибо пока отделен от нее тончайшей пленкой, чем-то вроде плаценты, он походил на ребенка, ожидавшего рождения. Теперь он слышал другие голоса; не эхообразные, а монотонные и глухие, будто голоса безымянных богов, говорящих на неведомых языках. Понемногу голоса становились отчетливее, он уже почти понимал их разговор.

Время от времени он открывал глаза (или ему казалось, что открывал) и в самом деле увидел обладателей этих голосов — яркие, светящиеся, призрачные пятна, не имевшие поначалу лиц, иногда они двигались по комнате, иногда склонялись над ним. Он не подумал, что можно заговорить с ними, во всяком случае вначале. Он предположил, что это, может быть, какие-то существа иного мира, а светлые пятна — ангелы.

Со временем и лица, подобно голосам, становились все отчетливее. Однажды он видел мать, она наклонилась над ним, и, попав в поле его зрения, медленно и грозно произнесла что-то бессмысленное. В другой раз появился отец. Дейв Пелсен из школы. Медицинская сестра, которую он узнал; кажется, ее звали Мэри или, быть может, Мари́. Лица, голоса — все приближалось, сливалось в нечто единое.

И пришло что-то еще: ощущение того, что он *изменился*. Оно не нравилось Джонни. Он не доверял ему. Джонни считал, что любое изменение ни к чему хорошему не приведет. Оно предвещает, думал он, лишь печаль и плохие времена. Джонни вступил в темноту, обладая всем, теперь же он чувствовал, что выходит из нее, не имея абсолютно ничего,— разве только в нем появилось что-то странное, незнакомое.

Сон кончался. Что бы это ни было, оно кончалось. Комната была теперь вполне реальна, почти осязаема. Голоса, лица...

Он собирался войти в комнату. И вдруг ему показалось, что он хочет только одного — повернуться и бежать, скрыться в этом темном проходе навсегда. Ничего хорошего его там не ожидало, но все же лучше уйти навечно, чем проникнуть в комнату и испытывать это новое ощущение печали и грядущей утраты.

Он обернулся и посмотрел назад — да, так и есть: в том месте, где стены комнаты приобретали цвет темного хрома, позади одного из стульев, незаметно для входящих и выходящих светлых фигур, комната превращалась в проход, уводивший, как он подозревал, в вечность. Там исчез тот, другой голос, голос...

Таксиста.

Да. Теперь он все вспомнил. Поездку на такси, водителя, поносившего сына за длинные волосы, за то, что тот считал Никсона свиньей. Затем свет четырех фар, двигавшихся по склону,— две пары фар по обе стороны белой линии. Столкновение. Никакой боли, лишь мысль о том, что ноги задели счетчик, да так сильно, что он сорвался с кронштейна. Затем холодная сырость, темный проход, а теперь это странное ощущение.

Выбирай, шептал внутренний голос. *Выбирай, не то они выберут за тебя, они вырвут тебя из этого непонятного места, как врачи вынимают ребенка из утробы матери посредством кесарева сечения.*

А затем к нему приблизилось лицо Сэйры — она находилась где-то рядом, однако ее лицо было не столь ярким, как другие склоненные над ним лица. Она должна была быть где-то здесь, встревоженная и испуганная. Теперь она почти принадлежала ему. Он это чувствовал. Он собирался просить ее руки.

Вернулось чувство беспокойства, более сильное, чем когда-либо, и теперь оно было связано с Сэйрой. Но еще сильнее было желание обладать ею, и Джонни принял решение. Он повернулся спиной к темноте, а когда позже оглянулся, темнота исчезла; рядом со стулом — ничего, кроме гладкой белой стены комнаты, в которой он лежал. Вскоре он начал понимать, где находится,— конечно же, в больничной палате. Темный проход почти не остался в памяти, хотя и не забылся окончательно. Но более важным, более насущным было другое: он — Джон Смит, у него есть девушка по имени Сэйра Брэкнелл, и он попал в страшную автомобильную катастрофу. Наверное, ему повезло, раз он жив, и хорошо бы еще не превратиться в калеку. Возможно, его привезли в городскую больницу Кливс Милс, но скорее всего это «Ист-Мэн медикэл сентр». Он чувствовал, что пролежал здесь долго — может, он находился без сознания целую неделю или дней десять. Пора возвращаться к жизни.

Пора возвращаться к жизни. Именно об этом думал Джонни, когда все стало на свои места и он открыл глаза.

Было 17 мая 1975 года. Его соседа по палате, мистера Старрета, давно уже выписали с наказом проходить две мили ежедневно и следить за едой, чтоб уменьшить содержание холестерина. В другом конце палаты лежал старик, проводивший изнурительный пятнадцатый раунд схватки с чемпионом в тяжелом весе — раковой опухолью. Он спал, усыпленный морфием. Больше в палате никого не было. 3.15 пополудни. Экран телевизора светился зеленоватым светом.

— Вот и я,— просипел Джонни, ни к кому не обращаясь. Его поразила слабость собственного голоса. В палате не было календаря, и он не мог знать, что отсутствовал четыре с половиной года.

Минут через сорок вошла сестра. Приблизилась к старику, сменила капельницу, заглянула в туалет и вышла с голубым кувшином из пластика. Полила цветы старика. Возле его кровати было с полдюжины букетов и много открыток с пожеланиями выздоровления, стоявших раскрытыми на столике и на подоконнике. Джонни наблюдал, как она ухаживала за стариком, но не испытывал никакого желания еще раз подать голос.

Сестра отнесла кувшин на место и подошла к койке Джонни. *Собирается перевернуть подушки,* подумал он. На какое-то мгновение их взгляды встретились, но в ее глазах ничто не дрогнуло. *Она не знает, что я проснулся. Мои глаза были открыты и раньше. Для нее это ничего не значит.*

Она подложила руку ему под шею. Рука была прохладная и успокаивающая, и в этот миг Джонни узнал, что у нее трое детей и что младший почти ослеп на один глаз год назад, в День независимости. Несчастный случай во время фейерверка. Мальчика звали Марк.

Она приподняла голову Джонни, перевернула подушку и уложила его вновь. Сестра уже стала отворачиваться, одергивая нейлоновый халат, но затем, озадаченная, оглянулась. Очевидно, до нее дошло, что в глазах больного появилось нечто новое. Что-то такое, чего раньше не было.

Она задумчиво посмотрела на Джонни, уже снова почти отвернулась, когда он сказал:

— Привет, Мари.

Она застыла, внезапно зубы ее резко клацнули. Она прижала руку к груди, чуть ниже горла. Там висело маленькое золотое распятие.

— О боже,— сказала она.— Вы не спите. Я и подумала, что вы сегодня иначе выглядите. А как вы узнали мое имя?

— Должно быть, слышал его.— Говорить было тяжело, ужасно тяжело. Пересохший язык едва ворочался.

Она кивнула.

— Вы уже давно приходите в себя. Я, пожалуй, спущусь в дежурку и позову доктора Брауна или доктора Вейзака. Они обрадуются, что вы проснулись...— Но на какое-то мгновение сестра задержалась, глядя на него с таким откровенным любопытством, что ему стало не по себе.

— Что, у меня третий глаз вырос? — спросил он.

Она нервно засмеялась:

— Нет... конечно нет. Извините.

Его взгляд остановился на ближайшем подоконнике и придвинутом к нему столике. На подоконнике — большая фиалка и изображение Иисуса Христа — подобного рода картинки с Христом любила его мать, на них Христос выглядел так, будто готов сражаться за команду «Нью-йоркские янки» или участвовать в каком-нибудь легкоатлетическом соревновании. Но картинка была... пожелтевшей. *Пожелтевшая, и уголки загибаются.* Внезапно им овладел удушающий страх, будто на него накинули одеяло.

— Сестра! — позвал он.— Сестра!

Она обернулась уже в дверях.

— А где мои открытки с пожеланиями выздоровления? — Ему вдруг стало трудно дышать.— У соседа вон есть... неужели никто не присылал мне открыток?

Она улыбнулась, но улыбка была деланной. Как у человека, который что-то скрывает. Внезапно Джонни захотелось, чтобы она подошла к койке. Тогда он протянет руку и дотронется до нее. А если дотронется, то узнает все, что она скрывает.

— Я позову доктора,— проговорила сестра и вышла, прежде чем он успел что-то сказать. Он испуганно и растерянно взглянул на фиалку, на выцветшую картинку с Иисусом. И вскоре снова погрузился в сон.

— Он не спал,— сказала Мари Мишо.— И говорил связно.

— Хорошо,— ответил доктор Браун.— Я вам верю. Если раз проснулся, проснется опять. Скорее всего. Зависит от...

Джонни застонал. Открыл глаза. Незрячие, наполовину закатившиеся. Но вот он вроде бы увидел Мари, и затем его взгляд сфокусировался. Он слегка улыбнулся. Но лицо оставалось угасшим, будто проснулись лишь глаза, а все остальное в нем спало. Ей вдруг показалось, что он смотрит не на нее, а *в* нее.

— Думаю, с ним все будет в порядке,— сказал Джонни.— Как

только они очистят поврежденную роговую оболочку, глаз станет как новый. Должен стать.

Мари от неожиданности открыла рот, Браун посмотрел на нее вопросительно:

— О чем он?

— Он говорит о моем сыне,— прошептала она.— О Марке.

— Нет,— сказал Браун.— Он разговаривает во сне, вот и все. Не делайте из мухи слона, сестра.

— Да. Хорошо. Но ведь он сейчас не спит, правда?

— Мари? — позвал Джонни. Он попробовал улыбнуться.— Я, кажется, вздремнул?

— Да,— сказал Браун.— Вы разговаривали во сне. Заставили Мари побегать. Вы что-нибудь видели во сне?

— Н-нет... что-то не помню. Что я говорил? Кто вы?

— Меня зовут доктор Джеймс Браун. Как негритянского певца. Только я невропатолог. Вы сказали: «Думаю, с ним будет все в порядке, как только они очистят поврежденную роговую оболочку». Кажется, так, сестра?

— Моему сыну собираются делать такую операцию,— сказала Мари.— Моему мальчику, Марку.

— Я ничего не помню,— сказал Джонни.— Должно быть, я спал.— Он посмотрел на Брауна. Глаза его стали ясные и испуганные.— Я не могу поднять руки. Я парализован?

— Нет. Попробуйте пошевелить пальцами.

Джонни попробовал. Пальцы двигались. Он улыбнулся.

— Прекрасно,— сказал Браун.— Скажите ваше имя.

— Джон Смит.

— А ваше второе имя?

— У меня его нет.

— Вот и чудесно, да и кому оно нужно? Сестра, спуститесь в дежурную и узнайте, кто завтра работает в отделении неврологии. Я бы хотел провести ряд обследований мистера Смита.

— Хорошо, доктор.

— И позвоните-ка Сэму Вейзаку. Он дома или играет в гольф.

— Хорошо, доктор.

— И, пожалуйста, никаких репортеров... бога ради! — Браун улыбался, но был серьезен.

— Нет, конечно нет.— Она ушла, слегка поскрипывая белыми туфельками. С ее мальчиком будет все в порядке, подумал Джонни. Нужно обязательно ей сказать.

— Доктор Браун,— сказал он,— где мои открытки с пожеланиями выздоровления? Неужели никто не присылал?

— Еще несколько вопросов,— сказал мягко доктор Браун.— Вы помните имя матери?

— Конечно, помню, Вера.

— А ее девичья фамилия?

— Нейсон.

— Имя вашего отца?

— Герберт. А почему вы сказали ей насчет репортеров?

— Ваш почтовый адрес?

— РФД 1, Паунал,— быстро сказал Джонни и остановился. По его лицу скользнула улыбка, растерянная и какая-то смешная,— то есть... сейчас я, конечно, живу в Кливс Милс, Норт, Главная улица, 110. Какого черта я назвал вам адрес родителей? Я не живу там с восемнадцати лет.

— А сколько вам сейчас?

— Посмотрите в моих правах,— сказал Джонни.— Я хочу знать, почему у меня нет открыток. И вообще, сколько я пробыл в больнице? И какая это больница?

— Это «Ист-Мэн медикэл сентр». Что касается ваших вопросов, то дайте мне только...

Браун сидел возле постели на стуле, который он взял в углу — в том самом углу, где Джонни видел однажды уходящий вдаль проход. Врач делал пометки в тетради ручкой, какой Джонни никогда и не видел. Толстый пластмассовый корпус голубого цвета и волокнистый наконечник. И была похожа на нечто среднее между автоматической и шариковой ручкой.

При виде ее к Джонни вернулось смутное ощущение ужаса, и он бессознательно схватил вдруг рукой левую ладонь доктора Брауна. Рука Джонни повиновалась с трудом, будто к ней были привязаны шестидесятифунтовые гири — ниже и выше локтя. Слабыми пальцами он обхватил ладонь доктора и потянул к себе. Странная ручка прочертила толстую голубую линию через всю бумагу.

Браун взглянул на него поначалу с любопытством. Затем лицо его побледнело. Из глаз исчез жгучий интерес, теперь их затуманил страх. Он отдернул свою руку — у Джонни не было сил удержать ее,— и на мгновение по лицу доктора пробежала тень отвращения, как если бы он прикоснулся к прокаженному.

Затем это чувство прошло, остались лишь удивление и замешательство.

— Зачем вы так сделали, мистер Смит?..

Голос его дрогнул. Застывшее лицо Джонни выражало понимание. На доктора смотрели глаза человека, который увидел за неясно мелькающими тенями что-то страшное, настолько страшное, что невозможно ни описать, ни назвать.

Но оно было. И нуждалось в определении.

— *Пятьдесят пять месяцев?*— хрипло спросил Джонни.— Чуть не *пять лет?* О господи. Это невозможно.

— Мистер Смит,— в полном смятении сказал Браун.— Пожалуйста, вам нельзя волноваться....

Джонни немного приподнялся и рухнул без сил, лицо его блестело от пота. Взгляд беспомощно блуждал.

— Мне двадцать семь? — бормотал он.— Двадцать семь? О господи.

Браун шумно проглотил слюну. Когда Смит схватил его за руку, ему стало противно; ощущение было сильное, как когда-то в детстве; на память пришла отвратительная сцена. Брауну вспомнился пикник за городом, ему было лет семь или восемь; он присел и сунул руку во что-то теплое и скользкое. Присмотревшись, он увидел, что это червивые останки сурка, который пролежал под лавровым кустом весь жаркий август. Тогда он закричал и сейчас готов был закричать, однако это воспоминание исчезло, улетучилось, а на смену ему вдруг пришел вопрос: *Откуда он узнал? Он прикоснулся ко мне и сразу же узнал.*

Но затем двадцать лет научной работы дали себя знать, и Браун выкинул эту чепуху из головы. Известно немало случаев с коматозными больными, которые, проснувшись, знают многое из того, что происходило вокруг них, пока они спали. Как и многое другое, при коме это зависит от степени заболевания. Джонни Смит никогда не был «пропащим» пациентом, его электроэнцефалограмма никогда не показывала безнадежную прямую, в противном случае Браун не разговаривал бы с ним сейчас. Иногда вид коматозных больных обманчив. Со стороны кажется, что они полностью отключились, однако их органы чувств продолжают функционировать, только в более слабом, замедленном режиме. И конечно же, здесь был подобный случай.

Вернулась Мари Мишо.

— С неврологией я договорилась, доктор Вейзак уже едет.

— Мне кажется, Сэму придется отложить встречу с мистером Смитом до завтра,— сказал Браун.— Я хотел бы дать ему пять миллиграммов валиума.

— Мне не нужно успокоительное,— сказал Джонни.— Я хочу выбраться отсюда. Я хочу знать, что случилось!

— Всему свое время,— сказал Браун.— А сейчас важно, чтобы вы отдохнули.

— Я уже отдыхаю четыре с половиной года!

— Значит, еще двенадцать часов не имеют особого значения,— безапелляционно сказал Браун.

Через несколько секунд сестра протерла ему предплечье спиртом и сделала укол. Джонни почти сразу стал засыпать. Браун и сестра выросли до пятиметровой высоты.

— Скажите мне по крайней мере одно,— сказал Джонни. Его голос, казалось, доносился из далекого далека. Внезапно он подумал, что это ему просто необходимо знать.— Ваша ручка. Как она называется?

— Эта? — Браун опустил ее вниз с головокружительной высоты. Голубой пластмассовый корпус, волокнистый кончик.— Она называется фломастер. А теперь спите, мистер Смит.

Что Джонни и сделал; однако это слово преследовало его во сне, подобно какому-то таинственному заклинанию, исполненному дурацкого смысла: *фломастер... фломастер... фломастер...*

Герберт положил телефонную трубку и долго не отрывал от нее глаз. В соседней комнате гремел телевизор, включенный почти на полную мощность. Орэл Робертс говорил о футболе и исцеляющей любви Иисуса — между футболом и господом была, наверное, какая-то связь, но Герберт ее не уловил. Из-за телефонного звонка. Голос Орэла гулко гремел. Передача вот-вот закончится, и Орэл напоследок заверит зрителей, что с ними должно случиться что-то *хорошее*. Очевидно, Орэл прав.

Мой мальчик, думал Герберт. Если Вера молила о чуде, Герберт молился о том, чтобы сын умер. Но услышана была молитва Веры. Что это значит и как быть теперь? И как новость повлияет на нее?

Он вошел в гостиную. Вера сидела на кушетке. Ее ноги, в мягких розовых шлепанцах, покоились на подушечке. На Вере был старый серый халат. Она ела кукурузный початок. Со времени происшествия с Джонни она пополнела почти на сорок фунтов и давление у нее сильно подскочило. Врач прописывал ей лекарства, но Вера не хотела их принимать,— если господь посылает высокое давление, говорила она, пусть так оно и будет. Герберт однажды заметил, что господь не мешает ей принимать бафферин, когда болит голова. Она ответила своей сладчайшей, страдальческой улыбкой, использовав свое самое сильное оружие: молчание.

— Кто звонил? — спросила она, не отрываясь от телевизора. Орэл обнимал известного полузащитника футбольной команды. Он говорил с притихшей миллионной аудиторией. Полузащитник застенчиво улыбался.

— ...и все вы слышали сегодня рассказ этого прекрасного спортсмена о том, как он попирал свое тело, свой божий храм. И вы слышали...

Герберт выключил телевизор.

—*Герберт Смит!*— Она выпрямилась и чуть не выплюнула всю кукурузу.— Я смотрю! Это же...

— Джонни очнулся.

— ...Орэл Робертс и....

Слова застряли у нее в горле. Она сжалась, будто над ней занесли руку для удара. Герберт отвернулся, не в силах больше говорить, он хотел бы радоваться, но боялся. Очень боялся.

— Джонни...— Она остановилась, сглотнула и начала снова:— Джонни... мой Джонни?

— Да. Он разговаривал с доктором Брауном почти пятнадцать минут. Это явно не то, о чем они сначала думали... не ложное пробуждение... Он говорит вполне связно. Может двигаться.

— *Джонни очнулся?*

Она поднесла руки ко рту. Наполовину объеденный кукурузный початок медленно выскользнул из пальцев и шлепнулся на ковер, зерна разлетелись в разные стороны. Она закрыла руками нижнюю половину лица. Глаза расширялись все больше и больше, и наступил жуткий миг, когда Герберт испугался, что они сейчас выскочат из орбит и повиснут на ниточках. Потом они закрылись. Вера что-то промяукала зажатым ладонями ртом.

— Вера? Что с тобой?

— О боже, благодарю тебя, да исполнится воля твоя! Мой Джонни! Ты вернул мне сына, я знала, ты не останешься глух к моим мольбам... Мой Джонни, о боже милостивый, я буду благодарить тебя все дни моей жизни за Джонни... *Джонни...* ДЖОННИ.

Ее голос превратился в истерический, торжествующий крик. Герберт подошел, схватил жену за отвороты халата и встряхнул. Время вдруг словно пошло вспять, вывернувшись, подобно какой-то странной ткани, наизнанку, они как бы вновь переживали тот вечер, когда им сообщили об автомобильной катастрофе — по тому же телефону, в том же месте.

В том же месте с нами вместе, пронеслось у Герберта в голове нечто несуразное.

— О боже милосердный, мой Иисус, о мой Джонни... чудо, я же говорила: *чудо...*

— *Вера, прекрати!*

Взгляд ее потемнел, затуманился, стал диковатым.

— Ты недоволен, что он очнулся? После всех этих многолетних насмешек надо мной? После всех этих рассказов, что я сумасшедшая?

— Вера, я никому не говорил, что ты сумасшедшая.

— *Ты говорил им глазами!*— прокричала она.— Но мой бог не был посрамлен. Разве был, Герберт? *Разве был?*

— Нет,— сказал он.— Пожалуй, нет.

— Я говорила тебе. Я говорила тебе, что господь предначертал путь моему Джонни. Теперь ты видишь, как воля божья начинает свершаться.— Она поднялась.— Я должна поехать к нему. Я должна рассказать ему.— Она направилась к вешалке, где висело ее пальто, по-видимому забыв, что на ней халат и ночная рубашка. Лицо ее застыло в экстазе. Герберт вспомнил, как она выглядела в день их свадьбы, и это было чудно и почти кощунственно. Она втоптала кукурузные зерна в ковер своими розовыми шлепанцами.

— Вера.

— Я должна сказать ему, что предначертание господа....

— Вера.

Она повернулась к нему, но глаза ее казались далекими-далекими, она была вместе с Джонни.

Герберт подошел и положил руки на плечи жены.

— Ты скажешь, что любишь его... что ты молилась... ждала... У кого есть большее право на это? Ты мать. Ты так переживала за сына. Разве я не видел, как ты исстрадалась за последние пять лет? Я не сожалею, что он снова с нами, ты не права. Я вряд ли буду думать так же, как ты, но совсем не сожалею. Я тоже страдал.

— Страдал? — Ее взгляд выражал жестокость, гордость и недоверие.

— Да. И еще я хочу сказать тебе, Вера. Прошу тебя, перекрой обильный фонтан всяких рассуждений о боге, чудесах и великих предначертаниях, пока Джонни не встанет на ноги и полностью не...

— Я буду говорить то, что считаю нужным!

— ...придет в себя. Я хочу сказать, что ты должна предоставить сыну возможность стать самим собой, прежде чем навалишься на него со своими идеями.

— Ты не имеешь права так говорить со мной! Не имеешь!

— Имею, потому что я отец Джонни,— сказал он сурово.— Быть может, я прошу тебя последний раз в жизни. И лучше не становись на дороге сына, Вера. Поняла? Ни ты, ни бог, ни страдающий святой Иисус. Понимаешь?

Она отчужденно смотрела на него и не отвечала.

— Ему и без того будет трудно примириться с мыслью, что он, точно лампочка, был выключен на четыре с половиной года. Мы не знаем, сможет он снова ходить, несмотря на помощь врачей. Мы лишь знаем, что предстоит операция на связках, если еще он захочет; об этом сказал Вейзак. Наверно, и не одна операция. И снова терапия, и все это грозит ему адовой болью. Так что завтра ты будешь просто его матерью.

— Не смей так со мной разговаривать! *Не смей!*

— Если ты начнешь свои проповеди, Вера, я вытащу тебя за волосы из палаты.

Она вперила в него взгляд, бледная и дрожащая. В ее глазах боролись радость и ярость.

— Одевайся-ка,— сказал Герберт.— Нам нужно ехать.

Весь долгий путь в Бангор они молчали. Они не испытывали счастья, которое должны были бы оба испытывать; Веру переполняла горячая, воинственная радость. Она сидела выпрямившись, с Библией в руках, раскрытой на двадцать третьем псалме.

На следующее утро в четверть десятого Мари вошла в палату к Джонни и сказала:

— Пришли ваши родители. Вы хотите их видеть?

— Да, хочу.— В это утро он чувствовал себя значительно лучше и был более собранным. Но его немного пугала мысль, что он сейчас их увидит. Если полагаться на воспоминания, последний раз он встречался с родителями около пяти месяцев назад. Отец закладывал фундамент дома, который теперь, вероятно, стоит уже года три или того больше. Мама подавала ему фасоль, приготовленную ею, яблочный пирог на десерт и кудахтала по поводу того, что он похудел.

Слабыми пальцами он поймал руку Мари, когда та собиралась уйти.

— Как они выглядят? Я имею в виду...

— Выглядят прекрасно.

— Что ж. Хорошо.

— Вам можно побыть с ними лишь полчаса. И немного еще вечером, если не очень устанете после исследований в неврологии.

— Приказ доктора Брауна?

— И доктора Вейзака.

— Хорошо. По крайней мере пока. Не уверен, что я позволю им долго меня щупать и колоть.

Мари колебалась.

— Что-нибудь еще? — спросил Джонни.

— Нет... не сейчас. Вам, должно быть, не терпится увидеть ваших. Я пришлю их.

Он ждал и нервничал. Вторая койка была пуста; ракового больного убрали, когда Джонни спал после укола.

Открылась дверь. Вошли мать с отцом. Джонни пережил шок и тут же почувствовал облегчение: шок, потому что они *действительно* постарели; облегчение, потому что не намного. А если *они* не так уж изменились, вероятно, то же самое можно сказать и о нем.

Но что-то все-таки в нем изменилось, изменилось бесповоротно — и эта перемена могла быть роковой.

Едва он успел так подумать, как его обвили руки матери, запах ее фиалковых духов ударил в нос, она шептала:

— Слава богу, Джонни, слава богу, что ты очнулся, слава богу.

Он тоже крепко обнял ее, но в руках еще не было силы, они тут же упали — и вдруг за несколько секунд он понял, что́ она чувствует, что́ думает и что́ с ней случится. А затем это ощущение исчезло, растворилось подобно темному коридору, который ему привиделся. Когда же Вера разомкнула объятия, чтобы взглянуть на Джонни, безудержная радость в ее глазах сменилась глубокой озабоченностью. Он непроизвольно произнес:

— Мам, ты принимай то лекарство. Так будет лучше.

Глаза матери округлились, она облизнула губы — Герберт был уже около нее, он еле сдерживал слезы. Отец похудел — не настолько, насколько поправилась Вера, но все же заметно. Волосы его поредели, однако лицо осталось таким же — домашним, простым, дорогим. Он вытащил из заднего кармана большой цветной платок и вытер глаза. Затем протянул руку.

— Привет, сынок,— сказал он.— Я рад, что ты опять с нами.

Джонни пожал ее как можно крепче; его бледные и безжизненные пальцы утонули в широкой руке отца. Джонни перевел взгляд с Герберта на Веру — сначала посмотрел на мать, одетую в просторный темно-синий брючный костюм, потом на отца, приехавшего в поистине отвратительном клетчатом пиджаке, который подходил бы скорее продавцу пылесосов в Канзасе,— и залился слезами.

— Извините,— сказал он.— Извините, это просто...

— Поплачь,— сказала Вера, садясь на кровать рядом с ним. Лицо ее дышало спокойствием, сияло чистотой. Сейчас в нем было больше материнского, чем безумного.— Поплачь, иногда это лучше всего.

И Джонни плакал.

Герберт сообщил, что тетушка Жермена умерла. Вера рассказала, что наконец-то есть деньги на зал для собраний в Паунале и месяц назад, как только оттаяла земля, началось строительство. Герберт добавил, что предложил свои услуги, но понял — честная работа заказчикам не по карману.

— Просто ты неудачник,— сказала Вера.

Они помолчали, потом Вера заговорила вновь:

— Надеюсь, ты понимаешь, Джонни, что твое выздоровление — божье чудо. Доктора отчаялись. У Матфея в главе девятой сказано...

— Вера,— предостерегающе произнес Герберт.

— Конечно, то было чудо, мама. Я знаю.

— Ты... ты знаешь?

— Да. И хотел бы поговорить с тобой об этом... послушать твои соображения на сей счет... только дай мне встать на ноги.

Она уставилась на него с открытым ртом. Джонни посмотрел мимо нее на отца, и на какое-то мгновение их взгляды встретились. Джонни увидел в глазах отца большое облегчение. Герберт едва заметно кивнул.

— Обратился! — громко воскликнула Вера.— Мой мальчик обратился! О, хвала господу!

— Вера, тише,— сказал Герберт.— Хвали господа потише, пока ты в больнице.

— Не понимаю, мама, неужели найдутся люди, которые не увидят тут чуда. Мы с тобой еще вдоволь поговорим об этом. Вот только выздоровлю.

— Ты вернешься домой,— сказала она.— В дом, где вырос. Я по-

ставлю тебя на ноги, и мы будем молиться о том, чтобы на всех снизошла благодать.

Он улыбался ей, но уже через силу.

— Ясное дело. Мам, ты не сходишь в дежурку к сестрам? Попроси Мари — пусть принесет какого-нибудь сока. Или имбирного пива. Кажется, я отвык говорить, и горло у меня...

— Конечно, схожу.— Она поцеловала его в щеку и встала.— Боже, как ты похудел. Я позабочусь о том, чтобы ты поправился, когда возьму тебя домой.— Она вышла из комнаты, напоследок бросив победоносный взгляд на Герберта. Они услышали удаляющийся стук ее туфель.

— И давно это с ней? — тихо спросил Джонни.

Герберт покачал головой.

— После твоей катастрофы ей все хуже и хуже. Но началось значительно раньше. Ты же знаешь. Сам помнишь.

— А она...

— Не думаю. На юге есть люди, которые укрощают змей. Их я назвал бы сумасшедшими. Она до такого еще не дошла. А как ты, Джонни? По правде?

— Не знаю,— сказал Джонни.— Папа, где Сэйра?

Герберт наклонился и зажал ладони между колен.

— Мне не хотелось бы говорить тебе об этом, Джон, но...

— Она замужем? Она вышла *замуж?*

Герберт молчал. Не глядя на Джонни, он кивнул головой.

— О боже,— произнес Джонни глухо.— Этого я боялся.

— Вот уже три года, как она миссис Уолтер Хэзлит. Он юрист. У них мальчик. Джон... никто ведь не верил, что ты очнешься. За исключением, конечно, твоей матери. Ни у кого из нас не было *оснований* верить, что ты придешь в себя.— Его голос, в котором слышалась вина, дрожал.— Доктора говорили... да наплевать, что они говорили. Даже я сдался. Мне чертовски стыдно признаться, но это правда. Единственная моя просьба — постарайся понять меня и... Сэйру.

Джонни попытался сказать, что понимает, но вместо слов раздался какой-то слабый сиплый стон. Он вдруг стал немощным, старым, и внезапно на него нахлынуло чувство невозвратимой потери. Упущенное время придавило его, подобно груде камней,— он даже ощутил их тяжесть.

— Джонни, не расстраивайся. Столько всего кругом. Хорошего.

— К этому... надо еще привыкнуть,— выдавил он.

— Да. Я знаю.

— Ты ее видел?

— Время от времени переписываемся. Мы познакомились после катастрофы. Она хорошая девушка, действительно хорошая. По-прежнему преподает в Кливсе, но, насколько я понимаю, хочет оставить работу в июне. Она счастлива, Джон.

— Прекрасно,— с трудом произнес он.— Рад, что хоть кто-то счастлив.

— Сынок...

— Надеюсь, вы тут не секретничаете,— весело произнесла Вера Смит, входя в палату. В руке у нее был запотевший кувшин.— Они сказали, что фруктовый сок тебе давать еще рано, Джонни, так что я принесла имбирное пиво.

— Отлично, мам.

Она переводила взгляд с Герберта на Джонни и снова на Герберта.

— Вы секретничали? Почему у вас такие вытянутые физиономии?

— Я просто говорил Джонни, что ему предстоит потрудиться, если он хочет скорее выйти отсюда,— сказал Герберт.— Хорошо подлечиться.

— А зачем говорить об этом? — Она налила пиво в стакан.— Теперь и так будет все в порядке. Вот увидишь.

Она сунула соломинку в стакан и протянула его Джонни.

— Выпей все,— сказала она, улыбаясь.— Тебе полезно.

Джонни выпил до дна. Пиво отдавало горечью.

— Закройте глаза,— сказал доктор Вейзак.

Это был небольшого роста толстячок с невероятно ухоженной шевелюрой и пышными бакенбардами. Его волосы раздражали Джонни. Если бы пять лет назад человек с прической Вейзака появился в любом баре восточного Мэна, тут же собралась бы толпа зевак и его, учитывая почтенный возраст, сочли бы вполне созревшим для сумасшедшего дома.

Ну и копна!

Джонни закрыл глаза. Его голову облепили электрическими датчиками. Провода тянулись от контактов к укрепленному на стене электроэнцефалографу. Доктор Браун и сестра стояли у аппарата, из него, тихо жужжа, выползала широкая лента с графическими кривыми. Джонни предпочел бы, чтобы сегодня дежурила Мари Мишо. Ему было страшновато.

Доктор Вейзак дотронулся до его век, и Джонни дернулся.

— Ну-ну... не шевелитесь, Джонни. Еще немного и все. Вот... тут.

— Готово, доктор,— сказала сестра.

Тихое жужжание.

— Хорошо, Джонни. Вам удобно?

— Ощущение такое, будто у тебя монеты на веках.

— Да? Вы быстро привыкнете. Сейчас я все объясню. Попрошу вас представить себе различные предметы. На каждый образ я дам секунд десять, а всего вам нужно подумать о двадцати предметах. Понятно?

— Да.

— Очень хорошо. Начинаем. Доктор Браун?

— Все готово.

— Прекрасно. Джонни, я попрошу вас, представьте себе стол. На столе лежит апельсин.

Джонни представил. Он видел маленький карточный столик со складными металлическими ножками. На нем чуть в стороне от центра лежал большой апельсин, на пупырчатой кожуре была наклейка с названием фирмы САНКИСТ.

— Хорошо,— сказал Вейзак.

— Что, этот аппарат показывает мой апельсин?

— Н-нет... то есть да. Символически. Аппарат регистрирует токи мозга. Мы ищем блокированные участки, Джонни. Участки каких-либо нарушений. Возможные указания на нарушенное внутричерепное давление. А теперь попрошу не задавать вопросов.

— Хорошо.

— Сейчас представьте себе телевизор. Он включен, но передачи нет.

Джонни увидел телевизор в своей квартире — в своей бывшей квартире. Экран подернут светло-серой изморозью. Кончики складной антенны, торчащие подобно заячьим ушам, обернуты фольгой для лучшего приема передач.

— Хорошо.

Опыт продолжался. На одиннадцатый раз Вейзак сказал:

— А сейчас попрошу вас представить стол для пикника на левой стороне зеленой лужайки.

Джонни задумался и увидел шезлонг. Он нахмурился.

— Что-нибудь не так? — спросил Вейзак.

— Все нормально,— сказал Джонни. Он напряженно думал. Пикники. Вино, жаровня... дальше, черт возьми, дальше. Неужели так

трудно мысленно увидеть стол для пикника, в своей жизни ты их видел тысячу раз; вообрази же его. Пластмассовые ложки и вилки, бумажные тарелки, отец держит в руке длинную вилку, он в поварском колпаке, на нем фартук, на котором наискось написано: ПОВАР ХОЧЕТ ВЫПИТЬ; буквы прыгают словно живые. Отец жарит котлеты, потом они сядут за...

Наконец-то!

Джонни улыбнулся, но улыбка тут же увяла. Теперь перед ним был гамак.

— Черт!

— Никак не увидите стол для пикника?

— Дичь какая-то. Я, кажется... не могу вообразить его. То есть я знаю, что это такое, но я не могу себе его представить. Разве не дико?

— Успокойтесь. Попробуйте вот это: глобус, стоящий на капоте пикапа.

Это было просто.

На девятнадцатый раз — гребная лодка у столба с дорожным указателем (кто изобретает эту несуразицу? — подумал Джонни) — опять не получилось. Он был в отчаянии. Он представил себе большой мяч, лежащий рядом с могильной плитой. Он напрягся и увидел дорожную развязку. Вейзак успокоил его, и через несколько секунд датчики с головы и век были сняты.

— Почему я не смог вообразить эти предметы? — спросил Джонни, переводя взгляд с Вейзака на Брауна.— В чем дело?

— Трудно сказать определенно,— ответил Браун.— Вероятно, местная амнезия. А может, в результате аварии поврежден какой-то маленький участок мозга — в сущности, микроскопический. Мы, правда, не знаем, в чем дело, но, очевидно, у вас появились провалы памяти. Два мы нащупали. Наверное, обнаружатся еще.

— У вас была травма головы в детстве, да? — отрывисто спросил Вейзак.

Джонни задумчиво посмотрел на него.

— Сохранился старый шрам,— сказал Вейзак.— Существует теория, Джонни, подтвержденная статистическими исследованиями....

— Которые далеко еще не закончены,— сказал Браун почти официальным тоном.

— Да, правда. Теория эта предполагает, что люди выходят из долговременной комы, если получили ранее какую-то мозговую травму... мозг как бы адаптируется после первого ранения, что помогает перенести второе.

— Это не доказано,— сказал Браун. Казалось, он был недоволен тем, что Вейзак заговорил на эту тему.

— Остался шрам,— сказал Вейзак.— Вы можете вспомнить, когда это случилось, Джонни? Вероятно, вы потеряли тогда сознание. Упали с лестницы? Или с велосипеда? Судя по шраму, это произошло в детстве.

Джонни напряг память, затем покачал головой.

— Вы спрашивали у родителей?

— Никто из них не мог вспомнить ничего такого... а вы?

На мгновение что-то всплыло — дым, черный, жирный, пахнущий вроде бы резиной. Холод. Затем видение исчезло. Джонни отрицательно покачал головой.

Вейзак вздохнул, пожал плечами.

— Вы, должно быть, устали.

— Да. Немножко.

Браун присел на край стола.

— Без четверти двенадцать. Сегодня вы хорошо поработали. Если хотите, мы с доктором Вейзаком ответим на ваши вопросы, а потом вас поднимут в палату, и вы вздремнете. Хорошо?

— Хорошо,— сказал Джонни.— Эти снимки мозга...

— КОТ,— кивнул Вейзак.— Компьютеризированная осевая томография.— Он взял коробочку со жвачкой «Чиклетс» и вытряхнул три подушечки прямо в рот.— КОТ — это, по сути дела, серия рентгеноснимков мозга, Джонни. Компьютер обрабатывает снимки и...

— Что он вам сказал? Сколько мне осталось?

— Это что еще за чепуха — «сколько мне осталось»? — спросил Браун.— Похоже на фразу из допотопного фильма.

— Я слышал, люди, вышедшие из длительной комы, долго не живут,— сказал Джонни.— Они снова отключаются. Подобно лампочке, которая, перед тем как перегореть, ярко вспыхивает.

Вейзак громко захохотал. Его гулкий смех словно шел изнутри— удивительно, как он не подавился жвачкой.

— О, как мелодраматично! — Он положил руку на грудь Джонни.— Вы что, думаете, мы с Джимом дети в этой области? Как бы не так. Мы неврологи. Врачи, которых вы, американцы, цените на вес золота. А это значит, что мы невежды не во всем, а лишь в том, что касается деятельности человеческого мозга. Так что могу сказать: да, такие случаи бывали. Но с вами этого не произойдет. Думаю, мы не ошибаемся, а, Джим?

— Да,— сказал Браун.— Мы не обнаружили никаких серьезных нарушений, Джонни. В Техасе один парень пролежал в коме девять лет. Сейчас он выдает ссуды в банке вот уже шесть лет. А до того работал два года кассиром. В Аризоне живет женщина, которая пролежала без сознания двенадцать лет. Что-то там случилось с наркозом, когда она рожала. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске, но жива и в здравом уме. Она вышла из комы в шестьдесят девятом, и ей показали ребенка, который появился на свет двенадцать лет назад. Ребеночек был уже в седьмом классе и, кстати, великолепно учился.

— Мне грозит инвалидная коляска? — спросил Джонни.— Я не могу вытянуть ноги. С руками получше, а вот ноги...— Он устало замолчал, покачивая головой.

— Связки сокращаются,— сказал Вейзак.— Понятно? Вот почему коматозные больные как бы скрючиваются, принимая положение, которое мы называем зародышевым. Ныне мы знаем о физических изменениях во время комы гораздо больше и успешнее можем противостоять болезни. Даже когда вы находились без сознания, с вами регулярно занимался физиотерапевт. К тому же больные по-разному реагируют на коматозное состояние. У вас, Джонни, ухудшение протекало довольно медленно. Как вы сами говорите, руки у вас на удивление чувствительны и жизнеспособны. И тем не менее какое-то ухудшение произошло. Лечение будет долгим и... стоит ли лгать? Нет, пожалуй. Оно будет долгим и болезненным. Будут слезы. Вы можете возненавидеть врача. И остаться навсегда прикованным к постели. Предстоят операции — одна, если вам очень, очень повезет, но, может быть, и все четыре,— чтобы вытянуть связки. Такие операции еще в новинку. Они удаются полностью или частично либо оказываются безрезультатными. И все же, с божьей помощью, я полагаю, вы будете ходить. Лыжи и прыжки через барьер — едва ли, но бегать и, конечно, плавать вы сможете.

— Спасибо,— сказал Джонни. Внезапно он почувствовал прилив нежности к этому говорившему с акцентом человеку, у которого была такая странная шевелюра. Джонни захотелось, в свою очередь, сделать что-нибудь приятное для Вейзака — и с этим чувством пришло желание, почти *необходимость* прикоснуться к нему.

Неожиданно Джонни протянул руку и взял ладонь Вейзака. Ладонь врача была большая, морщинистая, теплая.

— Да? — спросил мягко Вейзак.— Что такое?

Неожиданно все преобразилось. Непонятно как. Только вдруг Вейзак весь ему открылся. Он как бы... *приблизился*, сделался контрастным в лучах мягкого, чистого света. Каждая точка, родинка и черточка на лице Вейзака стала рельефной. И каждая рассказывала свою историю. *Джонни начинал понимать.*

— Дайте ваш бумажник,— сказал он.

— Мой?.. — Вейзак и Браун удивленно переглянулись.

— В бумажнике лежит фотография вашей матери, мне нужно взглянуть на нее,— сказал Джонни.— *Пожалуйста.*

— Как вы узнали?

— *Пожалуйста!*

Вейзак посмотрел на Джонни, затем медленно сунул руку под халат и вытащил старый бумажник, пухлый и бесформенный.

— Откуда вы узнали, что я ношу фотографию матери? Ее нет в живых, она умерла, когда нацисты оккупировали Варшаву...

Джонни выхватил бумажник. Вейзак и Браун застыли от изумления, Джонни открыл бумажник и, не обращая внимания на прозрачные кармашки для фотографий, полез в глубину — его пальцы торопливо перебирали старые визитные карточки, оплаченные счета, погашенный банковский чек, старый билет на какое-то политическое собрание. Он вытащил маленькую любительскую фотографию, заклеенную в прозрачный пластик. С нее смотрела молодая женщина с простым лицом — волосы убраны под платок, улыбка излучает свет и молодость. Она держит за руку мальчика. Рядом стоит мужчина в польской военной форме.

Джонни зажал фотографию между ладонями и закрыл глаза, сначала было темно, но затем из темноты стремительно появился фургон... нет, не фургон, а катафалк. Катафалк, запряженный лошадьми. С фонарями, покрытыми черным крепом. Конечно же, это был катафалк, потому что они...

(умирали сотнями, нет, тысячами, не в силах противостоять броне, вермахту, кавалерия девятнадцатого века против танков и пулеметов, взрывы, крики, падающие солдаты, лошадь с развороченными внутренностями и выкатившимися белыми яблоками глаз, рядом перевернутое орудие, и все же они движутся, движется вейзак, стоя в стременах, и сабля его высоко в воздухе под проливным дождем осенью 1939 года, за ним, увязая в грязи, следуют его солдаты, орудие фашистского «тигра» ищет его, нащупывает, целится, стреляет, и неожиданно туловище исчезает, сабля вылетает из рук; а дорога ведет в варшаву, и нацистский волк рыщет по европе)

— Пожалуй, пора кончать с этим,— сказал Браун далеким и встревоженным голосом.— Вы слишком возбуждены, Джонни.

Голоса доносились издалека, из коридора времени.

— Он в трансе,— сказал Вейзак.

Здесь жарко. Он обливается потом. Обливается потом, ведь...

(город в огне, тысячи беженцев, ревущий грузовик, петляя, движется по мощенной булыжником улице, в кузове тесно сидят немецкие солдаты в шлемах-котелках, они машут руками, и молодая женщина уже не улыбается, она бежит, надо бежать. ребенок отправлен в безопасное место, и вот грузовик въезжает на тротуар, ударяет ее крылом, ломает бедро, бросает в витрину часового магазина, и все часы начинают бить. бить, потому что пора пробить время.)

— Шесть часов,— произнес Джонни хрипло. Глаза его закатились, так что стали видны выпуклые белки.— Второе сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года, и отовсюду голоса кукушек.

— О боже, что это? — прошептал Вейзак. Сестра отступила, прижавшись к энцефалографу, она побледнела от испуга. Все напуганы, ибо смерть витает рядом. Она всегда здесь витает, в этой...

(больнице. запах эфира, кричат в этой обители смерти, польша пала под молниеносным ударом вермахта. сломанное бедро. мужчина на соседней койке просит воды, просит, просит, просит. она вспоминает: «МАЛЬЧИК СПАСЕН». какой мальчик? она не знает, какой мальчик? как его зовут? она не помнит. только одно...)

— Мальчик спасен,— прохрипел Джонни.— Так-так. Так-так.

— С этим пора кончать,— повторил Браун.

— Что вы предлагаете? — срывающимся голосом спросил Вейзак.

— Это зашло слишком далеко, чтобы...

Голоса затихают. Их обволакивает туман. Все в каком-то тумане. Европа в тумане войны. Все в тумане, кроме вершин, горных вершин...

(швейцарии. швейцария и вдруг ее имя — БОРЕНЦ. ее имя ИОГАННА БОРЕНЦ, и муж ее инженер или архитектор, словом, тот, кто строит мосты. он строит в швейцарии, а там козье молоко, козий сыр. ребенок. оооох, какие роды! тяжелейшие роды, и ей нужны наркотики, морфий, этой ИОГАННЕ БОРЕНЦ, и все из-за бедра, сломанного бедра. оно зажило, оно успокоилось, но сейчас оно прострелилось и болит под нажимом тазовых костей, раздвигающихся, чтобы пропустить ребенка. один ребенок, два и три. и четыре. они появляются не все сразу — это урожай многих лет. они...)

— Детки мои... — протянул Джонни вовсе не своим, а каким-то женским голосом... Потом он запел что-то непонятное...

— Что это, боже правый... — начал было Браун.

— Польский, он же поет по-польски! — закричал Вейзак. Он вытаращил глаза и побледнел.— Это колыбельная, на польском, о господи, что ж это в самом деле?

Вейзак наклонился, будто хотел вместе с Джонни перешагнуть через годы, перепрыгнуть через них, будто...

(мост, какой-то мост, в турции. затем другой мост среди жары юго-восточной азии, не в лаосе ли? не разберу, потеряли там человека, ГАНСА, затем мост в виргинии, мост через РЕКУ РАППАХАНОК и еще один в калифорнии, мы хотим получить гражданство и занимаемся языком в маленькой душной комнате на почте, где всегда пахнет клеем. идет 1963 год, ноябрь, и когда мы узнаем, что в далласе убит кеннеди, мы плачем, а когда маленький мальчик отдает салют у гроба своего отца, она думает: «мальчик спасен», и это навевает воспоминания о каком-то пожаре, каком-то большом пожаре и скорби, что за мальчик? она грезит о нем, это вызывает головную боль. а человек умирает, ХЕЛЬМУТ БОРЕНЦ умирает, и она с детьми живет в кармеле, штат калифорния. в доме на... на... на... не вижу таблички, она в мертвой зоне, так же как лодка, как стол для пикника на лужайке. в мертвой зоне. как варшава. дети уходят один за другим, мать присутствует на школьных выпусках, а бедро болит. один погиб во вьетнаме. с остальными все в порядке. еще один строит мосты. ее зовут ИОГАННА БОРЕНЦ, и ночами в одиночестве она то и дело думает в пульсирующей темноте: «МАЛЬЧИК СПАСЕН»)

Джонни поднял на них глаза. С головой творилось что-то странное. Ореол над Вейзаком исчез. Джонни снова был самим собой, только ощущал слабость и легкую тошноту. Он мельком взглянул на фотографию и отдал ее.

— Джонни? — спросил Браун.— Как вы себя чувствуете?

— Устал,— пробормотал он.

— Можете объяснить, что с вами произошло?

Джонни посмотрел на Вейзака.

— Ваша мать жива,— произнес он.

— Нет, Джонни. Она умерла много лет назад. Во время войны.

— Ее сбил немецкий военный грузовик, и она через витрину влетела в часовой магазин,— сказал Джонни.— Она очнулась в больнице, но ничего не помнила. У нее не было удостоверения личности,

никаких документов. Взяла имя Иоганна. Я не разобрал фамилии, а когда война кончилась, уехала в Швейцарию и вышла замуж за швейцарского... инженера, что ли. Его специальность — строительство мостов, а звали его Хельмут Боренц. Так что ее фамилия по мужу была — и есть — Иоганна Боренц.

Глаза сестры все более округлялись. Лицо доктора Брауна стало жестким — то ли он считал, что Джонни их всех дурачит, а может, просто ему не понравилось нарушение четкой программы опытов. Вейзак оставался неподвижным и задумчивым.

— У нее и у Хельмута Боренца родилось четверо детей.— Джонни говорил тем же тихим, слабым голосом.— Жизнь бросала его в разные концы света. Какое-то время он был в Турции. И где-то в Юго-Восточной Азии. В Лаосе или, может быть, в Камбодже. Затем приехал сюда. Сначала Виргиния, затем другие места, какие — я не понял, и, наконец, Калифорния. Они с Иоганной получили американское гражданство. Хельмут Боренц умер. Один из детей погиб. Остальные живы и здоровы. Но время от времени она грезит вами. И в такие минуты она говорит: «Мальчик спасен». Однако она не помнит вашего имени. А может, считает, что все потеряно.

— Калифорния? — произнес Вейзак задумчиво.

— Сэм,— сказал доктор Браун,— ей-богу, не стоит это поощрять.

— Где в Калифорнии, Джон?

— В Кармеле. На побережье. Не могу только сказать, на какой улице. Не разобрал названия. Оно в мертвой зоне. Как стол для пикника и лодка. Но она в Кармеле, в Калифорнии. Иоганна Боренц. Она еще не старая.

— Нет, конечно, она не должна быть старой,— сказал Сэм Вейзак тем же задумчивым, отрешенным голосом.— Ей было всего двадцать четыре, когда немцы напали на Польшу.

— Доктор Вейзак, я вынужден настаивать,— резко сказал Браун.

Вейзак будто очнулся от глубокой задумчивости. Он оглянулся, словно впервые увидел своего младшего коллегу.

— Да-да,— сказал он.— Конечно. Джону уже хватит на сегодня вопросов и ответов... хотя, полагаю, он рассказал нам больше, чем мы ему.

— Чепуха,— отрезал Браун, а Джонни подумал: *Он напуган. Напуган до чертиков.*

Вейзак улыбнулся Брауну, затем сестре. Она смотрела на Джонни, как на тигра в плохо запертой клетке.

— Не рассказывайте об этом, сестра. Ни вашему начальству, ни матери, ни брату, ни любовнику, ни священнику. Понятно?

— Да, доктор,— ответила она. *Все равно она раззвонит,* подумал Джонни и бросил взгляд на Вейзака. *И он это знает.*

Он проспал до четырех часов дня. Потом его повезли по коридору к лифту, спустили в отделение неврологии и продолжили исследования. Джонни плакал. Он, видимо, почти не мог контролировать себя, как все здоровые люди. На обратном пути он обмочился, и ему, словно ребенку, поменяли белье. На него накатила первая (но далеко не последняя) волна депрессии, ему захотелось умереть. Джонни стало жаль себя. Как все несправедливо, думал он. С ним произошло то же, что и с Рипом ван Винклем. Ходить он не может. Его девушка вышла замуж за другого, а мать — в религиозном экстазе. Стоит ли теперь жить?

В палате сестра поинтересовалась, не нужно ли ему чего. Если бы дежурила Мари, Джонни попросил бы воды со льдом. Но она ушла в три часа.

— Нет,— сказал он и повернулся лицом к стене. И вскоре заснул.

В тот вечер отец с матерью пришли на целый час, и Вера оставила пачку брошюр.

— Мы собираемся пробыть тут до конца недели,— сказал Герберт,— и если у тебя все пойдет на лад, вернемся ненадолго в Паунал. Но мы будем приезжать каждый уик-энд.

— Я хочу остаться с моим мальчиком,— громко заявила Вера.

— Лучше, если ты тоже поедешь, мам,— сказал Джонни. Депрессия слегка отпустила, но он не забыл, что с ним творилось несколько часов назад. Если бы в тот момент мать затеяла разговор о чудесном предназначении, которое уготовил для него господь, Джонни вряд ли удержался бы от взрыва истерического смеха.

— Я нужна тебе, Джон. Я должна объяснить тебе...

— Прежде всего мне нужно поправиться,— сказал Джонни.— Ты все объяснишь потом, когда я начну ходить. Хорошо?

Вера не ответила. На ее лице появилось до смешного упрямое выражение — хотя ничего смешного вокруг не было. Совсем ничего. *Всего лишь игра судьбы. Если бы он проехал пятью минутами раньше или позже по той дороге, все могло быть по-другому. А теперь только посмотреть — всех нас тряхнуло по первое число. И она считает, что это божья воля. А иначе, наверное, можно свихнуться.*

Чтобы прервать неловкое молчание, Джонни спросил:

— Что, Никсона переизбрали, отец? Кто выступал против него?

— Никсона переизбрали,— сказал Герберт.— Его соперником был Макговерн.

— Кто?

— Макговерн. Джордж Макговерн, сенатор из Южной Дакоты.

— Не Маски?

— Нет. Но Никсон больше не президент. Он ушел в отставку.

— *Что?*

— Он был лжец,— мрачно изрекла Вера.— Его обуяла гордыня, и господь отступился от него.

— Никсон ушел в отставку?— Джонни был потрясен.— *Никсон?*

— Ему нужно было уходить, иначе б его убрали,— сказал Герберт.— Дело дошло до импичмента.

Неожиданно Джонни понял, что в американской политической жизни произошли большие и серьезные перемены — почти наверняка итог вьетнамской войны — и он о них ничего не знает. Впервые он по-настоящему почувствовал себя Рипом ван Винклем. Насколько все изменилось? Ему было даже боязно спрашивать. Затем в голову пришла поистине леденящая душу мысль.

— Агню... Агню стал президентом?

— Форд,— ответила Вера.— Хороший, порядочный человек.

— Генри Форд — президент Соединенных Штатов?

— Не Генри,— сказала она,— Джерри.

Он переводил взгляд с матери на отца, почти уверенный в том, что все это либо сон, либо чудовищная шутка.

— Агню тоже ушел в отставку,— объяснила Вера. Губы ее сжались в полоску и побелели.— Он был вор. Получил взятку прямо у себя в кабинете. Так все говорят.

— Агню убрали не из-за взятки,— сказал Герберт,— а из-за какой-то грязной истории у него в Мэриленде. Похоже, он увяз в ней по горло. Никсон назначил вице-президентом Джерри Форда. А потом в прошлом августе и Никсон ушел в отставку, а Форд занял его место. Форд на пост вице-президента назначил Нельсона Рокфеллера. Таковы у нас дела.

— Разведенный,— сказала сурово Вера.— Господь не даст ему стать президентом.

— А что сделал Никсон? — спросил Джонни.— Боже праведный... — Он взглянул на мать, которая тут же насупилась.— Ничего себе, если дело дошло до импичмента...

— Не упоминай всуе имя спасителя, когда говоришь о шайке бесчестных политиканов,— сказала Вера.— Виноват Уотергейт.

— Уотергейт? А что это, операция во Вьетнаме? Или что-нибудь в этом роде?

— Отель «Уотергейт» в Вашингтоне,— сказал Герберт.— Какие-то кубинские иммигранты залезли в находившуюся там штаб-квартиру демократической партии, их поймали. Никсон все знал. Пытался замять дело.

— Ты шутишь? — еле выдавил Джонни.

— Остались магнитофонные записи,— сказала Вера.— И этот Джон Дин[1]? Просто крыса, бегущая с тонущего корабля. Обычная история.

— Папа, ты можешь мне это объяснить?

— Попытаюсь,— сказал Герберт,— но не думаю, что эта история раскрыта до конца. Я принесу тебе книги. Об Уотергейте уже написали миллион книг, и пока разберутся, что и как там было, я думаю, выйдет еще столько же. Ну слушай. Перед выборами, летом 1972 года...

Половина одиннадцатого, родители уже ушли. В палате горел ночник. Джонни не спалось. Было тревожно. Голова у него шла кругом от полученной информации. За такое короткое время мир изменился гораздо больше, чем Джонни мог предположить. Он отстал от века и новых веяний.

Цены на бензин, как сказал отец, поднялись почти на сто процентов. До аварии галлон бензина стоил тридцать — тридцать два цента. Теперь он стоит пятьдесят четыре цента, и при этом у бензоколонок возникают очереди. По всей стране ограничили скорость — пятьдесят пять миль в час, и шоферы дальних рейсов чуть не взбунтовались.

Но это не самое главное. Позади был Вьетнам. Война там окончилась. В итоге страна пошла по коммунистическому пути. Герберт сказал, что все случилось как раз тогда, когда Джонни начал подавать признаки жизни.

Президент Соединенных Штатов побывал в красном Китае. Не Форд, а Никсон. Он отправился туда до того, как вышел в отставку. *Никсон,* подумать только. Старый охотник за ведьмами. Если б не отец сказал ему об этом, Джонни в жизни бы не поверил.

Слишком много новостей, слишком много пугающего. Ему вдруг не захотелось ничего больше знать, а то окончательно можно рехнуться. Вот хотя бы ручка доктора Брауна, этот фломастер — сколько появилось еще новинок. Сотни маленьких вещиц, напоминающих снова и снова: ты потерял часть своей жизни, почти шесть процентов, если верить статистике. Ты отстал от времени. Ты опоздал.

— Джон? — произнес чей-то мягкий голос.— Вы спите, Джон?

Он повернулся. В двери вырисовывался нечеткий силуэт маленького сутулого человека, это был Вейзак.

— Нет. Не сплю.

— Я так и думал. Можно войти?

— Да. Пожалуйста.

Сегодня Вейзак выглядел старше. Он сел возле койки Джона.

— Я позвонил по телефону,— сказал он.— Вызвал справочную в Кармеле, в Калифорнии. Спросил о миссис Иоганне Боренц. Как по-вашему, нашли они ее номер?

— Разве что он не зарегистрирован, или у нее просто нет телефона,— сказал Джонни.

— У нее есть телефон. Мне дали номер.

— Ясно,— сказал Джонни. Вейзак ему нравился. Джонни слушал с интересом, но не более того. Он не сомневался в существовании

[1] Советник президента Никсона, замешанный в уотергейтском скандале.

Иоганны Боренц, он знал, что его сведения верны,— точно так же, как знал, что он не левша.

— Я долго думал,— продолжал Вейзак.— Я сказал вам, что моя мать умерла, но это было лишь предположение. Отца убили во время обороны Варшавы. А мать пропала без вести, так? Логично считать, что она погибла при обстреле... во время немецкого наступления... понимаете? Она пропала без вести, и мое предположение было вполне логично. Амнезия... как невролог могу вам сказать, что такая долговременная общая потеря памяти — явление очень, очень редкое. Возможно, даже более редкое, чем шизофрения. Я никогда не слышал, чтобы кто-то зафиксировал случай амнезии, длившейся свыше тридцати пяти лет.

— Она давно излечилась от амнезии,— сказал Джонни.— Наверное, просто навсегда забыла свое прошлое. Когда к ней вернулась память, она вновь вышла замуж и родила двоих... или даже троих детей. Воспоминания, быть может, стали бы вызывать у нее чувство вины. Но мысль о вас все же возникает у нее. «Мальчик спасен». Вы позвонили ей?

— Да,— сказал Вейзак.— Напрямую, по автомату. Знаете, сейчас это просто. Очень удобно. Набираешь единицу, код, номер. Одиннадцать цифр — и можно соединиться с любой точкой страны. Удивительная штука. Даже страшновато. К телефону подошел мальчик... нет, юноша. Я спросил, дома ли миссис Боренц. И услышал, как он позвал: «Мам, это тебя». Раздался стук трубки, положенной на стол... или на что-то твердое. Я находился в Бангоре, штат Мэн, в каких-то сорока милях от Атлантического океана, и слышал, как молодой человек положил трубку в городе на побережье Тихого океана. Сердце у меня... оно стучало так, что я даже испугался. Сколько я ждал, не помню. Потом она взяла трубку и сказала: «Слушаю... Алло?»

— Ну а вы? Растерялись?

— Я, как вы выражаетесь, растерялся,— ответил Вейзак и криво улыбнулся.— Я повесил трубку. Мне захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но ничего не нашлось.

— А вы уверены, что это была она?

— Джон, что за наивный вопрос! В тридцать девятом году мне было девять лет. С тех пор я не слышал материнского голоса. Тогда она говорила только по-польски. Сейчас я говорю только по-английски... Я почти забыл родной язык, как это ни стыдно. Могу ли я после этого быть уверенным, что это она?

— И все же вы — *уверены?*

Вейзак медленно потер лоб.

— Да,— сказал он.— Это была она. Моя мать.

— И вы не смогли заговорить с ней?

— А зачем? — почти сердито спросил Вейзак.— Ее жизнь — это ее жизнь, правда? Мальчик спасен. Вы ведь так говорили. Стоит ли расстраивать женщину, которая только-только обретает покой? Неужели я должен навсегда вывести ее из душевного равновесия? Это чувство вины, о котором вы упоминали... стоит ли будить его? Идти на такой риск?

— Не знаю,— сказал Джонни. Трудные были вопросы, и ответить на них он не мог, но понимал, что, задавая их, Вейзак хочет что-то выяснить для себя. Вопросы, на которые Джонни не знал ответа.

— Мальчик спасен, мать тоже спасена и живет в Кармеле. Но между нами — целая страна, и да будет так. А как быть с вами, Джон? Что нам с вами делать?

— Не понимаю, о чем вы?

— Сейчас объясню, ладно? Доктор Браун злится. Злится на меня, на вас, подозреваю, и на себя — ведь он чуть было не поверил в то, что считал полной чепухой всю свою жизнь. Присутствовавшая при сем сестра молчать, конечно же, не будет. Сегодня в постели она рас-

скажет мужу, и на том бы все и кончилось, но муж может пересказать это своему боссу, так что скорее всего к завтрашнему вечеру про вас уже пронюхают газеты: «Больной выходит из комы со вторым зрением».

— Второе зрение,— сказал Джонни.— Это так называется?

— Не знаю, право, не знаю. Вы медиум? Провидец? Расхожие слова, которые ничего не объясняют, абсолютно ничего. Вы сказали одной из сестер, что глазная операция у ее сына пройдет успешно...

— Мари,— пробормотал Джонни. Он слегка улыбнулся. Мари ему нравилась.

— ...и об этом уже знает вся больница. Вы предсказываете будущее? В этом и состоит второе зрение? Не знаю. Вы подержали в руках фотографию моей матери и смогли сказать, где она сейчас живет. Может, вы знаете, где находятся утерянные вещи и пропавшие люди? Не в этом ли состоит второе зрение? Не знаю. Можете ли вы читать мысли? Воздействовать на предметы материального мира? Исцелять возложением рук? Все это некоторые называют магией. И все это связано с понятием второго зрения. Над этим и смеется доктор Браун. Смеется? Нет. Не смеется. Издевается.

— А вы нет?

— Я вспоминаю Эдгара Кейса. И Питера Гуркоса. Я пытался рассказать доктору Брауну о Гуркосе, но он отделался насмешкой. Он говорить об этом не желает, знать ничего не хочет.

Джонни промолчал.

— Итак... что мы будем с вами делать?

— А нужно обязательно что-то делать?

— По-моему, да,— сказал Вейзак и поднялся.— Я сейчас уйду, а вы подумайте. В частности, вот о чем: многое в жизни лучше не замечать и лучше потерять многое, нежели найти.

Он пожелал Джонни доброй ночи и тихо вышел. Джонни очень устал, но сон еще долго не приходил к нему.

Когда Джонни, бледный, но сосредоточенный, появился в дверях вестибюля западного крыла больницы, репортеры вскочили и кинулись к нему. На нем была белая рубашка с открытым воротом и джинсы, которые явно были ему велики. На шее отчетливо выделялись рубцы — следы операций. Фотовспышки выстреливали в него теплым огнем и заставляли щуриться. Посыпались вопросы.

— Стойте! Стойте! — закричал Вейзак.— Он еще не совсем оправился! Он хочет сделать короткое заявление и ответить на несколько вопросов, но только если вы будете соблюдать порядок! Отодвиньтесь, а то трудно дышать!

Зажглись два телевизионных юпитера, залив вестибюль неестественно ярким светом. В дверях толпились врачи и сестры. Джонни отшатнулся от юпитеров, подумав: наверное, это и есть друммондов свет? У него было ощущение нереальности всего происходящего.

— А вы кто? — рявкнул один из репортеров на Вейзака.

— Я Сэмюэл Вейзак, врач этого молодого человека.

Атмосфера слегка разрядилась.

— Джонни, как вы себя чувствуете? — спросил Вейзак. Был ранний вечер, и загоревшаяся кухня Эйлин Мэгоун промелькнула сейчас далеким и незначительным видением, лишь тенью воспоминания.

— Вполне прилично,— ответил он.

— Так что вы хотите сказать? — крикнул один из репортеров.

— Ну,— сказал Джонни,— в общем, так. Мой физиотерапевт — женщина по имени Эйлин Мэгоун. Очень милая женщина, она помогла мне восстановить силы. Видите ли, я попал в аварию и...— Одна из телекамер надвинулась, вперившись прямо в него, и на какое-то мгновение он замялся.— И здорово ослаб. Мускулы как бы отказали. Сегодня утром мы были в физиотерапевтическом кабинете,

процедуры уже заканчивались, и тут я почувствовал, что ее дом горит. То есть, если быть более точным...— *Боже, ты говоришь как кретин!*— Я почувствовал, что она забыла выключить плиту и что занавески в кухне вот-вот загорятся. Тогда мы пошли и вызвали пожарную команду, вот и все.

На какое-то мгновение воцарилась тишина, пока репортеры переваривали сказанное.— *Я что-то почувствовал, вот и все,*— а затем вновь посыпался град вопросов, и в шуме голосов уже ничего нельзя было разобрать. Джонни беспомощно оглянулся, он ощущал себя одиноким и очень уязвимым.

— Давайте по очереди! — закричал Вейзак.— Поднимайте руки! Вы что, в школе никогда не учились?

Поднялись руки, и Джонни указал на Дэвида Брайта.

— Можете ли вы назвать это экстрасенсорным опытом, Джонни?

— Я бы назвал это предчувствием,— ответил Джонни.— Я как раз кончил делать приседания. Мисс Мэгоун подала мне руку, чтобы помочь встать, и я уже все знал.

Он указал на кого-то еще.

— Мел Аллен, портлендская «Санди телеграм», мистер Смит. Это было похоже на картинку? Мысленное изображение?

— Нет, совсем нет,— сказал Джонни, хотя уже не мог вспомнить, *как* все было на самом деле.

— С вами такое случалось прежде, Джонни? — спросила молодая женщина в брючном костюме.

— Да, несколько раз.

— Можете рассказать нам о других случаях?

— Нет, пожалуй, нет.

Один из телерепортеров поднял руку, и Джонни кивнул ему.

— Бывали ли у вас подобные прозрения до несчастного случая и последовавшей за ним комой, мистер Смит?

Джонни заколебался.

Все вокруг замерло. Телевизионные юпитеры жарко светили ему в лицо, подобно тропическому солнцу.

— Нет,— сказал он.

Снова посыпался град вопросов, и Джонни беспомощно посмотрел на Вейзака.

— Хватит! Хватит! — закричал тот. Когда шум утих, он взглянул на Джонни.— Вы устали, Джонни?

— Я отвечу еще на два вопроса,— сказал Джонни.— А затем... На самом деле... у меня был трудный день... да, мадам?

Он показал на полную женщину, которая протиснулась между двумя молодыми репортерами.

— Мистер Смит,— спросила она громким, зычным голосом, будто идущим из трубы,— кто будет выдвинут в президенты от демократов в будущем году?

— Этого я вам сказать не могу,— ответил Джонни, искренне удивленный таким вопросом.— Откуда мне знать?

Снова поднялись руки. Джонни указал на высокого мужчину в темном костюме с лицом трезвенника. Тот сделал шаг вперед. В его облике было что-то чопорное и змеиное.

— Мистер Смит, я Роджер Дюссо из льюистонской «Сан», и мне бы хотелось знать, представляете ли вы себе, почему именно у вас открылся такой исключительный дар... если, конечно, он у вас действительно открылся. Почему у вас, мистер Смит?

Джонни откашлялся, прочищая горло.

— Если я правильно понял... вы просите, чтобы я обосновал нечто такое, чего не понимаю сам. Я не могу этого сделать.

— Не обосновать, мистер Смит. Просто объяснить.

Он думает, что я их дурачу. Или пытаюсь дурачить.

Вейзак подошел к Джонни.

— Быть может, я отвечу на ваш вопрос,— сказал он.— Или по крайней мере объясню, почему на него нельзя ответить.

— А вы что — тоже ясновидящий? — холодно спросил Дюссо.

— Да, как все неврологи. Нам без этого нельзя,— сказал Вейзак. Раздался взрыв смеха, и Дюссо покраснел.

— Леди и джентльмены, представители прессы. Этот человек провел четыре с половиной года в коматозном состоянии. Мы, изучающие человеческий мозг, не имеем ни малейшего представления о том, почему Джон оказался в нем или почему из него вышел, и все по одной причине: мы не понимаем сути коматозного состояния, как не понимаем и что такое сон или простой акт пробуждения. Леди и джентльмены, мы почти ничего не знаем даже о мозге лягушки или муравья. Можете меня цитировать... видите, я ничего не боюсь... так?

Снова смех. Вейзак им нравился. Но Дюссо не смеялся.

— Вы можете также меня цитировать, когда я говорю, что этот человек стал обладать совершенно новой или очень старой человеческой способностью. Почему? Если я и мои коллеги почти ничего не знаем даже о мозге муравья, как я отвечу почему? Могу, однако, обратить ваше внимание на некоторые интересные моменты, которые, впрочем необязательно, должны иметь какое-то значение. Один участок мозга у Джона Смита, правда очень маленький, полностью поврежден... но для мозга все участки важны. Джон называет его «мертвой зоной», а там, по всей видимости, находится ряд элементов памяти. Все уничтоженные воспоминания, очевидно, были частью определенной «подгруппы» — туда входили названия улиц, проездов, дорожные знаки. Эта подгруппа составляет часть группы понятий, определяющих расположение предметов на местности. Небольшая, но полная афазия, судя по всему, затронула как языковые, так и зрительные способности Джона Смита.

В порядке компенсации другой крошечный участок его мозга, по-видимому, проснулся. Он расположен в районе темени. Это — один из наиболее сложных участков «передового», или «думающего», мозга. Посылаемые им электрические импульсы совсем не такие, какими должны быть, правильно? И еще. Теменной участок имеет какое-то отношение к осязанию — в какой степени, сказать трудно — и расположен совсем близко к той части мозга, которая определяет и отождествляет различные формы и структуры. Так вот, по моим наблюдениям, «озарения» у Джона всегда вызываются предварительным контактом.

Тишина. Репортеры судорожно записывают. Телевизионные камеры, которые было придвинулись, чтобы показать крупным планом Вейзака, сейчас отъехали, чтобы захватить в кадр и Джонни.

— Так, Джонни? — снова спросил Вейзак.

— Мне кажется...

Внезапно сквозь толпу репортеров протиснулся Дюссо. Джонни подумал, что он собирается сделать какое-то опровержение. Затем он увидел, как Дюссо стаскивает что-то с шеи.

— Пускай продемонстрирует нам свои способности,— сказал Дюссо. Он держал медальку на тонкой золотой цепочке.— Посмотрим, что вы сделаете с этим.

— Ничего вы не посмотрите,— сказал Вейзак. Его седоватые густые брови грозно сдвинулись, и он воззрился на Дюссо, как пророк Моисей.— Этот человек не цирковой факир, сэр!

— А что, если вы меня дурачите? — спросил Дюссо.— Либо он может, либо нет, верно? Пока вы нам тут рассказывали обо всем, я и сам подумал кое о чем. Например, о том, что такие парни ничего не могут сделать, когда их просят, а значит, им грош цена.

Джонни окинул взглядом репортеров. Они смотрели на него во все глаза, нетерпеливо ожидая ответа. Исключение составлял Брайт, у которого был несколько смущенный вид. Джонни вдруг почувст-

вовал себя христианином, брошенным в яму ко львам. Они все равно будут в выигрыше, подумал он. Если я смогу сказать ему что-нибудь интересное, они получат материал на первую полосу. Если не смогу или откажусь, состряпают фельетон.

— Ну что? — спросил Дюссо. Медаль раскачивалась на цепочке, зажатой в кулаке.

Джонни взглянул на Вейзака, но тот с отвращением отвернулся.

— Дайте-ка ее сюда,— сказал Джонни.

Дюссо передал медаль. Джонни положил ее на ладонь. Это оказалась медаль с изображением святого Христофора. Джонни выпустил тонкую цепочку и, когда она с сухим шуршанием выросла желтой горкой на ладони, прикрыл ее рукой.

Наступила мертвая тишина. У двери стояла группа врачей и медсестер; к ним подошли несколько больных — они уже выписались, собирались уходить и были поэтому в верхней одежде. В конце коридора, ведущего в комнату отдыха с телевизором и настольными играми, сгрудились больные. Из главного вестибюля подошли посетители. Воздух был наэлектризован, как будто где-то рядом проходила линия высокого напряжения.

Джонни, бледный и худой, в белой рубашке и мешковатых джинсах, стоял молча. Он так сжал медаль в правой руке, что при свете телевизионных юпитеров были ясно видны вздувшиеся вены. Перед ним в темном костюме стоял Дюссо, спокойный, непогрешимый и суровый, как судья. Время словно остановилось. Ни кашля, ни шепота.

— О-о,— тихо сказал Джонни... и затем:— Вот как?

Пальцы его медленно разжались. Он взглянул на Дюссо.

— Ну? — спросил Дюссо, но уже совсем другим голосом: вся его агрессивность вдруг исчезла. Исчез и усталый, нервный молодой человек, только что отвечавший на вопросы репортеров. На губах Джонни играла полуулыбка, но ничего теплого в ней не было. Голубые глаза потемнели, взгляд их стал холодным и отсутствующим. У Вейзака мороз пробежал по коже. Потом он рассказывал, что увидел лицо человека, наблюдающего в сильный микроскоп интересную разновидность инфузории туфельки.

— Это медаль вашей сестры,— сказал Джонни, обращаясь к Дюссо.— Ее имя было Анна, но все звали ее Терри. Это ваша старшая сестра. Вы любили ее. Боготворили землю, по которой она ходила.

Внезапно голос Джонни Смита неузнаваемо и жутко изменился. Теперь это был высокий, срывающийся и неуверенный голос мальчишки-подростка.

— Это тебе, Терри, на случай, если будешь переходить Лисбон-стрит на красный свет или пойдешь гулять с каким-нибудь парнем из... Не забудь, Терри... не забудь...

Толстуха, спрашивавшая у Джонни, кого демократы выдвинут в будущем году кандидатом на пост президента, испуганно охнула. Один из телеоператоров хрипло пробормотал: «Боже правый!»

— Хватит,— прошептал Дюссо. Лицо его посерело, глаза выкатились, а на нижней губе заблестела слюна. Руки бессильно потянулись к медали, золотая цепочка была теперь обмотана вокруг пальцев Джонни. Медаль покачивалась, отбрасывая гипнотические лучи света.

— Не забывай меня, Терри,— умолял мальчишеский голос.— И... не прикасайся, пожалуйста... ради бога, Терри, не прикасайся...

— *Хватит! Хватит, сукин сын!*

Джонни вновь заговорил своим голосом:

— Она не могла без наркотиков. Потом перешла на чистый спирт, а в двадцать семь лет умерла от разрыва сердца. Но она носила ваш подарок десять лет, Родж. Она помнила о вас. Никогда не забывала. Никогда не забывала... Никогда... никогда... никогда.

Медаль выскользнула из пальцев Джонни и упала на пол с тонким, мелодичным звоном. Джонни спокойно, холодно и отрешенно

смотрел в пустоту. Дюссо, сдавленно рыдая, ползал у его ног в поисках медали, а вокруг царило полное оцепенение.

Сверкнула фотовспышка, лицо Джонни просветлело и стало его прежним лицом. На нем появилось выражение ужаса, а затем жалости. Он неуклюже присел рядом с Дюссо.

— Извините,— сказал он.— Извините, я не хотел...

— Дешевка, ловчила! — завопил Дюссо.— Это ложь! Ложь! Все ложь! — Он неловко ударил Джонни ладонью по шее, и тот свалился, сильно стукнувшись головой об пол. Из глаз посыпались искры.

Поднялся шум.

Он как в тумане увидел Дюссо — тот яростно пробивался к выходу. Вокруг Дюссо и Джонни толпились люди, их ноги казались Джонни внезапно выросшим лесом. Рядом очутился Вейзак и помог ему сесть.

— Джон, как вы? Сильно он вас?

— Не так сильно, как я его. Все нормально.— Джонни пытался подняться. Чьи-то руки помогли ему. Его покачивало и подташнивало; еще немного — и вывернет наизнанку. Произошла ошибка, ужасная ошибка.

Полная женщина, спрашивавшая насчет демократов, пронзительно вскрикнула. Дюссо грохнулся на колени, хватаясь за рукав ее цветастой блузы, а затем устало вытянулся на кафеле около двери, к которой так рвался. Медаль с изображением святого Христофора была по-прежнему у него в руке.

— Потерял сознание,— сказал кто-то.— Глубокий обморок.

— Я виноват,— сказал Джонни Сэму Вейзаку. Ему сдавили, сжали горло слезы раскаяния.— Это все я виноват.

— Нет,— сказал Сэм.— Нет, Джон.

Джонни высвободился из рук Вейзака и направился к лежавшему Дюссо, который начал приходить в себя и моргал, тупо глядя в потолок. К нему подошли двое врачей.

— Что с ним? — спросил Джонни. Он повернулся к репортерше в брючном костюме, но та в страхе рванулась от него.

Джонни повернулся в другую сторону, к телерепортеру, который спрашивал, были ли у него прозрения до аварии. Джонни вдруг почувствовал, что непременно должен кому-нибудь все объяснить.

— Я совсем не хотел причинить ему боль,— сказал он.— Честное слово, не хотел. Я не знал...

Телерепортер попятился к лестнице.

— Конечно,— сказал он.— Конечно, не знали. Он сам напросился, все это видели. Только... не трогайте меня, ладно?

У Джонни дрожали губы, он тупо уставился на репортера. Он был все еще в шоке, но начинал уже кое-что понимать. Да. Начинал понимать. Телерепортер попробовал изобразить улыбку, но у него лишь отвисла челюсть, как у мертвеца.

— Только не трогайте меня, Джонни. Пожалуйста.

— Все совсем не так,— сказал Джонни или попытался сказать. Он уже потом не решился бы утверждать, что вообще издал какой-то звук.

— Не трогайте меня, Джонни, ладно?

Репортер отступил к своему оператору, который упаковывал аппаратуру. Джонни смотрел на репортера, застыв на месте. Джонни начало трясти.

— Вам же будет лучше, Джон,— сказал Вейзак. За ним стояла медсестра — белый призрак, подручная волшебника,— колдуя над тележкой с лекарствами, этим раем наркомана, миром сладких грез.

— Нет,— сказал Джонни. Его еще трясло, а вдобавок прошибло холодным потом.— Никаких уколов. Я по горло сыт уколами.

— Тогда таблетку.

— И никаких таблеток.

— Поможет вам заснуть.

— А *он* сможет заснуть? Этот Дюссо?

— Он сам напросился,— пробормотала сестра и вздрогнула, поймав взгляд Вейзака. Но тот лишь ухмыльнулся.

— А она ведь права,— сказал он.— Сам напросился. Решил, что вы, Джон, торгуете пустыми бутылками. Вам надо хорошо выспаться, и все станет на свои места.

— Я сам засну.

— Джонни, пожалуйста.

Было четверть двенадцатого. Телевизор в другом конце палаты только что выключили. Джонни и Сэм вместе просмотрели снятый на пленку репортаж, следовавший сразу за рассказом о том, как Форд наложил вето на ряд законопроектов. Моя история будет поинтереснее, подумал Джонни с горькой радостью. Лысый республиканец, вещающий банальности о национальном бюджете, не шел ни в какое сравнение с тем, что снял здесь несколько часов назад оператор УАБИ. В конце репортажа Дюссо бежал через вестибюль с зажатой в руке медалью и падал в обморок, хватаясь за репортершу, словно утопающий за соломинку.

Когда ведущий начал рассказывать про полицейскую собаку, нашедшую четыреста фунтов марихуаны, Вейзак ненадолго вышел и, вернувшись, сообщил, что еще до окончания репортажа больничные телефоны разрывались от звонков людей, желавших поговорить с Джоном Смитом. Несколькими минутами позже появилась сестра с лекарствами, и Джонни убедился, что Сэм спускался к медсестрам не только затем, чтобы разузнать о реакции телезрителей.

В это мгновение зазвонил телефон.

Вейзак едва слышно выругался.

— Я же им сказал, чтобы не соединяли. Не отвечайте, Джон. Я...

Но Джонни уже взял трубку. Послушал немного, затем кивнул:

— Да, совершенно верно.— Он прикрыл рукой микрофон.— Это отец,— сказал Джон и открыл микрофон.— Привет, папа. Ты, конечно...— Он вслушался. Легкая улыбка слетела с губ и сменилась выражением ужаса. Джонни беззвучно зашевелил губами.

— Джон, что случилось? — резко спросил Вейзак.

— Хорошо, папа,— сказал Джон почти шепотом.— Да. Камберлендская терапевтическая. Я знаю, где это. Возле Иерусалимского пустыря. Хорошо. Да. Папа...

Голос его сорвался. В глазах слез не было, но они блестели.

— Я знаю, папа. Я тоже люблю тебя. Да, ужасно.

Послушал.

— Да. Да, это было,— сказал Джонни.— До скорого, папа. Да. До свидания.

Он повесил трубку, закрыл глаза ладонями.

— Джонни? — Сэм нагнулся и осторожно отвел одну его руку.— Ваша мать?

— Да. Мать.

— Инфаркт?

— Инсульт,— сказал Джонни, и Сэм Вейзак сочувственно присвистнул.— Они смотрели новости... никто из них не ожидал... и вдруг увидели меня... тут ее хватил удар. Боже. Она в больнице. Теперь, если что случится с отцом, он будет третьей жертвой,— Джонни истерически засмеялся, переводя диковатый взгляд с Сэма на сестру и обратно.— Вот это дар! Всем бы такой.— Снова смешок, похожий на вскрик.

— Как она?

— Он не знает.— Джонни спустил босые ноги на пол. Он был в больничном халате.

— Вы соображаете, что делаете? — спросил отрывисто Сэм.

— А что такое?

Джонни встал, и сначала казалось, что сейчас Сэм толкнет его обратно в кровать. Но он только наблюдал, как Джонни ковыляет к гардеробу.

— Не смешите меня. Вам еще нельзя, Джон.

Не стесняясь сестры — один бог знает, сколько раз они видели его голый зад,— Джонни сбросил халат. Под коленками начинались толстые, крученые швы, исчезающие в слабо обозначенных икрах. Он порылся в шкафу и вытащил белую рубашку и джинсы — те самые, что были на нем во время пресс-конференции.

— Джон, я категорически запрещаю. Как ваш врач и друг. Говорю вам, это безумие.

— Запрещайте сколько угодно, но я еду,— сказал Джонни. Он начал одеваться. На лице появилось то выражение отрешенной озабоченности, которое Сэм связывал с его трансами. Сестра ахнула.

— Сестра, вы можете вернуться к себе,— сказал Сэм.

Она попятилась к двери, постояла там какое-то мгновение и скрылась. Неохотно.

— Джонни.— Сэм поднялся, подошел к нему, положил руку на плечо.— Вы тут ни при чем.

Джонни стряхнул его руку.

— Еще как при чем,— сказал он.— Она смотрела на меня, когда это случилось.— Он начал застегивать рубашку.

— Вы просили ее принимать лекарства, а она прекратила.

Джонни посмотрел было на Вейзака, но затем продолжал застегивать рубашку.

— Если бы не сегодня, это произошло бы завтра, через неделю, через месяц...

— А то и через годы. Или через десять лет.

— Нет. Ни через десять лет, ни даже через год. И вы это знаете. Почему вы так рветесь взвалить вину на себя? Из-за того фанфарона-репортера? А может быть, это извращенное чувство жалости к самому себе? Стремление увериться в том, что на вас лежит проклятие?

Лицо Джонни передернулось.

— Она смотрела *на меня,* когда это случилось. Разве вы не понимаете? Вы что, такой безмозглый?

— Она собиралась в трудный путь, до Калифорнии и обратно, вы сами мне говорили. На какой-то симпозиум. Что-то очень волнующее, судя по вашему рассказу. Да? Да. Почти наверняка это случилось бы там. Ведь инсульт не сваливается с ясного неба, Джонни.

Джонни застегнул джинсы и устало присел на кровать. Он был все еще босой.

— Да,— сказал он.— Да, может, вы и правы.

— Дошло! До него дошло! Слава богу!

— И все же я должен поехать, Сэм.

Вейзак вскинул руки.

— И что дальше? Она на попечении врачей и создателя. Такова ситуация. Вы должны понимать это лучше, чем кто-либо другой.

— Я нужен отцу,— мягко сказал Джонни.— Это я тоже понимаю.

— Как вы доберетесь? Ведь почти полночь.

— Автобусом. Или схвачу такси до «Подсвечника Питера». Автобусы ведь еще останавливаются там?

— Все это ни к чему,— сказал Сэм.

Джонни шарил под стулом в поисках ботинок и никак не мог их найти. Сэм вытащил ботинки из-под кровати и протянул ему.

— Я отвезу вас.

Джонни взглянул на него.

— Отвезете?

— Да, только если вы примете легкое успокоительное.

— А ваша жена...— Он смутился, сообразив, что о личной жизни

Вейзака ему достоверно известно только одно: его мать живет в Калифорнии.

— Я разведен,— сказал Вейзак.— Врач редко бывает дома по ночам... если он не педиатр или не дерматолог. Моей жене супружеская постель казалась скорее полупустой, чем полуполной. Поэтому она заполняла ее кем придется.

— Извините,— смутился Джонни.

— Вы тратите чересчур много времени на извинения, Джон.— Лицо у Сэма было мягким, а глаза жесткими.— Надевайте ботинки.

Из больницы в больницу, в полудреме думал Джонни, как бы паря в воздухе под действием маленькой голубой таблетки,— он принял ее перед тем, как они с Сэмом вышли из «Медикэл сентр» и уселись в «эльдорадо» выпуска 1975 года. *Из больницы в больницу, от человека к человеку, из одного места в другое.*

Странное дело, в глубине души он наслаждался этой поездкой — впервые за пять лет он покинул больницу. Ночь была ясная, по небу световой спиралью распластался Млечный Путь; они мчались к югу через Пальмайру, Ньюпорт, Питсфилд, Бентон, Клинтон, а за ними над темными деревьями плыл месяц. С легким шуршанием машина летела среди всеобщего безмолвия. Из четырех динамиков магнитофона звучала тихая музыка — Гайдн.

В одну больницу попал в карете «скорой помощи» из Кливс Милс, в другую еду на «кадиллаке», думал он. Но его это не тревожило. Хорошо было просто ехать, плыть по течению и на время забыть о матери, о своих новых способностях, о любителях лезть в чужую душу. *(Он сам напросился... только не трогайте меня, ладно?)* Вейзак молчал. Иногда он что-то мурлыкал себе под нос.

Джонни смотрел на звезды. Смотрел на шоссе, почти пустынное в этот поздний час. Оно безостановочно раскручивалось перед ними. Они миновали дорожный пост, где Вейзак получил билетик-квитанцию. И снова вперед — Гарднер, Сабаттис, Льюистон.

Почти пять лет, дольше, чем иные, осужденные за убийство, проводят в тюрьме.

Он заснул.

Ему приснился сон.

— Джонни,— говорила во сне мать.— Джонни, помоги, исцели меня.— Мать была в нищенских отрепьях. Она ползла к нему по булыжной мостовой. Лицо у нее была бледное. По коленям текли струйки крови. В редких волосах шевелились белые вши. Она протягивала к нему дрожащие руки.— Ты наделен божественной силой,— говорила она.— Это большая ответственность, Джонни. Большое доверие. Ты должен быть достоин его.

Он взял ее руки, накрыл их своими и сказал:

— Злые духи, оставьте эту женщину.

Она встала с колен.

— Исцелилась!— закричала она голосом, исполненным какого-то странного, зловещего торжества.— *Исцелилась! Мой сын исцелил меня! Да славятся его земные деяния!*

Он пытался протестовать, сказать ей, что совсем не хочет вершить славные деяния, исцелять, или вещать на нескольких языках, или предсказывать будущее, или находить утерянные вещи. Он пытался сказать ей все это, но язык не слушался. Затем мать оказалась позади него, она уходила по булыжной мостовой, подобострастно сгорбившись, но в то же время в ее облике было что-то вызывающее; голос матери звучал подобно колоколу:

— *Спасена! Спаситель! Спасена! Спаситель!*

И тут, к своему ужасу, он увидел, что позади нее тысячи, может быть, даже миллионы других людей, изувеченных, искалеченных, запуганных. Там была и толстая репортерша, желавшая знать, кого де-

мократы выдвинут в президенты в 1976 году; и до смерти перепуганный фермер в фартуке с фотографией улыбающегося сына — молодого человека в форме военно-воздушных сил, пропавшего без вести во время налета на Ханой в 1972 году; и похожая на Сэйру заплаканная молодая женщина, она протягивала ему младенца с огромной головой, на которой голубые вены сплетались в таинственные письмена, предвещавшие скорую смерть; и старик со скрюченными артритом пальцами, и многие другие. Они вытянулись на мили, они терпеливо ждут, они доконают его своими чудовищными немыми мольбами.

— *Спасена!*— доносился настойчивый голос матери.— *Спаситель! Спасена! Спасена!*

Он пытался объяснить им, что не способен ни исцелять, ни спасать, но едва от открыл рот, как близстоящие вцепились в него и начали трясти.

Джонни действительно трясли. Это была рука Вейзака. Машину заполнял яркий оранжевый свет — жуткий свет, превращавший доброе лицо Сэма в лицо страшилища. Я еще сплю, подумал было Джонни, но тут же увидел, что это свет от фонаря на автомобильной стоянке. Фонари тоже поменяли, пока он находился в коме. Теперь вместо холодного белого света струился неестественный оранжевый, ложившийся на кожу, как краска.

— Где мы? — спросил он хрипло.

— У больницы,— сказал Сэм.— Камберлендской терапевтической.

— А-а. Хорошо.

Он выпрямился, стряхивая остатки сна.

— Вы готовы?

— Да,— сказал Джонни.

Они пересекли стоянку под мягкое стрекотание сверчков. В темноте носились светлячки. Мысли его были заняты матерью, но все же он не мог не чувствовать прелесть мягкого, благоухающего запаха ночи и легкого дуновения ветерка на щеке. Он наслаждался здоровым воздухом и чувствовал себя вполне окрепшим. Но Джонни вспомнил, зачем приехал сюда, и это радостное ощущение показалось ему почти кощунственным — но только почти. И отделаться от него не удавалось.

Навстречу им по коридору шел Герберт; он был в старых брюках, ботинках на босу ногу и пижамной куртке. Джонни понял, насколько неожиданно все произошло. Вид отца говорил больше, чем Джонни хотел бы знать.

— Сынок,— проговорил Герберт. Он весь как-то усох. Хотел сказать что-то еще, но не смог. Джонни обнял его, и Герберт разрыдался, уткнувшись в рубашку Джонни.

— Пап,— сказал он.— Все хорошо, пап, все хорошо.

Отец рыдал, положив руки на плечи Джонни. Вейзак отвернулся и стал рассматривать картинки на стене — невзрачные акварели местных художников.

Герберт провел рукой по глазам и сказал:

— Посмотри, так в пижаме и приехал. У меня же было время переодеться, пока ждал «скорую». Просто в голову, наверно, не пришло. Старческий маразм.

— Ничего подобного.

— Ладно.— Герберт встряхнулся.— Тебя привез твой друг, врач? Очень любезно с вашей стороны, доктор Вейзак.

— Чепуха, не стоит благодарности,— пожал плечами Сэм.

Джонни с отцом прошли в небольшую приемную и сели.

— Пап, она...

— Угасает,— сказал Герберт. Он вроде бы успокоился.— В со-

знании, но угасает. Она спрашивала о тебе, Джонни. Наверное, только из-за тебя и держится.

— Моя вина,— сказал Джонни.— Все это моя...

Он вздрогнул от боли и с удивлением уставился на отца — тот схватил его за ухо и сильно вывернул. А ведь только что плакал у него на плече. Этот старый прием применялся как наказание за самые тяжкие проступки. Последний раз, если Джонни не изменяла память, его драли за уши лет в тринадцать, когда он напроказил со старым «рэмблером». Он неосторожно нажал на педаль сцепления, машина бесшумно покатилась под горку и врезалась в садовый сарай.

— Чтоб никогда этого не говорил,— сказал Герберт.

— Пап, ты что!

Герберт отпустил его и усмехнулся.

— Забыл небось, как тебя таскали за уши? Или думал, что я забыл? Нет, Джонни, не надейся.

Джонни все так же ошарашенно смотрел на отца.

— *Никогда* не смей винить себя.

— Но она же смотрела эти чертовы...

— Новости, да. Так разволновалась, дрожит... вдруг вижу — она на полу и хватает воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег.— Герберт придвинулся к сыну.— Доктору не до объяснений, но он спрашивал меня о каких-то «героических усилиях». Я ему ничего не стал говорить. Она по-своему согрешила, Джонни. Считала, что ведает помыслы создателя. Поэтому никогда не вини себя за ее ошибку.— Слезы вновь сверкнули в его глазах. Голос стал тверже: — Видит бог, я любил ее всю жизнь, но в последнее время все здорово осложнилось. Так что, наверное, это и к лучшему.

— А к ней можно?

— Да, она в конце коридора, тридцать пятая палата. Врачи знают, что ты можешь прийти, и она тоже. И вот еще что, Джонни. Что бы она ни сказала, соглашайся, не дай ей... умереть с мыслью, что все было напрасно.

— Конечно.— Он помолчал.— Ты со мной?

— Не сейчас. Попозже.

Джонни кивнул и пошел по коридору. Свет на ночь был притушен. Сейчас то короткое мгновение в мягкой теплой ночи казалось ему невообразимо далеким, зато кошмарный сон в машине, наоборот, приблизился.

Палата 35. Вера Элен Смит — сообщала маленькая карточка на двери. Знал ли он, что ее второе имя Элен? Должен был бы, но знал ли? Он уже не мог вспомнить. Зато в памяти всплывало другое: как однажды в солнечный летний день на пляже Оулд Орчард она, улыбающаяся и веселая, принесла ему брикет мороженого, завернутый в носовой платок. Как они с матерью и отцом играли в карты на спички — позже, обуреваемая религиозными чувствами, она запретила карты в доме, даже для игры в криббидж. Джонни вспомнил и день, когда его ужалила пчела, и он, истошно вопя, прибежал к ней, а она поцеловала распухшее место, вытащила жало пинцетом и наложила на ранку тряпочку, смоченную в питьевой соде.

Он толкнул дверь и вошел. Мать бесформенной грудой лежала на кровати, и Джонни подумал: *Вот так и я лежал.* Сестра считала пульс; услышав скрип двери, она повернулась, и тусклый коридорный свет скользнул по стеклам ее очков.

— Вы — сын миссис Смит?

— Да.

— Джонни?— Голос был сухой и бесстрастный, в нем шелестела смерть, как шелестят камешки в пустой тыкве. От этого голоса — господи, спаси и помилуй!— у Джонни побежали мурашки по телу. Он подошел ближе. Левая половина лица матери превратилась в страшную маску. Рука на одеяле походила на клешню. *Инсульт*, по

думал он. *То, что старики называют ударом. Да. Именно такое у нее лицо. Будто ее хватил тяжелый удар.*

— Это ты, Джон?

— Я, мам.

— Джонни? Это ты?

— Да, мам.

Он придвинулся еще ближе и заставил себя взять эту костлявую клешню.

— Мне нужен мой Джонни,— жалобно сказала она.

Сестра стрельнула в него сочувственным взглядом, а ему захотелось врезать ей кулаком по очкам.

— Вы не оставите нас одних? — попросил он.

— Я, знаете, не должна, пока...

— Послушайте, это моя мать, и я хочу побыть с ней наедине,— сказал Джонни.—Как вы на это смотрите?

— Я...

— Принеси мне соку, папочка — охрипшим голосом закричала мать.— Я, кажется, выпью целый литр!

— Уйдете вы наконец? — не выдержал Джонни. Его охватила глухая тоска, которая мешала ему сосредоточиться. Его словно увлекал в темноту какой-то водоворот.

Сестра вышла.

— Мам,— сказал он, садясь возле кровати. Его не оставляло странное ощущение двойственности, обратного хода времени. Сколько раз мать вот так сидела возле него, наверное, тоже держала его исхудалую руку и разговаривала с ним? Джонни подумал о том, казалось, остановившемся времени, когда жил в палате, которая словно надвинулась на него, и над ним склонилось лицо матери — он видел его сквозь тонкую пленку плаценты, с ее губ медленно слетали бессмысленные слова.

— Мам,— снова сказал он и поцеловал ее скрюченную руку.

— Дайте мне гвозди, я это сделаю,— сказала она. Ее левый глаз неподвижно застыл, правый дико вращался, точно у пришпоренной лошади.— Мне нужен Джонни.

— Я здесь, мам.

— *Джон-ни! Джон-ни! Джон-ни!*

— Мам,— сказал он, боясь, что сестра вернется.

— Ты...— Она осеклась и слегка повернула к нему голову.— Наклонись... вот так, чтобы я тебя видела,— прошептала она.

Он наклонился, как она просила.

— Ты пришел,— сказала она.— Спасибо. Спасибо тебе.— Из здорового глаза потекли слезы. Другой, тот, что находился на пораженной ударом стороне лица, безучастно смотрел вверх.

— Конечно, пришел.

— Я видела тебя,— прошептала она.— Что за силу дал тебе господь, Джонни! Разве я тебе не говорила? Разве я не говорила, что так будет?

— Да, говорила.

— Он уготовил тебе миссию,— сказала она.— Не беги от нее, Джонни. Не прячься в пещере, как Илия, и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя. Не делай этого, Джон.

— Нет. Не буду.— Он держал ее птичью руку. В голове стучало.

— Ты не гончар, а гончарная глина, Джон. Запомни.

— Хорошо.

— *Запомни это!*— сказала она резко, и он подумал: *Опять она начинает молоть вздор.* Впрочем, вздора тут было не больше, чем в том, что она говорила, когда он вышел из комы.

— Слушай внимательно тихий голос, когда он раздастся,— сказала она.

— Да, мам, обязательно.

Она слегка повернула голову на подушке и... неужели *улыбнулась?*

— Ты, верно, думаешь, я сумасшедшая.— Она еще немного повернула голову и смотрела теперь прямо ему в глаза.— Но это неважно. Ты узнаешь голос, когда он раздастся. Он скажет тебе, что надо делать. Он сказал Иеремии, и Даниилу, и Амосу, и Аврааму. Дойдет очередь и до тебя. Он тебе скажет. И когда он скажет, Джонни... *исполни свой долг.*

— Хорошо, мам.

— Какая сила,— пробормотала она. Голос ее становился все глуше и невнятнее.— Какую силу дал тебе господь... Я знала... Я всегда знала...— Ее голос затих. Здоровый глаз закрылся. Другой невидяще смотрел перед собой.

Джонни посидел с ней еще минут пять, затем поднялся. Он взялся за дверную ручку и уже приоткрывал дверь, но, услышав, ее сухой, дребезжащий голос, в котором звучал приказ, застыл на месте.

— *Выполни свой долг, Джон.*

— Да, мам.

Больше ему не пришлось с нею разговаривать. Она умерла утром двадцатого августа в пять минут девятого. В это же время в городе, расположенном севернее ее больницы, Уолт и Сэйра Хэзлиты спорили из-за Джонни и чуть не поругались, а где-то южнее Грег Стилсон доказывал одному парню, что тот — первостатейное дерьмо.

— Ты не понимаешь,— тоном, полным безграничного терпения, сказал Грег Стилсон парню, сидевшему в задней комнате полицейского участка в Риджуэе. Парень был без рубашки; он откинулся на складном стуле и потягивал из бутылки пепси-колу. Он снисходительно улыбался Грегу Стилсону, не понимая, что Грег больше двух раз ничего не повторяет; парню было ясно, что один из присутствующих — первостатейное дерьмо, о том, кто именно, он пока что имел весьма превратное представление, которое сейчас надлежало уточнить.

Если потребуется, то и силой.

Стояло теплое солнечное августовское утро. На деревьях пели птицы. И Грег чувствовал, что его судьба решится скорее, чем он предполагал. И значит, нужно быть поосторожнее с этим дерьмом. Это тебе не какой-нибудь патлатый кривоногий мотоциклист, от которого разит потом. Он учится в колледже, волосы у него умеренно длинные, вымыты до блеска, и к тому же он племянник Джорджа Харви. Джордж не то чтобы очень пекся о нем (в сорок пятом он с боями прошел Германию, и для этих длинноволосых хмырей у него в запасе было три слова, уж конечно, не «с днем рождения»), но... как-никак родная кровь. А в городском совете с Джорджем все считались. *Возьми-ка парня в оборот,* сказал Джордж Грегу, узнав, что начальник полиции Уиггинс арестовал его племянника. Но глаза говорили: *Только полегче. Как-никак родная кровь.*

Парень смотрел на Грега с ленивым презрением.

— Я все понимаю,— сказал он.— У меня отобрали футболку, и я хочу получить ее назад. А вот вам не мешает кое-что понять. Если не отдадите, я напущу на вас Американский союз защиты гражданских свобод.

Грег поднялся, подошел к серо-стальному сейфу для бумаг напротив автомата с содовой водой, вытащил связку ключей, выбрал нужный и открыл сейф. Поверх кипы бланков для регистрации дорожно-транспортных происшествий лежала красная футболка. Он расправил ее так, чтобы видна была надпись: «ПЕРЕСПИМ, КРОШКА?»

— Ты ходил в ней по улице,— сказал Грег тем же мягким голосом.

Парень качнулся на задних ножках стула и глотнул еще пепси. Легкая снисходительная улыбка, почти ухмылка, не сходила с его губ.

— Точно,— сказал он.— И хочу получить ее назад. Это моя собственность.

У Грега разболелась голова. Этот стервец не понимает, как все просто делается. Комната звукоизолирована, и из нее не вырываются крики. Нет, он не сознает. Он *не понимает.*

Только держи себя в руках. Не переборщи. Не перегни палку.

Легко рассуждать. Обычно легко и делать. Но его вспыльчивость... иногда он терял над собой контроль.

Грег полез в карман и достал зажигалку.

— И скажите своему гестаповцу Уигинсу и моему фашисту дядюшке, что первая поправка к конституции...— Парень остановился, глаза его чуть расширились.— Вы что?.. С ума сошли? Эй! Эй!

Не обращая на него внимания и внешне спокойно, Грег щелкнул зажигалкой. Пламя взметнулось вверх, и Грег поджег футболку. Она сразу занялась.

Передние ножки стула с треском ударились об пол, парень рванулся к Грегу с бутылкой пепси в руке. Самодовольная ухмылка исчезла, уступив место оторопи и нескрываемому удивлению — и еще гневу избалованного шалопая, которому слишком долго все позволяли.

Со мной еще никогда так не разговаривали, подумал Грег, и головная боль сразу дала о себе знать. О, он должен держать себя в руках.

— Отдай! — крикнул парень. Грег держал футболку двумя пальцами за воротник на вытянутой руке, готовый бросить ее, когда станет чересчур горячо.— Отдай ее, ты, дерьмо! Она моя! Она...

Грег положил руку на голую грудь парня и толкнул что было силы — а силы было порядочно. Парень полетел в другой конец комнаты, и тут гнев его сменился страхом — этого Грег и добивался.

Грег бросил тлеющую футболку на кафельный пол и вылил на нее остатки пепси из бутылки. Она противно зашипела.

Парень медленно поднимался, прижимаясь спиной к стене. Грег перехватил его взгляд. Глаза у парня были карие и широко-широко открытые.

— Мы должны договориться,— произнес Грег; собственные слова доносились до него словно издалека, приглушенные болезненным шумом в голове.— Мы сейчас проведем маленький семинар и выясним, кто здесь дерьмо. Ты меня понял? Мы разберем конкретный пример и сделаем кое-какие выводы. Как у вас в колледже. Вы ведь там любите разбирать примеры и делать выводы?

Парень прерывисто втянул воздух. Облизнул губы, будто собираясь заговорить, и вдруг закричал:

— Помогите!

— Да, тебе нужно помочь, это точно,— сказал Грег.— И я тебе, пожалуй, помогу.

— Вы псих,— сказал племянник Джорджа Харви и заорал снова, но уже громче: — Помогите!

— Очень может быть,— сказал Грег.— Вполне возможно. Но нам нужно выяснить, сынок, кто же здесь дерьмо. Понимаешь, о чем я?

Он взглянул на бутылку пепси в руке и вдруг яростно двинул ею об угол стального сейфа. Она разлетелась вдребезги, и когда парень увидел осколки стекла на полу и направленные на него острые зазубрины, он завопил. Его джинсы, до белизны вытертые между ног, внезапно потемнели. Лицо стало цвета старого пергамента. А когда Грег двинулся к нему, давя стекло тяжелыми ботинками, которые он носил зимой и летом, парень от страха вжался в стену.

— Когда я выхожу на улицу, я надеваю белую сорочку,— сказал Грег и оскалился, показывая белые зубы.— Иногда с галстуком. Когда же ты выходишь на улицу, то на тебе какое-то тряпье с грязными словами. Так кто из нас дерьмо, детка?

Племянник Джорджа Харви что-то проскулил. Он не спускал вытаращенных глаз с острого зазубренного стекла.

— Вот я стою, сухой и опрятный,— сказал Грег, надвигаясь,— а у тебя течет по обеим ногам. Так кто же дерьмо?

Он стал тыкать острым стеклом в потную грудь парня, и племянник Джорджа Харви заплакал. Вот из-за таких страна разваливается, подумал Грег. Сгусток ярости клокотал и звенел у него в голове. Из-за вонючих желторотых сопляков, вроде этого.

Только не покалечь его... не перегни палку...

— Я говорю как человек,— сказал Грег,— а ты, детка, визжишь, как свинья в грязной канаве. Так кто же дерьмо?

Он снова ткнул разбитой бутылкой; одна из острых зазубрин царапнула кожу парня под правым соском, и там выступила капелька крови. Парень истошно завопил.

— Я с тобой разговариваю,— сказал Грег.— И лучше отвечай, как отвечал бы своему учителю. Так кто же дерьмо?

Парень что-то прохныкал, но ничего нельзя было разобрать.

— Отвечай, если хочешь сдать экзамен,— сказал Грег.— Я ведь выпущу тебе кишки, детка.— Сейчас он был близок к этому. Он не мог смотреть на набухшую каплю крови; если бы посмотрел, то совсем обезумел бы, и тогда уж было бы все равно, кто перед ним — племянник Джорджа Харви или какой-нибудь другой тип.— Так кто дерьмо?

— Я,— сказал парень и начал всхлипывать, как маленький ребенок.

Грег улыбнулся. Боль глухо стучала в висках.

— Ну вот, уже хорошо. Для начала. Но этого мало. Я хочу, чтобы ты сказал: «Я дерьмо».

— Я дерьмо,— сказал парень, все еще рыдая. Из носа потекли сопли, да так и повисли. Он вытер их тыльной стороной ладони..

— Нет, я хочу, чтобы ты сказал: «Я первостатейное дерьмо».

— Я... первостатейное дерьмо.

— А теперь еще одно, и, пожалуй, на этом закончим. Скажи: «Спасибо, что сожгли эту поганую футболку, мэр Стилсон».

Парень уже был готов на все. Перед ним забрезжила свобода.

— Спасибо, что сожгли эту поганую футболку.

Одной из зазубрин Грег чиркнул справа налево по мягкому животу парня; показалась полоска крови. Он едва царапнул по коже, но парень взвыл так, словно за ним гнались все черти ада.

— Ты забыл сказать «мэр Стилсон»,— сказал Грег, и вдруг его отпустило. Головная боль еще разок дала себя знать сильным толчком и затихла. Он тупо смотрел на бутылочное стекло в руке и с трудом соображал, откуда оно взялось. Чертовски глупо. Чуть было не наломал дров из-за этого подонка.

— Мэр Стилсон! — выкрикивал парень. Он вконец обезумел от страха.— Мэр Стилсон! Мэр Стилсон! Мэр Стил....

— Ну вот и хорошо,— сказал Грег.

— ...сон! Мэр Стилсон! Мэр Стилсон! Мэр...

Грег сильно смазал его по лицу. Парень стукнулся головой о стену и замолчал, бессмысленно вытаращив глаза.

Грег подошел к нему вплотную. Протянул руки. Сжал голову парня ладонями и притянул его к себе. Они смотрели друг на друга почти в упор.

— Так вот, твой дядя в этом городе сила,— мягко сказал он, держа парня за уши, как за ручки. Глаза у парня были огромные, карие и слезились.— Я тоже — сила... или скоро буду... хоть я и не ровня Джорджу Харви. Он здесь родился, вырос и все такое. И если ты расскажешь своему дядюшке о том, что тут произошло, он еще, чего доброго, вздумает убрать меня из Риджуэя.

Губы парня дрожали в почти беззвучном реве. Грег медленно потряс его за уши.

— Вероятно, и не вздумает... он чертовски разозлился из-за этой твоей футболки. Но может. Кровные узы — крепкие узы. Так что поразмысли хорошенько, сынок. Если ты расскажешь дядюшке, что здесь произошло и дядя выпрет меня отсюда, я скорее всего прикончу тебя. Ты мне веришь?

— Да,— прошептал парень. Щеки у него были мокрые, блестящие.

— Да, сэр, мэр Стилсон.

— Да, сэр, мэр Стилсон.

Грег отпустил его уши.

— Да,— сказал он.— Я убью тебя, но сначала я расскажу всем желающим, как ты описался тут, ревел и путался в соплях.

Он отвернулся, быстро отошел, словно от парня дурно пахло, и направился снова к сейфу. С одной из полок он достал коробку с пластырем и кинул через комнату парню, который отшатнулся и не поймал ее. Он поспешно поднял коробку, опасаясь, что Стилсон снова набросится на него.

— Ванная вон там,— показал рукой Грег.— Приведи себя в порядок. Я дам тебе другую футболку. Ты пришлешь ее мне назад, выстиранную, без пятен крови. Понятно?

— Да,— прошептал парень.

— Сэр! — закричал Стилсон.— Сэр! Сэр! Сэр! Ты что, не можешь запомнить?

— Сэр,— простонал парень.— Да, сэр. Да, сэр.

— Ничему-то вас не учат,— сказал Грег.— Никакому уважению.

Головная боль снова дала о себе знать. Он сделал несколько глубоких вдохов и подавил ее, но в животе творилось черт знает что.

— Ладно, покончим с этим. Хочу только дать тебе полезный совет. Когда вернешься осенью в свой чертов колледж или куда там еще, не начни ненароком думать, будто здесь произошло что-нибудь не то. И не строй иллюзий насчет Грега Стилсона. Лучше тебе, мне и Джорджу выкинуть все из головы. Если тебе вдруг покажется, что ты можешь отыграться, это будет самая ужасная ошибка в твоей жизни. Наверное, последняя.

С этими словами Грег вышел, бросив последний презрительный взгляд на парня; тот стоял, вытаращив глаза, губы его дрожали, грудь и живот пестрели запекшимися пятнышками крови. Он походил на десятилетнего мальчишку-переростка, которого выставили из школьной бейсбольной команды.

Мысленно Грег поспорил с самим собой, что никогда больше не увидит и не услышит этого парня,— и выиграл. Через несколько дней Джордж Харви остановился у парикмахерской, где брился Грег, и поблагодарил его за то, что он «вразумил» его племянника.

— Вы умеете с ними обращаться, Грег,— сказал он.— Не знаю... они почему-то уважают вас.

— Не стоит об этом говорить,— ответил Грег.

Когда Грег Стилсон сжигал футболку с неприличной надписью в Нью-Гэмпшире, Уолт и Сэйра Хэзлиты завтракали в Бангоре, штат Мэн. Уолт читал газету.

Он со стуком поставил чашку кофе на стол и сказал:

— Сэйра, твой старый дружок попал в газету.

Сэйра кормила Денни. Она была в халате, волосы не расчесаны, глаза едва открыты. На восемьдесят процентов она еще спала после вчерашней вечеринки. Почетным гостем был Гаррисон Фишер — конгрессмен от третьего округа Нью-Гэмпшира с незапамятных времен и верный кандидат на переизбрание в будущем году. Вечеринка бы-

ла для нее и для Уолта вопросом политическим. *Политический.* Это словцо Уолт в последнее время употреблял частенько. Накануне он выпил значительно больше Сэйры, но сегодня уже с утра одет и свеж как огурчик, а она будто помоев нахлебалась. Где справедливость?

— Бяка,— подал голос Денни и выплюнул всю фруктовую смесь.

— Как некрасиво,— сказала Сэйра. И затем Уолту: — Ты говоришь о Джонни Смите?

— О ком же еще?

Она встала и, обогнув стол, подошла к Уолту.

— С ним ничего не случилось?

— Судя по всему, здоров и процветает,— сухо сказал Уолт.

Размер заголовка потряс ее: «ОЧНУВШИЙСЯ ОТ КОМЫ БОЛЬНОЙ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ НА СКАНДАЛЬНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ». Репортаж был подписан Дэвидом Брайтом. На помещенном рядом снимке она увидела Джонни, худого, жалкого и растерянного; он стоял над распростертым телом человека по имени Роджер Дюссо, репортера льюистонской газеты. Подпись под снимком гласила: «*Репортер теряет сознание после откровения*».

Сэйра села рядом с Уолтом и начала читать репортаж. Это не понравилось Денни, который забарабанил по своему стульчику, требуя утреннее яйцо.

— Кажется, он тебя зовет,— сказал Уолт.

— Ты не покормишь его, милый? У тебя он все равно ест лучше.— *Продолжение см. на стр. 9, колон. 3.* Она открыла газету на девятой странице.

— Лестью добьешься чего хочешь,— миролюбиво сказал Уолт. Он скинул спортивную куртку и надел ее фартук.— Даю, даю, парень,— проговорил Уолт и начал кормить Денни яйцом.

Сэйра прочла репортаж дважды. Глаза ее снова и снова притягивал снимок — растерянное, охваченное ужасом лицо Джонни. Люди, обступившие распростертого Дюссо, смотрели на Джонни почти со страхом. Это она могла понять. Сэйра вспомнила, как навестила Джонни, когда он вышел из комы. Она поцеловала его, и тут на его лице появилось странное, озабоченное выражение. А когда он сказал, где она найдет потерянное обручальное кольцо, она тоже испугалась.

Но послушай, Сэйра, твой тогдашний испуг — это ведь совсем другое.

— Еще немножко, ты же большой мальчик,— долетели до нее будто издалека слова Уолта. Сэйра взглянула на мужа и сына — они сидели рядом в пронизанном пылинками луче солнечного света, ее фартук свисал между колен Уолта, и ей вдруг снова стало страшно. Она ясно увидела, как кольцо, переворачиваясь, опускается на дно унитаза. Услышала негромкий стук при его ударе о фарфор. Вспомнила про маску Джонни накануне Дня всех святых, про мальчишку, говорившего: *Приятно посмотреть, как вздрючат этого типа.* Она думала об обещаниях, которые даются и никогда не выполняются, а ее взгляд возвращался к худому лицу на газетной полосе, изможденному и измученному лицу, смотревшему на нее с таким удивлением.

— ...выдумка, в любом случае,— сказал Уолт, вешая фартук. Он-таки заставил Денни съесть яйцо, и теперь их сын и наследник удовлетворенно потягивал сок из бутылочки.

— Что? — Сэйра подняла взгляд.

— Я сказал, что для человека, которому предстоит оплатить больничные счета на добрых полмиллиона долларов, это чертовски удачная выдумка.

— О чем ты говоришь?! Какая еще выдумка?!

— Конечно,— сказал Уолт, явно не замечая ее возмущения.— Он мог бы заработать семь, а то и десять тысяч, написав книгу о той

аварии и своем пребывании в коме. А уж если он вышел из комы ясновидящим, то тут можно грести деньги лопатой.

— *Ты что, серьезно?*— Голос Сэйры дрожал от ярости.

Сначала на лице Уолта выразилось удивление, затем оно сменилось пониманием. Этот понимающий взгляд взбесил ее еще больше. Если бы она откладывала по пять центов каждый раз, когда Уолт Хэзлит считал, что понимает ее, они могли бы уже слетать на Ямайку первым классом.

— Извини, что я затеял этот разговор,— сказал он.

— Если хочешь знать, Джонни такой же обманщик, как папа римский...

Он громко захохотал, и Сэйра чуть было не швырнула в него кофейной чашкой. Но сдержалась, сложила под столом ладони и сжала их. Денни уставился на отца, а затем тоже разразился смехом.

— Малышка,— сказал Уолт,— я ничего не имею ни против него, ни против его действий. Я даже его уважаю. Если этот заплесневелый толстый мухомор Фишер за пятнадцать лет в палате представителей сумел превратиться из разорившегося юриста в миллионера, то любой человек имеет полное право заработать сколько может, разыгрывая из себя ясновидящего...

— Джонни не обманщик...— монотонно повторила она.

— Это же приманка для старушек, которые подсинивают кудряшки, читают бульварные еженедельники и состоят членами «Всемирного клуба любителей книг»,— сказал он бодро.— Хотя должен признать, что немного ясновидения не помешало бы при отборе присяжных для суда над Тиммонсом.

— Джонни Смит не обманщик,— повторила она и услышала слова Джонни: *Оно соскочило с твоего пальца. Ты убирала бритвенные принадлежности Уолта, и оно просто соскочило... поднимись наверх, Сэйра, и посмотри. Ты найдешь его там.* Но она не могла сказать этого мужу. Он не знал, что она ездила повидать Джонни.

Ничего нет плохого в том, что я навестила Джонни, убеждала она себя.

Допустим, но как Уолт отнесется к тому, что она выбросила свое обручальное кольцо в туалет? Он может не понять внезапного приступа страха, заставившего ее так поступить,— страха, который сейчас она видела на лицах других людей, попавших в газету, да и на лице самого Джонни. Нет, этого Уолт может совсем не понять. Как-никак есть что-то неприятно символичное в том, что ты бросаешь кольцо в туалет и затем спускаешь воду.

— Ну хорошо,— произнес Уолт,— он не обманщик. Но я просто не верю...

Сэйра тихо сказала:

— Посмотри на людей, которые стоят за ним, Уолт. Посмотри на их лица. *Они* верят.

Уолт бегло взглянул.

— Конечно, так же, как ребенок верит фокуснику на сцене.

— Ты что же думаешь, Дюссо был, как ты это называешь, подставным? В отчете сказано, что они никогда раньше не встречались.

— Только так фокусы и срабатывают, Сэйра,— терпеливо сказал Уолт.— Никакой иллюзионист не станет вытаскивать кролика из клетки — только из шляпы. Либо Джонни Смит что-то знал, либо чертовски удачно угадал, основываясь на поведении Дюссо.

Сейчас она его ненавидела, испытывала отвращение к этому добряку, за которого вышла замуж. Собственно говоря, ничего особенного за ним не замечалось, он был порядочный, уравновешенный, добродушный человек, обладавший чувством юмора,— просто он свято верил, что все рвутся к выигрышу и каждый использует при этом свои маленькие хитрости. Сегодня утром он назвал Гаррисона Фише-

ра заплесневелым толстым мухомором, а вчера вечером умирал со смеху от рассказов Фишера о Греге Стилсоне, чудаковатом мэре из какого-то заштатного городка,— не иначе свихнулся малый, если готов выставить как независимый свою кандидатуру в палату представителей на выборах будущего года.

Нет, в мире Уолта Хэзлита не было ни экстрасенсов, ни героев, здесь существовала одна доктрина: *мы должны изменить систему изнутри.* Он был порядочный, уравновешенный, любил ее и Денни, но она вдруг стала рваться душой к Джонни и оплакивать те пять лет, что у них украли. Или даже целую жизнь. И ребенка, у которого волосы были бы темнее.

— Ты лучше иди, дорогой,— сказала она тихо.— Они там съедят твоего Тиммонса со всеми потрохами.

— Пожалуй,— улыбнулся он ей. Выводы сделаны, заседание окончено.— Мир?

— Мир.— *Но ведь он знал, где было кольцо.* Он знал. Уолт поцеловал Сэйру, слегка коснувшись правой рукой ее затылка. Он всегда на завтрак ел одно и то же, всегда одинаково целовал жену, когда-нибудь они переедут в Вашингтон, и никаких экстрасенсов нет.

Через пять минут он вывел задним ходом их маленький красный «пинто» на Понд-стрит, как обычно, коротко погудел на прощание и уехал. Она осталась одна с Денни, который с риском для жизни пытался слезть со своего высокого стульчика.

— Все-то ты делаешь не так, недотепа!— Сэйра прошла через кухню и подхватила сына.

— Бяка!— недовольно сказал Денни.

В кухню, крадучись, точно малолетний преступник, неторопливо вошел их забавный кот Рыжик, и Денни схватил его, сопя от удовольствия. Рыжик прижал уши и смирился со своей участью.

Сэйра убирала со стола и улыбалась по инерции. Тело, находящееся в состоянии покоя, склонно пребывать в нем, а ей было покойно. Бог с ними, с недостатками Уолта; у Сэйры своих хватает. Она пошлет Джонни открытку на рождество, и этим дело кончится. Так оно будет лучше, безопаснее... потому что движущееся тело склонно продолжать движение. А ей здесь хорошо. Она пережила трагедию, связанную с Джонни, который был так несправедливо отнят у нее (но ведь в этом мире столько несправедливого), прошла через собственные водовороты на пути к тихой заводи, и здесь она останется. Эта залитая солнцем кухня — неплохое место. Лучше забыть ярмарку, Колесо судьбы и лицо Джонни Смита.

Наливая в раковину воду для мытья посуды, она включила радио и услышала начало новостей. Первое же сообщение заставило ее застыть с только что вымытой тарелкой в руке; в тревожном раздумье она смотрела на их маленький дворик. С матерью Джонни случился удар, когда она смотрела телевизионную передачу о встрече сына с репортерами. Сегодня утром она умерла, около часа назад.

Сэйра вытерла руки, выключила радио и вызволила Рыжика из рук Денни. Она отнесла мальчика в гостиную и посадила в манеж. Денни оскорбленно заревел, на что она не обратила никакого внимания. Сэйра подошла к телефону и набрала номер «Медикэл сентр». Телефонистка, которая, очевидно, устала повторять одно и то же, сообщила, что Джон Смит выписался из больницы вчера вечером, незадолго до полуночи.

Сэйра положила трубку и села на стул. Денни продолжал плакать в манеже. Из раковины бежала вода. Немного погодя Сэйра поднялась, пошла на кухню и завернула кран.

Репортер из журнала «Инсайд вью» явился 16 октября, вскоре после того, как Джонни сходил за почтой.

Отцовский дом стоял довольно далеко от дороги; усыпанная гравием подъездная дорожка длиной почти в четверть мили пролегала вдоль стоявших плотной стеной елей и сосен. Джонни ходил по ней каждый день. Поначалу он возвращался к веранде, дрожа от изнеможения, хромая и едва держась на ногах — их словно жгло огнем. Теперь, через полтора месяца после приезда домой (сначала он преодолевал полмили за час), эта ежедневная прогулка доставляла ему удовольствие и он ее ожидал с нетерпением. Именно прогулку, а не почту.

Джонни стал колоть дрова к предстоящей зиме, Герберт собирался для этого нанять людей, поскольку сам подрядился делать внутренний ремонт в домах Либертивилла.

— Когда старость заглядывает через плечо, Джон, это всякий поймет,— сказал он как-то с улыбкой.— Стоит подкрасться осени — и работа на открытом воздухе становится в тягость.

Джонни поднялся на веранду и с легким вздохом облегчения сел в плетеное кресло. Он закинул правую ногу на перила веранды, потом, морщась от боли, обеими руками поднял левую и положил ее сверху. Затем просмотрел полученную почту.

В последнее время она пошла на убыль. В первую неделю его пребывания в Паунале приходило в день до двадцати писем и восемь-девять бандеролей; в основном они пересылались из «Медикэл сентр», но некоторые были адресованы прямо в Паунал, на конвертах писали: Паунэлл, или Поунал, а однажды даже Пунатс, до востребования.

Среди авторов писем большинство составляли люди одинокие, мечтающие найти в жизни хоть какой-либо смысл. Были письма от детей, просивших автограф; от женщин, желавших переспать с ним; от безнадежно влюбленных, которые спрашивали у Джонни совета. Иногда ему присылали талисманы на счастье. Иногда гороскопы. Многие письма были проникнуты религиозным духом; когда он читал эти послания, написанные с орфографическими ошибками, крупными, старательно выведенными буквами, немногим отличавшимися от каракулей смышленого первоклассника, ему мерещился призрак матери.

Джонни уверяли, что он пророк, призванный вывести усталый и разочарованный американский народ из пустыни. Предвестник близкого конца света. К сегодняшнему дню — шестнадцатого октября — он получил восемь экземпляров книги «Бывшая великая планета Земля» Хола Линдсея — мать наверняка одобрила бы это сочинение. Джонни призывали объявить о божественном происхождении Христа и положить конец распущенности молодежи.

Шел и поток враждебных писем, как правило анонимных, их было меньше, но они дышали страстностью, как и корреспонденция почитателей Джонни. Один нацарапал карандашом на желтом бланке, что Джонни антихрист и хорошо бы ему покончить с собой. Четверо или пятеро интересовались, какое испытываешь чувство, убив собственную мать. Очень многие обвиняли его в надувательстве. Один умник написал: «Предвидение, телепатия — чушь собачья! Дерьмо ты, а не экстрасенс!»

А кроме того, ему присылали *вещи*. Это было хуже всего.

Каждый день по дороге с работы домой Герберт заходил на почту и забирал бандероли, которые из-за своих габаритов не могли поместиться в почтовом ящике. Сопроводительные записки были в основном одинаковые — исступленный крик: *Скажите мне, скажите мне, скажите мне!*

Это шарф моего брата, пропавшего без вести во время рыбной ловли на Аллагаше в 1969 году. Я уверена, что он еще жив. Скажите мне, где он.

Это губная помада с туалетного столика моей жены. Мне кажет-

ся, у нее с кем-то роман, но я не уверен. Скажите мне, справедливы ли мои подозрения.

Это браслет с именем моего сына. Он перестал приходить домой после школы, пропадает где-то до позднего вечера, я просто с ума схожу. Скажите мне, чем он занимается.

Женщина из Северной Каролины — откуда только она узнала о нем, ведь августовская пресс-конференция на всю страну не транслировалась — прислала обожженный кусок дерева. Ее дом сгорел, писала она, в огне погибли муж и двое из пятерых детей. Пожарная служба города Шарлотт сказала, что всему виной неисправная электропроводка, но она с такой версией не согласна. Дом наверняка подожгли. Она хотела, чтобы Джонни потрогал почерневший кусок дерева и определил, кто совершил поджог, и пусть это чудовище остаток своей жизни гниет в тюрьме.

Джонни не ответил ни на одно письмо и вернул все предметы (даже обуглившийся кусок дерева) за свой счет без каких-либо объяснений. Он-таки *потрогал* некоторые. Большинство из них, подобно обуглившемуся куску стенной панели, присланному убитой горем женщиной из Шарлотт, абсолютно ничего ему не говорили. Но иногда контакт порождал тревожные образы вроде тех, от которых просыпаешься ночью. Чаще всего почти не за что было зацепиться: картина появлялась и тут же исчезала, оставив лишь смутное ощущение. Но один раз...

Женщина послала ему шарф в надежде выяснить, что случилось с ее братом. Шарф был белый, вязаный, ничем не отличающийся от миллиона других. Но стоило ему взять его в руки, как отцовский дом внезапно куда-то исчез, а звук телевизора в соседней комнате стал нарастать и убывать, нарастать и убывать, пока не превратился в монотонное гудение летних насекомых и далекие всплески воды.

В нос ударили лесные запахи. Сквозь кроны высоченных старых деревьев пробивались зеленоватые солнечные лучи. Он шел уже три часа, почва под ногами стала вязкой, хлюпающей, почти болотистой. Он был напуган, здорово напуган, но старался не поддаваться страху. Если потеряешься в безлюдных северных краях и запаникуешь, можно заказывать надгробную плиту. Он продолжал двигаться на юг. Прошло два дня, как он расстался со Стивом, Рокки и Логаном. Они раскинули палатки около...

(название не приходило, оно было в «мертвой зоне»)

какой-то ручей, ловля форели, сам виноват: не надо было так напиваться.

Он видел свой рюкзак, прислоненный к стволу старого, покрытого мхом упавшего дерева, белые омертвевшие сучья, подобно костям, проглядывали тут и там сквозь зелень, да, он видел свой рюкзак, но не мог достать его, потому что отошел в сторону помочиться и угодил в самую топь, грязная жижа покрыла его сапоги почти до верха, он попытался вернуться назад и найти местечко посуше, чтобы сделать свое дело, но не мог. Он не мог выбраться, потому что это была не грязь. Это было... что-то другое.

Он стоял, тщетно оглядываясь кругом в надежде ухватиться за что-нибудь, чуть ли не смеясь из-за идиотизма положения: отлил водичку, нечего сказать.

Он стоял, поначалу уверенный, что это всего-навсего мелкий заболоченный участок, в худшем случае зачерпнет в сапоги — и ладно, зато будет что порассказать, когда его разыщут.

Он стоял, еще не поддаваясь панике, пока жижа не начала неумолимо подниматься выше колен. Тогда он принялся барахтаться, позабыв, что если уж угодил по дурости в болотную топь, то лучше не шевелись. Не успел он оглянуться, как жижа дошла ему до пояса, теперь она была уже по грудь, затягивала его большими коричневыми губами, затрудняла дыхание; он крикнул, потом еще и еще раз,

но никто не появился, ничто не появилось; только пухленькая коричневая белка пробралась по мшистой коре упавшего дерева, уселась на его рюкзаке и смотрела на него блестящими черными глазками.

И вот жижа дошла до шеи, густые коричневатые испарения били в нос, топь неумолимо сжимала ему грудь, и вскрики его становились все тише и судорожнее. Порхали, пищали, ссорились птицы, лучи солнечного света с прозеленью, как патина на меди, пробивались сквозь листву, а жижа поднялась уже выше подбородка. Один, он умрет один, он открыл рот, чтобы крикнуть в последний раз, но не смог, потому что жижа проникла в рот, просочилась тонкими струйками между зубов, протекла по языку, он уже глотал эту жижу и крикнуть не смог...

Джонни очнулся в холодном поту, кожа покрылась мурашками, в руках был зажат туго свернутый шарф, дышал он учащенно и с трудом. Он бросил шарф на пол, где тот изогнулся белой змеей. Больше Джонни к нему не притронулся. Отец вложил его в пакет и отослал назад.

Но наконец-то писем и бандеролей, слава богу, стало меньше. Чокнутые нашли новый объект для публичного и тайного поклонения. Газетчики не просили больше дать интервью, отчасти потому, что номер телефона был изменен и не значился в справочнике, отчасти потому, что все это уже стало историей.

Роджер Дюссо напечатал длинную и злую статью в своей газете, где он был редактором отдела очерков. Он объявил случившееся жестоким и безвкусным розыгрышем. Дескать, Джонни наверняка изучил прошлое некоторых репортеров, которые могли прийти на пресс-конференцию,— так, на всякий случай. Да, признал он, прозвище его сестры Анны было Терри. Она умерла сравнительно молодой, и, возможно, амфетамины сыграли тут не последнюю роль. Но эта информация была доступна любому, кто только хотел копнуть. В статье все выглядело вполне логично. Правда, в ней не объяснялось, как Джонни, не выходя из больницы, мог получить эту «доступную информацию», однако на это обстоятельство большинство читателей, похоже, не обратили внимания. Джонни все это было безразлично. Инцидент исчерпан, и он не имел никакого желания создавать новые. Стоит ли писать женщине, приславшей шарф, что ее брат утонул, истошно крича, в болотной жиже, так как пошел помочиться куда не следовало? Разве это успокоило бы ее или облегчило ей жизнь?

Сегодня пришло всего шесть писем. Счет за электричество. Открытка от кузины Герберта из Оклахомы. Письмо от дамы, которая до этого прислала распятие со словами «Сделано на Тайване», выбитыми крошечными золотыми буковками на ступнях Христа. Коротенькая записка от Сэма Вейзака. И маленький конверт с обратным адресом, который заставил его заморгать и выпрямиться: *С. Хэзлит, Пондстрит, 12, Бангор.*

Сэйра. Он вскрыл конверт.

Через два дня после похорон матери он получил от нее открытку с соболезнованием. На обороте ровным, с наклоном влево почерком было написано: «Джонни, я очень сожалею о случившемся. Я услышала по радио, что твоя мама умерла. В определенном смысле самое прискорбное во всем этом то, что твое личное горе сделали достоянием общественности. Ты, возможно, не помнишь, но мы говорили о твоей маме в тот вечер, когда произошла авария. Я спросила тебя, как она поступит, если ты приведешь в дом грешную католичку, а ты ответил, что она примет меня и всучит мне несколько религиозных брошюр. По тому, как ты улыбнулся, я поняла, что ты ее любишь. От твоего отца я знаю, что она изменилась, но скорее всего это произошло от любви к тебе и от ее нежелания примириться с горем. Насколько я понимаю, ее вера была вознаграждена. Прими, пожалуйста, мое искреннее соболезнование, и если я могу что-нибудь

сделать сейчас или в будущем, рассчитывай на своего друга Сэйру».

Это было единственное послание, на которое он ответил, поблагодарив Сэйру за открытку и за память. Он тщательно взвешивал каждое слово, боясь выдать себя. Теперь она замужняя женщина, и изменить что-либо не в его силах. Но он *помнил* их разговор о матери — и многое другое. Ее открытка вызвала в памяти весь тот вечер, и он ответил ей с горечью и нежностью, хотя горечи было больше. Он по-прежнему любил Сэйру Брэкнелл, и ему постоянно приходилось напоминать себе, что Сэйры нет, а есть другая женщина, пятью годами старше, мать двухлетнего малыша.

Он вытащил из конверта листок почтовой бумаги и быстро пробежал его. Сэйра с мальчиком собиралась на неделю в Кеннебанк к подруге, с которой жила в одной комнате, когда училась на первом и втором курсах, ее фамилия сейчас Константин, а тогда она была Стефани Карслей. Сэйра писала, что Джонни, возможно, помнит ее, но Джонни не помнил. Короче говоря, Уолт застрял в Вашингтоне по делам своей фирмы, и по партийным тоже, и Сэйра подумала, что могла бы на один день приехать в Паунал повидать Джонни и Герберта, если это никому не помешает.

«Звонить мне по номеру Стефани 814-6219 в любое время между семнадцатым и двадцать третьим октября. Если же мой визит будет почему-либо некстати, то позвони и скажи — сюда или в Кеннебанк. Я пойму. Люблю вас обоих. *Сэйра*».

Держа письмо в руке, Джонни посмотрел через двор на лесок, ставший красновато-коричневым и золотым буквально за последнюю неделю. Скоро листья начнут опадать, придет зима.

Люблю вас обоих, Сэйра. Он задумчиво водил пальцем по словам. Было бы лучше, думал он, не звонить, не писать, вообще ничего не делать. Она все поймет. Что хорошего может принести ей его письмо, так же как той женщине, которая прислала шарф? Зачем будить спящую собаку? Сэйра могла употребить это слово — люблю,— особенно не задумываясь, но он так не мог. Для него прошлое еще не отболело, а время оказалось грубо сжатым, сплюснутым, исковерканным. По его внутренним часам всего полгода назад она была его девушкой. Разумом он примирился и с комой, и с такой потерей времени, но сердце противилось этому. Отвечать на ее открытку с соболезнованием было нелегко, но письмо ведь можно просто скомкать и переписать, если получилось не то, что надо, если наметился выход за рамки дружеских отношений,— а только такие отношения они теперь и могли себе позволить. Если же они встретятся, он, чего доброго, сделает или скажет какую-нибудь глупость. Лучше не звонить. Пусть все заглохнет.

Но я позвоню, подумал он. Позвоню и приглашу ее.

Растревоженный, он сунул письмо обратно в конверт.

В глаза ему ударил луч солнца, отразившийся от блестящей хромированной поверхности. Гравий на подъездной дорожке захрустел под колесами «форда». Джонни прищурился и попытался определить, знакомая ли это машина. Сюда редко кто приезжал в гости. Почты хватало, но навещали Джонни раза три или четыре. Паунал был маленькой точкой на карте — поди найди. Если машина принадлежит какому-нибудь охотнику до истины, Джонни быстро отошьет его или ее — вежливо, но твердо. Именно так советовал Вейзак при расставании. Хороший совет, подумал Джонни.

— Не давайте никому втянуть себя в роль учителя-консультанта. Не поощряйте их, и они вас забудут. Поначалу это покажется вам бессердечным — ведь большинство из них заблуждается, у них масса проблем и самые добрые намерения,— но это вопрос вашей жизни, вашей личной свободы. Так что будьте тверды, Джон.

И он был тверд.

«Форд» въехал на площадку между садовым сараем и поленницей дров, и пока он поворачивал, Джонни заметил на ветровом стекле маленькую наклейку прокатной фирмы «Херц». Из машины вылез очень высокий мужчина в новехоньких джинсах и красной клетчатой рубашке, выглядевшей так, будто ее только что извлекли из коробки, и огляделся. У него был вид человека, не привыкшего к провинции, человека, который знает, что в Новой Англии волков и пум больше нет, но все равно лучше в этом самому удостовериться. Городской житель. Он взглянул на веранду, увидел Джонни и приветственно поднял руку.

— Добрый день,— сказал незнакомец. Голос у него был тоже городской, глуховатый (с бруклинским акцентом, определил Джонни) и звучал словно из-под подушки.

— Привет,— сказал Джонни.— Заблудились?

— Надеюсь, что нет.— Незнакомец подошел к ступенькам веранды.— Вы либо Джон Смит, либо его брат-близнец.

Джонни усмехнулся.

— У меня нет брата, так что, думаю, вы не ошиблись дверью. Чем могу быть полезен?

— Ну, может, мы будем полезны друг другу.— Незнакомец поднялся по ступенькам и протянул руку. Джонни пожал ее.— Меня зовут Ричард Дис. Журнал «Инсайд вью».

Волосы его, почти совсем седые, по-модному не закрывали уши. Искусственная седина, изумился Джонни. Что можно подумать о человеке, который говорит как сквозь подушку и красит волосы под седину?

— Вы, наверное, видели наш журнал.

— Да, видел. Он продается у касс при выходе из супермаркета. Я не даю интервью. Сожалею, но вы зря проделали такой путь.— Журнал действительно продается в супермаркете. Дешевая бумага, заголовки чуть не прыгают со страниц, пытаясь вас задушить. Ребенок убит пришельцами из космоса, кричит в отчаянии мать. Продукты, которые отравляют ваших детей. Двенадцать ясновидящих предсказывают землетрясение в Калифорнии в 1978 году.

— Ну, интервью — это не совсем то, на что мы рассчитываем,— сказал Дис.— Можно сесть?

— Понимаете, я...

— Мистер Смит, я прилетел сначала из Нью-Йорка, потом в Бостоне пересел на игрушечный самолетик, в котором меня не покидала мысль о том, что будет с моей женой, если я умру, не оставив завещания.

— Авиакомпания «Портленд-Бангор»? — спросил Джонни с улыбкой.

— Она самая,— подтвердил Дис.

— Хорошо,— сказал Джонни.— Я потрясен вашим мужеством и преданностью делу. Я выслушаю вас, но в нашем распоряжении не более пятнадцати минут. Мне предписан ежедневный послеобеденный сон.

— Пятнадцати минут вполне достаточно.— Дис придвинулся.— Я выскажу всего лишь предположение, мистер Смит, но мне кажется, что ваш долг составляет что-то около двухсот тысяч долларов. А это уже пахнет жареным, ведь так?

Улыбка Джонни угасла.

— Что я кому должен,— сказал он,— мое дело.

— Само собой, факт. Простите, если я вас обидел, мистер Смит. «Инсайд вью» хотел бы предложить вам работу. Довольно выгодную.

— Нет. Решительно нет.

— Разрешите мне только изложить вам...

— Я не практикующий экстрасенс,— сказал Джонни.— Не Джин

Диксон, не Эдгар Кейс и не Алекс Танноус. Кончим с этим. Не стоит ворошить прошлое.

— Можно я задержу вас еще на несколько минут?

— Мистер Дис, вы, по-видимому, не понимаете, что я...

— Несколько минут.— Дис обезоруживающе улыбнулся.

— А как вы, собственно, меня нашли?

— У нас есть внештатный корреспондент из газеты «Кеннебек джорнэл» в глубинке штата Мэн. Он сказал, что хотя вы исчезли с горизонта, но, очевидно, находитесь у своего отца.

— Так, значит, это я его должен благодарить, да?

— Конечно,— с готовностью сказал Дис.— Могу поспорить, вы действительно будете благодарны, когда дослушаете наше предложение до конца. Я начну?

— Хорошо,— сказал Джонни.— Но я не собираюсь менять свое решение только потому, что вы примчались сюда на самолете, нагнавшем на вас страху.

— Дело ваше. У нас свободная страна, не так ли? Еще бы. Как вы, мистер Смит, вероятно, знаете, «Инсайд вью» специализируется на парапсихологии. Откровенно говоря, читатель млеет от наших материалов. Еженедельный тираж три миллиона. Три миллиона читателей каждую неделю, мистер Смит, ничего себе разгончик, а? Как мы этого достигаем? Придерживаемся возвышенного, духовного...

— «Близнецы съедены медведем-людоедом»,— пробормотал Джонни.

Дис пожал плечами.

— Что поделаешь, мы живем в суровом мире. Людям нужно рассказывать о таких вещах. Они имеют право знать. Но на каждую статью о предметах низменных у нас приходится три других о том, как безболезненно скинуть вес, как достичь сексуального удовлетворения и совместимости, как приблизиться к богу...

— А вы верите в бога, мистер Дис?

— По правде говоря, нет,— сказал Дис и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой.— Но мы живем в демократической, величайшей стране мира, так? Каждый человек — сам себе пастырь. Все дело в том, что наши *читатели* верят в бога. Они верят в ангелов и чудеса...

— И в изгнание нечистой силы, дьяволов и черные мессы.

— Да, да, да. Вы уловили. У нас *спиритуалистическая* аудитория. Люди верят во всю эту потустороннюю чепуху. У нас подписаны контракты с десятью экстрасенсами, включая Кэтлин Нолан, самую знаменитую ясновидящую в Америке. Мы хотели бы предложить и вам контракт, мистер Смит.

— Неужели?

— Именно. Что это будет значить для вас? Ваш портрет и небольшая колонка станут появляться приблизительно раз в месяц в номерах, посвященных исключительно паранормальным явлениям. Придумаем подзаголовок «Десять известных экстрасенсов из журнала «Инсайд вью» предсказывают второе президентство Форда», что-то в этом роде. Готовим новогодние выпуски, а также специальные номера ко Дню независимости — о путях Америки в грядущем году; обычно они насыщены информацией,— стреляем вхолостую по внешней и экономической политике, даем всякую смесь.

— Мне кажется, вы не понимаете,— сказал Джонни. Он говорил очень медленно, как будто перед ним сидел ребенок: — У меня раза два случались озарения — пожалуй, можно считать, что я «видел будущее»,— но это не зависело от меня. Я с таким же успехом способен предсказать второе президентство Форда, как и подоить быка.

— Кто сказал, будто вам придется что-нибудь делать? — удивился Дис.— Все колонки пишут наши штатные сотрудники.

— Штатные...— Джонни, вконец потрясенный, уставился на журналиста.

— Конечно,— сказал Дис, теряя терпение.— Например, один из наших самых преуспевающих ребят в последние годы — Фрэнк Росс, он специализируется на стихийных бедствиях. Отличный парень, но, бог мой, он же девяти классов не кончил. Прослужил два срока в армии, а когда мы нашли его, он вылизывал автобусы на городском автовокзале в Нью-Йорке. По-вашему, мы могли доверить ему колонку? Да он слово «корова» не напишет без ошибок.

— Но предсказания...

— Свобода слова, полная свобода слова. Вы бы поразились, с каким удовольствием проглатывает читатель самую дикую ложь.

— Ложь,— повторил ошеломленный Джонни. Он даже удивился тому, что начинает злиться. Его мать покупала «Инсайд вью» с незапамятных времен, когда там еще печатались снимки разбитых и залитых кровью автомашин, отрубленных голов, тайно сделанные фотографии казней. Она верила каждому слову. Очевидно, как и почти все остальные 2 999 999 читателей. А тут перед ним сидит этот тип с крашенными под седину волосами, в ботинках за сорок долларов и рубашке, только что вынутой из магазинной коробки, так что видны складки, и толкует о журнальных утках.

— Все отработано,— продолжал Дис.— Если вы наткнетесь на что-нибудь интересное, нужно лишь позвонить в журнал за наш счет, мы отдаем это дело в профессиональные руки, и материальчик готов. Мы имеем право включать ваши колонки в ежегодную антологию «Всепроникающий взгляд на грядущее». Вы, однако, вольны подписать любой контракт с издательством. Мы можем только запретить печататься в другом журнале, но вообще-то редко этим пользуемся. А платим мы шикарно. Даже больше, чем указано в контракте. Так сказать, хорошая подливка к картофельному пюре.— Дис хохотнул.

— И сколько же это может составить? — спросил Джонни, растягивая слова. Он сжимал подлокотники качалки. В правом виске ритмично пульсировала вена.

— Первые два года — по тридцать тысяч,— сказал Дис.— А если вы окажетесь популярным, эта сумма будет пересмотрена. И еще. Все наши экстрасенсы имеют специализацию. Насколько я понимаю, у вас хорошо получается контакт с предметами.— Дис мечтательно прикрыл глаза.— Я уже вижу вашу колонку в журнале, дважды в месяц — зачем закапывать клад? «Джон Смит приглашает читателей «Инсайд вью» присылать личные вещи для парапсихологического исследования...» Что-нибудь в этом роде. Конечно, мы оговорим, что следует присылать вещички подешевле, потому что они не будут возвращаться. Но сейчас я вас удивлю. Знали бы вы, какие встречаются психи, прости их, господи. Чего они только не присылают! Бриллианты, золотые монеты, обручальные кольца... мы можем оговорить в контракте, что все присланное становится вашей собственностью.

Перед глазами у Джонни заплясали матово-красные пятна.

— Люди пришлют свои вещи, а я оставлю их себе. Я вас правильно понял?

— Точно. Все будет в лучшем виде. Главное, предусмотреть это в контракте. Еще немного подливки к вашему картофельному пюре.

— Предположим,— сказал Джонни, стараясь говорить ровным и спокойным голосом,— предположим, я позвоню и скажу, что тридцать первого сентября семьдесят шестого года президент Форд будет убит...

— Вообще-то в сентябре тридцать дней,— сказал Дис.— А в остальном, по-моему, вы попали в яблочко. У вас, Джонни, все получится само собой. Вы мыслите масштабно. Это хорошо. Вы бы удивились, узнав, как мелко плавают все эти ребята. Боятся, понимаете, рот раскрыть там, где пахнет хорошими денежками. Вот, скажем,

Тим Кларк из Айдахо две недели назад написал нам, что у него-де было видение: якобы в будущем году Эрл Батц уйдет в отставку. Я, конечно, прошу прощения за свой французский прононс, но кому это на хрен нужно? Кто такой Эрл Батц для американской домохозяйки? А у вас, Джонни, биотоки что надо. Вы прямо рождены для нашего дела.

— Биотоки,— пробормотал Джонни.

Дис посмотрел на него испытующе.

— Как вы себя чувствуете, Джонни? Вы что-то побледнели.

Джонни думал о женщине, которая прислала шарф. Вероятно, она тоже читает «Инсайд вью».

— С вашего разрешения, я подобью итоги,— сказал Джонни.— Вы платите мне тридцать тысяч долларов в год за мое имя...

— И ваш портрет, не забудьте.

— За мой портрет и несколько статей, написанных за меня. Плюс материалы, где я отвечаю на вопросы владельцев посылаемых предметов. Как дополнительная приправа к моему картофельному пюре, идут вещички, которые я могу себе оставить...

— Если юристы это оговорят...

— ...в личную собственность. Такова суть сделки?

— Это, Джонни, только *скелет* сделки. Поразительно, как в жизни одно тянет за собой другое. Через полгода ваше имя будет на устах у всех, и тогда вы развернетесь вовсю. Телевизионное шоу Карсона. Встречи. Лекционные турне. И, само собой, книга, можете выбирать издательство по вкусу — на экстрасенсов они денег не жалеют. Кэти Нолан начала с такого же контракта, а теперь зашибает больше двухсот тысяч в год. Кроме того, она основала собственную церковь, и налоговые инспекторы не могут тронуть ни цента из ее денег. Наша Кэти своего не упустит.— Дис ухмыльнулся.— Я же говорю вам: вовсю развернетесь.

— Еще бы!

— Ну? Что вы об этом думаете?

Джонни ухватился одной рукой за манжет новенькой рубашки Диса, а другой — за ее воротник.

— Эй! Какого черта вы...

Джонни обеими руками притянул к себе журналиста. За пять месяцев регулярных физических упражнений он здорово накачал мышцы.

— Ты спрашиваешь, что я думаю,— сказал Джонни. В висках застучало, заломило.— Я скажу тебе. Я думаю, ты вампир. Ты пожираешь человеческие надежды. Тебе бы работать на кладбище. Я думаю, твоей матери следовало умереть от рака на следующий же день после того, как она тебя зачала. Если есть ад, надеюсь, ты в нем сгоришь.

— Не смей так со мной разговаривать! — завизжал Дис, как торговка в рыбном ряду.— Совсем рехнулся! Забудь! Забудь обо всем, что я тебе говорил, олух, неотесанный болван! Тебе давали такой шанс! И не вздумай потом приползти...

— Ты говоришь словно из-под подушки,— сказал Джонни, вставая. Заодно он поднял и Диса. Рубашка у того вылезла из новых джинсов, под ней оказалась сетчатая майка. Джонни начал размеренно трясти Диса. Тот забыл о своем гневе и заорал благим матом.

Джонни подтащил его к ступенькам веранды, поднял ногу и со всей силы припечатал сзади новенькие «ливайсы». Дис, не переставая орать, пересчитал ступеньки. Он упал на землю и растянулся во весь рост. Потом он поднялся, встал и повернулся к Джонни, его аккуратненькая одежда была в пыли. Теперь у нее вид более натуральный, подумал Джонни, но вряд ли Дис это оценит.

— Надо бы напустить на тебя полицейских,— прохрипел Дис.— Я, может, так и сделаю.

— Как хочешь,— сказал Джонни.— Только здешняя полиция не

очень-то церемонится с теми, кто сует свой нос туда, куда их не просят.

На дергающемся лице Диса отразилось все сразу: страх, ярость и изумление.

— Если сунешься к нам, уповай на бога,— сказал он.

Голова у Джонни раскалывалась, но он старался говорить спокойно.

— Вот и хорошо,— ответил он.— Золотые слова.

— Ты еще пожалеешь, вот увидишь. Три миллиона читателей. А это тоже кое-что значит. Когда мы разделаемся с тобой, никто уже тебе не поверит, даже если предскажешь весну в апреле. Не поверит, даже если ты подтвердишь, что очередной чемпионат мира начнется в октябре. Не поверит, даже если... если...— Дис захлебнулся от ярости.

— Проваливай-ка ты отсюда, мозгляк,— сказал Джонни.

— Плакала твоя книжка! — визгливо закричал Дис, очевидно не придумав более страшной угрозы. С дергающимся лицом и в покрытой пылью рубашке он походил на мальчишку, бьющегося в истерике. Его бруклинский акцент до того усилился, что стал совсем провинциальным: — Тебя оборжут во всех издательствах Нью-Йорка! Редакторы бульварных листков такого дурака и близко не подпустят, когда я тебя разложу! Есть много способов уделать подобных умников, и мы тебя, дерьмо собачье, уделаем! Мы...

— Пожалуй, возьму-ка я свой «ремми» и пристрелю тебя, чтоб не ходил по чужой земле,— уронил Джонни.

Дис отступил к своей взятой напрокат машине, продолжая извергать угрозы и ругань. Джонни наблюдал за ним с веранды; в голове невыносимо стучало. Дис сел в машину, истошно взревел мотор, взвизгнули колеса, поднимая тучи пыли. Выезжая, он так вильнул, что сбил чурбак, на котором Джонни колол дрова. Несмотря на головную боль, Джонни чуть-чуть улыбнулся. Для него водрузить чурбак на место гораздо проще, чем Дису объяснить в компании «Херц» большую вмятину на крыле «форда».

Разбрасывая колесами гравий, Дис выехал на дорогу. Послеполуденное солнце снова заиграло на хромированных частях машины. Джонни вернулся в кресло-качалку, приложил руку ко лбу и приготовился переждать головную боль.

— *Что́* вы решили сделать?— спросил банкир. Внизу за окном по спокойной Главной улице Риджуэя, штат Нью-Гэмпшир, сновали машины. В кабинете банкира на третьем этаже на стенах, обшитых сосновыми панелями, висели литографии Фредерика Ремингтона и фотоснимки, запечатлевшие хозяина кабинета на приемах, торжествах и разнообразных вечеринках. На столе лежал прозрачный кубик с фотографиями его жены и сына.

— Решил выдвинуть свою кандидатуру в палату представителей в будущем году,— повторил Грег Стилсон. На нем были брюки цвета хаки, синяя рубашка с закатанными рукавами и черный галстук с синим рисунком. Его присутствие здесь казалось неуместным, словно в любой момент он мог вскочить и приняться крушить все вокруг — опрокинет стол, стулья, кресла, скинет на пол ремингтоновские литографии в дорогих рамках, сорвет портьеры.

Банкир Чарльз Гендрон по прозвищу Цыпа, президент местного «Клуба львов», засмеялся — правда, как-то неуверенно. Стилсон умел заставить людей чувствовать себя неуверенно. Вероятно, Грег рос чахлым ребенком, он любил повторять, что его «чуть не сдувало при сильном ветре», но в конце концов отцовские гены взяли свое, и в кабинете Гендрона он выглядел совсем как чернорабочий с нефтяных промыслов Оклахомы, где работал отец.

Стилсон нахмурился, услышав смешок Гендрона.

— Я хочу сказать, Грег, что у Джорджа Харви могут быть на этот счет свои соображения.— Джордж Харви не только стоял за кулисами политической жизни города, но был еще и крестным отцом республиканской партии в третьем округе.

— Джордж не скажет «нет»,— спокойно произнес Грег. Волосы его слегка тронула седина, но лицо вдруг стало таким же, как много лет назад, когда он до смерти забил собаку на ферме в Айове.— Джордж в стороне,— терпеливо продолжал Грег,— на моей стороне, улавливаете? Я не собираюсь наступать на его любимую мозоль, потому что стану независимым кандидатом. Я не собираюсь еще двадцать лет ходить в мальчишках и лизать чужие ботинки.

Цыпа Гендрон сказал неуверенно:

— Вы, наверно, шутите, Грег?

Грег снова нахмурился, на этот раз предостерегающе.

— Цыпа, я никогда не шучу. Люди... *думают,* что я шучу. «Юнион лидер» и эти кретины из «Дейли демократ» думают, что я шучу. Но вы поговорите с Джорджем Харви. Спросите *его,* шучу я или делаю дело. Да и вам следовало бы знать меня получше. Разве мы не вместе прятали концы в воду, а, Цыпа?

На суровом лице Грега неожиданно появилась отрезвляющая улыбка — отрезвляющая для Гендрона, потому, что тот позволил Стилсону втянуть себя в кое-какие строительные махинации. Они заработали хорошо, действительно хорошо, ничего не скажешь. Но в силу ряда обстоятельств застройка Саннингдейлской территории (да честно говоря, и Лорелской тоже) не была на сто процентов законной. Например, дали взятку представителю АООС[1], и это еще цветочки.

С Лорелской территорией все уперлось в старика, который жил за Риджуэйским шоссе и не желал продавать свой участок; для начала четырнадцать его цыплят вдруг подохли от какой-то таинственной болезни; потом сгорел сарай, где он хранил картошку; затем, в один из недавних уик-эндов, пока старик навещал сестру, живущую в доме призрения в Кине, кто-то вымазал собачьим дерьмом его гостиную и столовую; и тогда старик продал-таки свой участок, и Лорелская территория попала наконец в нужные руки.

И еще: этот лихач мотоциклист Санни Эллиман снова ошивается вокруг. Они с Грегом близкие приятели, и если об этом пока не говорит весь город, так только потому, что Грега привыкли видеть в компании длинноволосых хиппи, педиков и лихих мотоциклистов, которые перевоспитывались в созданном им Консультационном наркологическом центре, а также с помощью довольно необычных мер воздействия. Вместо того чтобы штрафовать или упрятывать за решетку юных наркоманов, алкоголиков и дорожных нарушителей, городские власти стали их использовать на разных работах. Это была идея Грега, неплохая идея, банкир первым признал ее ценность. Отчасти благодаря ей Грег стал мэром.

Но его нынешняя идея была чистым сумасшествием.

Грег сказал еще что-то. Гендрон не расслышал.

— Простите,— проговорил он.

— Я спросил, не хотите ли вы быть организатором моей избирательной кампании,— повторил Грег.

— Грег...— Гендрон откашлялся.— Грег, вы, кажется, не понимаете,— продолжал он. От третьего округа в палате представителей конгресса сидит Гаррисон Фишер. Он — республиканец, человек уважаемый, и, по-моему, его не сдвинуть.

— Сдвинуть можно любого,— сказал Грег.

— Гаррисон свой в доску,— ответил Гендрон.— Спросите Харви. Они вместе ходили в школу. Еще небось году в тысяча восьмисотом.

---

[1] Агентство по охране окружающей среды.

Грег пропустил мимо ушей эту тонкую остроту.

— Я назову себя Сохатым[1] или еще как-нибудь... и все решат, будто я шут гороховый... а кончится тем, что под смех избирателей третьего округа я въеду в Вашингтон.

— Грег, вы сумасшедший.

Улыбка Грега исчезла, словно ее и не было. Лицо его исказилось. Застыло, он вытаращил глаза. Такие бывают у лошади, почуявшей, что ей дали тухлую воду.

— Не вздумайте повторить что-либо подобное, Цыпа. Не дай вам бог.

Банкиру стало совсем худо.

— Грег, извините. Я просто...

— Так вот, не вздумайте повторить что-либо подобное, если не хотите в один прекрасный день столкнуться нос к носу с Санни Элиманом возле своего вонючего «империала».

Гендрон беззвучно шевелил губами.

Грег снова улыбнулся, точно солнце внезапно пробилось сквозь обложные тучи.

— Ну ладно. Не будем ссориться, раз мы собираемся работать вместе.

— Грег...

— Вы мне нужны, потому что знаете каждого бизнесмена в этой части Нью-Гэмпшира. Как только все закрутится, нам понадобятся большие деньги, так что придется, я думаю, покачать насос. Пора уже мне развернуться в масштабе всего штата, а не только Риджуэя. Полагаю, пятидесяти тысяч долларов хватит, чтобы удобрить местную почву.

Банкира, работавшего во время последних четырех избирательных кампаний на Гаррисона Фишера, так потрясла политическая наивность Грега, что поначалу он даже не знал, как продолжить разговор. Наконец он сказал:

— Грег, бизнесмены вносят деньги на кампанию не по доброте душевной, а потому что победитель должен им чем-то отплатить. Если кандидаты идут голова к голове, деловые люди дадут деньги тому, кто имеет шансы на выигрыш, а проигравшего можно потом списать по графе неизбежных расходов. Главное, чтобы имелись шансы на выигрыш. Так вот, Фишер...

— Фаворит,— подсказал Грег. Из заднего кармана брюк он вытащил конверт.— Вот, взгляните.

Гендрон с сомнением посмотрел на конверт, затем на Грега, Грег ободряюще кивнул. Банкир вскрыл конверт, у него перехватило дыхание, в обшитом сосновыми панелями кабинете надолго воцарилось молчание. Оно не нарушалось ничем, если не считать легкого жужжания электронных часов на столе банкира да шипения спички, которую Грег поднес к сигаре. Со стен кабинета смотрели литографии Фредерика Ремингтона. В прозрачном кубике светились семейные снимки. А на столе лежали фото банкира: его голова утонула в ляжках молодой черноволосой женщины — впрочем, возможно, и рыжей, поскольку по черно-белым, отпечатанным на мелкозернистой глянцевой бумаге снимкам нельзя было судить о цвете волос. Но разглядеть ее лицо не составляло труда. Кое-кто в Риджуэе сразу сказал бы, что это вовсе не жена банкира, а официантка из придорожного кафе Бобби Стрэнга, расположенного в одном из близлежащих городков.

Снимки банкира, зарывшегося головой в прекрасные формы официантки, особой опасности не представляли: ее лицо было отчетливо видно, а его — нет. Но на других даже бабушка банкира узнала бы своего внука. На этих фото были изображены Гендрон и официантка,

---

[1] Герой популярного телевизионного мультфильма.

осваивавшие целый комплекс сексуальных забав,— вряд ли там были представлены все позиции «Кама сутры», но некоторые из них наверняка не включались в главу «Сексуальные отношения» из пособия по гигиене для риджуэйской средней школы.

Гендрон поднял глаза, лицо его покрылось испариной, руки тряслись. Сердце стучало бешено. Банкир испугался, что оно сейчас разорвется.

Грег отвернулся от него. Он смотрел в окно на ярко-голубую полоску октябрьского неба, видневшегося между магазинами «Разные мелочи» и «Галантерея».

— Подул ветер перемен,— сказал Грег. В его отрешенном лице было что-то мистическое. Он взглянул на Гендрона.— Знаете, что мне дал один из этих наркоманов в Центре?

Цыпа Гендрон отупело покачал головой. Дрожащей рукой он массировал левую сторону груди — на всякий случай. Взгляд его возвращался к фотографии. Чертовы фотографии. А если войдет секретарша? Он перестал массировать грудь и начал собирать снимки, засовывая их в конверт.

— Красную книжечку председателя Мао,— сказал Грег. Из его мощной грудной клетки вырвался смешок — когда-то она была такой же хилой, как и все тело, и это вызывало у его кумира-отца почти отвращение.— В книжонке Мао есть цитата... не помню точно, как она звучит, но что-то вроде: «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу». Во всяком случае, смысл такой.

Он наклонился вперед.

— Гаррисон Фишер — не фаворит, он уже бывший. Форд тоже бывший. Маски бывший. Хэмфри бывший. Немало политиков по всей стране, начиная от мелкоты и кончая китами, проснутся на следующий день после выборов и обнаружат, что они вымерли, как птица дронт.

Грег Стилсон сверкнул глазами.

— Хотите знать, как будут развиваться события? Посмотрите на Лонгли из штата Мэн. Республиканцы выдвинули Эрвина, демократы — Митчелла, а когда подсчитали голоса, оба сильно удивились, потому что народ взял да и выбрал губернатором страхового агента из Льюистона, не желавшего иметь дело ни с одной из этих партий. Теперь поговаривают о нем как о темной лошадке, которая, чего доброго, выйдет вперед на президентских выборах.

Гендрон все еще не мог произнести ни слова.

Грег глубоко вздохнул.

— Они-то все будут думать, что я дурака валяю, понимаете? Они и про Лонгли так думали. Только я не шучу. Я строю ветряные мельницы. А вы будете поставлять строительный материал.

Он остановился, и в кабинете снова наступила тишина. Наконец Гендрон прошептал:

— Где вы достали эти снимки? Эллиман постарался?

— Да ну их. Не стоит об этом говорить. Забудьте о снимках. Возьмите их себе.

— А у кого негативы?

— Цыпа,— искренне сказал Грег,— вы не понимаете. Я предлагаю вам Вашингтон. А там развернемся, дружище! Я даже не прошу вас собрать уйму денег. Мне надо только ведро воды, чтобы запустить насос. А когда мы его запустим, доллары сами потекут. Вы водитесь с ребятами, у которых пухлые чековые книжки. Обедаете с ними. Играете в покер. Выдаете им займы под проценты — какие они сами называют. Так что вы знаете, как защелкнуть на них наручники.

— Грег, вы не понимаете, вы не...

Грег встал.

— Вроде того, как я защелкнул на вас,— сказал он.

Банкир смотрел на него снизу вверх. Глаза его беспомощно бегали. Грег Стилсон подумал, что Гендрон похож на овцу, которую ведут на убой.

— Всего пятьдесят тысяч долларов,— сказал он.— Найдите их.

Он вышел и осторожно закрыл за собой дверь. Даже сквозь толстые стены Гендрон слышал рокочущий голос Стилсона — Грег говорил с секретаршей. Секретарша — плоскогрудая шестидесятилетняя курица — хихикала со Стилсоном, как школьница. Он был шутом. Именно это качество в соединении с программой по борьбе с детской преступностью и сделало его мэром Риджуэя. Но народ не посылает шутов в Вашингтон.

Не посылал, во всяком случае.

Но это уже не проблема Гендрона. Пятьдесят тысяч долларов на избирательную кампанию — вот его проблема. Мысли банкира кружили вокруг нее, как дрессированная белая крыса вокруг тарелки с куском сыра. Возможно, план Грега и удастся. Да, возможно, и удастся... но кончится ли все на этом?

Белый конверт еще лежал на столе. Улыбающаяся жена смотрела на него из прозрачного кубика. Он сгреб конверт и сунул его во внутренний карман. Это дело рук Эллимана, можно не сомневаться.

Но навел его на эту мысль не кто иной, как Стилсон.

В конце концов, может, он не такой уж и шут. Его оценка политической ситуации семьдесят пятого — семьдесят шестого годов совсем не глупа. *Строить ветряные мельницы вместо щитов от ветра... а там развернемся.*

Но это уже не проблема Гендрона.

Пятьдесят тысяч долларов — вот его проблема.

Цыпа Гендрон, президент «Клуба львов» и вообще веселый малый (в прошлом году на праздничном параде в Риджуэе четвертого июля он катил на этаком смешном мотоциклике), вытащил из верхнего ящика стола желтый блокнот для официальных записей и начал набрасывать список имен. Дрессированная крыса за работой. А Грег Стилсон, стоя на Главной улице, поднял лицо навстречу яркому осеннему солнцу и поздравил себя с хорошо проведенной операцией — во всяком случае, хорошо начатой.

Впоследствии Джонни считал, что если он и оказался все-таки в объятиях Сэйры — почти через пять лет со дня ярмарки,— то не последнюю роль в этом сыграл визит Ричарда Диса, сотрудника журнала «Инсайд вью». Джонни в конце концов сдался и позвонил Сэйре, пригласив ее заехать, потому что им овладело страстное желание позвонить хорошему человеку и избавиться от гадкого привкуса во рту. Так он по крайней мере убеждал себя.

Он позвонил в Кеннебанк, ответила ее бывшая соседка по комнате, которая сказала, что Сэйра сейчас подойдет. Трубку положили, и во время минутной паузы он подумал (не очень всерьез), не отказаться ли ему от разговора, чтобы закрыть вопрос навсегда. Затем он услышал голос Сэйры:

— Джонни. Это ты?

— Он самый.

— Как поживаешь?

— Хорошо. А ты?

— Тоже,— сказала она.— Я рада, что ты позвонил. Я... честно говоря, сомневалась

— Мальчик с тобой?

— Конечно. Без него я никуда не езжу.

— Почему бы вам не прикатить сюда как-нибудь, прежде чем ты возвратишься к себе на север?

— С удовольствием, Джонни.— Голос ее потеплел.

— Папа работает в Уэстбруке, а я здесь и за повара и за посудо-

мойку. Он приезжает примерно в половине пятого, и в полшестого мы обедаем. Приглашаю тебя на обед, но предупреждаю: основное единственное мое блюдо — франко-американские спагетти.

Она засмеялась:

— Приглашение принимается. Когда мне лучше приехать?

— Как насчет завтра или послезавтра?

— Завтра подходит,— сказала она после едва заметного колебания.— Тогда до встречи.

— Всего хорошего, Сэйра.

— И тебе.

Он в задумчивости повесил трубку, испытывая одновременно возбуждение и чувство вины — без всякой к тому причины. Но ведь мыслям не прикажешь. А мысли его сейчас вертелись вокруг возможных последствий их встречи, о которых, вероятно, лучше не думать.

Ну вот, она все знает. Знает, когда отец приходит домой,— это самое важное,— подумал Джонни.

И сам себя мысленно спросил: *А что ты будешь делать, если она приедет утром?*

Ничего,— отвечал он, хотя не очень-то в это верил. Стоило ему подумать о Сэйре, вспомнить изгиб ее губ, зеленые раскосые глаза, и им овладевала слабость, неуверенность в себе, даже отчаяние.

Джонни отправился на кухню и начал не спеша готовить ужин — самый простой, на двоих, на отца с сыном. Жили они по-холостяцки. Не так уж плохо. Мало-помалу Джонни поправлялся. Они беседовали с отцом о тех четырех с половиной годах, которые прошли мимо Джонни, о матери — к этой теме они подбирались осторожно, но все ближе и ближе, словно по спирали. Тут, наверное, важнее было не понять то, что случилось с матерью, а прийти к какому-то согласию. Нет, дела не так уж плохи. Всему как бы подводился итог. Для них обоих. А с января он снова будет преподавать в Кливс Милс, начнется новая жизнь. Он получил от Дейва Пелсена полугодовой контракт, подписал его и отослал назад. Что тогда будет делать отец? Жить дальше, полагал Джонни. У людей вырабатывается привычка, живут себе — и все, разменивают день за днем без особых переживаний, без большого шума. Он будет навещать Герберта почаще, каждый уик-энд, если нужно. Многое так быстро изменилось, что Джонни оставалось лишь медленно двигаться на ощупь, подобно слепцу в незнакомой комнате.

Он поставил жаркое в духовку, пошел в гостиную, включил телевизор, затем выключил. Сел и стал думать о Сэйре. *Ребенок,* размышлял он. *Если она приедет рано, ребенок за нами присмотрит.* Так что все в порядке. Тылы прикрыты.

Но от беспокойных мыслей отделаться не удавалось.

На следующий день она появилась в четверть первого на модном маленьком «пинто» красного цвета, проехала по подъездной дорожке, припарковалась и вышла из машины — высокая, красивая; мягкий октябрьский ветерок шевелил ее светлые волосы.

— Привет, Джонни! — крикнула она, подняв руку.

— Сэйра! — Он спустился вниз и пошел навстречу; она запрокинула лицо, и Джонни осторожно коснулся губами ее щеки.

— Дай-ка я сначала вытащу императора,— сказала она, открывая заднюю дверцу.

— Тебе помочь?

— Нет, мы прекрасно управляемся сами, правда, Денни? Давай, малыш.— Ловким движением она расстегнула ремни, удерживавшие пухлого кроху на сиденье, и взяла его на руки. Денни, несколько обалдевший, с серьезным любопытством оглядел двор, затем его взгляд остановился на Джонни. Он заулыбался.

— Угу! — сказал Денни и замахал ручонками.

— Кажется, он хочет к тебе на руки,— сказала Сэйра.— Очень странно. Денни — истинный республиканец, весь в отца, он довольно сдержан в проявлении чувств. Хочешь подержать его?

— Конечно,— сказал Джонни с некоторой опаской.

Сэйра улыбнулась.

— Он не разобьется, да ты и не уронишь его,— сказала она, передавая Джонни малыша.— А если уронишь, он скорее всего подпрыгнет как мячик. *Отвратительно* толстый ребенок.

— Угу! — произнес Денни, доверчиво обвив рукой шею Джонни и довольно глядя на мать.

— Просто поразительно,— сказала Сэйра.— Он никогда не идет к... Джонни? Джонни?

Едва ребенок обнял Джонни, как на того нахлынули самые разные чувства, будто его омыли ласковые потоки нежной воды. Джонни заглянул в душу малыша. Ничего темного, ничего тревожного. Все предельно просто. Ни намека на его будущее. Ни беспокойства. Ни горьких воспоминаний. И никаких слов, лишь ощущение тепла, чистоты и образы — матери, какого-то мужчины, то есть самого Джонни.

— Джонни? — Сэйра с тревогой смотрела на него.

— А?

— Все в порядке?

Она спрашивает меня о сыне, дошло до него. Все ли в порядке с Денни? Есть ли причины для тревоги? Какие-нибудь неприятности?

— Все отлично,— сказал Джонни.— Если хочешь, пойдем в дом, но обычно я торчу на веранде. Еще насидимся у плиты — впереди целый день.

— Что может быть лучше веранды. А Денни, похоже, хочет освоить двор. *Большой двор*, говорит он. Да, малыш?— Она потрепала сына по волосам, и Денни засмеялся.

— А его можно оставить одного?

— Можно, только вдруг он захочет съесть какую-нибудь щепку.

— Они большие, я их заготовил для растопки,— сказал Джонни, осторожно опуская Денни на землю, словно китайскую вазу династии Мин.— Заодно и размялся.

— Как ты себя чувствуешь?

— По-моему, лучше некуда,— сказал Джонни, вспомнив, как он припечатал Ричарда Диса несколько дней назад.

— Вот и хорошо. А то ты был слабоват, когда я последний раз тебя видела.

Джонни кивнул:

— Операции.

— Джонни...

Он взглянул на нее, и снова все странно соединилось, какие-то догадки, чувство вины и затаенное ожидание чего-то. Она смотрела на него — честно и открыто.

— Что?

— Помнишь... насчет обручального кольца?

Он кивнул.

— Оно было там. Там, где ты сказал. Я выбросила его.

— Выбросила? — Он нисколько не удивился.

— Я выбросила его и ни слова не сказала об этом Уолту.— Она тряхнула головой.— Сама не знаю почему. С тех пор оно не дает мне покоя.

— Забудь о нем.

Они стояли на ступеньках, лицом к лицу. Кровь прихлынула к ее щекам, но глаз она не опустила.

— Я хочу, чтобы мы кое с чем покончили,— сказала она просто.— Пока что нам такой случай не представлялся.

— Сэйра... — начал было он и умолк. Он совершенно не знал, что

говорить дальше. Внизу Денни проковылял шесть шагов, плюхнулся на землю и радостно гукнул, не теряя присутствия духа.

— Да,— сказала она.— Не знаю, хорошо это или плохо. Я люблю Уолта. Он порядочный, любить его легко. Единственное, на что я, наверное, способна, это отличить достойного человека от плохого. Дэн — тот парень, с которым я встречалась в колледже,— был из плохих. Ты дал мне почувствовать совсем другое, Джонни. Без тебя я никогда не смогла бы оценить Уолта.

— Сэйра, ты не должна...

— Нет, *должна*,— возразила она. Голос ее стал низким и напряженным. — Потому что такое говорится раз в жизни. И человек либо понимает тебя, либо нет, но в любом случае все сразу становится на свои места, потому что снова затевать подобный разговор уже невмоготу.— Она смотрела на него умоляюще.— Ты понимаешь?

— Да, кажется, понимаю.

— Я люблю тебя, Джонни,— сказала она.— И всегда любила. Я пыталась убедить себя, что мы разлучились по воле божьей. Не знаю. Разве испорченная сосиска — это тоже воля божья? Или те двое, мчащиеся среди ночи по шоссе? Единственное, чего я хочу... — Теперь она говорила с каким-то странным нажимом, слова ее звенели в прохладном октябрьском воздухе, словно золотая пластинка под молотком чеканщика: — Единственное, чего я хочу,— это получить то, что было у нас отнято.— Голос ее дрогнул. Она опустила глаза.— Хочу всей душой, Джонни. А ты?

— Да,— сказал Джонни. Он протянул руки, но Сэйра отрицательно покачала головой и отступила. Он смутился.

— Только не при Денни,— сказала она.— Может, это и глупо, но только я буду чувствовать себя так, будто изменяю мужу у него на глазах. Я хочу испытать все, Джонни.— На щеках ее вновь появился очаровательный румянец, он подействовал на Джонни опьяняюще.— Я хочу, чтобы ты обнимал меня, и целовал, и любил,— сказала она. Голос ее снова дрогнул, почти оборвался.— Наверное, это нехорошо, но я ничего не могу с собой поделать. Пускай нехорошо, зато правильно. Справедливо.

Он смахнул слезу, которая медленно сползала по ее щеке.

— Один-единственный раз, да?

Она кивнула.

— Сейчас мы попробуем вернуть все, что потеряли за эти годы. Все, что было бы, не случись непоправимое.— Она подняла глаза, они были еще зеленее, чем всегда, и полны слез.— Мы сможем вернуть все сразу, Джонни?

— Нет,— улыбаясь, сказал он.— Но можем попытаться.

Она с нежностью взглянула на Денни, который безуспешно старался влезть на чурбак.

— Он будет спать,— сказала она.

Они сидели на веранде и смотрели, как Денни играет во дворе под бездонно голубым небом. Они не спешили, казались спокойными, хотя их постепенно охватывало возбуждение — они оба это чувствовали. Сэйра расстегнула пальто и села на качалку, закинув ногу на ногу; она была в светло-голубом шерстяном платье, волосы в беспорядке раскинулись по плечам, их шевелил ветер. Румянец не сходил с ее щек. А высоко в небе с запада на восток плыли белые облака.

Сэйра с Джонни болтали о разных мелочах — торопиться было некуда. Впервые после выхода из комы Джонни не считал, что время — его враг. Отняв у них главное, оно предоставило им эту маленькую отдушину, и теперь они могут использовать ее — ровно столько, сколько понадобится. Они говорили о знакомых, которые поженились, о девушке из Кливс Милс, получившей именную стипендию, о независимом губернаторе штата Мэн.

— Посмотри на него,— сказала Сэйра, кивая в сторону Денни.

Малыш сидел на траве подле решеток для плюща, поставленных Верой Смит; он засунул в рот большой палец и сонно глядел на Сэйру и Джонни.

Она достала с заднего сиденья «пинто» походную кроватку.

— Можно его уложить на веранде?— спросила она Джонни.— Ведь совсем тепло. Пусть поспит на свежем воздухе.

— На веранде ему будет хорошо,— сказал Джонни.

Она поставила кроватку в тени, уложила в нее сына и закрыла его до подбородка двумя одеяльцами.

— Спи, малыш,— сказала она.

Он улыбнулся ей и тут же закрыл глаза.

— Вот и все? — спросил Джонни.

— Вот и все,— согласилась Сэйра. Она подошла к нему и обхватила его шею руками. Он услышал, как под платьем зашуршала нижняя юбка.— Я хочу, чтобы ты поцеловал меня,— сказала счастливая Сэйра.— Я ждала пять лет, Джонни, когда ты снова меня поцелуешь.

Он обнял ее за талию и осторожно поцеловал. Ее губы раскрылись.

— Ах, Джонни,— сказала она, уткнувшись ему в шею.— Я люблю тебя.

— Я тоже люблю тебя, Сэйра.

— Куда мы пойдем?— спросила она, отстраняясь. Глаза ее стали ясными и темными, как изумруды.— Куда?

— Сэйра...

— Нет, Джонни. Не говори ничего. Пора.

— Я только хотел сказать, какая ты красивая.

— Правда?

— Правда,— ласково сказал он.— Милая Сэйра.

— Мы все вернули? — спросила она.

Джонни улыбнулся.

— Мы сделали все, что могли.

Вернувшись домой из Уэстбрука, Герберт как будто не удивился, увидев Сэйру. Он поздоровался с ней, повозился с ребенком и упрекнул Сэйру за то, что не приезжала с сыном раньше.

— У него ваши волосы и цвет лица,— сказал Герберт.— Думаю, что и глаза будут такие же, когда перестанут меняться.

— Лишь бы умом пошел в отца,— сказала Сэйра. Она надела передник поверх голубого шерстяного платья. Солнце садилось. Еще минут двадцать и будет совсем темно.

— Вообще-то стряпней у нас занимается Джонни,— сказал Герберт.

— Разве ее остановишь? Пришлось уступить силе.

— Может, оно и лучше,— сказал Герберт.— А то от тебя, кроме франко-американских спагетти, ничего не дождешься.

Джонни швырнул в отца журналом, и Денни залился высоким, пронзительным смехом, который отдавался во всех уголках дома.

Неужели отец все понял?— спрашивал себя Джонни. *У меня, наверно, это на лице написано.* Потом, когда в чуланчике отец искал коробку со старыми игрушками Джонни, которые Герберт не позволил Вере раздаривать, Джонни решил: *Наверное, он понимает.*

Они ужинали. Герберт спросил Сэйру, что делает Уолт в Вашингтоне, и она ответила, что муж отправился на конференцию по поводу земель, которые индейцы требуют обратно; на таких совещаниях, сказала она, республиканцы в основном выясняют, куда дует ветер.

— Большинство политиков, с которыми Уолт встречается, уверены, что, если в будущем году выдвинут Рейгана вместо Форда, это будет означать смерть партии,— сказала Сэйра.— А если Великая Старая

Партия умрет, то Уолт не сможет баллотироваться на место Билла Коэна в семьдесят восьмом году, когда Коэн будет претендовать на место Билла Хатауэя в сенате.

Герберт наблюдал, как Денни старательно поглощает фасоль, один стручок за другим, пуская в дело все свои шесть зубов.

— Не думаю, что у Коэна хватит терпения ждать до семьдесят восьмого года, чтобы попасть в сенат. Он выступит против Маски в будущем году.

— Уолт говорит, что Коэн не такой уж болван,— сказала Сэйра.— Он подождет. Уолт считает, что его собственный шанс не за горами, и я начинаю ему верить.

После ужина они сидели в гостиной, и разговор ушел от политики. Они смотрели, как Денни играет со старыми деревянными машинками и грузовиками, которые молодой еще Герберт Смит смастерил для своего сына двадцать пять с лишним лет назад. Молодой еще Герберт Смит, муж крепкой, добродушной женщины, выпивавшей иногда вечером бутылочку пива «Черная марка». У него не было ни сединки в волосах, он связывал с сыном большие надежды.

Он, конечно же, понимает, думал Джонни, отпивая кофе. *Знает он или не знает, что произошло между мной и Сэйрой сегодня днем, подозревает или не подозревает, что могло произойти, он понимает главное: это большой самообман. Ни изменить, ни исправить ничего нельзя, можно лишь попытаться примириться. Сегодня днем мы с ней заключили брачный союз, которого никогда не будет. И вот сегодня вечером отец играет со своим внуком.*

Джонни вспомнил о Колесе судьбы — вот оно замедляется, останавливается.

Зеро. Все проигрывают.

Подкралось уныние, гнетущее чувство безысходности, но он отогнал его прочь. Еще не время грустить; во всяком случае, не сейчас.

В половине девятого Денни стал капризничать, сердиться, и Сэйра сказала:

— Пора нам ехать, ребята. По дороге в Кеннебанк он может пососать свою бутылочку. Мы и трех миль не проедем, как он отключится. Спасибо за прием.— Ее блестящие зеленые глаза на мгновение нашли глаза Джонни.

— Это вам спасибо,— сказал Герберт, вставая.— Правда, Джонни?

— Правда,— сказал тот.— Я помогу тебе отнести кроватку, Сэйра.

В дверях Герберт поцеловал Денни в макушку (малыш захватил в свой пухлый кулачок нос Герберта и стал его давить так, что у отца Джонни глаза наполнились слезами), а Сэйру в щеку. Джонни отнес кроватку к красному «пинто», и Сэйра дала ему ключи, чтобы он мог все сложить на заднее сиденье.

Когда он с этим покончил, она стояла у передней дверцы и смотрела на него.

— Мы сделали все, что смогли,— сказала она и слегка улыбнулась. Но по блеску ее глаз он понял, что она готова опять расплакаться.

— Было совсем не плохо,— сказал Джонни.

— Ну что, будем видеться?

— Не знаю, Сэйра. А ты как думаешь?

— Нет, пожалуй. Это было бы слишком просто, правда?

— Да, довольно просто.

Она подошла и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Он чувствовал запах ее волос, чистых и душистых.

— Будь здоров,— прошептала она.— Я буду думать о тебе.

— Всего тебе, Сэйра,— сказал он и провел пальцем по ее носу.

Она повернулась, села за руль — эффектная молодая женщина, муж которой идет в гору. Через год они будут ездить уже не на «пинто», подумал Джонни.

Зажглись фары, мотор застучал, точно швейная машинка. Сэйра махнула Джонни рукой, и автомобиль тронулся с места. Джонни стоял рядом с чурбаком, засунув руки в карманы, и смотрел ей вслед. В сердце словно что-то закрылось. Но это казалось не таким уж важным. Совсем не важным — вот что было хуже всего.

Он подождал, пока не скрылись из виду задние фонари, затем поднялся по ступенькам веранды и вошел в дом. Отец сидел в высоком кресле-качалке в гостиной. Телевизор был выключен. Он смотрел на игрушки, которые нашел в чулане и которые теперь валялись на ковре.

— Рад был повидать Сэйру,— сказал Герберт. — Вы с ней... — последовало секундное, почти незаметное колебание.— Хорошо провели время?

— Да,— сказал Джонни.

— Она еще приедет?

— Нет, не думаю.

Они смотрели друг на друга.

— Ну что ж, может, оно и к лучшему,— сказал наконец Герберт.

— Да. Может, и так.

— Твои игрушки,— сказал Герберт, становясь на колени и собирая их. — Я отдал целую кучу Лотте Гедроу, когда она родила двойню, но кое-что еще осталось. Я их припрятал.

Одну за другой он осматривал игрушки, вертел в руках и укладывал в коробку. Гоночный автомобиль. Бульдозер. Полицейская машина. Пожарная машинка, с которой слезла почти вся краска в том месте, где ее хватала маленькая ручонка. Он отнес их в чулан и снова спрятал.

Джонни расстался с Сэйрой Хэзлит на целых три года.

(Продолжение следует)

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ

Перевод с испанского и вступление СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Говорят, Леон де Грейфф, когда ему перевалило за семьдесят, на все вопросы репортеров о здоровье и самочувствии отвечал одинаково: «Зря волнуетесь, молодой человек. Я умру летом 2000 года, потому что мне исполнится в ту пору ровно сто пять лет».

Шутливое пророчество не сбылось: Леон де Грейфф скончался за неделю до своего восемьдесят первого дня рождения. Следующим утром на первых полосах газет Латинской Америки и Испании жирно чернел траур типографской краски: «Колумбия потеряла своего лучшего поэта».

Леон де Грейфф, полное имя которого — Франсиско де Асис Леон Бохислао де Грейфф Хёслер, действительно обрел в последние десятилетия национальную славу, хотя, казалось бы, и природа, и судьба, и сам он все сделали для того, чтобы этого не случилось.

Этот «мечтательный скандинав», в чьих жилах смешалась шведская, немецкая и славянская кровь (назван он был, кстати, Леоном в честь Льва Толстого), этот «неисправимый язычник», которому довелось родиться в наикатолической провинции колумбийского запада, этот певец «противуречий», эпатировавший даже местных авангардистов полным безразличием к литературным кумирам своего времени, этот «алхимик слова», будто нарочно отгородившийся от массового читателя частоколом странных метафор и дерзких неологизмов, — мог ли он рассчитывать на широкое признание соплеменников?

Он и не рассчитывал, он просто писал — и считал. Писал стихи, считал колумбийские песо, а также мили и километры, зарабатывая хлеб насущный в отделе статистики железнодорожного ведомства, а затем — в Центральном государственном банке. Впрочем, завоевав репутацию национального поэта, он сподобился и более престижных назначений: заведовал отделом культуры в министерстве образования, был послом в милой его сердцу Швеции. Но более всего он любил сидеть вечерами в кофейнях «Виндзор» и «Аутоматико» в центре Боготы, которые именовал «фабриками поэзии» — там за дымящейся чашечкой кофе и рождались его стихи.

Ни средней школы, ни университета он так и не закончил. Из лицея его на последнем году обучения исключили за драку с воспитанниками иезуитского колледжа и за оскорбление преподобного отца Каетано, которому юный бард заявил, что этот служитель церкви «не поп, а вонючий роялист». Из горного института он был отчислен за пощечину инженеру-наставнику, непочтительно отозвавшемуся о его «невразумительном стихоплетстве». Объявив домашним, что он отправляется в столицу изучать право, де Грейфф с головой уходит в литературную работу.

Печатаются его стихи, выходят его книги. Степенный обыватель, вкус которого воспитывался эпигонами латиноамериканского романтизма и модернизма, был шо-

кирован не только формой этих странных сочинений, но и «заморскими» псевдонимами, под которыми они публиковались: Эрик Фьордсон (скорее всего швед), Гаспар фон дер Нахт (явный немец), Сергей Степанович Степанский (по-видимому, русский). Ну ладно еще Лео Легрис или Матиас Альдекоа, но — Беремундо-Глупый? А названия сборников? «Поэтические выкрутасы», «Книга знаков», «Вариации вокруг ничего», «Груда хлама»... К тому же сочинитель водит дружбу с «левыми элементами»: однажды его даже бросили в тюрьму, а все рукописи конфисковали — поступил сигнал, что де Грейфф связан с подпольщиками. Впрочем, вскоре в камеру к нему явился жандармский офицер: «Вот ваши стихи, маэстро, и разрази меня гром, если я что-нибудь понял!»

Этот эпизод отнюдь не повлиял, однако, на общественный темперамент поэта: де Грейфф вскоре становится членом колумбийского Совета защиты мира, вступает в Комитет борьбы за освобождение политических заключенных. Подобный шаг в годы кровавой диктатуры Рохаса Пинильи (1953—1957) требовал немалого гражданского мужества, но де Грейффу было его не занимать: не зря он, заполняя анкеты, в графе «религия» писал «вольнодумство», не зря он гордился тем, что засевшая «в печенках у зелобуржувья» его поэзия «грызет устои злодержавья».

Что же касается непонятливого жандарма... О «непонятности» де Грейффа писали много. Уподобляли «грейффизм» испанскому барокко, а колумбийского поэта — знаменитому «темному» Гонгоре [1]. Кое-какие основания для этого, наверное, были: де Грейфф широко использует полузабытые слова, смелые неологизмы, туманные аллюзии; придает стиху непривычную для испанского слуха «русскую» консонантную музыкальность, основанную на перекличке согласных, а не гласных звуков, связывает аллитерационным костяком целые стихотворения, именуя их, скажем, «Фантазии квази уна соната», «Сонатина-ля-бемоль», «Сонатина для фортепиано и флейты». Ассоциативные контакты его поэтической мысли всегда непредсказуемы; он свободно владеет языком испанского средневековья, Золотого Века, эпохи Просвещения; он смело вводит в действие обойденные традицией метры: «...заморским ямбом не пренебрегу я...»

И однако, при всем внешнем сходстве де Грейфф бесконечно далек от Гонгоры. Конечно, он поэт барочного толка, и поэтому поэт латиноамериканский,— ведь еще Алехо Карпентьер прозорливо заметил: «Барокко по своей сути и по своему контексту — всеобщий стиль латиноамериканской культуры». Но и к устоям этого барокко де Грейфф тоже относится как бы свысока. Он постоянно подтрунивает и над собой, словно не воспринимая всерьез самого себя и свое творчество:

Как? Трубка вкупе с бородой — и их союза
довольно, чтоб я слыл поэтом? Да, но я ж
отнюдь не потому свой байронский вояж
по департаменту (служебную обузу)
рифмую... Не нужны мне лавры толстопуза,
которому в башку втесалась эта блажь:
потеть, скрипя пером... И вот он входит в раж,
и за косы дерет похищенную музу...

Вообще, как правило, его тезис изначально содержит в себе элемент насмешливого отрицания и поэтому не требует высказанной антитезы для достижения истинной — диалектической — глубины. Неискушенный читатель, не заметив этого завуалированного противоречия, может воспринять всерьез иную декларацию поэта — и тогда его стихи покажутся сгущенной пародией в духе, скажем, Козьмы Пруткова. Переводчик тоже может легко поддаться соблазну воспроизвести лишь внешнюю — такую колоритную!— структуру его поэзии, не воссоздав отрицательных зарядов, которыми насыщена его поэтическая мысль. Пожалуй, именно это имел в виду бельгийский поэт и филолог Андре Ван Вассенхов, воскликнув: «Де Грейфф способен привести в отчаянье любого переводчика своею игрой слов и своим словотворчеством!»

С другой стороны, в предисловии к одной из книг Леона де Грейффа его близкий друг, известный колумбийский писатель, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Хорхе Саламеа сказал: «Если де Грейфф занимает сегодня один из самых высоких престолов испаноязычной поэзии... то это никак нельзя объяснить тем лишь фактом, что перед нами блестящий эрудит-версификатор и непревзойденный мастер языка, в формы которого он отливает свои строки. Высшая заслуга де Грейффа состоит именно в том, что он является творцом безошибочно угадываемого поэтического мира... Мира, овеществленного в его стихе».

Это так, и в своем излюбленном обличье — в маске насмешливого сатира издевающегося над пошлостью окружающей яви и над воспевающей эту пошлость «добропорядочной» поэзией,— Леон де Грейфф сумел сказать очень многое о подлинных ценностях непокорного человеческого духа, мятущегося в поисках истины. В интервью одной из телекомпаний он высветил эту свою «сверхзадачу» вполне грейффистской фразой: «Я свободный поэт, провалиться мне на этом месте! Да, мне трудно, ибо я должен говорить с целой вселенной, поселившейся у меня в крови!»

Один из исследователей творчества де Грейффа заметил: «Итак, гора пришла к Магомету. Не Леон де Грейфф пробился к своему читателю, а читатель дорос до понимания своего нынешнего кумира».

---

[1] Переводы стихов Луиса де Го́нгоры-и-Арго́те см. в «ИЛ», 1977, № 1.

Тридцать лет Колумбия не признавала этого поэта. Слава богу, он оказался долгожителем и следующие тридцать лет пожинал плоды всеобщей известности. Плоды эти порой бывали горькими, но Леон де Грейфф, в котором ядовитый скептицизм и железная жесткость оценок уживались с добродушной сердечностью и безунывным оптимизмом, жил, «хвалу и клевету приемля равнодушно».

Таким его и запечатлела история: низко надвинутый берет, стиснутый зубами мундштук сигареты, юно светящийся взгляд, устремленный поверх собеседника сквозь очки патриарха...

Баллада, написанная противуестественными диссонансами про естественные противуречия

I

Во славу всем сиятельным вселенным,
на страх добропорядочным селянам,
на поруганье правильным пиитам,
рожденный не пиитом, а поэтом,
я не в чернильницу перо макаю,
а в траур мрака, черный свет смакуя.
Ученый критик, проглоти пилюлю:
я демоническим огнем пылаю,
и ничего от жизни мне не надо,
чего мне не дала моя планида.

II

А мне она дала не так уж мало,
и это в целом очень даже мило,
но, черт возьми, святошам что за дело,
жива моя любовь или задуло
ее намедни бурею сторонней,
и так ли я, как некий бард старинный,
на фоне древней башни (из картона)
встречаю вдохновение картинно,
и пользуюсь ли блюдом или миской,
и не бахвалюсь ли народной маской,
как некогда Вийон — простецким гробом,
а Валентиниан — кинжалом грубым,
а Юлий Цезарь — домотканой тогой,
ну а Нерон — актерскою потугой?
Да ладно маска! Маска — это наша
почти что узаконенная ноша,
но не ношу ли часом, недостойный,
я на челе недостижимой тайны?
Не хвастаю ли, взятый из полона,
я вдруг заемной позой исполина,
как некогда Вийон — простецким гробом,
а Валентиниан — кинжалом грубым,
а Цезарь... А Нерон... А впрочем, ваше
превосходительство, смотрите выше...

III

Строфу разбойным ритмом напрягая,
заморским ямбом не пренебрегу я;
мечтатель, брошу стих я сброду дерзко,
как дискобол (то бишь метатель диска).

Но, хая и хуля, не насмехаюсь
ли сам я над собой и не страхуюсь
от всех насмешек в поисках издевки,
достойной нашей муравьиной давки?
Ирония, ты вроде челобитной,
просящей не толпы, а Человека!
Когда же испытания на склочность
вдруг выдержит и посетит нас Личность,
перед судьбой не оказавшись прахом,
как вертопрах — перед голодным брюхом
и как людская истина любая,
столкнувшаяся с истинной любовью?

IV

От жизни для себя, моя планида,
мне кроме жизни ничего не надо —
ни праздников, ни золоченой рыбки...
Вот разве что не обойдусь без трубки,
в которой — молодая ли, седая —
мерцает, словно Волопас, идея.
Мне ничего не надо, лишь бы в утро
отчалить завтра — даже против ветра.

V

Родник мечты не осушив устами,
всегда я чувствую себя в пустыне:
ведь Абсолют тогда лишь только жизнен,
когда он воплощен в одной из женщин.
Не знаю, небеса ко мне добры ли —
лишь только бы любовь не отобрали,
иначе буду тенью, Буддой мудрым,
при жизни — спящим, после смерти — мертвым.

VI

На страх добропорядочным селянам,
на поруганье праведным вселенным
мой стих грызет устои злодержавья,
мой стих в печенках у зелобуржувья:
ведь не в чернила я перо макаю,
а в черный яд и светлый миг смакую,
когда глотает критик мой пилюлю,
познав, что адским я огнем пылаю.
Жар полночи — как рана ножевая!
Мечта и ночь — лишь вами и живу я!
Люблю я женщину и в этой смуте
не чувствую сердцебиенья смерти.

Вилья-де-ла-Канделариа

Что за
пустопроза
повсевечерья пошлого —
и нынешнего,
и прошлого.
Глупое
многоголосье,
курносье и остроносье.

Прогуливаться
не проще ли
не по одной
площади?
Бредкостное толстосумье.
Занудоутрени и объедни.
Всеобщинное скудоумье.
Нехитросплетенье сплетни.

Пережеванные
пер'живанья
по поводу
биржеванья.

Гомо сапиенс,
ты, по слухам,
начал мыслить
набитым брюхом!

Одинокий

К сфинксу я отправлюсь
выспросить ответ.
Он ведь обитает
у меня в крови.

Я отправлюсь ночью,
ибо ночью нет
веры настоящей,
подлинной любви.

И пришел я к сфинксу
выспросить пароль,
к сфинксу, чья обитель
у меня в крови.

И была ответом
мне такая боль,
что себе сказал я:
бога не гневи.

Я от сфинкса слышал
странные слова.
Повторить их вряд ли
я смогу посметь.

Но от них доныне
кругом голова.
В них молчала тайна
и звучала смерть.

Так я вник случайно
в тайну бытия:
оживала тайна,
умирало «я».

Сирены

Морская гладь — как синяя арена.
За горизонтом, где-то вдалеке
поют сирены.

Тьфу, что за чушь! Маяк на маяке
и вдруг — сирены?

Ну нет уж, дудки! Нас не проведешь.
Сирены — это миф, а значит —
ложь.
Но хоть убей — они-таки поют,
поют сирены!

И как чертовски хорошо поют,
как вкрадчиво, как нежно,
как смиренно!

Для каждого, кто не родился глух,
там, за чертою меркнущей вселенной,
они поют и завораживают слух,
они поют — сирены!

Погасло солнце, и маяк потух...
Вы слышите — поют,
вы слышите: они-таки поют,
они поют — сирены!

Железнодорожное

В тропики божьи
инженебог
вводит дорожье
железно-дрог.

Пар подле пальмы?
Переполох!
(Слышите, парни?
Взяли врасплох!)

Велено свыше?
Ну погоди же,
партарантас!

От ново-жденья
срельсосхожденье
вылечит вас!

Ветер

Гипопотам
не так тяжел.
Трещит по швам
столетний ствол.

Дрожит земля,
ревет река:
ни корабля,
ни тростника.

От этой бури меркнет свет.
Не пожелаю и врагу,
чтоб так вот луч над ним потуск.

О чудо! Только наш поэт
один стоит на берегу:
он скиф или этруск?

Откровения Лео Легриса

Честолюбив (признаюсь на ушко)
я, Ле́о Ле́грис, враль и недотрога.
Тщеславие мое столь велико,
что принимает форму монолога.

Мне тесно здесь, где так не высоко,
где скука душит хваткой осьминога.
Спаси же душу стилем рококо,
тщеславия асбестовая тога!

Аплодисменты королей и пешек
и пулеметы яростных насмешек
не вызовут меня на бис и бой.

Витаю в облаках я? Ну и ладно.
Я вам невнятен? Что ж! Зато изрядно
над вами посмеюсь — и над собой.

Бессмертная баллада во славу Лео, Альдекоа и Гаспара

Справа — Троя. Слева —
Занзибар.
Альдеко́а, Лео
и Гаспар,.
ваша вечно вещая
строка —
слово человечье
на века.
Вы не предвещаете
стихий,
вы им посвящаете
стихи.

Стих морям и взгорьям
посвятив,
вы святите горем
свой мотив,
и, круша в полете
сонм помех,
нам преподаете
сон и смех.
Вы тирана ямбом
ткнете ниц,
славя дифирамбом
всех юниц.

Трое, вечносущие
везде,
поклоняясь Трое,
как звезде,
вы, морям внимая
и мечам,
насмех поднимаете
мещан.
Византия, Вавилон
и Рим —
словно три колонны
вам троим.
То смешливы губы,
то грустны.
Никому вы
не подчинены.
Балагуря в облике
рубак,
белокурый курите
табак,
кофий почитаете вы,
но
все ж предпочитаете
вино.
Лео, Альдекоа
и Гаспар!
Движет вас подкова,
а не пар,
потому вы славите
не зря
жженье жизни, женщин
и моря.
Жизнь сложить —
не оду намарать.
Учите вы жить
и умирать.

Песенка

Отдаются ветру
светлые слова.
Их берет на веру
запросто молва.

Верно, в целом свете
не найдется сил
помешать, чтоб ветер
песню разносил.

И внимают люди,
словно детвора,
древним струнам лютни,
песне гусляра.

Лечит нас от спеси
ветер-балагур.
Дарит, дарит песню
ветру трубадур.

■

Критика

ЕЛЕНА ОГНЕВА

ЭПОХА ЕДИНЕНИЯ

Заметки о кубинских романах и повестях последних лет

«Завершились для кубинских писателей времена ОДИНОЧЕСТВА»,— говорил в 1974 году Алехо Карпентьер, давая оценку новому качеству, отличающему послереволюционную кубинскую литературу. Для писателей Кубы началась новая эпоха — эпоха единения, нового мироощущения, позволяющего полнее и масштабнее воплотить «великолепную реальность современности, вписанную в контекст всего континента». Добавим к карпентьеровскому определению — и в контекст всего человечества. «Кубинская революция,— продолжал он,— дала нашему романисту бесконечное множество новых тем, которые еще ждут своего литературного воплощения в исследовании настоящего и в предвидении будущего». Сейчас, когда уже четверть века миновала после победы кубинской революции, еще ощутимее обозначилось это новое качество молодой, но на глазах обретающей зрелость литературы.

За последние годы наметилась вполне определенная тенденция: кубинская проза идет по пути все более широкого охвата жизненных проблем, все более многогранно стремится осмыслить национальную действительность. И эта действительность, «здесь и сейчас» кубинской жизни, включается писателями в широкий многоплановый контекст: исторический и латиноамериканский, о которых говорил Карпентьер, и тем самым в обширный контекст проблем общечеловеческой значимости.

Вспомним кубинский роман 60-х годов, вошедший в историю литературы как «роман о революции»: «Бертильон-166» Хосе Солера Пуига (1960), «Так было» Лисандро Отеро (1963) [1]. Это были своеобразные «сводки с поля боя», моментальные снимки, запечатлевшие жизнь предреволюционной и революционной Кубы — иных задач в ту пору, пожалуй, и не ставили перед собой молодые писатели. Одновременно складывался и иной тип повествования, где действительность воссоздавалась как бы увиденной глазами людей, принципиально не желавших понять и принять новое направление кубинской истории, людей, чьи часы остановились раз и навсегда, когда прозвучала весть о победе кубинской революции. Бытие вне времени, наперекор ему, на ревниво оберегаемом островке прошлого, который все труднее уберечь от дыхания большой жизни,— трагическая иллюзия персонажей повести Густаво Эгурена «Тени на белой стене» — людей, искусственно продлевающих для себя и своих близких «времена одиночества».

Путь от одиночества к единению, выбор жизненной позиции, самоопределение человека в эпоху надвигающихся или свершившихся революционных перемен — проблема, к которой так или иначе обращаются все кубинские писатели. И если в произведениях 60-х годов выбор позиции героев у Отеро выглядел еще результатом стихийного протеста против несправедливостей и насилия, чинимых при диктатуре Батисты, или интуитивного стремления к самоутверждению действующей личности, то в позднейшей прозе он предстает уже детерминированным. Художественная философия исто-

[1] Из упомянутых в статье произведений в «ИЛ» были опубликованы следующие: «Последняя женщина и близкий бой» М. Кофиньо Лопеса (№ 1, 2, 1973); «Тени на белой стене» Г. Эгурена (№ 1, 1974); «Превратности метода» А. Карпентьера (№ 9, 10, 1977); «Генерал на коне» Л. Отеро (№ 7, 1983). (*Здесь и далее — прим. авт.*)

рии становится неотъемлемой частью кубинской прозы.

В романах 70-х годов, например в «Таком же городе» (1970) Л. Отеро, не результат, а процесс этого выбора привлекает писательское внимание. Расширяется панорама изображаемого, в рассказ о событиях 50-х годов вторгается еще один голос, ведущий разговор об истории движения за независимость Кубы в прошлом столетии, борьбы против диктатора Мачадо в 30-е годы нашего века,— словом, параллельно, вызывая ассоциации, проясняя, вычерчивая траекторию исторической неизбежности, возникает особый контекст, позволяющий увидеть жизненный выбор героя не как решение частной проблемы, а как знамение времени, социально-историческую закономерность. Это почти физическое ощущение исторического времени, перелома влечет за собой и обостренное чувство ответственности перед собой, своей страной, всем человечеством, ответственности, которую налагает жизнь в такую эпоху.

Предтечей подобного мироощущения в кубинской литературе стал Алехо Карпентьер [1]. Воссоздав в «Веке Просвещения» (1962) судьбу латиноамериканцев, кубинцев в революции, писатель привлек внимание к важнейшей философской проблеме — «состыковке», пересечению двух времен: европейского, «живого», бывшего для всех во все эпохи показателем Истории, и иллюзорно-неподвижного времени дотоле «спящего» континента, разбуженного грозным эхом Великой французской революции. Затем отразил иной лик времени в повести «Право политического убежища» (1971); точнее — не лик, а маску, маску «вечного возвращения», иллюзию заданности и повторяемости латиноамериканской истории. Свои размышления об истинном и мнимом лице истории Карпентьер продолжил в романе «Превратности метода» (1974), оказавшем, по единодушному признанию кубинских писателей, огромное влияние на формирование национальной прозы конца 70-х — начала 80-х годов.

Как рождается это ощущение вечного повторения? Из неправомерного обобщения, из попыток распространить на все сферы латиноамериканской жизни отдельные — трагические — черты ее повседневной практики. Из недооценки собственного, латиноамериканского бытия, из неумелого соотнесения своего оригинального опыта с историческим опытом Старого Света. Карпентьеровский диктатор, космополит и доморощенный философ, на свой лад переиначивая декартовское «Рассуждение о методе», отказывается видеть у себя на родине что-то иное, кроме неумелого, неуклюже-провинциального и наивного слепка с более высоких образцов цивилизации, и ищет в размышлениях французского мыслителя апологию неизбежности, более того — необходимости диктаторской власти.

Линию Карпентьера продолжает Лисандро Отеро в повести-памфлете «Генерал на коне» (1980). Как и у Карпентьера, у Отеро латиноамериканская действительность, выписанная тщательно, с обилием легко узнаваемых реалий, предстает в сгущенной, сконцентрированной форме, где органично сплавляются черты памфлета и притчи. Вновь перед нами «забуксовавшая» машина историй, череда почти буквальных повторений в словах и поступках власть имущих, всеми правдами и неправдами старающихся не упустить эту власть. Генерал Анисето Мендоса, «калиф на час», президент на один день, успевает наглядно продемонстрировать, насколько страшным бедствием для народа становится неограниченная власть одиночки, власть, ставшая самоцелью, вне принципов и морали. Кубинский писатель не мог, по его собственному признанию, не откликнуться на голоса А. Карпентьера, Г. Гарсиа Маркеса и А. Роа Бастоса, стремившихся дать художественное и философское осмысление губительной роли диктатур в исторической судьбе народов Латинской Америки.

Включаясь в этот разговор, Отеро порой обыгрывает, творчески переосмысливает те или иные положения своих литературных предшественников. Он наделяет генерала Мендосу беспардонным цинизмом карпентьеровского Главы Нации; делает его одновременно и примером и поклонником «мачизма», культа сильных мужчин, которыми завоевано право в жизни быть «на коне», подобно Патриарху у Гарсиа Маркеса; кроме того, Мендоса постоянно предается рефлексии, стремится логически обосновать свои поступки, хотя и не знает сомнений, терзающих Верховного в романе Роа Бастоса.

Сознательно наделяя своих героев чертами известных уже всему миру персонажей антидиктаторских романов, Отеро создает мозаичный портрет обреченного тирана, чья философия — философия личной власти ради самой власти. Симптоматично, что его политическая авантюра длится столь недолго. Круг замыкается: генерал возвращается в свое имение с титулом экс-президента выращивать племенных лошадей, которых оседлают другие. Символичная деталь! Иное дело — сменивший его генерал Пуга: «Затем диктатор стал читать декрет, по которому все политические партии объявлялись распущенными, находящимися вне закона. Пуга, видимо, удержится, подумал Мендоса». Пуга — диктатор пиночетовского толка, у него собственная концепция правопорядка, основанного на силе, жесточайшем подавлении всех видов оппозиции. И главное, он не одиночка, не удачливый плут, не «патриарх», чья власть основана на вере масс в его мифические возможности; бесцветный Пуга представляет группировку, вполне определенные круги, которым удается привести к власти хунту фашистского типа. В финале романа Лисандро Отеро вводит новый для прозы континента тип диктатора, а это — весьма актуальное добавление к разговору о феномене латиноамериканской диктатуры.

В «Генерале на коне» Отеро использует уже сложившийся в его творчестве художественный прием: соотнесение происходящего с историческим прошлым страны. Вновь перед нами «вертикальный срез» на-

[1] Подробнее о творчестве этого писателя и его значении см. в статьях С. Мамонтова и Ю. Дашкевича («ИЛ», 1983, № 4: «Алехо Карпентьер сегодня»).

ции; теперь это — галерея «говорящих» портретов в президентском дворце. История каждого правителя, хорошо знакомая эрудиту Мендосе,— свидетельство длительного или короткого пребывания «на коне» его предшественников, то есть история алчности, насилия, злоупотреблений властью. Перед читателем — вся смена укладов в Латинской Америке: портрет испанского конкистадора уступает место портрету бывшего раба, провозгласившего себя монархом, а тот — гордому лику представителя местной знати, разбогатевшего работорговца... И венчать собрание полотен, видимо, будет какое-то время портрет генерала Пуги. Но включение исторического контекста у Отеро неотвратимо приводит к тому, что встает вопрос об исторической перспективе. Разве прошлое, исполненное жестокости, лжи и ошибок, неминуемо отравит, обусловит будущее, обречет страну на цепь роковых повторений? Нет, у Отеро диктатура Пуги означает рубеж, последнюю ступень, за которой неизбежно последует взрыв народного негодования; писатель показывает, как растет недовольство, крепнет сопротивление в изображенной им республике Сан-Никаринго.

Мы оставляем героев Отеро на рубеже, за которым начнется новая эпоха, возникнет новая точка отсчета. Такое ощущение рубежа, поворота прочно входит в кубинскую литературу последних лет. Перешагнуть этот рубеж дано героям недавно переведенного у нас романа Карпентьера «Весна священная» (1978). Книги, на примере которой можно говорить уже не только о влиянии выдающегося мастера на формирование кубинской литературы, но и об обратной связи — воздействии идейного потенциала молодой кубинской прозы на такого сложившегося писателя, как Карпентьер. «Весна священная» стала синтезом исконно карпентьеровского философского романа и кубинского «романа о революции». Герои писателя — кубинец Энрике и русская Вера — ровесники века, ищут, как и персонажи Ноэля Наварро, Лисандро Отеро, своего места в мире, выбирая жизненную позицию. Революционная Россия, республиканская Испания, антифашистское Сопротивление и, наконец, подъем антидиктаторской борьбы на Кубе 50-х годов, победа революции и битва на Плайя-Хирон — вот вехи пути, по которому проходят карпентьеровские герои, порой разочаровываясь, принимая временные поражения и ошибки за очередной виток истории по кругу, но обретая в конце концов истину в единении с другими людьми. В кубинской прозе теперь речь идет о становлении нового типа личности, полнее ощущающей себя, смысл своей жизни в единстве, в «человеческом контексте», в обнаружении себя частью человеческого сообщества. Решается эта проблема на различном материале.

За последние два-три года в обширном диапазоне тем кубинской прозы выделился еще один, до недавнего времени мало разрабатывавшийся, аспект. Речь идет об обращении кубинских писателей — среди прочих можно назвать столь широко известные на Кубе и за ее пределами имена, как Густаво Эгурен, Ноэль Наварро, Давид Бусси,— к теме незаменимости родины, к раздумью о судьбах тех кубинцев, кто вольно или невольно, поддавшись на уговоры родственников или просто в безотчетном страхе перед неизвестностью, покинул родину в самом начале 60-х годов. Сейчас Давид Бусси заканчивает работу над романом «Все огни ночи», героиня которого когда-то сделала жизненный выбор — отказавшись от родины, от любимого, уехала туда, где, казалось ей, ждет ее покой и стабильность. И, так и не найдя покоя, ежедневно и ежечасно расплачивалась за совершенную ошибку. Наступит день, когда она получит один-единственный шанс что-то исправить, но сможет ли?

С замыслом этого романа перекликается и то, над чем работает Густаво Эгурен. Первые дни после падения режима Батисты. Новая атмосфера на улицах Гаваны, взволнованные лица. Все это фиксируется в смятенном сознании ребенка, чтобы навсегда остаться в памяти. Кто был прав — дедушка, который восторженно приветствовал «барбудос», или папа, который «на всякий случай» отправил мальчика «погостить» к американским дяде и тете? Это первое в жизни путешествие знаменует собой начало другой жизни, ожиданий, тоски, воспоминаний о родине...

Путешествие — бегство, тайная переправа на моторной лодке в Майами — удел героев нового романа Ноэля Наварро «Уровень вод» (1980). И здесь опять возникает это понятие точки отсчета, рубежа, Рубикона. Семеро, в открытом море, ночью, с риском быть замеченными революционной береговой охраной, уже оторвавшиеся — кажется, безвозвратно — от своего прошлого и своей страны и пока еще только на пути к будущему, как бы вне времени... Это и завязка сюжета, и постоянное место действия: весь роман и построен на путешествии. И не на одном — параллельно разворачивается не менее важный план романа, «возвращение к истокам», если использовать один из излюбленных образов Алехо Карпентьера. Путешествие в прошлое, по дорогам памяти, откуда начался этот горестный и безнадежный «бег».

Что свело вместе семерых людей, что побудило их сесть в эту «ладью Харона» — иначе и не назовешь лодку угрюмого перевозчика Луго? Мифологическая ассоциация напрашивается настойчиво — переправа эта такова, что возврата не предполагает. Вот немощная, дряхлая старушка — она оживает, лишь когда речь заходит о ее детях: они на «той стороне», в Майами, и зовут ее к себе. Она боится, не хочет ехать, жалко оставлять родной угол, но привязанность к детям сильнее. Вот богатый делец со своим компаньоном, его случай предельно ясен: он едет туда, где на черный день открыт счет в банке. Вот негр Иньиго, который изъясняется на немыслимом жаргоне. От него в тесной лодке стараются отодвинуться все остальные — попутчики догадываются, какие «профессии» перепробовал их подозрительный сосед: захудалый актеришка, вор, сутенер, жиголо. Читателю же дано сполна ознакомиться с «послужным списком» Иньиго. Он был и шпиком в тайной полиции, и «гориллой» — охранником свое-

го шефа. Животный страх гонит его в Майами: ведь те, кого он изобретательно помогал пытать в застенках тайной полиции, теперь на свободе! И, наконец, Габриэль и Луиса, он и она, пара, которая вызывает наиболее пристальный авторский интерес. Они спешат покинуть Кубу, потому что там жизнь не сложилась!

Да, Ноэль Наварро показывает и прослеживает и такую причину: сцепление случайностей, недоразумений, упущений, которые его герои принимают за закономерность. Если что-то не вышло здесь, решают они, значит, надо начинать снова, на принципиально иной основе. Но при этом, доказывает Ноэль Наварро, за решительным шагом далеко не всегда стоит осознанная, конкретная позиция. Иногда ложным выбором мы обязаны пассивности сознания, инерции бытия, своей готовности принять кажимость за действительность. И тогда ошибка может быть еще более трагической, ибо, стоило только отбросить предвзятость, и... Впрочем, для понимания этого «и» нужно изжить внутренний разлад, достичь особой внутренней ясности. К этому и подводит Наварро своих героев.

Они не заблуждаются относительно «сладкой жизни» — ни Габриэль, ни Луиса,— той, что ждет их в Соединенных Штатах, их бегство — от себя, и потому оно заведомо обречено на провал. «Бег на месте» становится основной метафорой романа.

Прошлое настигает, захлестывают воспоминания, все острее спор с самим собой — а лодку крутит на месте с заглохшим мотором. В открытом море разыгрывается подобие классической мениппеи — спадают все маски, в экстремальных условиях люди вынуждены «определиться», высказаться до конца — может быть, впервые в жизни. Завязывается ожесточенная перепалка между вынужденными попутчиками. Неумолимо печет солнце. Потерявший рассудок делец пытается «сделать бизнес» на продаже пресной воды товарищам по несчастью. Ночью исчезает старушка, и ни у кого нет сомнения, что именно Иньиго столкнул ее за борт... Но вот меняется уровень вод, и течением лодку прибивает к берегу. Каково же изумление беглецов — они на том же месте, откуда отчалили!

Бегство от самих себя и на самом деле оказалось неосуществимым, но оно стало испытанием, чем-то вроде пробного камня для всех, кто его задумал. Иньиго, мысленно оценив свою жизнь, окончательно убеждается, что здесь ему неоткуда ждать помощи, ни от кого не дождаться помилования, и в истерическом порыве бросается — вплавь — в Майами.

Иначе обстоит дело с Луисой и Габриэлем. Неожиданно для самих себя они испытывают облегчение — закономерный итог того, «второго» путешествия, обращения к своему сердцу, к своей совести. И читателю хочется верить, что эти раздумья в пути поистине окажутся для них «возвращением к истокам», дорогой домой и сделают возможной переоценку, перестройку, избавление от заблуждений и ошибок прошлого. Ноэль Наварро оставляет своих «блудных детей» у порога, за которым — теперь уже несомненно — их ждет другая жизнь.

Перестройка сознания в новых исторических условиях, выработка новой системы ценностей, новых жизненных координат — постоянная тема творчества Мануэля Кофиньо Лопеса. Сложнейший путь, который проделывает человеческое мышление, поднимаясь от глубин мифотворчества к объективному осмыслению мира и постижению революционных идеалов, писатель проследил в двух романах — «Последняя женщина и близкий бой» (1971) и «Когда кровь похожа на пламя» (1975). Новый роман Кофиньо, «Любовь в тени и под солнцем» (1981), по выражению одного кубинского критика, «завершает необъявленную трилогию».

Действительно, эта третья книга по замыслу перекликается с первыми двумя, хотя теперь речь идет о принципиально ином уровне человеческого сознания. Магдалена Кастильо, героиня романа,— современная, образованная жительница Гаваны. Но духовная эволюция — от полнейшего отчаяния, обособленности, чувства своей бесполезности к сознательному решению быть с теми, кто строит новое общество,— дается ей нелегко. За душу Магды Кастильо ведут борьбу два человека, оценивающие происходящее на Кубе в эти первые послереволюционные годы с диаметрально противоположных позиций: ее отец, Родриго Кастильо, бывший король игорного бизнеса, после революции утративший все источники дохода, и ее возлюбленный, Маркос, один из первых реорганизаторов кубинской экономики, последовательный и убежденный революционер. Голоса Магды, Родриго и Маркоса попеременно звучат в романе, составляя спор трех жизненных позиций, трех мироощущений.

Линия, связанная с Родриго Кастильо, по жанру близка к политическому детективу, переживающему сейчас на Кубе пору особенного подъема. От логова Родриго Кастильо нити тянутся, с одной стороны, к миру обитателей гаванского «дна», с другой — к сотрудникам американской военной базы в Гуантанамо. Диверсии, саботаж на производстве, вывоз ценностей из страны, спекуляции — все средства, по мнению Родриго, хороши для борьбы с ненавистным ему новым строем. А самым ярким и реальным воплощением этого строя становится для него Маркос. Энергичный, неутомимый, предельно честный и с собой, и с окружающими его людьми, Маркос не идеализирован Кофиньо. Ему, как и всякому человеку, знакомы сомнения, он не застрахован от ошибок. На производстве, которое лишь недавно перешло в руки рабочих, он старается научить людей по-новому воспринимать смысл своего труда и учится сам — понимать, уступать или, наоборот, если это необходимо, быть непримиримым. В центре внимания писателя — отражение этого диалектического процесса в психологии его современников: люди создают новый уклад жизни, и неминуемо преображается их внутренняя сущность.

Под влиянием Маркоса изменяется и Магда. От мира Родриго, где она чувствовала себя неприкаянной и совершенно одинокой, ее отрывает любовь, и под воздействием этого чувства она начинает воспринимать

в истинном свете образ жизни, который ведут ее отец и его свита. Но и порвав с Кастильо, она оказывается лишь на полпути к полноценному человеческому существованию. «Любовь существует не для того, чтобы забыть об окружающем мире, а для того, чтобы всегда помнить о нем»,— эти слова Маркоса могли бы стать эпиграфом к книге Кофиньо Лопеса. Побороть до конца эгоизм, замкнутость на глубоко личных проблемах и переживаниях, превратить любовь в чувство созидательное, активное, согревающее всю богатую и многогранную человеческую жизнь — вот остаток пути, который предстоит пройти героине «Любви в тени и под солнцем», чтобы найти свое место среди людей.

На рубеже 70—80-х годов герой кубинской прозы приходит к самосознанию нового типа — он остро ощущает себя частью человеческих общностей разного масштаба одновременно: своего коллектива, своего народа, своего «пылающего континента» — и всего человечества. Сознает он себя и звеном в цепи Истории, наследником поколений, человеком, за спиной которого годы и века непрекращающегося труда, борьбы и надежд, а впереди — принадлежащее ему будущее.

Эти особенности новейшей прозы нашли выражение в небольшом романе Мигеля Коссио «Брюмер» (1981). Брюмер, как известно,— второй месяц французского республиканского календаря (точнее, конец октября — начало ноября). Кубинский писатель выбирает это торжественно-грозное название для событий осенних дней 1962 года, вошедших в учебники современной истории под названием Карибского кризиса. Судьба завоеваний кубинской революции, судьба страны, региона да и всего человечества должна была решаться в эти дни; на Кубе была объявлена мобилизация, и за несколько часов размеренная жизнь героя повести, 24-летнего Давида, изменилась до неузнаваемости.

...Поездка на грузовике за много километров в военный лагерь, ночные дежурства, неумелое обращение с оружием рук, привыкших к мирному труду,— все это есть в книге Коссио, и все это описано со знанием дела, точно, немногословно. Но не только на собственно событийную сторону происходящего приходится основная смысловая нагрузка повести. «Брюмер»— повествование о взрослении, о становлении личности. Вереница исторических фактов, которыми насыщена книга,— не просто вехи, знаменующие различные этапы «воспитания чувств», не просто «документальный фон», а та сила, которая закаляет Давида, заставляет его проявлять себя, формирует его как личность. Вот чем определяется и своеобразие композиции книги. Повествование у Коссио ведется в двух чередующихся между собой временных планах. Настоящая — это «брюмер», ощущение грозной опасности, мобилизация, путешествие на грузовике в ночь, разговоры с собратьями по оружию, тревожные мысли, попытки дать оценку происходящему. Прошлое — один за другим высвечиваются в памяти эпизоды: знаменательные, поворотные и те, что на первый взгляд кажутся пустяковыми. Оба эти плана нерасторжимо связаны строгой внутренней логикой: это цепь «испытаний на прочность», на самостоятельность, на человечность, на зрелость, наконец, а события месяца «брюмера» — самые важные из них.

В ряд выстраиваются даты — тот вечер, еще при диктатуре Батисты, когда охранники задержали Давида с приятелями в парке, надавали оплеух беззащитным студентам... Та новогодняя ночь 1959 года, когда все мрачное, казалось, уже позади... И тот день, когда Давид пришел записываться в ряды милисианос, чтобы бороться «за правое дело бедных», которое представлялось юноше чем-то расплывчато-туманным — «абстрактным идеалом социальной справедливости»... И последний год, когда понятие социальной справедливости обрело реальные контуры... И недавний рождественский вечер, когда родители Давида заявили, что перебираются в Соединенные Штаты, и снова (в который раз за эти три года) встал вопрос о выборе, на сей раз окончательном! И день, когда Давид встретил Элену, и день, когда узнал, что у них будет ребенок, и осознал всю меру ответственности за другого человека. И, наконец, первый день «брюмера»...

Коссио ведет повествование от второго лица, и это строгое, порой чуть ироничное, порой задушевное «ты» означает полное сведение счетов со своей совестью, со своим прошлым и настоящим, без увертoк и умолчаний — бескомпромиссное подведение итогов целой жизни перед лицом смертельной опасности. Тема атомной войны, бомбы, которая по мановению руки американского президента («стоит ему нажать кнопку— красную, голубую, белую?») может привести к всемирной катастрофе, входит в повествование Коссио с первых же страниц и присутствует во всех, даже самых «мирных» эпизодах «Брюмера». Укоряющим рефреном звучат слова: «Ты ничего не слышал о Хиросиме»,— тогда, в 1945-м, семилетний кубинский мальчик не мог осознать чудовищность происшедшего. Потом, спустя годы, вместе с кадрами фильма «Хиросима, любовь моя», пришла щемящая боль, а с кадрами кинохроники — гнев и ужас. И вот «брюмер» 1962 года несет угрозу повторения, «оживления» тех старых кадров. Напряженное ожидание часа, когда История вот-вот совершит крутой поворот и увлечет в хаос войны миллионы человеческих жизней, придает новую ценность и почти символическую значимость самым незначительным вчерашним (еще мирным!) переживаниям и поступкам: выходит, все, что было,— было в последний раз!

Личные заботы, печали, предчувствие утрат и прощаний у героя романа неразрывно связаны с ощущением причастности к событиям огромного, планетарного значения. Происходит постоянное взаимопроникновение двух планов, соотнесение двух масштабов происходящего — большого и малого, личного и общечеловеческого. Читатель следит за тем, как передвигается по ухабистым ночным дорогам грузовик с бойцами, и в то же время как бы видит перед

собой карту мира с пульсирующей «болевой точкой»— Карибским бассейном.

В романе не раз повторяется образ шахматной партии. Эта известная литературная метафора здесь, в контексте происходящего, обретает новое звучание. Партия в шахматы, любимое занятие Давида, символизирует напряженный поединок между силами мира — СССР и силами войны — США. Себе в этой «партии» Давид отводит роль пешки, но в этом образе нет ничего от слепого фатализма или самоуничижения. Он чувствует себя частью живого, слаженного, несдающегося организма, миллионной клеточкой того активного целого, которое несмотря ни на что «верит в человека, в его возможности», в то, что потомки «окончательно искоренят на земле причины насилия, ненависти и агрессии», и готов отдать за это жизнь.

Давид ощущает себя частью нового, особого братства, где отношения еще только налаживаются,— взвода, где он проходит службу. Трудно представить более непохожих друг на друга людей, чем приятель Давида, Серхио, по прозвищу Интеллигент, ни на минуту не расстающийся со своими тетрадками (там наброски будущей книги) и учебником русского языка,— и неунывающий негр Чано, который еще вчера веровал в богов афрокубинского культа, а сегодня наизусть цитирует курс атеизма. Или молчаливый, задумчивый Давид — и грубоватый, крикливый сержант Тибурон, скрывающий доброту и заботливость под суровой маской бравого вояки... Но речь идет не только о тех связях, которые крепнут между бойцами взвода. Тысячи невидимых нитей, показывает Коссио, связывают Давида и его товарищей с теми, кто следит за происходящим с разных концов планеты.

И есть еще одна нить, связующая поколения, преемственность которых сейчас особенно остро ощущает Давид: «В этой битве может сгинуть не только жизнь (это существование, которым ты так дорожишь, считая его неповторимым и прекрасным), но и все, что люди, поколение за поколением, создавали в своем вечном стремлении достичь привилегии богов — бессмертия». Это ощущение всеобщей сопричастности происходящему расширяет горизонты повествования, охватывающего все новые даты и имена.

Тема «отцов» звучит в рассказе о том, как однажды, бессонной ночью, под небом чужой, негостеприимной страны, родители Давида поняли, что ошибка их непоправима. И совсем в ином ключе — в описании «взвода стариков», ветеранов национально-революционной войны испанского народа против фашизма и движения против диктатуры Мачадо на Кубе — добровольцев, вступавших в ряды милисианос одновременно с Давидом. Присутствует эта тема в удивительном жизнеописании дяди Хорхе, участника мексиканской революции, на долгие годы потом отошедшего от всего, что связано с активным политическим действием, старого фаталиста, для которого «брюмер» оказался «пробуждением к жизни». И та же тема — в интернациональном варианте — в разговорах Давида и Серхио о блокаде Ленинграда... Так прочерчивается траектория основного направления современной истории, содержание эпохи: революционная Мексика, республиканская Испания, героический Ленинград, противостоящий фашизму,— и революционная Куба.

Эта связь — как бы «сквозная» ось истории — не просто тянется из прошлого: у Коссио она устремляется в будущее. «Через несколько недель сержант Тибурон прочтет вам приказ о демобилизации...», опасность войны минует, возобновится прерванная жизнь, а дни «брюмера» останутся в воспоминаниях «кошмаром, возникшим будто бы вне времени, в каком-то другом измерении». Но вместе с воспоминаниями об этих днях останется еще и книга, которую пишет Серхио о «брюмере», о поведении людей перед лицом опасности атомной войны, правдивая книга без громких слов — «одновременно и эпопея, и трагедия». Героем ее будет рядовой милисиано — один из многих, готовых принять на свои плечи груз опасности вселенского масштаба — такой же, как герои романа Мигеля Коссио.

Сходным мироощущением проникнут и новый роман Хосе Солера Пуига, заслуживший высокую оценку кубинской критики,— «Мир, где всего так много» (1982). Этот перевод названия носит скорее предварительный характер: мир, полный событий, переплетение человеческих судеб, петляющая нить воспоминаний, охватывающих массу имен, лиц и вещей,— очень многозначно читается заглавие романа. Звучат десятки голосов, десятки действующих лиц проходят перед нами.

Если, условно говоря, «спрямить» линию повествования, хронологические рамки происходящего охватят целое столетие — от 70-х годов прошлого века до 70-х годов века нынешнего. И вновь, как и у Карпентьера, Отеро и Коссио, в романе Солера Пуига прочерчивается пунктир истории, вновь неотторжим от основной событийной канвы исторический контекст. Борьба за независимость, война с Испанией, установление республики, годы правления Мачадо, борьба против диктатуры Батисты, победа революции и годы социалистического строительства... Одна из последних временных вех — начало подпольной борьбы против хунты Пиночета в Чили.

Мир, где всего так много,— мир неуспокоенности, постоянных битв за лучшую, достойную человека долю. Мир, жить в котором выпало на долю пяти поколениям Инфанте и четырем поколениям Ресио, семье хозяев, основателей крупнейшей фирмы по производству рома, и семье их служащих. Чтобы сказать свое слово, оживают на страницах книги те Инфанте и Ресио, которых давно уже нет на свете, они торопятся помочь, поправить старого Роберто Ресио, на пороге смерти распутывающего клубок воспоминаний. Две отдельные судьбы, у каждого рода своя, и общая судьба Инфанте—Ресио, и «большая судьба»— национальная история Кубы за истекший век, представляют собой своеобразные «колеи», по которым, повторяясь, проверяя и опровергая себя, пробиваясь сквозь толщу семейных мифов и тайн, догадок и умолчаний, идет рассказ Роберто.

Вместе уходили на войну за независимость Кубы в 1898 году дон Педро Инфанте и скромный труженик Никанор Ресио, вместе восстанавливали расстроенное войной производство, оба до конца своих дней любили одну и ту же женщину — Росу Фуэнтес. Но патриархальная идиллия оказалась призрачной. Ее не смогло скрепить и повторяющееся из рода в род, подобно проклятию, влечение мужчин Инфанте к женщинам Ресио. Уже Лико Инфанте и Роберто Ресио, дети XX века, вместе выросшие и вместе работавшие, почувствуют, что их дороги, дороги хозяина и служащего, неизбежно разойдутся: Инфанте теперь станут миллионерами, опорой режима Мачадо. По другую сторону баррикад окажутся Ресио. А с установлением на Кубе нового строя и после национализации предприятия пути двух семей разойдутся навеки. Инфанте эмигрируют, где-то рассеются по свету, перестанут существовать как род. А потомкам Ресио, внукам старого Роберто, суждено жить и трудиться на родной земле, в обновленном мире, «где всего так много», требующем от них всех сил, страсти, надежд. И не прервется род Ресио, а станет органичной частью нового человеческого общества.

«По-разному, используя все богатство оттенков своей художественной манеры, воплощают наши писатели новую, послереволюционную действительность, выделяя тем самым в особую эпоху эти двадцать пять лет — героическое и прекрасное время — в развитии нашей национальной культуры» [1],— так охарактеризовал путь, пройденный кубинской литературой за последние годы, видный деятель Компартии Кубы, писатель Уго Чинеа.

Страницы книг, созданных на Острове Свободы, убедительно свидетельствуют: новое качество кубинской литературы во всей полноте отразило новое качество самой жизни кубинцев. Об этом говорилось и на Первом форуме кубинской литературы (октябрь 1983 года), где подводились итоги четвертьвекового развития литературы. «Главное, что сейчас следует отметить,— писала в те дни «Гранма»,— это даже не столько количество новых писательских имен и значительных произведений, созданных за эти истекшие двадцать пять лет, сколько неразрывное единство писателя и дела революции, связь между художественным творчеством и теми задачами, которые ставит перед собой продолжающийся революционный процесс». Для целого народа закончились времена одиночества и начались времена единения. Поэтому формула, найденная Алехо Карпентьером, в этом расширенном ее понимании останется бесспорной формулой настоящего и будущего кубинской литературы.

[1] «Yranma», 10.X.1983, p. 4.

◆

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕДАЧИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ В ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Встреча за «круглым столом» в редакции

К. ЧУГУНОВ, зам. главного редактора

Вступительное слово

В последнее тридцатилетие русская советская литература существенно обогатилась переводами зарубежного классического наследия и произведений современных иностранных авторов.

В этом, мне кажется, заслуга и многих советских переводчиков, всегда помогавших и помогающих издательствам и нашему журналу отбирать то лучшее, что создает мировая литература.

Повысился и уровень художественного перевода. Всем нам хорошо известны мастера этого жанра, некоторые из них находятся сегодня в этом зале. Переводы, публикуемые в журнале «Иностранная литература», в основном отражают общие черты повысившейся переводческой культуры, требовательности к качеству языка, стремление показать индивидуальность авторов и персонажей. Тем не менее следует признать, что не все переводы, публикуемые на наших страницах, встречают одобрение читателей.

В редакцию поступают письма, содержащие упреки переводчикам и редакторам в злоупотреблении диалектизмами, жаргонными выражениями, архаизмами. В погоне за точностью, адекватностью, утверждают некоторые читатели, переводчики порой шокируют их русизмами, вульгарными и непристойными словечками и выражениями, натуралистическими описаниями эротических сцен и так далее.

Насколько обоснованы эти упреки? В каких случаях переводчик прав, стремясь быть ближе к оригиналу, а в каких он идет по ложному пути, пытаясь перевести непереводимое? Эти, в частности, вопросы должны, на мой взгляд, быть в центре нашего внимания.

Если исходить из того известного теоретического положения, что стилистические средства русского языка служат не для копирования особенностей формы языка подлинника, а для передачи его стилистических функций, то непереводимых текстов не бывает, и это доказано переводческой практикой. Но есть ли исключения из правила? Да, есть, утверждает, например, Андрей Венедиктович Федоров в книге «Основы теории переводов». К ним относятся те элементы языка подлинника, которые мы называем диалектизмами и жаргонизмами, имеющими ярко выраженную социальную окраску. Функция их, как слов местных, в переводе пропадает.

Однако невозможность передать отдельный элемент, отдельную особенность оригинала не дает оснований говорить о каком-то противоречии. Хотя произведение как единое целое нельзя рассматривать отдельно от составляющих его конкретных элементов, но и эти элементы, в свою очередь, существуют не обособленно и не в механической совокупности, а в системе, составляющей их единство с содержанием художественного произведения. Отсюда возможность замен и компенсаций в системе целого.

Переводчик, задавшийся целью воспроизвести все элементы подлинника, рискует потерять главное в этом произведении, ибо от сложения всех элементов может не получиться целого. Следовательно, мастерство перевода заключается в умении не только сохранять, но и жертвовать чем-то именно ради большей адекватности перевода.

Разумеется, для такого сложного процесса, как художественный перевод, не может быть готовых, годных на все случаи жизни

рецептов. Тут многое зависит от искусства, эрудиции, художественного вкуса переводчика.

Созывая это совещание, мы имели в виду побудить его участников к откровенному разговору о наших профессиональных проблемах, разговору, который, я думаю, представит интерес и для определенного круга читателей.

Л. ЭЙДЛИН. Мне было поручено редколлегией журнала выступить за нашим сегодняшним «круглым столом». Я могу быть достаточно свободен в своих суждениях и ревности в собравшихся также не вызову, потому что переводом прозы, являющейся предметом беседы, как правило, не занимаюсь. Короче говоря, в данном случае я — читатель, приглашенный высказать свой взгляд на проблему перевода на русский язык того, что мы называем просторечием и что захватывает все большее место в современной западной литературе.

Просторечие — не новость, явившаяся на свет с нашим бурлящим веком. Возьмем близкие нам примеры из русской литературы — «чистое дело марш» из «Войны и мира», «тетку твою подкурятину» из «Князя Серебряного», речи мужиков Толстого, Тургенева, персонажей Чехова, Лескова — писателей не стилизующих, не манерничающих. Приблизительно то же, по-видимому, и в подлежащей нашему переводу западной литературе. Как быть с живым языком героев западных писателей, какую окраску давать ему в переводе на русский? Вопрос этот если не окончательно решен, то уж во всяком случае успешно решается не одним поколением переводчиков: он в стадии постоянного решения. Способы его решения легко наводят на простую мысль о том, что не в просторечии соль художественного произведения, а русификация непригодна и при переводе просторечия.

Когда сорок лет тому назад замечательная переводчица Наталья Альбертовна Волжина, переводя Колдуэлла, в весьма удобном для этого месте вставила родное ей по пензенскому детству словцо «чкалить», в нем была некая неожиданность, воспринятая испытанным читателем как позволительное чудачество. Кто бы знал, что «чудачество» окажется предвестником будущих взрывов? Но вот в одиннадцатой книжке «Иностранной литературы» за 1960 год публикуется перевод романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи», в котором сленг двинулся на нас не одним каким-нибудь словом, а сплошными рядами. «И что это за язык, изобилующий жаргонными словечками и бранью!» — восклицает Вера Панова в послесловии к роману. И замечает: «Эта дань распространенной на Западе моде несколько снижает силу воздействия романа на читателя».

Последние слова Пановой относятся к автору романа. Чтение перевода не заставляет излишне досадовать на искусственность переданного «просторечия» или на неудобочитаемость его. Никого не коробили жаргонные словечки Холдена Колфилда. Они не были принадлежностью какого-либо определенного незначительного слоя в нашем обществе — все эти бесконечные «с ума сойти», «липа», «вытурили из школы», «подохнуть хотелось», «звякнуть», «к черту на рога», «неохота», «отдать концы» и прочее подобное были «вульгаризмами», встречаемыми, а порою и произносимыми каждым из нас в тех или иных обстоятельствах. Более того, они не снизили интеллигентности мальчика, не опошлили переживаемой им трагедии. Здесь силою искусства переводчика (хотя его и укоряли, и не без оснований, в излишней цветистости) «...все понятно, все на русском языке». Своею работой переводчик ответил на два вопроса — в какой пропорции должно передаваться просторечие, и как должно оно передаваться.

Вопросы эти взаимосвязаны. Оставил ли след метод переводчика, послужил ли он плодотворным толчком к тактичной, согласующейся с законами русского языка передаче все более заполнявшего западную литературу сленга?

Порассуждаем об этом, как с незапамятных времен рассуждали до нас и долго еще будут спорить после нас. Начнем с того, что книга писателя запечатлевает жизнь этих лет, этих месяцев, этих дней, этих мгновений. Так же подвластно времени и просторечие, жаргон, встречаемый в ней. Легко может случиться, что к той поре, когда произведение переводится, на смену этому жаргону приходит другой, еще неведомый переводчику. Не в силах перевода удержать мгновение, остановленное автором художественного произведения. Какой же смысл в буквальной передаче ушедших слов?

Тем более что не все дозволенное писателю разрешено переводчику. Не всякая вольность уместна в творчестве переводчика, обязанного хранить проверенную временем чистоту языка, на который он переводит. И вот, помня об этом, как быть с буйством сленга в оригинале, уже не говоря о том, что на переводчика ложится ответственность за не всегда открытое глазу отличие сленга от обычного разговорного языка: обращение к словарям не исчерпывающе.

Перевод сленга — требование современности. Но оно же смыкается с такими вечными трудностями, как, например, передача языка определенной эпохи. Можем ли мы найти адекватную русскую речь? И где критерий ее? И нужен ли он, наконец? Не достаточно ли ограничиться легкой архаизацией, без указания на время, лишь присыпав текст перевода пылью минувшего? Может быть, такой перевод приведет нас и к ответу на вопрос о передаче вчерашнего иноязычного просторечия, которое ушло с сегодняшним днем и которое вообще для нашей литературы не столь характерно, как для западной.

ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ

Литературовед и переводчик; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей о китайской литературе, китайском театре и художественном переводе. Л. Эйдлину принадлежат переводы китайской и вьетнамской классической и современной поэзии.

Прошло больше двадцати лет со дня выхода в свет на страницах журнала «Иностранная литература» перевода, открывшего нашему читателю просторы иноязычного сленга и один из способов его передачи. В январе 1982 года журналом был опубликован роман Мигеля Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кайо?». Не странно ли для нашего уха разговаривают иноземные герои Делибеса? Множественные «е-мое», «елки-моталки», «бляха-муха», «старье-мурье», «лады», «будь спок», во всех вариантах «обалденный», «потрясный», не говоря уж об оборотах вроде «разве не клево выглядит списочек», или «не беленись, дорогая», или «ты, старый перечник», непрерывно сыплются из их уст и заглушают перевод (сам по себе, возможно, достойный похвалы), да и смазывают национальный колорит произведения.

Вся беда в том, что просторечие Делибеса усилиями переводчика не переведено, а полностью выдумано. Читатель узнает в нем выдуманные же словечки какой-то части нашей молодежи и удивляется тому, почему произносят их говорящие на другом языке люди, а то и пишет об этом в редакцию. Этого ощущения неловкости нет, когда мы читаем жаргон сэлинджеровского Холдена, потому что там переводчиком выбраны нейтральные слова, органичные для любой речи. Переводить, по-видимому, надо все, в том числе и сленг; но не безоглядное упоение сочинительством, а обдуманная осторожность в обращении с русским словом (что не препятствует инициативе переводчика) может принести переводчику победу. «Околица» и «завалинка»— прекрасные слова, но при описании китайской деревни (а такое бывало!) они неуместны.

Готовые рецепты, конечно, недействительны. То, что непригодно в одном месте, может заиграть яркими красками в иной обстановке. Талант переводчика подскажет ему многое, как и раздумья над традициями русской литературы, не злоупотреблявшей различными видами просторечия, а иногда предпочитавшей давать его описательно. Разве теряет в ясности картина, нарисованная Толстым в «Войне и мире», оттого, что после криков солдат: «Иди, что ли... Подай, эка... Чего стал? То-то...»— автор не перечисляет бранных слов, а пишет: «Веселые безобразные ругательства не замолкали». А таких примеров множество. В «Воскресении» в камере Масловой женщины через окно переговариваются с арестантами. «Ах, кобель бритый! Что делает»,— проговорила рыжая и, колеблясь всем жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова». И все. А когда в том же «Воскресении» старик на пароме говорит: «Вот все и расползлись, как кутята слепые»,— Толстой находит нужным объяснить в примечании, что кутята — это щенки. Нет назойливости в просторечии диалогов героев Островского, Лескова, даже Горбунова, даже Зощенко... Значит, просторечие, без которого, безусловно, нельзя обойтись, иной раз может быть ограничено лишь инструментовкой, подчеркиванием тональности, а в переводе в особенности. Потеряет ли сколько-нибудь в своей силе такой страстный человеческий документ, как роман Николая Островского «Как закалялась сталь», при переводе на иностранный язык, если не придавать большого значения точности перевода давно вышедшего из обихода комсомольского жаргона тех далеких лет? Переводить его можно лишь условно.

Сколько бы мы риторических вопросов ни задавали, просторечие есть один из элементов художественного текста, и так или иначе, но переводить его надо, сообразуясь с его характером и с тем, какое место оно занимает в ряду элементов, составляющих художественную прозу. Переводить в каждом случае по-разному и всегда так, чтобы не нарушить гармонии единого целого. А тогда уже судить переводчика остается единственно, следуя пушкинскому совету, «по законам, им самим над собою признанным».

Т. КУДРЯВЦЕВА. Лев Залманович очень интересно выступил, и думается, что это большой материал для разговора, который, я уверена, у нас сегодня развернется.

Прежде всего мне хотелось бы отметить, что, говоря о переводе, нам совершенно необходимо учитывать, с каким временны́м отрезком мы имеем дело. То есть какого периода писателя мы переводим. Одно дело Толстой, другое — Сэлинджер, написавший «Над пропастью во ржи» 30, а то и 40 лет назад, и уже совершенно иное дело сегодняшний писатель. Потому что язык меняется. Особенно резко, по-моему, изменился он в XX веке по сравнению с XIX. Об этом свидетельствует, например, постоянное переиздание жаргонных словарей. Жаргон появился в самых разных областях жизни. Есть жаргон военный, производственный, молодежный, жаргон улицы, жаргон дна и так далее.

Появление жаргонных слов в тексте вызывает уйму возражений. Но вспомним Горького, который вкладывает в уста героев «На дне» язык дна. Давайте припрадим их речь. Что будет? Персонажи потеряют колорит. Ведь язык неразрывно связан с профессией человека, с его образованием, даже, если угодно, с его моральным обликом.

Мне как переводчику и редактору очень жаль, что нет русских словарей жаргона. Словарей, которые совершенно четко показывали бы, бытует ли то или иное слово только в каких-то определенных слоях, или оно вошло в общелитературный язык. Вы, Лев Залманович, ставите в пример нынешним переводчикам (я позволю себе сразу поспорить с вами) перевод Риты Яковлевны Райт «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Это перевод действительно блестящий, заслуживающий самых высоких оценок, Рита Яковлевна — мастер перевода. Но надо же учитывать, что в годы, когда была написана эта вещь, люди говорили иначе. Сейчас на Западе снято табу на многие темы, считавшиеся некогда запретными, книги

КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Переводчик с английского. Печатается с 1949 г. В ее переводе издавались произведения Ч. Диккенса, Дж. Голсуорси, М. Твена, Дж. Лондона, Т. Драйзера, Р. Олдингтона, А. Хейли, Р. Хьюза, Дж. Апдайка, Дж. Уэйна и др.

полны натуралистических описаний интимных сторон жизни, нецензурных слов, которыми ничтоже сумняшеся пересыпают свою речь даже люди вполне интеллигентные... Как это передавать на русском языке? У нас другая традиция, русская литература такими словами не пользуется. Что же — отказаться вообще от перевода современной западной литературы? Или делать из солдатского романа Джеймса Джонса салонный роман XIX века?

Я хочу остановиться на трех произведениях, появившихся у нас в журнале в последнее время и весьма показательных с этой точки зрения. Во-первых, это роман Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кайо?» в переводе Людмилы Петровны Синянской, который Лев Залманович уже упоминал. Да, роман этот — вернее, его перевод — вызвал много споров. Книга написана на жаргоне, которым пользуется сегодняшняя интеллигентная молодежь в Испании.

Журнал получил немало писем, авторы которых обвиняют переводчика в «засорении» русского языка. Могу на это сказать одно: пусть те, кого этот перевод шокирует, внимательно послушают, как говорит наша советская молодежь. Она употребляет такой же жаргон. И задача переводчика, воспроизводя язык автора, передать его разговорной речью соответствующего возрастного и социального слоя. Ведь стоит перевести произведение не в том ключе — и получится нечто неадекватное, против чего всегда выступала советская школа перевода во главе с покойным Иваном Кашкиным. И упоминавшаяся здесь Наталия Волжина следовала этой методе: если у автора жаргон — передавай его жаргоном; если высокий штиль — ты обязан передать его высоким штилем. Весь вопрос в том, чтобы не перехлестывать и не вносить в перевод русские или советские реалии типа «агитпоездка», «агитпункт» и тому подобное. А это, к сожалению, бывает.

Другой случай, на котором мне хотелось бы остановиться,— роман «Поездка в Пемполь», написанный молодой французской работницей Дороте Летессье. Его героиня тоже молодая работница, и язык у нее специфический, грубоватый. А переводила книгу немолодая, рафинированная дама. К этому тексту, Лев Залманович, вы не придеретесь, здесь редко встретишь жаргонное слово или грубый оборот речи, но зато и звучит книга на русском языке менее сочно.

Иногда можно услышать, что-де у нас переревелись мастера перевода. Я не могу с этим согласиться. Из старшего поколения все еще активно работают такие блестящие переводчики, как Апт, Галь, Райт, Жаркова, а если взять поколение более молодое, то нельзя не упомянуть Карельского, Сороку, Голышева, Синянскую. Это прекрасные переводчики, но уже другого поколения, и они переводят иначе, чем переводили Волжина или Калашникова, потому что они переводят других писателей. Да и язык стал другой. У меня есть словарь американского сленга, изданный десять лет тому назад. А недавно я получила этот же словарь, переизданный. Половину объема в нем занимают дополнения, появившиеся в языке за эти десять лет. И эти слова живут. Весь вопрос в таланте переводчика, в том, как он сумеет их использовать. Обойтись же вовсе без жаргонных выражений сегодня невозможно.

Третий пример—роман Джеймса Джонса «Только позови», роман военный, весь построенный на сленге. И хотя непростой язык автора в талантливом переводе Злобина в общем передан очень удачно, в нем встречаются советизмы типа «комбат», «зарплата», «вещмешок», что, на мой взгляд, недопустимо. Мне кажется неправильным, когда переводчик делает из иностранного имени собственного прилагательное, скажем, «марионова палатка» (от имени Марион). Встретишь такое слово — казалось бы, ерунда, а впечатление такое, словно ты вдруг попал в Россию. Вместе с тем, когда «hallo», означающее «привет», переводят как «здравствуй», «алло» или «хелло», это тоже неверно. Словом, опять-таки мы упираемся в умение переводчика найти правильный эквивалент.

Случается, что для «оживляжа» переводчик употребляет слова не того ряда. Тут я согласна со Львом Залмановичем. Когда уличный жаргон мальчишек вкладывают в уста 50—60-летнему интеллигенту — это смещает языковую окраску персонажа.

И еще я разделяю мысль Льва Залмановича о том, что перевод устаревает. К сожалению, это верно. Скажем, переводы романов Диккенса, сделанные Ланном, сегодня уже читать трудно, язык устарел.

И. ТЕРТЕРЯН. Поскольку участники сегодняшней дискуссии обращаются за примерами, подтверждающими их теоретические построения, к переводу романа Делибеса, я тоже скажу о нем несколько слов. Я узнала, что в редакцию пришло письмо от шахтера по поводу этой публикации, в котором он пишет, что раньше как-то не замечал перевода, как будто то, что он читал в «Иностранной литературе», было написано по-русски. А сейчас он встречает в переводах слова, которые свойственны лишь некоторой части нашей молодежи, играющей в блатных, «приблатненных». Услышав это, я поразилась двум вещам: во-первых, какое точное ухо читателя, как он хорошо чувствует речь. И второе, как успешно переводчик выполнил свою задачу. Потому что когда читатель говорит, что это речь не блатных, а «приблатненных» ребят, которые неумело выражаются матом, я просто ахнула: это же портрет Рафы, персонажа романа. Он именно таков. Парень, к 23 годам добравшийся до второго курса университета, недоучившийся студент, потершийся немного у леваков, а теперь ставший агитатором от социалистической партии, который сам говорит, что занимается политической деятельностью, потому что она дает ему возможность поесть этой самой «обалденной форели», а вечером выпить стакан

ТЕРТЕРЯН ИННА АРТАШЕСОВНА

Литературовед, критик, доктор филологических наук, член-корреспондент Испанской Королевской Академии. Автор книг «Бразильский роман XX века» (1965), «Современный испанский роман» (1972), «Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века» (1973) и многих статей по испанской и латиноамериканской литературам.

вина с крестьянами в таверне. Он, в общем, парень неплохой, но запутавшийся в политической сумятице эпохи. И как же точно читатель уловил и как же хорошо, значит, переводчик сумел воссоздать облик этого парня скупыми, в общем, языковыми средствами.

Жаргон, арго, как там его ни называй, по-моему, имеет только одну главную функцию — характерологическую. И если мы не будем его переводить, то в передаче этой, одной из главных, если не самой главной, стороны художественного произведения будем несостоятельны. Переводчик обязан найти способ эту задачу выполнить. Я считаю Людмилу Петровну Синянскую великолепным переводчиком, очень творчески относящимся к каждой конкретно стоящей перед ней задаче. Но это вовсе не значит, что я одобряю каждую ее находку и каждый предложенный ею выход из положения. Не все из перечня, приведенного Львом Залмановичем, мне нравится. Не нравятся мне и кажутся ненужными употребляемые умышленно грамматические неправильности. Но что делать? Татьяна Алексеевна уже сказала, что в подлиннике употреблены еще и не такие жаргонные слова, там слова, которые я, например, с полученным мною в детстве воспитанием, по-испански еще решусь сказать вслух, а по-русски нет. Потому что нормы, как разговорные, так и в особенности литературные, совершенно различны в испанском и русском языках. Думаю, что русская литературная норма вообще самая строгая. Насколько позволяет мне судить мое знание языков, такой строгой литературной нормы ни в одной из европейских литератур больше нет. Мы ставим многоточие даже вместо слов, которые английскому или испанскому писателю кажутся вполне невинными.

Людмила Петровна явно искала возможность эти слова воспроизвести. Все эти «бляха-муха», «елки-моталки», «е-мое» играют чисто субститутивную роль. Это фонетические заменители, употребляемые, может быть, и кое-кем из нас, уж во всяком случае нашими детьми и нашими соседями по двору или по очереди в магазине, когда они не хотят оскорбить наш слух. Кстати, и современные русские писатели к этому прибегают. Я, например, нашла у Шукшина: «Мля ты, мля». И один раз встретила вещь, которая даже заставила меня задуматься на секунду: «Мне все это остолбенело». Поэкспериментировав с этим словом, вы поймете, что здесь путем простой перестановки звуков достигнута та самая цель, которую Людмила Петровна достигает с помощью «е-мое» и «елки-моталки». «Елки-моталки», может быть, действительно несут излишнюю содержательную нагрузку. Они указывают на какую-то русскую реалию. Говорят, что в Испании нет елок, а есть только пихты и сосны. Но ведь дело не в этом, а в том, что здесь выдвинут определенный принцип передачи выражений, обусловленный сложившимися в русском языке нормами. Не нашему, наверное, поколению переводчиков и литературоведов ломать и менять их. Тем более что вы видите: читатели, и даже весьма квалифицированные, встречают такие попытки в штыки. Значит, надо искать обходные пути.

М. БЫЛИНКИНА. Можно только радоваться тому, что журнал «Иностранная литература», знакомящий широкую читательскую публику с наиболее примечательными зарубежными произведениями, интересуется лабораторией писателя-переводчика и устраивает встречу на тему «К проблеме передачи разговорной речи в переводах современной зарубежной литературы». Надо сказать, что подобная тема, по существу, необъятный свод филологических проблем, рассмотрение которых сподручнее такому (пока еще не существующему) теоретическому журналу, как «Искусство перевода». И надо полагать, что редакция столь популярного и массового издания, как «Иностранная литература», формулируя название темы нашего форума, намеревалась обсудить в числе прочих такие сугубо практические вопросы, как повышение качества перевода и критерии отбора произведений. Затрону первый вопрос, ибо он действительно всегда актуален, и редакторы, выражаясь научно и деликатно, испытывают дискомфорт при ознакомлении с иным переведенным материалом, а среди читателей порой наблюдаются симптомы некоторой растерянности при встрече с иными оборотами родного языка. Я имею в виду не только собственно языковые погрешности. Хотелось бы поговорить о качественности перевода в ином плане — в плане его типизации.

Стоит вспомнить, что в свое время были официально признаны (и значились на титульных листах) вполне конкретные понятия: перевод (тот, что сейчас мы зовем адекватным), вольный перевод и «по мотивам...» или «из...» (например, «Из Гейне»). Такие указания на тип перевода весьма облегчали недомогания читателей, редакторов и самих переводчиков. Для пояснения своей мысли и практических выводов я слегка коснусь вопросов теории, позволив себе оперировать обыденными сравнениями.

Существуют объективные и субъективные условия создания адекватного художественного перевода. Объективные условия — это, в общем, максимальное приближение к точнейшей передаче формы и смысла переводимой вещи. Это те параллельные прямые, те железные рельсы, по которым движется локомотив, ведомый нами, переводителями. И с этих рельсов непозволительно сходить, какой бы тяжелый и разный груз ты ни перевозил: переводишь ли Астуриаса, Карпентьера или Борхеса. В этом наша главная проблема и главная трудность по сравнению с литераторами, описывающими на своих «безрельсовых средствах» любые дуги и вписывающимися в любой пейзаж без всяких угрызений совести.

Условие передачи формы оригинала обязательно — при стремлении к адекватности — для любого жанра переводимой про-

---

БЫЛИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Особенности испанского языка в Аргентине» (1968) и статей по испано-американской филологии. В ее переводе опубликованы романы К. Фуэнтеса, М. Отеро Сильвы, Х. Рисаля, М. А. Астуриаса, А. Карпентьера, А. Варелы, произведения Х. Кортасара, Х. Лопеса Портильо и др.

зы и поэзии. Мелодию, которая должна исполняться на аргентинской гитаре вигуэле или на мексиканском барабане сакатане, нет смысла исполнять на нашей доброй балалайке. Эффект адекватного впечатления может быть достигнут лишь тогда, когда научишься играть на вигуэле или сакатане, то есть постигнешь размер и ритм чуждого текста. Я не сообщу ничего нового, если скажу, что Флобер считал форму непременным инструментом передачи не только духа, но и смысла произведения.

Субъективные условия адекватного перевода зависят от творческого потенциала переводчика. Истинный мастер точного переложения, приняв вызов зарубежного мастера слова, обязан стать «вторым я» автора оригинала в своем языке. Но значит ли это, что переводчику отказано в выражении собственного, личного отношения к переводимому материалу? Думаю, что даже при создании адекватного переводного произведения его художественный исполнитель, подобно истинному музыканту или тактичному режиссеру, может чуть замедлить «аллегро» или чуть по-своему отрежиссировать сцену. В целом же о пределах допустимой свободы в обращении с иноязычным текстом, об избранном типе своей работы переводчик мог бы объявлять и сам — публично и печатно.

В издательской практике почему-то не принято заранее оговаривать тип исполняемой переводческой работы или «пост фактум» открыто квалифицировать перевод, исходя из возможностей переводчика и результатов его труда. Впрочем, практика существует, но какая? Большинство поэтов переводит вольно или «из...», хотя это считается точным переводом. Большинство прозаиков-переводчиков стремится — по разумной установившейся традиции — переводить адекватно, но в силу субъективных причин их перевод порой получается вольным или подневольным (при самоотверженной помощи редактора). Не всегда еще дано нашим читателям знать, кто перед ним: зарубежный автор, из-за плеча которого скромно выглядывает довольный переводчик, или фигура довольного собой переводчика, опирающегося на плечо автора романа или поэмы.

Вся беда в том, что в нашей литературной печати еще очень мало деловых, научных разборов и оценок работы переводителей как таковой. Понятно, что исполнительскую деятельность музыканта или актера оценить куда легче — не надо знать иностранных языков, не надо сравнивать. Однако пришла пора посвящать квалифицированные аналитические статьи и трудам представителей советской переводческой школы, получившей мировое признание. И кому как не отделу критики журнала «Иностранная литература» в рубрике «Трибуна переводчика» развивать это важное и большое дело? Рядом, например, со статьей, посвященной критическому анализу недавно опубликованного в журнале романа и творчеству его автора, можно поместить и рассказ переводчика о его творческом поединке с этим автором или опубликовать статью о переводчике этого романа, его творческих приемах, его видении героев переведенного произведения; дать, наконец, оценку всего им сделанного.

И еще одно предложение. «Иностранная литература» открыла советским читателям много новых интересных зарубежных писателей, «новых имен». Но есть имена и у переводчиков. В конце каждого года редакция журнала могла бы отмечать удачные переводческие дебюты, создав из своего актива жюри.

А. С. Пушкин назвал перевод самым трудным видом литературы. И все же художественный перевод идет вперед, способствуя развитию мировой культуры, взаимному обогащению национальных культур.

Немецкий ученый Г. Лейбниц утверждал, что нет в мире языка, способного передать слова другого языка не только с равной силой, но хотя бы даже с адекватным выражением. Советская школа переводчиков с успехом опровергает это утверждение и завоевывает международное признание, содействуя укреплению взаимопонимания всех людей мира.

Н. АРОСЕВА. Затронутый здесь вопрос не имеет ни конца, ни края, ибо и художественная литература, и художественный перевод создаются индивидуальностями — как и любой вид творчества.

С другой стороны, каждый национальный язык имеет свои особенности, возникшие в процессе исторического развития его народа-носителя. Например, у чехов и словаков литературный язык не так далеко отошел от просторечия, как у русских. Другое явление того же ряда состоит в том, что русский литературный язык принял в себя многие иностранные слова, в то время как в чешском и словацком сохранились (или нашлись) свои, «родные» слова для соответствующих понятий. Например, в русском: «эгоист», «машина», «радио»...— в чешском: «sobec», «stroj», «rozhlas». Так что в речи неграмотного чешского крестьянина спокойно существует «sobec», тогда как у нас «эгоист» — совсем не народное слово. Интересно далее, что чешский и словацкий языки, приняв в себя иностранные слова, в основном немецкие или венгерские, исказив их на свой лад, придают им, как правило, ироническую или даже отрицательную характеристику (вспомним, как во времена Австро-Венгрии старались онемечить чехов и мадьяризовать словаков).

Обилие областных наречий, ступеньками переходящих от восточнословацкого к западночешскому, также затрудняет перевод. Иной раз вся прелесть произведения состоит в противопоставлении литературного авторского языка областной речи персонажей, и передать это невозможно — здесь приходится идти на заведомую потерю, передавая областной язык обычным просторечием.

Что касается слов, выражающих эмоции, то они, в общем-то, не составляют основной ткани авторской речи. Эти эмоции (радость,

---

АРОСЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Переводчик чешской и словацкой прозы. В ее переводе выходили книги Владислава Ванчуры, Карела Чапека, Марии Пуймановой, Марии Майеровой, Петра Илемницкого, Андрея Плавки, Владимира Минача, Франтишека Гечко и др.

гнев, презрение, удивление...), общие для всего человечества, опять-таки выражаются в каждом языке по-своему, поэтому буквально переводить их нет смысла. Пример: итальянское «porca Madonna» буквально означает «свинья Мадонна», немецкое «Himmelherrgott»—«небо», «господь бог», словацкое «otca ti naháňam» — «гоняю твоего отца». В русском языке достаточно средств для передачи любого вида эмоций, а если их не хватает, переводчик обязан придумать нечто подходящее точно.

Как видно, для перевода просторечия, областных наречий, брани, междометий не может быть никаких правил и догм, кроме одного: точного выражения их смысла. Другими словами, в переводе всех этих компонентов необходимо словотворчество. Не надо его бояться, оно обогащает и наш язык. Надо предоставить переводчику свободу выбора. Работая над иноязычным текстом, он, перевоплощаясь в автора оригинала, черпает из запасов своей души и рассудка. Тут уж вопрос его таланта, вкуса, такта и изобретательности.

Я думаю, пафос сегодняшнего обсуждения должен сводиться и к призыву редакторам: больше доверять нам, нашей честности и нашим способностям.

С. АПТ. Не так давно я был в театре, не стану говорить в каком, потому что вообще-то к работе его режиссера привык относиться с почтением. Шел спектакль по русской пьесе XIX века, автор — классик, но это не лучшее его произведение, а режиссер оказался, по-моему, не на высоте. Он не одухотворил старую пьесу ничем новым и современным. Множеством «вымарок» — неприятное театральное словцо, переводчикам, чей долг — уважать авторскую волю, оно неприятно вдвойне — постановщик лишил пьесу даже ее нехитрого первоначального смысла. На протяжении двух длинных актов исполнительница главной роли, актриса вообще-то очень хорошая, то и дело меняла наряды. Казалось, она покидала сцену только затем, чтобы переодеться.

И время от времени в эту скуку по режиссерской воле врывалась прекрасная, всемирно известная музыка, самое знаменитое место из одной знаменитой симфонии Моцарта. И хотя музыка вливала, казалось, озон в душную атмосферу зрелища, у меня такая режиссерская выдумка вызывала протест. Я чувствовал, что это — запрещенный прием, что Моцарт непростительно эксплуатируется, что привлекать гения и оживлять с его помощью свое мертворожденное детище просто некультурность и пошлость.

И, отчетливо чувствуя это, я уже в зрительном зале вспомнил, что видел однажды современный фильм, где звучало то же место из той же симфонии, а я не только не протестовал про себя, но даже восхищался смелостью постановщика. Это было во французском фильме «Господин Такси». Там Моцарт «мотивировался», он не появлялся как «бог из машины», а звучал по ходу действия: из окна доносились звуки радио. Причем вел себя, так сказать, скромнее, он не выпячивался, не вылезал. Но прежде всего, я думаю, он не вызывал протеста потому, что у фильма был свой нерв, свой смысл, пусть маленький, но ясный, человечный и, значит, как-никак общечеловеческий.

Почему я начал с этого театрального впечатления, собираясь сказать несколько слов о переводе просторечия, арго, жаргонной и вульгарной лексики в современной прозе? Чтобы наглядно показать, что абсолютных запретов в искусстве нет, что материал для постройки художественного произведения можно брать откуда угодно, даже из совсем неожиданных источников, но делать это нужно так, чтобы зрителя, слушателя, а в нашем случае читателя не коробило.

Позволю себе упомянуть еще об одном впечатлении, вынесенном тоже из зрительного зала, оно уже прямо касается темы. Я не знаю, что именно говорится по-шведски в этом месте фильма Бергмана «Осенняя соната», но когда по-русски героиня в очень напряженном, взволнованном монологе говорит: «Пришлось вызвать «скорую», мне эта «скорая» без подразумеваемой и в быту часто опускаемой «помощи» режет слух. Все сразу делается каким-то вульгарным.

Я уже дал понять, что, на мой взгляд, нет таких слов, которые не могли бы пойти в дело при переводе. Но если они могут пойти в ход вообще, то это не значит, что ими можно пользоваться в любой ситуации. Обычно хлесткие словечки и фразеологические обороты соблазняют начинающих переводчиков. Но мне кажется, что современная проза вводит в опасный соблазн и опытных. Приводя и разбирая примеры, я буду обходиться, как и до сих пор, без имен. Во-первых, важна сейчас только принципиальная сторона, какие-то общие тенденции. Во-вторых, спорить тут можно бесконечно, никто не вправе считать себя последней инстанцией. В-третьих, ко многим из тех, с кем я не согласен в частностях, я отношусь как к переводчикам с большим уважением.

Коснуться я хочу, собственно, двух моментов. Прежде всего — известного положения о переходе количества в качество или, иначе говоря, чувства меры. В одном переведенном с румынского рассказе на крошечном пространстве нескольких страниц, то есть чуть ли не подряд, идут такие выражения: «не сечешь», «дурья башка», «наш участковый», «выпить пивка», «ушел — и с концами», «добро» (в смысле «ладно», «согласен»)... У меня эта перенасыщенность вульгаризмами — а в вульгаризмах как-то особенно ощутим дух места — вызывает недоверие ко всему тексту, я уже не верю, что персонажи — румыны. У меня все эти словечки — да, невыдуманные, да, подлинные, я их часто слышу на московских улицах — отняли возможность что-то довообразить, я чувствую, что мне что-то навязывают, и внутренне протестую.

То же самое происходит со мной, когда я читаю во французском рассказе «завязал» (в смысле «перестал»), то же «усечь», уже делающееся штампом, «порядок, дружище»

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ

Литературовед, переводчик. В его переводе издавались трагедии Эсхила, произведения Платона, Аристофана, Эврипида, Кафки, Музиля, Т. Манна, Г. Гессе, пьесы Б. Брехта. Автор двух книг о Томасе Манне.

(кстати, «дружище» — обращение, в сущности, книжное, никто так в бытовом разговоре не скажет). Все эти словечки и обороты, повторяю, допустимы и в переводе. Только пользоваться ими надо, по-моему, чрезвычайно скупо, гомеопатически скупо.

Даже не вульгарные идиомы, просто устойчивые сочетания, если чуть-чуть переборщить, дают тот же нежелательный эффект негармоничного обрусения иностранцев. Тут дозы нужны если не гомеопатические, то, во всяком случае, строго отмеренные. Мне кажется, очень тонкое чувство меры в этом отношении было у покойной Наталии Альбертовны Волжиной. Волжина любила фразеологию. Из рассказов Шервуда Андерсона в ее переводе я выписал: «мы всему делу голова», «поглядите на вашего покорного слугу», «сильно под мухой», «на спор иду, что помру»... Фразеологизмы, идиомы? Безусловно. Но они не громоздятся друг на друга, не выпихивают друг друга локтями, между ними есть необходимый воздух, и можно дышать американской атмосферой.

А когда во французском романе на расстоянии нескольких строк друг от друга оказываются даже такие вполне литературные, лишенные и тени вульгарности идиомы, как «конца-края нет» и «мухи не обидит», получается уже крошечная нарочитость, а когда ниже следует «голова моя набита черт-те чем», уже набегает и тень недостоверности.

Есть, с другой стороны, современные произведения особого рода, которые просто требуют в переводе идиом, вульгаризмов и арготизмов, потому что на этом строится, можно сказать, их поэтика. Таков, по-моему, роман Питера Устинова об американском полицейском: «Ну, как оно, начальник?», «Да вроде ничего себе», «Привет, любовничек», «Секса не желаете?», «Есть на него факты?», «Не берите в голову, начальник», «Ну и лопухнулся же ты». Тут нет нарочитости, разухабистости, неуместности, которую — если можно сопоставлять высокое с низким — я усмотрел в эксплуатации музыки Моцарта. Кстати, я слышал, как один молодой человек назвал симфонию № 40 «сороковухой». Полицейский Устинова вполне мог бы так выразиться.

Второй пункт, которого я хочу коснуться,— просторечие. Есть разные его виды. Есть, например, крестьянская речь. Нужно ли передавать ее русской простонародной речью? Кто знает. Если да, то, думаю, чрезвычайно осторожно. Тут опасность соскользнуть с национальной почвы подлинника на собственную и отнять тем самым у читателя впечатление его присутствия в другой стране очень уж велика, больше, может быть, чем при употреблении всяких наших новых словечек. Можно, конечно, понадеяться на то, что читатель войдет, так сказать, в положение, поймет и простит условность, можно заставить венгерскую крестьянку сказать «покрасивше», «по крайности» (вместо «по крайней мере»), «стыдобушка»... Но стоит ли? На первый взгляд кажется, что более нейтральная и цивилизованная речь ее обеднит. Но, может быть, это не так? Не знаю.

Думаю, что лучше просто избегать книжных или интеллигентских оборотов, и кажущаяся блеклость языка окупится бо́льшим доверием, меньшим внутренним сопротивлением читающего. Мне кажется в этом смысле удачным перевод итальянской повести «Заяц с лицом девочки». Впечатление разговорной и детской речи достигается здесь без какого бы то ни было форсирования.

Другой вид просторечия, когда повествование ведется от первого лица или когда авторская речь содержит в себе элементы сказа,— проблема более сложная. Мне, например, не нравится в тексте одного немецкого романа глагол «убираться» в значении «убирать» или «туалет» в значении «уборная». Эти слова явно завоевывают место в языке, довольно нахально вытесняя более привычные моему поколению синонимы, но все-таки они еще не перешли рубеж, отделяющий вульгаризм от литературной нормы, и поэтому их легко принять за вульгарность в языке перевода.

Словом, вопросов много. Не то что разрешить их раз навсегда — даже перечислить более или менее исчерпывающе нельзя. Думаю, одна из важнейших добродетелей переводчика — сдержанность.

М. ВАКСМАХЕР. Поделюсь некоторыми соображениями, близкими к теме сегодняшнего разговора.

Мне почти не приходилось переводить такую французскую — и, шире, франкоязычную — литературу, где была бы особенно сильна стихия современной разговорной речи, где бы язык молодежи, щеголяющей сленгом, доминировал над другими, более традиционными стилевыми пластами. Не доводилось скорее всего потому, что я не очень люблю такого рода литературу. В перенасыщенности языка жаргонизмами, в развязности речевых характеристик персонажей мне видится натурализм, неразборчивость автора, стремление тащить на страницы художественного произведения словесный мусор, который наверняка будет развеян дальнейшим развитием языка и культуры. Слышится мне в таких книгах и фальшь, неестественность, насилие над объективными законами художественного творчества. Авторы авангардистских повестей, пьес, стихов озабочены, по-моему, не столько исследованием характеров, художественным отображением нынешних социальных конфликтов, сколько подражанием моде. О подобной поэзии я уже говорил на страницах журнала «Иностранная литература», многое в том же роде свойственно и молодой французской прозе. Повторяю, мне это неинтересно ни читать, ни переводить.

Но когда сленг как изобразительное средство помогает лучше проникнуть в психоло-

---

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Переводчик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX века» (1980). Переводил романы и повести Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Робера Андре, Катеба Ясина, Антони Фелпса: стихи Арагона, Рене Шара, Алена Боске, Пабло Неруды, Бертольта Брехта, Янниса Рицоса, Десанки Максимович и др.

гию сегодняшнего молодого рабочего или студента, когда речевые краски — это не красное словцо, а верно схваченная деталь, примета времени, места, среды, такую литературу интересно перевоплощать на русском языке. Я считаю удачей, например, книги Паскаля Лене «Ирреволюция» и «За стеклом» Робера Мерля, интересно переведенные Лениной Зониной. В них изображены события весны 1968 года в Париже. Переводчик нашел любопытные русские эквиваленты непривычных речений, подслушав кое-что в словесном обиходе московских студентов, но вводит их легко, без перебора и нажима, лишь давая нашему читателю ощутить своеобразие речи персонажей. Впрочем, и во французском тексте обеих этих книг нет в этом отношении особого перебора. Но даже тогда, когда жаргон, сленг дается в оригинальном тексте довольно густо, в русском переводе надо, я в этом уверен, проявлять особую сдержанность и такт. Сегодня об этом говорилось много и верно. Хочу добавить еще несколько слов.

Автоматическое перенесение в русский текст насыщенности оригинала замысловатыми речениями — художественно неоправданно. В самом деле, если во французском — даже литературном французском — языке жаргон в какой-то мере традиционен, если сам этот жаргон в разных его модификациях в устной речи французов довольно основательно разработан, то у нас такой традиции почти нет. Это знает каждый переводчик, которому приходилось решать в своей работе проблему поисков русского эквивалента жаргонным словам, интонациям, идиомам. Но и найдя все эквиваленты (я даже допускаю такой маловероятный случай), нельзя злоупотреблять этим пластом речи, потому что по-русски это будет звучать неизмеримо более необычно, искусственно, даже фальшиво. Если в переводе процент употребления сленга окажется таким же, что и в тексте оригинала, перевод будет неверным, искажающим интонационный портрет подлинника, сдвигающим в нем стилевые — а значит, неизбежно и образные — акценты. Ибо при переводе на русский язык, когда на бумагу ложатся русские строки, уже начинают действовать законы русского языка, русского литературного творчества.

Особенно сильно я ощущаю это при переводе стихов. Но и перевод художественной прозы дает возможность постичь объективный, не зависящий от нашего желания закон: найденные, казалось бы, исходя из понятого тобой французского оригинала, деталь, фраза, интонация, синтаксический ход, стилевая краска — как только они обретают русскую языковую плоть — сразу же получают автономию, начинают жить по своим законам, независимо от вызвавшего их к жизни иноязычного текста. Начинает действовать логика русской фразы, русской достоверности в расположении слов, в их соотнесенности со словами и звуками соседних фраз, начинает работать логика ритма и интонации русской прозы. Мы слишком редко вспоминаем о том, что наши переводы — это не только переводы с французского, английского или турецкого, но и переводы на русский язык. Русский вариант стихотворения или романа обретает свой ход, чуть-чуть — а порой даже и не чуть-чуть, а вполне ощутимо — отклоняясь на другой путь, и дело вкуса, такта, самоограничения переводчика — уметь проверить правильность выбранного — не тобой даже, а словно бы самим русским текстом — направления, чтобы перевод твой был и явлением русской словесности, но также оставался при этом явлением иноязычной литературы. Проблемы передачи сленга в этом аспекте, по-моему, не единственные и даже не главные проблемы, над которыми приходится ломать голову.

Новая французская проза ощутимо отличается, даже в произведениях писателей «традиционных», продолжающих критико-реалистическую линию, от литературы не только XIX века, но и от романов 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов нашего столетия. В современную прозу вторгаются художественные решения, выработанные в других жанрах и родах литературы, искусства, культуры; язык кинематографа, язык поэзии, язык живописи, язык научного исследования повлияли на манеру письма почти всех писателей нашего времени. Как это передавать в переводе? Как находить русские эквиваленты дерзкому смешению стилей, перебоям сюжета, коллажу на манер изобразительных новаций века, монтажу временны́х кусков, ассоциативному способу композиционных решений, стихотворной, «верлибровой» стихии внутри прозы, столкновению деловой, терминологической манеры с романтическим речитативом авторских отступлений?..

Переводя прозу Арагона ли, Катеба Ясина, Робера Андре, Маргерит Юрсенар или Армана Лану, я особенно остро чувствую сложность всех этих проблем. Убежден, что правы мои товарищи и коллеги, когда они говорят сегодня о необходимости быть сдержанным в выборе стилистических красок. Сдержанным, но, конечно же, и не скупым. Если присутствие в стилистической ткани оригинала тех или иных лексических неожиданностей можно иной раз показать в переводе легким мазком, прозрачным намеком, чтобы русский читатель ощутил аромат этой пряности, но не слишком бы отвлекался при этом на осмысление непривычных для русского уха неологизмов и неожиданных образов, то «необычность» иного рода, скажем вторжение в прозу ритмизованных поэтических пластов, следовало бы, на мой взгляд, передавать уже более плотно, ибо постижение этого стилевого слоя во всей его фактурной вещественности должно властно входить в сознание читателя и помогать ему проникнуться авторским замыслом. Я снова проверил правильность этого своего ощущения, когда переводил недавно главы из великолепного франкоязычного романа «Полигон в мерцании звезд» Катеба Ясина; взволнованный, доходящий до высокой романтической экзальтации внутренний монолог молодого героя, сливающийся с авторским монологом, эта маленькая поэма, вкрапленная в прозаический текст, органически вырастает из кусков бытового и чуть ли не документального звучания — из рассказа о мытарствах молодого алжирца, ищущего во Франции работу и кров. Но, переводя эти поэтические литании, я не позволяю себе

забывать, что стихи, включенные в прозу,— это стихи особого рода, что они пронизаны силовыми линиями всего произведения, всего романа в целом, и это заставляет меня искать особые интонации, местами заземлять, «прозаизировать» лексико-синтаксические ходы...

При переводе сложных произведений современной прозы приходится постоянно помнить, что никакая автономность разнородных стилистических кусков не дает права забывать об общей тональности всего произведения, о той мощной мелодии, которая может временами и совсем уходить, и становиться неслышной, но которая все равно неизменно присутствует в книге и которую русский читатель непременно должен услышать.

Это касается и перевода прозы стилистически более однородной, но не менее сложной по причине своего сугубо интеллектуального характера; так, переводя повесть Робера Андре «Дитя-зеркало», я столкнулся с трудностями другого рода. Меня подстерегала опасность полностью впасть в тон философского эссе, особенно в тех местах, где, словно забывая о сюжете, автор предается размышлениям, судит самого себя и исследует глубины сознания и подсознания ребенка, оперируя приемами эссеистики. Но и эти куски подчинены у Робера Андре общей задаче книги, мощной интонационной ноте, пронизывающей всю эту большую и многоплановую повесть. Продлить звучание этой интонации грусти по детству, обиды на родителей и щемящей любви к ним, продлить это звучание и на те главы, где рассказ деловит и конкретен, и на те, где вообще нет рассказа, а есть философский трактат,— вот в чем заключалась одна из главных задач этой работы.

А как «конструировать» интонацию? Этого объяснить не могу. Что-то слышишь, что-то находишь, а если ты вышел на удачный русский эквивалент авторской мысли и чувства, что-то и само находит тебя... И тебе, переводчику, остается «малое»— опять и опять проверять на вкус, на цвет и на зуб приходящие к тебе варианты, проверять их соответствие понятому и прочувствованному тобой замыслу автора, не давая захлестнувшей тебя стихии русской прозы смазать, приглушить, скрыть от читателя ни малейшего оттенка образного строя оригинала. И не позволять себе поддаваться соблазну поразить читателя лихим ходом, броским речением, блестками сленга, если текст подлинника не дает для этого особого основания...

Н. ШУЛЬГИНА. Переводчику трудно переоценить значение вопроса, выдвинутого для обсуждения редколлегией нашего журнала. Замечу, однако: в своем выступлении всеми нами уважаемый Лев Залманович Эйдлин упор сделал на проблему просторечия, тогда как поднятый вопрос затрагивает гораздо более широкие языковые пласты: не только просторечия, но и жаргонизмы, диалектизмы, неологизмы — то есть все те элементы языка, которые выходят за пределы книжного, правильного литературного языка. Смысл этого выступления, как я поняла, сводится к тому, что переводчик в своей творческой практике не должен, более того, не имеет права нарушать пределы этой «чистой» литературной речи и потому пользоваться названными выше речениями может крайне редко, в самом ограниченном объеме. Мне как работнику журнала порой приходится получать от иных членов редколлегии рукописи, в которых обильно подчеркнуты просторечия, диалектизмы, неологизмы, а уж о попытках переводческого речетворчества и говорить не приходится... А вот Ортега-и-Гассет говорил, что подлинный художник слова всегда наносит привычному языку определенную «эрозию», которая при прочих факторах и содействует неповторимости его стиля. Но как же отразить эту «эрозию» или хотя бы чуть наметить ее в переводе, если от переводчика требовать лишь очень чистых, очень правильных форм — не дай бог ввести в текст что-то не похожее на привычное, уже отработанное и тысячу раз повторенное. Иногда слышится: «Так по-русски не говорят». Но ведь до переводимого художника так и по-английски, предположим, или по-польски не говорили. Как же быть? Всех стричь под одну гребенку?

Вот и получается, что существует как бы два русских языка: один яркий, сочный, полный жизни — язык нашей великой русской словесности, другой, дозволенный переводчикам,—«усредненный», приглаженный, набивший оскомину у читателей своей правильностью, похожестью, «сделанностью». А ведь речь идет о языке многих тысяч произведений мировой литературы, которые переводятся в нашей стране. Вот почему люди, долго работающие с переводными текстами, с таким наслаждением берут в руки текст оригинальный, русский. Текст настоящий, не вылизанный, не выхолощенный. Это вовсе не та «посмертная маска с подлинника, предварительно умерщвленного переводчиком», которую мы получаем, читая иные переводные тексты.

Как же быть переводчику, если перед ним текст, написанный языком особым, выходящим за рамки правильной литературной речи, насыщенным провинциализмами, хлесткими словечками, речетворными элементами? Самые крупные авторитеты, наши лучшие переводчики, теоретики советской переводческой школы отвечают однозначно: идти по стопам автора. Художественная точность перевода предполагает умелое использование всех пластов живого русского языка, до самых непривычных «усредненному уху», дабы найти те «выразительные в своей незаурядности» формы, которые способны передать особенности, заданные оригиналом.

Позволю себе призвать в свидетели признанных мастеров перевода, чьи труды получили столь широкое признание у читателей. Вероятно, многие из присутствующих здесь прочли заметки Осии Сороки, опубликованные в журнале «Октябрь» (№ 3, 1982 г.), «Зачем Лиру цветы?». Сорока, думается мне,

---

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА

Переводчик со словацкого и чешского языков, критик. В ее переводе издавались произведения А. Плавки, Л. Новомеского, М. Фигули, А. Беднара, В. Ржезача, П. Францоуза, И. Кршенека, П. Яроша, В. Шикулы и др.

самым непосредственным образом участвует в нашей дискуссии, хотя его и нет среди нас. «Первый серьезный переводчик «Лира» А. В. Дружинин в 1856 году писал, что в «Лире» есть немало страшно цветистых мест, которых наше перо не решилось бы передать на родной язык во всей точности», и что «неблагопристойная шутка или песня должны быть выпущены из уважения к публике нашего времени». С тех пор, пишет Сорока, каждый новый переводчик «Лира» (а их было уже около десяти и, несомненно, будут еще) вынужден так или иначе отвечать Дружинину, соглашаясь ли с ним насчет неуместности чересчур «цветистых мест и неблагопристойных слов» или пытаясь возразить ему своей работой. Включиться в этот давний спор и заново перевести «Короля Лира» побудила меня мысль, что теперь, когда мы располагаем таким высокопоэтическим переводом, как пастернаковский, можно уделить больше внимания словотворческой стороне «Лира». Иными словами, то, что в XIX веке Дружинину представлялось непереводимым, в речетворческую пору XX века, после Есенина, Маяковского, Пастернака, становится возможным.

Или почему бы не прислушаться к совету такого мастера, как Николай Михайлович Любимов: «Нельзя сооружать барьеры между литературным языком и просторечием, между литературным языком и провинциализмами. Просторечие — это не только диалог или сказ. Стихия просторечия вторгается и в авторскую речь, и в авторскую речь даже наиболее пуристичных художников слова. Подлинные художники не гнушаются этой стихией. Они понимают, что без этой стихии их творчество мертво, они только умеют обуздывать ее»[1].

Итак, переводчик не только может, но должен быть на уровне современных достижений родного языка, учитывая при этом, конечно, уровень и возможности современного читателя. Наша речь подчас очень скудна, обезличена, и, к сожалению, язык литературных произведений, особенно переводных, порой не богаче. Ведь за пределами двух-трех тысяч слов, которыми владеет человек средней культуры, остаются еще многие тысячи неиспользованных языковых единиц. Они собраны в наших прекрасных русских словарях, а иной переводчик даже не дает себе труда заглянуть в них. Неустанно советоваться с этими неиссякаемыми источниками языка, внимательно прислушиваться к живой речи народа, изучать стилевое своеобразие прекрасных русских писателей — вот чему учат нас переводы наших учителей. И, конечно же, нельзя забывать о золотом правиле: все хорошо в меру.

В. ЛАКШИН. Могу с еще большим правом, чем Лев Залманович, поклясться в беспристрастии, поскольку, в отличие от него, не только прозы, но и стихов не переводил. Не переводил ничего, разве что однажды письма Тургенева Полине Виардо, писанные по-французски. Поэтому мои суждения могут быть лишь суждениями увлеченного и до некоторой степени подготовленного читателя переводной литературы. И если я беру слово, то не для того, чтобы решить вопрос, который до конца вырешить явно нельзя, но, так сказать, для расширения фона нашей беседы, добавления каких-то, выражаясь языком музыкантов, обертонов к этому разговору.

Мне нравится гордый задор фразы, брошенной когда-то Василием Кирилловичем Тредиаковским в предисловии к книге «Езда в остров Любви»: «Переводчик от творца только что именем рознится». Это заявление мастера, сознающего цену и смысл своей работы, редкого подвижника в своем деле. Напомню, что однажды в типографии сгорели при пожаре готовые к набору рукописи его перевода нескольких томов многотомной «Истории» Роллена. И Тредиаковский второй раз заново перевел все эти тома. Не знаю, способен ли кто-нибудь из литераторов в наши дни на такой подвиг. А главное — Тредиаковский был истинным языкотворцем. Многим отвлеченным иноземным понятиям он дал русскую физиономию: ему обязаны мы словами «материя», «эпоха», «теория». Он искал и порой изобретательно находил аналогии в русских понятиях французскому и английскому быту.

Творческое начало перевода, разумеется, аксиома и для большинства собравшихся здесь литераторов, чьими переводами мы привыкли восхищаться. Но каковы пределы творческого самовыявления переводчика, не видны ли и здесь границы, которые опасно нарушить?

Как-то в Переделкине я наблюдал творческий процесс одного, ныне покойного талантливого русского писателя, который, к досаде его читателей, сам в последнюю пору жизни писал очень мало и предпочитал, ради хлеба насущного, переводить книги с языков народов СССР, разумеется, с помощью подстрочника. Одновременно я наблюдал и оригинал, не в качестве только литературного текста, а непосредственно в лице автора, который сидел за плечом переводившего. Процесс перевода в данном случае напоминал больше вдохновенную импровизацию на заданную тему и происходил так. Русский писатель заглядывал мельком в текст подстрочника, лежавший сбоку у машинки, и читал там, положим, фразу: «Маринэ вышла на порог дома и глубоко вздохнула...» Писатель-переводчик сам тяжело вздыхал, по-видимому, вживаясь в образ, поднимал глаза к потолку, некоторое время сидел неподвижно, молча шевеля губами, и потом начинал быстро и вдохновенно выстукивать на машинке: «Солнце уже коснулось своими прощальными лучами вершины Ала-Тао, слегка подрумянив на закате легкие перламутровые облачка, когда быстроглазая, бойкая Маринэ...» Не ручаюсь за полную аутентичность этого примера, но способ работы переводчика был именно таков. Он дерзко, даже вдох-

---

ЛАКШИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Толстой и Чехов» (1963, 1975), «Островский» (1976, 1982), «Физиология успеха» (на венгерском языке, Будапешт, «Европа», 1978), «Биография книги» (1979) и ряда работ в области советской и зарубежной литературы.

[1] «Перевод — искусство», М., «Советская Россия», 1982.

новенно расшивал бедную канву подстрочника цветами своего поэтического красноречия. Щедро уступал хранившиеся в его собственном художественном запаснике образы и подробности и лишь для приличия, чтобы не перепутать имена героев, заглядывал в подстрочник.

А я прислушивался к тому, что говорил потом польщенный автор. Он говорил: «Замечательно переводит! Мастер! Я долго ждал, когда он найдет время меня перевести. Он так схватывает м о ю интонацию...»

Итак, перевод может звучать великолепно, как отличная русская проза или стихи, с единством интонации, органичностью стиля. Но чьей интонации? Чьего стиля? Не автора — переводчика.

Таков крайний случай. Но чаще встречается другая беда: в оригинале произведение блещет тысячью ярких красок, оттенков выражения и смысла и тускнеет, обесцвечивается в переводе. По подобному поводу Твардовский метко сказал однажды: «Все же поэтический оригинал — свежий зеленый луг, с росой, цветами и травами, а перевод в лучшем случае изготовленное из этой травы сено».

Я не открою ничего нового, если скажу, что только соединение действительно значительного текста оригинала и действительно значительной личности переводчика способно произвести вот это чудо — вызвать ко второй, живой и подлинной жизни на русском языке иноязычное творение. Попытки сделать по-русски «лучше», чем это было на языке оригинала, пожалуй, не нужны. А значит, в качестве первой проблемы перед переводчиком возникает проблема отбора, выбора книги для перевода — значительной и лично ему близкой. Разумеется, сделать «хуже», чем в оригинале,— это уж укор профессиональной чести и достоинству переводчика.

Труднейшее дело, конечно, поиски русского эквивалента не только чужим словам, но и чужим понятиям, нравам, обыкновениям. Как историк русской литературы, я мог бы проиллюстрировать это одним примером. В прошлом веке, скажем, драматической сцене требовались в немалом количестве зарубежные пьесы.

Репертуар в театре Корша, например, сменялся едва ль не каждую неделю, премьера шла за премьерой — оригинальных пьес не напасешься. Чем занимались русские драматурги? Они часто делали не переводы, а так называемые переделки. То есть брали текст зарубежного писателя и слегка переиначивали его на русские нравы. Если там была, скажем, Темза, то здесь Волга, если там ферма, то здесь получалось поместье. Если там был героем Смит, то здесь получался господин Воробьев. Интрига же и диалог менялись мало.

Такими переделками не брезговал, между прочим, и Александр Николаевич Островский. В его последнее Собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Искусство», впервые введены четыре переделки, которые, однако, он сам не слишком высоко ставил и называл «гермафродитами драматического искусства». Островский занимался и переводами. И вот, когда он переводил Шекспира, или Гольдони, или интермедии Сервантеса, это было нечто совсем другое: тщательное, почтительное отношение к тексту оригинала, что давалось не так уж легко, в частности, потому, что у Шекспира, например,— сегодня об этом уже говорилось — рядом с тончайшей поэзией немало грубостей и вульгаризмов, граничащих с неблагопристойностью, как, впрочем, и у Рабле, и у Боккаччо. Мыслимо ли было вообразить их на чинной императорской сцене? Или увидеть подобную книгу в руках усадебной барышни?

Тем не менее понятия людей о границах дозволенного в искусстве меняются, как меняется и отношение к тем или иным сторонам человеческой жизни, регулируемой законами нравственности—в зависимости от этого и словарь как оригинала, так и переводного текста. Уместно напомнить, что русские писатели-классики, о которых шла речь, тот же Островский или Лев Толстой, не избежали самых резких упреков современной им критики в неблагопристойности, или, во всяком случае, в сомнительной смелости некоторых картин и чрезмерной, на вкус их зоилов, откровенности тона.

Когда в Петербурге впервые была поставлена «Гроза» и ее решились показать императрице, сцену свидания срочно вымарали перед спектаклем как неблагопристойную. А журнал «Современная летопись» в 1865 году писал: «Эротизм доведен был в комедии «Воспитанница» и в драме «Гроза» до самого, казалось бы, крайнего, до самого циничного выражения». Критики находили, что в пьесе «На бойком месте» в смысле эротизма «автор остановился только у самых геркулесовых столпов, за которыми уже начинается царство маркиза де Сада с братией». Подумать только: добропорядочный моралист Островский — и маркиз де Сад!

Таким образом, многие понятия принятого общественного вкуса, а сказать резче, порой и общественного лицемерия, исторически преходящи. То, что когда-то считалось грубым просторечием, откровенностью сверх меры, рискованным словосочетанием, ныне воспринимается часто как норма литературного письма, натуральная, лишенная жеманства краска реального языка.

Конечно, важнее всего при этом оправданность любого слова замыслом целого (об этом говорили уже и Апт и Эйдлин). Важно, в какую это включается энергию мысли, в какой образный ряд встает и не выглядит ли нарочитым щегольством, любованием своей словесной «дерзостью». Если снова вспомнить классиков, Чехов самый «рискованный» мотив умел выразить с безупречным изяществом. Описывая в очерках «Из Сибири» грубую брань гребцов-перевозчиков, Чехов пишет: «Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери». Не сказано ничего лишнего и сказано все!

Я отдаю себе отчет в сложности того художественного материала, с которым имела дело переводчица Делибеса. Куда денешь вульгарность, «уличность» современного сленга, да еще при описании молодежной среды. Во многих отношениях переводчи-

ца вышла с честью, даже мастерски из очень трудных ситуаций. Но если бы я решился в чем-либо упрекнуть этот перевод, то разве лишь в том, что некоторые из предложенных русских эквивалентов несут на себе печать искусственности, от них «пахнет литературой». Когда для передачи молодежного жаргона употребляются такие речения, например, как «бляха-муха» или «елки-моталки», я вспоминаю невольно, во-первых, стихотворение Евтушенко, где обыграна эта «бляха-муха», во-вторых, сочинение Чивилихина, так и называвшееся «Елки-моталки». Все это отработано в литературном обиходе, и трудно поверить, что так говорит испанская молодежь. Должен ли быть словесный эквивалент в данном случае грубее или, напротив, отвлеченнее, отдаленнее — кто знает? Побеждает тот переводчик, который находит эквивалент в родном языке, отвечающий правде, а заодно чувству меры и вкуса.

Наверное, какие-то слова и понятия чужой речи попросту непереводимы и могут быть перенесены в перевод лишь в родной им фонетической одежде. Во всяком языке есть какие-то резервы для писателя в словах редких и новых, диалектных и устаревших. Им-то как раз труднее всего придать хрустальную ясность в переводе.

Когда я читаю по-русски замечательную «Царь-рыбу» Виктора Астафьева, трудно даже помыслить, как это возможно перевести. Ведь читая его и на родном языке, ловишь себя на том, что не каждое слово мгновенно понимаешь — так много просторечного, местного, «сибирского». Но при этом почти всегда чувствуешь точность этих слов, их уместность и легко догадываешься об оттенках смысла, какой они несут.

Так и переводная проза, она, наверное, имеет право не быть хрустально-прозрачной в любом своем слове — в натуральном, естественном потоке литературной речи читатель о многом может догадаться, даже если не поймет сразу какой-то специфически иноземной реалии. Важна точность передачи незнакомого образного мира, интонации художника.

В конце концов мудрость тут, по-видимому, только одна: надо уметь, во-первых, хорошо выбрать, найти произведение, которое стоит перевести. Во-вторых, переводить надо хорошо, в согласии со смыслом оригинала и живой русской современной речью.

И тот, кто своей переводческой работой убедит нас, что перед нами искусство, литература, за которой живая жизнь, с тем самой скептической критике уже ничего нельзя поделать. А кто не убедит... с тем тоже, кажется, сделать ничего нельзя. Разве что не читать его перевода.

Н. ГЛЕН. Мне кажется, что сегодняшние выступления, если пытаться выделить в них главное, распадаются на две группы. Представители первой полагают самым главным — блюсти чистоту русского языка во что бы то ни стало — и в этом видят следование традициям русской литературы, другая же «группа» — деление это, естественно, схематично — больше всего озабочена тем, как максимально верно передать оригинал, который бывает, как мы хорошо знаем, всякий — и насыщенный сленгом, и целиком просторечный, и какой угодно, и при передаче его невозможно обойтись только традициями классиков нашего перевода. Убедительные аргументы были при этом и у той и у другой стороны, но мне показалось странным, что такие опытнейшие литераторы, как представители первой группы, выступая против злоупотреблений жаргоном или просторечием, приводили примеры вне текста, вне контекста — какой-нибудь «будь спок» (это был один из примеров Льва Залмановича) в одном случае может быть безобразным, неуместным, невозможным и — совершенно естественным и необходимым в другом. Все дело в том, кто, в какое время, при каких обстоятельствах то или иное слово произносит. Это, конечно, азы, но, по-моему, азы эти оказались в некотором пренебрежении. И судить о том, удался перевод или не удался, надо, мне кажется, не по количеству и «густоте» тех или иных выражений, а по конечному результату, о котором говорил сейчас Владимир Яковлевич,— по тому, победил переводчик или не победил.

Хотелось бы сказать еще об одном: у переводчика должно быть право на эксперимент в переводе, на эксперимент в обращении с языком — право, а в некоторых случаях даже обязанность, когда то произведение, которое он переводит, тоже экспериментально в смысле языка, в смысле манеры. И тут мне хотелось бы привести один пример такой работы — это перевод Кутасовой романа Драгослава Михайловича «Венок Петрии» («Прогресс», 1978, перевод с сербскохорватского), романа, который был в какой-то степени экспериментальным и в своей родной литературе. Роман-монолог написан на одном из южносербских диалектов. Героиня, от лица которой ведется повествование,— неграмотная крестьянка, шахтерская вдова, и весь ее рассказ от первого до последнего слова, вся «материя» ее языка — диалектна и «малограмотна». Если бы переводчик пытался как-то приглаживать этот язык, приближая его к литературной норме, стремился, как это нередко советуют, только «обозначать» просторечную стихию, взвешивать, дозировать количество просторечий, роман Михайловича, замечательный и по своему содержанию, был бы, мне кажется, просто загублен. Но Кутасова пошла на эксперимент. Решившись на «сплошное» просторечие, она очень последовательна, просторечие захватывает у нее не только лексику, но и синтаксис, и фонетику, чего в нашей переводной литературе почти не бывает. Вначале это ошарашивает непривычного читателя — а мы в этом смысле все непривычные,— но потом перевод убеждает, то есть переводчик оказывается победителем. Мы, как правило, плохо знаем крестьянское просторечие, нам проще переводить, приближая текст к нашей интеллигентской

ГЛЕН НИКА НИКОЛАЕВНА

Переводчик болгарской прозы и драматургии. В ее переводах публиковались произведения К. Калчева, Б. Райнова, И. Радичкова, Э. Станева, А. Гуляшки, Э. Манова, В. Петрова, С. Стратиева, А. Карасимеонова и др.

речи,— этим мы просто облегчаем себе задачу, а путь, по которому пошла Кутасова, конечно, намного труднее, но зато и плодотворнее. Хотелось бы вспомнить слова И. Грековой, имеющие, мне кажется, прямое отношение и к переводческой работе. Писательница выступает за разрушение преград, отделяющих язык художественной литературы от просторечия... Она убеждена, что писатель имеет право нести на страницы своих произведений современную бытовую речь во всей ее натуральной нестройности, со всеми ошибками и нелепостями, со всей пестротой разнородных языковых слоев.

Н. ЛИТВИНЕЦ. Мне трудно говорить, ибо поневоле приходится словно раздваиваться. С одной стороны, я — переводчик, по крайней мере пробую свои силы в области художественного перевода, а значит, не могу не чувствовать внутренней солидарности со своими собратьями по цеху, с другой же стороны, я еще и немного издатель, а стало быть, тот самый злейший враг переводчика, который берет и — со словами «ну, это у нас не пойдет» — вычеркивает железной рукою такие, казалось бы, удачные словесные находки, над которыми несчастному переводчику пришлось поломать голову не один день и даже не один месяц. Объединение этих двух начал — поисково-творческого, неограниченного, широкого и редакторски контролирующего, сдерживающего, упорядочивающего — это, конечно, не только чья-то индивидуальная проблема, но и, думается, проблема переводческого труда в целом.

Приступая к работе над иноязычным художественным произведением, переводчик как бы остается один на один с текстом, и нет у него другого стремления, кроме как воспроизвести оригинал на своем родном языке во всем его словесном богатстве и в то же время до скрупулезности точно. Преодолены первые трудности понимания, оригинал «расшифрован» до последней буквы, начитан соответствующий материал, выверены по справочникам сложные реалии и терминологические понятия — и вот тогда вступает в действие знание переводчиком своего родного языка, владение всеми его богатствами, всеми регистрами.

Как часто нам в молодом нашем издательстве «Радуга» приходится отвечать на письма людей, желающих заняться переводом художественной литературы: все они с большей или меньшей основательностью изучили иностранный язык и по наивности полагают, что уже одно это дает право претендовать на переводческую работу, при этом, однако, даже на одной страничке письма далеко не все грамотно и профессионально излагают свои мысли по-русски. Впрочем, есть несколько безошибочных признаков, позволяющих отличить возможный будущий талант от простого дилетанта-начетчика. Дилетант, как правило, ни секунды не сомневается в собственных возможностях, он просит, чтобы ему тут же выделили для перевода рассказ, повесть, а еще лучше — роман; человек же потенциального таланта намного скромнее, он ничего не просит, ничего не требует, лишь садится за письменный стол и начинает переводить — просто так, для себя, вслушиваясь в звучание каждой фразы: а смогу ли? а сумею? И как радостно бывает порой нам, издателям, обнаружить в случайно попавшем в почту пробном переводе подлинный художественный текст, отмеченный печатью будущего мастерства. К сожалению, подобные радостные открытия случаются гораздо реже, чем хотелось бы.

Но я отвлеклась. Итак, главное для переводчика — знание собственного языка, умение подключить в нужный момент все его богатства, все регистры. Вот тут-то и вступает в права редактор, корректор, если можно так выразиться, переводческой речи. Чуткое редакторское ухо призвано уловить малейшую фальшь в переключении языковых уровней, любое неточно найденное слово, любой неверно взятый тон. Сотворчество, соразмышление — так определила бы я сущность редакторской профессии. Редактор уже не остается один на один с текстом, он — посредник между переводчиком, а значит, и переводимым автором, и нашими читателями. Он должен думать еще и о том, как отзовется переводческое слово, как будет воспринята та или иная книга, какова будет реакция читателей. Не только тех, что, поддавшись минутному порыву, сядут и напишут в редакцию доброжелательное или же, напротив, «сердитое» письмо, но тех, что просто внимательно прочтут книгу и долго еще будут размышлять о прочитанном.

Кстати, о читательских письмах. Разумеется, для каждого издателя любое читательское письмо — это повод к раздумью, это своего рода сигнал, звонок, тревожный или, напротив, радостный, заставляющий еще раз проанализировать отдельные моменты нашей работы, наши просчеты или же, напротив, удачи. Но я решительно против того, чтоб абсолютизировать отдельные мнения, содержащиеся в читательских письмах, выдавать их за мнение некоего нашего абстрактного читателя вообще. Письмо в издательство или в редакцию — это прежде всего мнение одного конкретного человека, прочитавшего книгу. Разумеется, у человека этого, говоря социологическим языком, есть целый ряд определенных «параметров»: он, скажем, входит в ту или иную возрастную группу, и в какой-то степени его мнение является характерным для этой группы в целом, он принадлежит к определенному культурному слою и, возможно,— хотя тут нюансов гораздо больше — выражает некое общее мнение своего слоя, наконец, есть различия и в степени начитанности, в профессиональной принадлежности, в эмоциональном багаже... Все это нельзя сбрасывать со счетов, когда мы начинаем говорить о читательских письмах, пытаясь сразу же вывести на их основе какое-то единое, «сводное» читательское мнение. Такое мнение

ЛИТВИНЕЦ НИНА СЕРГЕЕВНА

Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор ряда статей по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ. Занимается художественными переводами.

вывести, конечно, можно, но не на основе отдельных писем, а на основе, скажем, грамотного анкетирования, учитывающего все сопутствующие моменты. Впрочем, это уже задача для профессионала-социолога.

И все-таки письма, пришедшие в журнал в связи с публикацией повести Мигеля Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кайо?»,—симптоматичны. И мне кажется, что читатели в этих письмах, высказываясь, понятно, с разной степенью литературоведческой осведомленности и подготовки, нащупывают ту самую весьма важную проблему художественного перевода, с которой я начала. Ибо искусство переводчика, на мой взгляд, не только в том, чтобы выплеснуть на страницы текста все находящееся в его распоряжении языковое богатство,— оно еще и в самоограничении, в жесткой и суровой самоцензуре. Мне кажется, что перевод как никакая другая область художественного творчества требует от переводчика сдержанности и строгости, умения смирять свое переводческое «я», подчиняя его «я» автора. Возможно, я выскажу спорное мнение, но это моя убежденность, основанная на опыте издательской работы: художественный перевод допустимо осуществлять лишь теми языковыми средствами, которые давно уже вошли в национальный общелитературный фонд. Любое отступление от этого принципа неизбежно порождает диссонанс: появление в переводе отдельных диалектальных слов и выражений, жаргонизмов, просторечий и тому подобных вещей тут же «привязывает» переведенный текст к той или иной языковой группе собственного языка, разрушает изначальный художественный образ, вызывает недоумение у читателя, хорошо чувствующего разные языковые слои родного языка. Отсюда и письма. Возвращаясь к переводу повести Делибеса, можно лишь еще раз подчеркнуть, что их появление не случайно. Наталья Александровна очень хорошо сказала здесь о том, как переводчик в нужную минуту извлекает из сокровенных глубин своей души нужный словесный эквивалент. Так вот, у меня такое ощущение, что то обилие (становящееся временами явно нарочитым) просторечий и жаргонизмов в переводе повести Делибеса — не из глубин души такого тонкого и замечательного переводчика, как Людмила Петровна Синянская, это привнесенное искусственное, «со стороны», то, что деформирует в нашем восприятии авторский текст, хотя, конечно же, есть в испанском оригинале и свои жаргонизмы, и даже грубые ругательства. Но вот передавать их, на мой взгляд, следовало бы иными языковыми средствами, не прибегая к тому примитивному жаргону, каким пользуется весьма узкая группа носителей нашего языка.

Словом, речь идет о чувстве меры. О том чувстве, которое объединяет в одном лице и переводчика, и редактора, которое есть необходимая составляющая переводческого таланта и которое помогает сохранить в переводе чистоту и изначальное богатство родного языка (о чем здесь уже прекрасно говорил Лев Залманович), сделать переведенную книгу фактом национальной литературной жизни.

Р. РАЙТ-КОВАЛЕВА. К сожалению, мне редко приходится участвовать во встречах с моими коллегами, так как я обычно работаю за городом. Да и те довольно подробные статьи об искусстве перевода, в которых я писала о работе с молодыми переводчиками, напечатаны в малоизвестных журналах и давно затеряны в редакциях.

Самое трудное в переводе — передача сленга, просторечия, местных говоров. Когда я переводила Сэлинджера «Над пропастью во ржи», мне пришлось искать адекватный текст очень долго: герой никак не мог у меня «заговорить» по-русски соответствующим ему языком. И я долго, «по системе Станиславского», как я в шутку объясняла своим коллегам, представляла его себе к о н к р е т н о. Я увидела, услышала его голос — по-русски и, надеюсь, нашла живого Холдена Колфилда: в моем представлении у него даже спадали носки, он немного заикался, когда волновался или напускал на себя взрослый тон. Перевод — прежде всего поиск, долгое, порой мучительное «вживание» в образ, в обстановку, в эпоху.

Торопливые, «гладкие» переводы — преступление против автора и нашего очень квалифицированного читателя. Но внесение современного, часто очень мимолетно существующего р у с с к о г о с л е н г а всегда пересаживает героев то в наши студенческие общежития, то в подмосковные колхозы. И смешно слышать, как американец советует другу бороться со строптивой женой: «А ты ее садани под микитки». Мы даже называли такое злоупотребление сегодняшним, очень, повторяю, неустойчивым сленгом — «The pod mickitky school».

Этого надо б о я т ь с я — дело хорошего переводчика и редактора отбирать слова тщательно и вдумчиво. Сейчас в западной литературе все разрешается — вплоть до мата. Но вот Толстой, как напомнил Лев Залманович Эйдлин, описывая сцену, где ругаются солдаты, пишет что-то вроде: «...и дальше пошли веселые ругательства», — и, право, читателю вполне достаточно, чтобы сцену эту представить. Или у Пушкина: «Вот перешедши мост Кокушкин, опершись... на гранит, сам Александр Сергеич Пушкин с мсье Онегиным стоит». По-моему, надо следовать Пушкину: он знал все слова, но ставил вместо иных точки. А уж Пушкин не лицемер!

Есть ведь какие-то элементарные правила общежития: не надо сморкаться в салфетку за столом (даже в бумажную), не надо «подглядывать в щелку», даже если там просто кто-то одевается, а не занимается любовью, — и в литературе это тоже неприятно. Описывать, как такой-то...

РАЙТ-КОВАЛЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА

Писательница, переводчик. В 1920 г. перевела на немецкий язык некоторые стихи В. Маяковского и «Мистерию-буфф». В ее переводе издавались произведения М. Твена, У. Фолкнера, Дж. Голсуорси, Г. Бёля, Ф. Кафки, Дж. Сэлинджера, Г. Грина, Дж. Пристли и др. Р. Райт принадлежат также книги воспоминаний о Маяковском, Пастернаке, Ахматовой и книга «Роберт Бернс» в серии «ЖЗЛ».

такую-то — безвкусица, бравада — глупая и все же шокирующая любого маломальски чистоплотного человека. Не ругайтесь, милые молодые люди, ни в жизни, ни в литературе. Нечистоплотность в разговорном языке, в нашем быту — это неприличие, невоспитанность. И если иностранный писатель это себе позволяет (хотя, замечу, ни у Сэлинджера, ни, скажем, у Воннегута это не подается как норма), то нам, следуя нашей литературной норме, следует — с полного согласия автора, разумеется, — это обойти. У меня, например, так было с Воннегутом. По просьбе редакции он убрал из «Завтрака для чемпионов» рисунок, представляющий собой «анатомический эскиз», и заменил его надписью: «Место, откуда родятся дети». Он понял, что русскому читателю рисунок мог показаться непристойным, а этого он никак не хотел.

Мы должны всегда давать себе отчет в том, как воспримет именно наш читатель ту или иную фразу, слово, сцену, какие ассоциации они вызовут именно у него. С другой стороны, нужно понимать, что читатель легко «расшифрует» найденный переводчиком эвфемизм настолько, насколько это нужно для воссоздания колорита эпизода. Право, из-за того, чтобы получить право вносить в текст русских переводов некоторые слова в том виде, в каком они пишутся на заборах, не стоит и копья ломать.

Л. СИНЯНСКАЯ. На свете немало истин двоемысленных по самой своей сути. Например: будь смелым, но при этом осторожным. Такие истины — а у них, словно у хорошего боевого быка на корриде, два одинаково острых диалектических рога, — такие истины настолько очевидны, что никто не возьмется их опровергать. Никто не станет утверждать, что нужно быть смелым вообще, без осторожности, или вообще осторожным без смелости. Когда речь идет о вообще. Но бывает, что нужно быть смелым, отбросив в сторону осторожность, или, напротив, стать осторожным, забыв на время о смелости. Все зависит от конкретных обстоятельств.

Вот так и в нашем обсуждении. Если говорить вообще, мы никогда не придем к общему мнению по вопросу, который здесь обсуждается. Ибо ясно, что, с одной стороны, мы должны беречь чистоту языка, а с другой, если станем беречь без оглядки на новые процессы, в нем происходящие, на просторечия, на жаргон, то рискуем превратить его в некий стерильный продукт, который мгновенно зачахнет на воздухе, при первом же соприкосновении с живой жизнью. Спор на эту тему, должно быть, возник, едва появились первые писатели, — а вслед за ними и критики, — и наше обсуждение точку на нем не поставит. Единственный вывод, к которому мы, очевидно, сможем прийти, сведется к тому, что все зависит от конкретных обстоятельств. Ибо истина, как известно, конкретна.

И потому я остановлюсь на конкретном случае, имеющем непосредственное отношение к теме разговора,— на своем переводе романа Мигеля Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кайо?».

Если бы при переводе романа, следуя некоторым рекомендациям, были опущены вульгаризмы, жаргонные слова или призваны на помощь сноски, поясняющие «непереводимую игру слов», от такого перевода роман просто рассыпался бы и потерял право на существование. Потому что в этом произведении М. Делибес, один из самых щепетильных и даже старомодных (в хорошем смысле этого слова) современных испанских прозаиков, намеренно использует такой языковой пласт для характеристики некоторых своих персонажей. Этот языковой «мусор» — а Делибес именно так к нему и относится — он вкладывает в уста молодых людей, в которых мы угадываем будущих политических демагогов-оппортунистов. Эти люди — вчерашние студенты, явно из обеспеченных семей, из так называемых средних слоев — пытаются возместить свое незнание жизни народа (того самого, чью поддержку они хотят получить на выборах) неумеренным употреблением псевдонародных словечек и выражений. Они все время сквернословят, и сквернословят уныло, я бы сказала, формально, желая тем самым доказать свою «прогрессивность», свою «близость к народу». Однако в их устах звучит это, как справедливо заметил Владимир Яковлевич Лакшин, дешевой литературщиной. Когда же они сталкиваются с истинным представителем народа, сеньором Кайо, то оказывается, что народ-то как раз говорит на прозрачном, без «примесей», корневом языке. Который, кстати сказать, любит и сам Делибес.

Этот прием — нарочитый контраст — обойти невозможно, так как он играет роль «несущей конструкции» в структуре произведения. А коль скоро речь идет о художественном переводе, то задачей переводчика было вызвать у русского читателя эмоции, сходные с теми, какие возникают у читателя-испанца, а именно — ощущение нарочитости и раздражение. Судя по многочисленным негодующим письмам читателей, этот эффект достигнут.

Возникает законный вопрос — стоило ли вообще переводить такой непривычный для нашего восприятия роман? Мне кажется, на этот вопрос следует ответить утвердительно. Прежде всего это — политический роман, написанный большим писателем, а такое, мы знаем, бывает нечасто. Кроме того, теперь, по прошествии времени, после убедительной победы испанской социалистической партии на выборах, мы можем сказать, что политический прогноз, сделанный Делибесом в этом романе, подтвердился. Шесть лет назад, когда писался роман, соцпартия была всего лишь одной из мно-

---

СИНЯНСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Переводчик испанской и латиноамериканской прозы. Переводила произведения А. Карпентьера. Пабло Неруды, Хуана Карлоса Онетти, Хуана Гойтисоло, Мигеля Делибеса, Ф. Гарсиа Павона, Г. Гарсиа Маркеса, М. Отеро Сильвы, К. Рохаса и др.

гих, далеко не самой сильной в стране, но художник показывает ее как прекрасно организованную, способную повести за собой значительную часть молодежи политическую силу. Что же касается иных характеристик этой силы, которые Делибес отразил, пользуясь языковыми средствами, то у нас, мне кажется, нет оснований не доверять художническому чутью писателя.

Таким образом, каждый конкретный случай требует своего решения, и я боюсь, что даже самый полный словарь вульгаризмов, просторечий и прочего мало поможет переводчику. Дело не в том, чтобы доискаться до смысла какого-либо слова или выражения, а в том, как передать его средствами родного языка, развивающегося в совершенно иных культурно-исторических традициях, чем язык — любой язык! — с которого мы переводим. Различный культурно-исторический опыт народов ответствен за разное восприятие многих слов, обозначающих, казалось бы, одни и те же понятия, и создает тот барьер «непереводимости», о который то и дело ударяется переводчик. Действительно, почему слова, обозначающие определенные части тела или интимные отношения, вполне терпит, скажем, испанская бумага, а мы невольно отводим глаза, встречая их нацарапанными на заборе? Почему там они не несут почти никакой нагрузки, кроме смысловой, а у нас входят в разряд непристойных и запретных? В «Поучении святых отцев» [1], документе начала XVIII века, своеобразном пособии для священников, строго регламентирующем всевозможные грехи и провинности, а также наказания за них, епитимью, мы читаем, что нарушение одной из десяти заповедей — возжелать жену ближнего — стоит в одном ряду с такими прегрешениями, как «смеяться громко» или назвать определенную часть тела. По-видимому, это, последнее, рассматривается как ересь, как наследие не искорененных до конца проявлений языческого мироощущения. На это, как на ересь, накладывается запрет, и запретное слово со временем становится срамным. В отличие от Европы, где христианство укрепилось давно, где после того было Возрождение с его интересом к человеку как части Природы, с культом человеческого тела, в отличие от Европы, где уже в средние века центрами культуры были не только монастыри, но и университеты, на Руси христианство устанавливалось много позднее и в тесном союзе с государственной властью сурово боролось со всевозможными проявлениями ереси, налагая многочисленные запреты. Не замечать этих запретов нам нельзя. Разрушение исторически сложившихся запретов, ломка традиций, глубокая языковая реформа по плечу и позволительна гению, как Пушкин, к тому же непременно работающему на национальном материале. Как знать, не проделай Пушкин потрясающую по своему демократизму языковую реформу, быть может, мы, строго следуя правилам разделения языка на литературный и живой, разговорный, писали бы до сих пор, что санитарка Маша прижималась ланитами к стволу ППШ, а под маскхалатом у нее вздымались перси?

Как бы то ни было, переводчику, вводящему в родную литературу элементы чужой культуры и эстетики, следует с чрезвычайной осторожностью и уважением подходить к живым традициям, каждый раз проявляя конкретную заботу о том, чтобы это чужое обогащало, а не засоряло и не разрушало свое, национальное.

[1] Труды Отдела древнерусской литературы, АН СССР, № 36, 1981 г.

А. ФЕДОРОВ

Послесловие

Для этой дискуссии за «круглым столом» вряд ли можно было найти тему более острую, чем вопрос о просторечии в современной зарубежной литературе, о степени возможности сохранить его в переводе, о конкретных путях и средствах его передачи. Участники дискуссии по-разному подходили к вопросу, но всех он затронул за живое. И вполне закономерно, что разговор шел не только о просторечии в прямом и точном смысле этого термина, обозначающего, как известно, круг языковых явлений, которые находятся на нижнем пределе литературности и граничат с нелитературными пластами в языке. Именно им — диалектизмам, элементам социальных жаргонов, арготизмам, профессионализмам (в частности, английскому сленгу) — было уделено очень большое внимание. В современной лингвистике для всей совокупности этих явлений выработалось и специальное обозначение — «субстандартизмы» (то, что лежит ниже «стандарта», то есть нормы, или на самой ее грани).

Острота и интерес вопроса — с переводческой точки зрения — заключается в том, что просторечие и все «субстандартное» в языке современных зарубежных (западных) литератур, с одной стороны, и русской литературы, с другой, представлено весьма по-разному, в разной пропорции, в общем, несоразмерно. Если там во множестве произведений словесная ткань густо насыщена не только просторечием, но и всякого рода чертами, отклоняющимися вниз от нормы, то в нашей оригинальной прозе все это существует, как правило, в виде сравнительно легких вкраплений. Это неоднократно отмечали и сами участники обсуждения, но из факта такого различия делались противоположные выводы. В одном из последних выступлений (Н. Глен) было констатировано, что среди спорящих определились две группы. С точки зрения одной из групп (это Л. Эйдлин, С. Апт, М. Ваксмахер, Н. Литвинец, Р. Райт), требования соблюдения нормы нашего языка, его чи-

ФЕДОРОВ АНДРЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ

Доктор филологических наук, профессор. Автор книг: «О художественном переводе» (1941), «Введение в теорию перевода» (1953, 1958), «Лермонтов и литература его времени» (1967), «Основы общей теории перевода» (1968), «Очерки общей и сопоставительной стилистики» (1971), «А. Блок — драматург» (1980) и др.

стоты, его высоких традиций делают нежелательной передачу иноязычного просторечия и сопредельных с ним черт стиля в том количестве и качестве, какие отличают их в оригинале, поскольку эффект грубости или непристойности, производимый на читателя, не будет соответствовать оригиналу, где данные черты более или менее привычны. Другая группа (Т. Кудрявцева, И. Тертерян, Н. Аросева, Н. Шульгина, Н. Глен) отстаивала просторечие и право переводчика вносить в свой текст новое, непривычное, прибегать и к словотворчеству — для правдивого отображения подлинника. Обе группы выступавших были очень сдержанны, можно бы сказать — и осторожны, все говорили о важности такта, чувства меры в переводе.

Спор, конечно, получился — но без резкой полемики. Ссылки на опыт предшественников оказались немногочисленными: не раз упоминалась с похвалой прекрасная работа Р. Райт — перевод «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, приведены были цитаты из статьи Н. Любимова да еще некоторые примеры из практики последних лет.

А между тем вопрос не совсем нов, он даже имеет свою историю (что не мешает ему сохранять актуальность).

Тут следует вспомнить о большой темпераментной статье С. Петрова, так прямо и названной — «О пользе просторечия» («Мастерство перевода». Сборник. М., 1963). Автор ее энергично разоблачал гладкие, «усредненные» переводы и решительно настаивал на необходимости применять просторечие (широко понимаемое) в переводе не только современных, но и классических произведений (конечно, там, где этого требует оригинал). Еще до своего появления в печати статья послужила предметом дискуссии в секции переводчиков Ленинградской писательской организации, причем тезисы и доводы автора получили поддержку со стороны почти всех, кто брал слово (краткий отчет об этом обсуждении — в названном сборнике). К. Чуковский в довоенном издании своего «Высокого искусства» (1941) указывал на возможность передачи, точнее — компенсации просторечных слов синтаксическим путем, то есть посредством сдвигов в словорасположении. А в обновленной редакции своей замечательной книги (1964 г. и последующие издания) он чрезвычайно высоко оценил ту изобретательность и особенно новаторскую смелость, с какой Р. Райт воспользовалась просторечными словами и молодежным жаргоном в переводе Сэлинджера. Нельзя не вспомнить и о том, как щедро и убедительно воссоздавали народную речь и просторечие Н. Любимов в переводе Рабле, А. Морозов в переводе романа Гриммельсгаузена «Симплициссимус» (XVII в.), а ранее — М. Лозинский в переводе «Кола Брюньона» Р. Роллана. Эти мастера перевода — художники, во многом разные, общее же для них — смелость.

Сейчас, очевидно, вопрос вступил в новую фазу. Дело именно в том все усиливающемся на Западе «буйстве сленга», о котором говорил Л. Эйдлин, и вместе с тем — в особой быстроте процессов, протекающих в этом пласте языка, то есть в скором устаревании слов и словечек, да и в скоротечности жизни многих русских соответствий, которые могли бы быть подобраны для них в просторечии и внелитературной сфере. Некоторые из них, случается, переходят и в верхние пласты словаря, к ним привыкают, другие же отпадают, забываются, выходят из употребления. Переводная, как и оригинальная книга, построенная из такого материала, легко подвергается опасности устареть по языку (об этом с разных позиций верно говорили и Л. Эйдлин, и Т. Кудрявцева). Из многих выступлений явствовало, сколь труден по всем этим причинам перевод современной прозы — даже и в сопоставлении с таким ответственным видом творчества, как перевод классиков, в котором есть возможность опереться на язык русской классической литературы, на его традиции и нормы. И часто переводы классической литературы — долговечнее.

На традиции языка русской литературы в течение дискуссии ссылались постоянно. И. Тертерян, в частности, сказала: «...русская литературная норма (...) самая строгая. (...) такой строгой (...) нормы ни в одной из европейских литератур больше нет». Суждение — справедливое. Но вот надо ли соглашаться с утверждением Н. Литвинец, что «художественный перевод допустимо осуществлять лишь теми языковыми средствами, которые давно уже вошли в национальный общелитературный фонд»? Ведь это значило бы преградить дорогу всякой новизне, поискам, а главное — усилиям передать своеобразие оригинала, когда он не похож на то, что привычно нам. А что до классиков, то ведь они — вспомним — не сразу становились классиками, создателями норм, они были и новаторами, смелыми искателями непроторенных путей в языке, были и революционерами на этих путях. Недаром возмущали литературных староверов не только Гоголь, когда в язык «Ревизора», петербургских повестей, «Мертвых душ» он вводил мещанский говор, городское или крестьянское просторечие, но ранее его — и Пушкин, когда в его поэме появилась «простонародная» строка: «Людская молвь и конский топ».

Путь к норме языка в советской литературе тоже не был прямолинейным, простым. В первые же годы становления молодой советской прозы (1920-е) некоторые авторы, притом талантливейшие, обильно вводили в язык своих произведений то, что бросалось в глаза нелитературностью — областные слова и речения (Вс. Иванов, Л. Леонов), военный и городской жаргон того времени (И. Бабель), воровское арго (В. Каверин в «Конце хазы»). У них находились и многочисленные подражатели. Нелитературное становилось расхожей монетой, входило в моду и грозило захлестнуть язык литературы. С такой тенденцией, уже

реально опасной, повел решительную борьбу М. Горький—борьбу за чистоту, ясность, понятность художественной речи как главное условие ее выразительности. Плодами этой борьбы, то есть достигнутой высотой языковой традиции и широтой стилистического диапазона нашей литературы, мы гордимся и поныне — и читатели и литераторы. Но запрета на поиски, на новизну, да и на риск никогда не было, нет его и сейчас. Пример тому — наша великолепная деревенская проза, язык которой не отступает и перед областной речью, перед диалектом. В. Лакшин называл «Царь-рыбу» В. Астафьева с ее сибирским колоритом. Всем знакомы и не менее «сибирские» повести В. Распутина. Традиция и норма, на фоне которой мы воспринимаем эту прозу, никогда не означали ни «застоя», ни «гладкости».

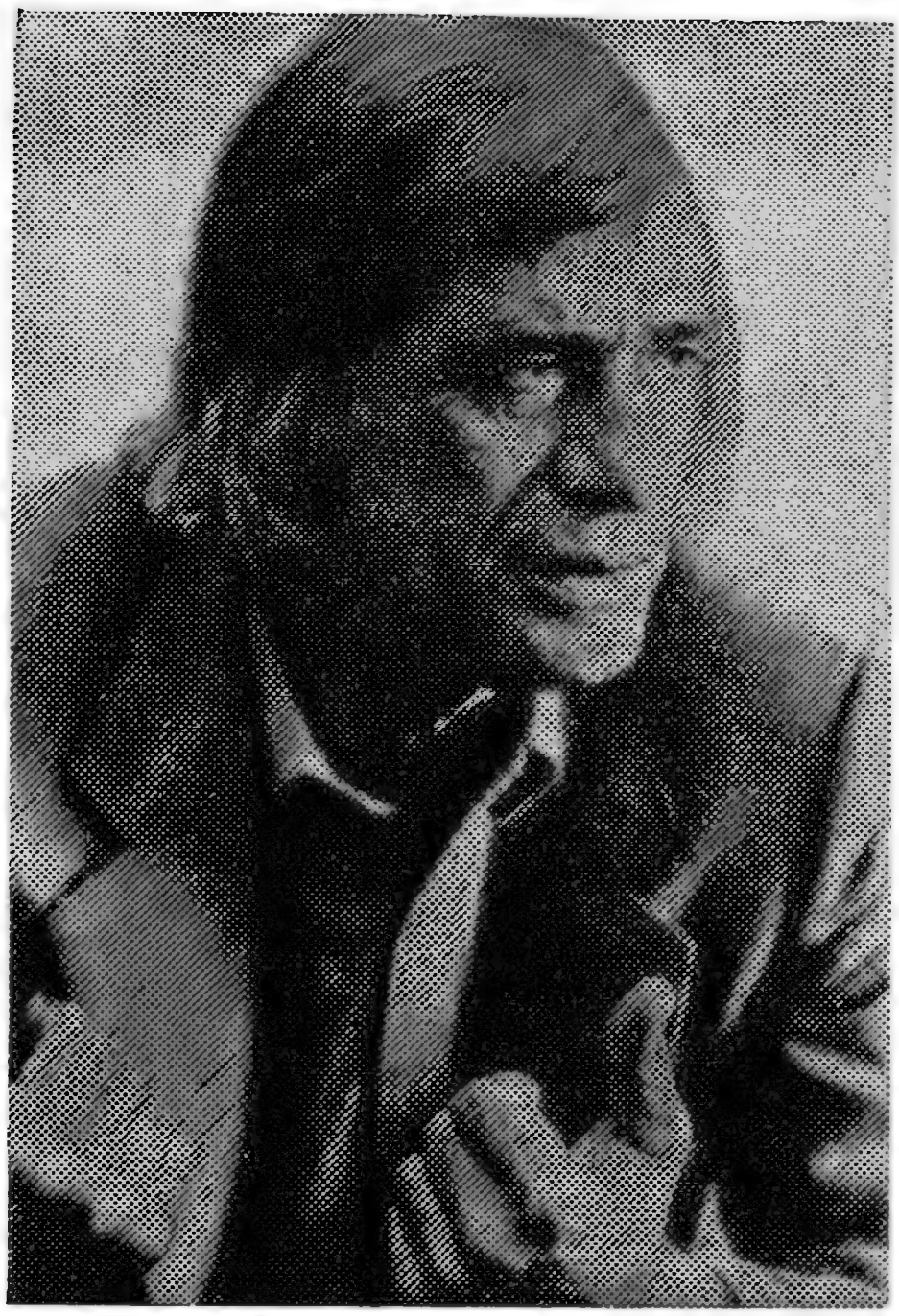
Трудное дело — подводить итоги дискуссии, насыщенной важными и интересными соображениями, отразившей большой литературный опыт ее участников и основанные на нем убеждения. Никто из выступавших не предлагал каких-либо рецептов — они и невозможны в искусстве. Искать «золотую середину» для противоположных мнений тоже было бы бесполезно. Но если призывы к осторожности, напоминания о чувстве меры, о такте достаточно обоснованы как следствие литературного опыта, то не менее ясно, что в искусстве перевода, как и во всяком искусстве, движение вперед невозможно без смелости, без поисков новых решений, без риска. Да, бесспорно, широкое использование просторечия, а в особенности нелитературных языковых ресурсов, способно вызвать не только впечатление грубости и вульгарности, пусть оправданное оригиналом, но эффект натяжки, неестественности, иногда — русификации, что противоречило бы оригиналу, где все это — «натурально» (независимо от того, нравится нам оно или нет). Но и сглаживание всего резкого и шокирующего, использование только строго «дозированных вкраплений» — это уже как-никак путь наименьшего сопротивления. А ценность инициативы, поисков, даже эксперимента, думается, вне спора. К тому же границы привычного и непривычного, принятого и непринятого сдвигаются — этому учит история литературы (о чем говорил В. Лакшин).

Переводы бывают разные по установкам, по методам, как отмечала М. Былинкина, и это может определяться свойствами оригинала, в переводах может быть и бóльшая свобода («вольные переводы» в поэзии), и строгое следование форме подлинника, и стремление воссоздать впечатление, производимое им на соотечественников автора, найти функциональное подобие ему на своем языке. На практике все эти тенденции существуют. Но ведь не напишешь же под заглавием прозаического произведения «точный перевод с испанского», или «адекватный перевод с английского», или «функционально близкий перевод», или, чего доброго, «вольный перевод с такого-то языка». Все это было бы смешно и нелепо.

Однако почему не подумать о другом — о том, чтобы в форме вступительной заметки или краткого послесловия давать переводчику возможность для формулирования или обоснования своего подхода к задаче — в тех случаях, когда задача сложна, непривычна, нова. Такая страничка «от переводчика» могла бы служить к защите того «права на эксперимент», о котором было сказано в выступлении Н. Глен. Да и пример, приведенный в этом выступлении (выполненный О. Кутасовой перевод сербского романа, «который был (...) экспериментальным и в своей родной литературе», так как это роман-монолог, написанный на диалекте, и героиня его — неграмотная крестьянка), таков, что он должен был бы натолкнуть на необходимость объяснений, призванных подготовить читателя к восприятию неожиданного, непривычного по своей языковой форме повествования. Прецедентов же, то есть «предисловий переводчика», в истории русской литературы было немало — начиная с XVIII века (Тредиаковский) и кончая 30-ми годами нашего столетия (предисловия Лозинского к переводу «Гамлета» в издании «Academia» и «Жизни Бенвенуто Челлини, им самим написанной»; это последнее произведение тоже требовало экспериментального подхода, так как речь в нем полудиалектная, резко нарушающая нормы итальянского синтаксиса).

То, что настоящий переводчик, прозы ли или поэзии, всегда представляет собой художественную индивидуальность, положение бесспорное, иначе было бы невозможно отразить художественную индивидуальность автора. А из этого положения — тот вывод, что переводчик именно как художник имеет, в зависимости от особенностей оригинала, право на самые ответственные решения, на поиски, на новшества, на риск, на эксперимент — и на литературное обоснование своего метода, своих решений.

Наши интервью



Муин Бсису

Палестина

«Стал я бездомным сгорающим метеоритом»,— написал о себе наш собеседник, поэт Палестины Муин Бсису. Точный образ запечатлел неповторимость сплава эпохи и судьбы. За его спиной — «испепеляющие годы» борьбы, тюрьмы, раздумий о судьбе отнятой у его народа родины, в которых, говоря словами Блока, живет «сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики»:

Родина...
ростовщикам всех расцветок
отдал себя под залог,
отдал песню
и все царапины сердца
и голову заложил,
чтоб добыть свободу тебе...

...без земли и без неба...
крохотная отчизна, высохший
полумесяц.

Малую птицу коршун когтит,
капли крови бегут
и, прикасаясь к старой земле,
встают волнами огня[1]

Когда поэт читает свои стихи, эти волны становятся зримыми, их пламя мгновенно сжигает преграду обыденности, ухо ловит непривычный звук арабского стиха, оживает воспоминание о ритуале, магии заклинания:

Когда кровь революций течет
по земле,
воскресают надежды погибших героев,
и невидимая сторона
луны
обращается к людям,
и лучи встающего солнца
поднимаются, словно
ветви деревьев,
осыпанных щебетом птиц.

На русском языке вышли три небольшие книжечки стихов Муина Бсису: «Родина в сердце» (1970), «Визитная карточка» (1974), «Стихи на оконном стекле» (1980); публиковались они и в журналах и газетах — первые попытки познакомить советского читателя с поэзией Муина Бсису. Недавно вышел большой сборник его стихов «С Палестиной в сердце», переведенных Е. Евтушенко, О. Сулейменовым, Р. Казаковой и другими. Сегодня Муин Бсису — один из лучших поэтов современного Арабского Востока, известный драматург и публицист.

Первые стихи Муина Бсису публиковались в еженедельнике израильских коммунистов «Аль-Иттихад» в начале 50-х годов. Первый сборник стихов «Битва», вышедший в Каире в 1952 году, был назван «искрой июльской революции в Египте». Бсису окончил университет в Каире, преподавал в Ираке, где его стихи читали во время демонстраций, нараспев, как Коран. «Политика была облечена в них в мантию, в стих святого писания. Такие стихи были опасны». Бсису вернулся в Газу, снова преподавал и занимался революционной деятельностью. Учитель, написавший первую свою песню для детей, которым он преподавал английский язык («некоторых из них я научил любить свободу»), стал узником в 23 года. В тюрьме он встретил поэтов и коммунистов разных стран Арабского Востока. Здесь формировался образный мир его поэзии: корабль, парус, почтовая марка, птица, олива, лимонное дере-

[1] Здесь и далее переводы М. Курганцева.

во — все, что могло перенести его на родину или напомнить ему родную Газу, «город Самсона, древнейший город в древнейшем мире».

«Тюремная камера. Именно она, тюремная камера, научила меня странствовать. В мыслях. Далеко-далеко. Она же научила меня писать. Узник путешествует по воде, гребя руками. И пытается писать голосом. Тоже в мыслях далеко-далеко обращает он свои строчки».

После четырнадцати месяцев заключения начались его скитания: Турция, Франция, Египет, Ливан. Он приехал в Бейрут в 1965 году, год создания Организации освобождения Палестины, с которой он связал свою судьбу.

1975 год. Имя битвы было Тель-Заатар. Гетто, пригород, лагерь беженцев — Тель-Заатар после трех месяцев жестокой осады был захвачен в одном из самых кровавых сражений спровоцированной врагами гражданской войны в Ливане... «Подобно Вердену, Дюнкерку или варшавскому гетто, духовная значимость этой битвы превзошла ее военное значение»,— пишет Мартин Уокер, переводчик стихов Бсису на английский язык. Слабеющий передатчик послал последнее сообщение: «Партизаны и бойцы Тель-Заатара нарекают Муина Бсису поэтом революции и масс. Дайте нам еще раз услышать его голос и его стихи». Обрывается голос поэта, умолкает передатчик, стихают залпы, гибнут защитники Тель-Заатара, но он становится символом стойкости палестинской революции, а Муин Бсису — ее живым воплощением и мишенью для ее врагов.

В сентябре 1983 года он вновь приехал в Ташкент на конференцию Ассоциации писателей стран Азии и Африки.

— Над чем вы сейчас работаете, что из ваших произведений появится в ближайшее время? — спрашиваем мы.

— Последние три года я писал книгу об СССР. Она называется «Мой Советский Союз» и вскоре выйдет в «Прогрессе» на арабском и русском языках. Об этой книге я думал многие годы, впервые во время второго моего заключения в 1959—1962 годах. Я хотел бы рассказать в книге о том, что было со мной в гостинице «Россия», когда я впервые приехал в Советский Союз в 1968 году. Я оказался в лифте с туристами, которые говорили по-немецки. Один из них, лет семидесяти, спросил меня: «Откуда вы?» Я ответил по-английски. «Я тоже говорю по-английски»,— сказал он. Мы вышли на улицу. «Посмотрите,— сказал мой спутник,— как плохо одеты люди». Я ответил ему. «Да, пожалуй, одежда не отвечает европейской моде, но одеты люди чисто».— «Приходилось ли вам бывать в Париже, Риме?»—спросил он. «Да, и в Нью-Йорке,—ответил я.—А как вы попали в Москву?» — спросил я его. «Странный вопрос,— удивился он.— Ведь вы же знаете сами». Но я хотел, чтобы он понял, как в самом деле это было. «Ведь пограничник посмотрел на ваш паспорт и сказал: «Пожалуйста».— «Да, именно так»,— ответил он. «Я буду говорить откровенно: возможно, у этого молодого пограничника отец погиб под Сталинградом. А одежда его не так хороша, как у английского солдата. Когда вы хотели войти в Москву на танке, ответом вам было: «No pasaran», а с паспортом и визой в руках: «Пожалуйста». Если вы прекратите грабить нас, тех, кого вы называете третьим миром, посмотрим, в чем вы будете ходить. То, что вы носите,— краденое. Советский Союз встает рано, и те люди, которые идут на работу в простой одежде, могли бы одеться лучше, но не надо забывать о Кубе, об Африке, которым СССР помогает за счет своей одежды».

«Ты — коммунист?» — спросил он. «А ты — нацист? — ответил я вопросом. — Я просто человек. И я бы хотел спросить: откуда ты? Фашисты состоят в сговоре с сионистами, которые воюют и против арабского, и против еврейского народов. Теперь ты понял, откуда я?» Больше мы не встречались, но тогда я подумал, что об этом надо написать. Статью, касыду... Нет, этого недостаточно, хоть дело и не в жанре. Надо написать правду, лишь правда способна снять недолговечную косметику лжи. В свое время появилась такая книга — книга Джона Рида, потом было написано множество прекрасных книг. Однажды я спросил лесника в Сибири или Белоруссии, сейчас я уже не помню, где это было: «Ты знаешь судьбу срубленного тобой дерева, знаешь, что оно станет книгой?» — «Я не думал об этом»,— ответил он.

Мне хочется, чтоб, прочтя мою книгу, он сказал: «Это написал друг».

Есть книги, которые начинаются словами: «Да здравствует Советский Союз!» А мне хотелось бы, чтобы, прочтя мою книгу, читатель сказал: «Да здравствует Советский Союз!» Я против книг-листовок, книг-лозунгов. В своей книге я попытался показать дух Советского Союза. Хотелось, чтобы читатель узнал, что же это за новый человек, который здесь родился, о чем он думает, о чем мечтает.

Я побывал в доме Ленина в Горках и в его квартире в Кремле. Что можно добавить к тому, что написано о Ленине? Кажется, уже сказано все. Мне хотелось написать о своих мыслях и чувствах. Мне запомнился момент, когда переводчик сказал: «Ленин не мог ходить, и рабочие протянули вдоль перил веревку, чтобы он мог держаться за нее. Эта веревка сохранила отпечатки его пальцев». Экскурсовод просила не трогать ее, но я все-таки коснулся этой веревки: теперь я могу сказать, что был первым палестинцем, который пожал руку Ленина. Это было в прошлом году. В Горках мне запомнился памятник Ленину и его старая лодка: на мгновение мне показалось, что она может перенести меня в Газу. А в квартире Ленина меня больше всего интересовал его кабинет, в котором над столом я увидел календарь и портрет Чехова. В этом соседстве — знак поразительного уважения к писателю и символ непрерывности времени: календарь и портрет. Казалось бы, Ленин, который всегда думал о будущем, и Чехов, который писал о России прошлого, — какая связь? И теперь, вспоминая портрет в кабинете Ленина, я знаю, что Ленин лучше всех критиков понял связь Чехова с будущим, присоединил его к будущему. Вот почему

в моей книге есть глава, которую я назвал «Республика Чехова в квартире Ленина в Москве».

В Таганроге я был в школе, где учился Чехов, сидел за его партой. Я был в Белоруссии, Грузии, Узбекистане, Сибири, Армении, Эстонии и других местах Советского Союза. И от каждого из этих посещений оставались воспоминания, лица людей, разговоры, запомнившиеся переживания. Помню встречу со старым русским дедом, мы говорили долго и интересно. Я попросил разрешения потрогать его огромную бороду, хотелось прикоснуться к истории. В Сибири мне посчастливилось встретить Распутина. Мы были в местном Союзе писателей, я не знал его в лицо, а после встречи он подошел ко мне, и у нас сразу завязался интересный разговор, с первого же момента мы стали друзьями. Сейчас Распутин пишет документально-публицистическую книгу «Байкал», работает над ней вместе с группой ученых. Многие ваши писатели выступали в печати против целлюлозного комбината. Валентин сказал:

— Он отравляет воду Байкала, меняет природную среду.

— Нет, — ответил я, — он портит не воду, а кровь людей, и мою в том числе.

— Послушай,— сказал мне Распутин,— это же прекрасная первая строка для моего романа.

— Сколько ты успел написать? — спросил я.

— Пожалуй, я еще не выловил крупной рыбы. Куда приду, не знаю. А что ты пишешь?

— Я пишу о неповторимой искре в душе советского человека. Она, как электричество, скрытое в водопаде, невидима глазу, но это электричество живет в нем.

— Послушай,— сказал он — Это же и наша проблема, и нас она волнует. Давай поищем ответ у Достоевского.

Распутин очень увлечен Достоевским. Я тоже нахожу у него близкие мне образы. Однажды я перечитывал «Записки из мертвого дома». Там есть место, где заключенному выворачивают руку и тащат его в камеру. Он стоит в ее углу, отказывается есть, пить, смотрит на тюремщиков в ожидании, что они будут делать, как плененный орел. Открой клетку, он сначала побежит по земле, не веря свободе, не доверяя ослабевшим крыльям, а потом без оглядки уйдет в небо. Достоевский очень точно передал это ощущение свободы, растворенной в крови.

Была у меня встреча с Айтматовым, долгий разговор. Поверьте, я горжусь тем, что будет в этой книге. Я хотел написать о Ленинграде. Все знают о блокаде, Эрмитаже, «Авроре», но ведь я не турист. Мы с женой пробыли в Ленинграде десять дней, но я ничего не написал. Однажды утром мы взяли сопровождающего и вышли на площадь. Переводчик рассказал нам известные факты об Александрийском столпе, о том, как венчающий его ангел наклонился во время бури; за это я и ухватился. Русский крепостной с помощью веревок смог восстановить ангела в прежнем положении. Почему же крепостной это сделал, чем был для него этот ангел? Этот ангел остался в моем воображении символом стойкости Ленинграда, его жителей.

Я боялся, что не увижу этой книги, не знал, удастся ли мне выбраться из Бейрута.

«Я чувствую,— пишет Бсису в этой книге,— что на лежащий передо мной лист бумаги падает тень всех моих старых и молодых товарищей по заключению. На их тенях пишу я книгу «Мой Советский Союз».

«Владимиру Ильичу Ленину — герою и знамени всех эпох» посвятил Муин Бсису свою книгу. Девять ее глав — девять поэм, девять касыд, торжественных и по-восточному цветистых. Это удивительно светлая книга, в которой стихи вплетены в прозаический текст, но по сути вся она — поэма о героях прошлого и настоящего, поэтах прошлого и настоящего. Образы нашей прошлой войны вызывают картины войны, которая идет сегодня на родине поэта. Эта книга — мозаика ярких впечатлений о стране, которая «преподносит тебе поэму в самой высокой и совершенной ее форме — в образе друга».

— Как бы вы охарактеризовали литературную форму этой книги? Собираетесь ли вы писать художественную прозу?

— У меня уже вышло несколько прозаических книг. Но, если быть честным, мечта моей жизни — написать роман. Это проблема, с которой сталкивается поэт. Ведь слава прекрасного поэта Арагона скорее в его романах. По правде, подлинный критерий таланта поэта — его проза.

Меня занимает проблема использованной в этой книге новой для меня прозаической формы. Я сравню ее с восхождением на гору — поднимаешься как можешь: то отклоняешься от тропы, то возвращаешься на нее. На арабский язык переведена книга Гамзатова «Мой Дагестан». Моя книга о Советском Союзе написана в той же манере: каждой главе предшествует касыда, большая часть книги — свободный стих.

— А вам что принесло большую известность — поэзия или проза?

— Думаю, что поэзия.

— Значит, настоящая проза еще ждет своего часа?

— Я не о прозе, я о романе думаю. Первые его строки я написал семь лет назад, но до сих пор каждый раз, когда я сажусь за роман, рука застывает над листом. Замысел романа родился в 1963 году еще в Газе. Я хотел навестить родных в Бейруте, мне запретили добираться и поездом и самолетом. После долгих хлопот друзей я получил разрешение воспользоваться маленьким самолетиком «Дакота», который чиновники использовали в чрезвычайных обстоятельствах. Я сказал жене, чтобы не клала в чемодан никаких книг, газет, бумаг. Что можно положить в такой портфель? Рубашки, тапочки. А на аэродроме в Газе начался обыск, службы безопасности с пристрастием рассматривали содержимое моего портфеля, а в окно я видел, что «Дакота» стоит на поле. Я поверил, что обязательно полечу. Завели моторы, я обрадовался. Спросил чиновника, что он ищет, зачем. Вдруг послышался крик, еще один — мы выбежали на улицу. Нас ждала ужасная сцена. Это было вес-

ной. Моторы работают... Маленькие птички разлетаются в стороны, попадают в поток воздуха, он их засасывает, а моторы работают, было такое впечатление, что чудовищная мельница перемалывает птиц. Наконец мы полетели. И, покидая родину, я подумал, что моя судьба такая же, как у птиц, которых затянул этот мотор, судьба изгнанника. Назым Хикмет как-то сказал: лучше быть узником на родине, чем императором на чужбине. Мы говорили об этом эпизоде с Распутиным, который сказал, что это, пожалуй, великолепное начало для романа. Вот на этой сцене я и остановился сейчас.

— Мы знаем о ваших стихах и поэме, написанных во время блокады. Очевидно, они были самой непосредственной реакцией на эти драматические события, на пережитое. Думается, что вы еще вернетесь к этим дням. Собираетесь ли вы писать о них в прозе?

— 88 дней мы сражались в одиночестве. По признанию израильских солдат, это была самая жестокая война, с которой Израиль столкнулся за всю свою историю. Израильтяне выпустили книгу свидетельств, в которой солдаты говорят о том, что впервые узнали, что такое палестинский солдат. Мужество палестинцев заслужило у них самую высокую оценку. В самой израильской армии началось движение протеста. Я разговаривал с пленным израильским пилотом во время налета израильской авиации. Он проклинал свое правительство, эту грязную войну, эту «грязную свинью» Шарона. «Я не хочу умирать ради того, чтобы ему повесили на грудь еще одну медаль»,— сказал он мне. Был и такой факт — командир израильской бронетанковой бригады отказался выполнять приказ о наступлении. Израильтяне боятся уличных боев. Ведь в 1967 году танки шли под прикрытием авиации. Командир этот подал в отставку. Из этих 88 дней я вспоминаю один, когда нас обстреливали с неба, с моря и с суши, с четырех сторон шло наступление. Мы защищались на территории 2×2 километра. А через семнадцать часов в военной сводке было сказано, что они продвинулись... на полметра. Эта сводка была анекдотом. Вспомните, что длина танкового орудия превышает полметра. А в передаче американского телевидения в тот день репортаж вдруг оборвался, экран потемнел, и на нем появилась надпись: «Здесь по просьбе израильского командования мы прерываем передачу».

Об осаде Бейрута я написал воспоминания, личные, не военные. Я помню, что открыл утром окно и увидел девушку напротив на балконе — она развешивала белье. Мне показалось, что это самое прекрасное и глубокое мое впечатление этих дней — жизнь в Бейруте продолжалась. Я вспоминаю эту девушку всегда. Ведь несколько дней в городе не было воды, но мы смогли выкопать 23 колодца, окна были разбиты, исчезли все овощи, фрукты. Бомбили госпитали, в подвалах были организованы пункты первой помощи, умирали раненые. Дети умирали от заражения крови. Вспомните, когда Советская Армия наступала на Берлин, подача воды и электроэнергии не прекращалась. В Бейруте не было ни единой таблетки аспирина, ни один из бойцов не сомкнул глаз ни на секунду. Я вспоминаю такую сцену: пришел к Арафату иностранец с письмом от Шарона. В нем говорилось: мы предлагаем вам условия лучше, чем Тэтчер Аргентине во время мальвинского кризиса. Нам предложили вывесить на башне, которую мы называем Башней Плача, белый флаг. Мы посмеялись в ответ. «Посмотри на часового,— сказали мы иностранцу,— разве можно отдать ему такой приказ, он же нас пристрелит».

Мы издавали газету «Аль-Маарака» («Битва»). Это литературный документ. Я пришлю вам подшивку, и вы узнаете имена прозаиков и поэтов, издававших ее. Мы все делали сами — печатали, распространяли. Один из нас, Али Фоода, был убит осколком снаряда, когда раздавал очередной номер. Лозунгом газеты были две строчки из моего стихотворения: «Я ничего не приму, кроме той помощи, которая поможет мне продолжить сопротивление».

Мы выступали на позициях, эти выступления были нашим вкладом в борьбу.

Я вернулся в Бейрут на третий день осады. Сообщение о нападении израильтян застало меня далеко от дома, я был на похоронах брата. В этот день израильтяне разбрасывали разноцветные листовки — голубые, зеленые — с призывом о капитуляции. Когда я читал свои стихи бойцам, один из них сказал мне: вот теперь мы понимаем, какое место занимает поэзия в нашем движении. Этому бойцу довелось сражаться еще в Тель-Заатаре. Хочу сказать, что на позициях бойцы читали книгу Гамзатова «Мой Дагестан». Бойцы — это же самые великие критики, перед лицом смерти они любят жизнь так, что готовы умереть за нее. Именно они могут судить о достоинстве книги — нужна она им или нет.

Винтовка и книга рядом... Я бывал на многих позициях. Обычно пишут о генералах, солдатам же достаются лишь венки на могилах Неизвестного солдата. На одной позиции было человек пятнадцать солдат. Среди них нашлись мои бывшие ученики. Меня приветствовали: «Устаз». «Нет, нет,— ответил я,— я не учитель». Они вспомнили, что однажды я рассказывал им об эпизоде из истории войны в Испании: республиканцы были окружены, фалангисты обрушили на них удар. После боя мятежники обнаружили, что защищал позицию всего один солдат. «Что же ты так упорно защищал? — спросили они его.— Нас тысячи, а ты-то что один воюешь, во имя чего?» Солдат открыл ранец и достал книгу: это была драма Лорки «Мариана Пинеда». Бойцы напомнили мне, что когда-то я рассказывал им эту историю.

А я подумал: наступит ли такой день, когда палестинец достанет книгу палестинского поэта и скажет так?

— И что, нашелся ответ на этот вопрос? Да? Каков же этот ответ?

— Я нашел его, когда прорвался через блокаду в Бейрут, чтобы умереть с ними, достойно жить с ними. Я не умею управляться с автоматом, но мое место было там. Вот что можно сказать о роли пале-

стинского поэта в палестинской революции. Такого лозунга, как у нас, вы не встретите нигде: «Палестинская революция — это пуля и касыда!»

Во время блокады я думал о том, чтобы написать письмо израильскому солдату, который пришел на эту землю, чтобы найти свою смерть. Я рассказал об этом Махмуду Дервишу. Так родилась та поэма, которая опубликована в вашем журнале [1]. Во время бомбежек мы писали ее по нескольку строк, а потом собирали их воедино. Поэма была опубликована в Бейруте во время блокады и дошла до израильских солдат. Она разлетелась по свету.

В осажденном Бейруте Муин Бсису написал серию стихов «Поэмы, нарисованные на стенах», а когда почти не осталось стен, он написал стихотворение «А теперь возьмите мое тело и сделайте из него мешок с песком».

Мы просим поэта рассказать о его работе заместителя главного редактора журнала «Лотос», органа Ассоциации писателей стран Азии и Африки.

— Недавно вышел номер «Лотоса» на арабском языке, он посвящен Назыму Хикмету, ставшему для нас символом поэзии и борьбы. Жизнь и поэзия Хикмета служили строительству моста между Азией и Африкой. Мы собираемся также посвятить целый номер Владимиру Маяковскому.

Любимые поэты Муина Бсису: Байрон, отдавший жизнь за свободу Греции («Палестинец может сделать не меньше для собственной родины»,— сказал он в одном из интервью), Хикмет, Арагон, Лорка, Маяковский. «Каждый раз, приезжая в Москву,— пишет Муин Бсису в книге «Мой Советский Союз»,— я хочу быть рядом с Маяковским... Я останавливаюсь в гостинице, в номере, окна которого выходят на памятник Маяковскому, в самый холод гордо стоящему на площади, как и его поэмы...» В этот приезд Муин Бсису читал в музее Маяковского свои стихи.

[1] «ИЛ», 1983, № 8.

Каким видится поэту палестинской революции певец революции в России? Он может читать его лишь по-английски, может рассматривать фотографии, слушать голос. Родная и чужая поэзия воспринимается сердцем. Кажется, что для русского слуха поэзия самого Муина Бсису ближе всего завораживающим канте хондо Лорки, которые он называл «глубинным пением», «нитью, связующей нас с загадочным Востоком», и звуки которых «доносят до нас обнаженное, внушающее ужас чувство древних восточных народов». Переводчик стихов Бсису на английский язык Мартин Уокер так пишет о восприятии его поэзии:

«Нам знакомы его образы... но для нас на Западе это символы. И, чувствуя смелость и остроумие его поэтического видения, мы не можем ощутить ночного ожидания прихода агентов тайной полиции, потому что мы не мужали в лагере, где растет один чертополох.

Подобным же образом мы не можем до конца понять красоту законов традиционной арабской поэзии, которые правят поэзией Муина Бсису. Когда он читает свои стихи, мы различаем рваный, но четкий рисунок слогов.

Вообразите, что вы наблюдаете за блестящим бегуном на длинные дистанции: он бежит в своем стремительном ритме. Вот он оторвался от соперников и, поняв, что они остались далеко, замедляет бег. Но сознание напоминает ему о времени, за которым следит мир, и бегун вновь набирает скорость. Таков ритм, неровный, но четкий ритм арабской поэзии. По временам нам слышатся в нем оттолоски отточенных строк Киплинга... Арабская поэзия и чужая и близкая — словно редкий диалект английского».

«Не сторонники нужны поэзии, но влюбленные»,— писал Лорка.

Разбуди мои строки...
орлиным крылом
выпрямятся они.

Т. РОТЕНБЕРГ

◆

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ТАШКЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ

К 25-летию Движения писателей стран Азии и Африки

Город древности и новизны...

В конце сентября 1983 года в прославленном городе Ташкенте собрались участники юбилейной конференции Ассоциации писателей Азии и Африки. Здесь четверть века назад крупнейшие прогрессивные художники слова двух поднявшихся континентов провели первую конференцию, которая положила начало активной деятельности этой организации. Так зародились благородные традиции афро-азиатского содружества писателей, движимых духом творческого сотрудничества и идеями интернационализма.

Как и нынешняя, первая конференция проходила тоже на изломе лета и осени 1958 года, когда на благодатной узбекской земле созрели плоды природы и человеческих рук и у великих ее тружеников была страдная пора: республика вела битву за миллионы тонн белого золота.

Всех, кто приезжает в Ташкент, глубоко впечатляет особая атмосфера и неповторимый колорит большого и красивого, этого утопающего в зелени и цветах города, который заслуженно назван огромным садом.

У Ташкента — своя глубина. Недавно исполнилось две тысячи лет со времени возникновения этого города, одного из древнейших поселений нашей планеты. Ташкент, хранящий память двадцати веков человеческой культуры, предстает перед нами как символ преемственности времен и поколений, оптимистический символ неиссякаемого источника жизни, символ возрождения.

Разрушенный грозной стихией — землетрясением 1966 года, он был возрожден из развалин коллективными усилиями советского народа. В этом по-своему раскрылся пафос трудового братства, многонациональной взаимной выручки социалистического государства. Опыт, не имеющий себе аналогии во всей истории человечества.

Без малейшего риска впасть в преувеличение, можно сказать, что Ташкент на протяжении двухтысячелетнего своего существования не переживал такого материального и духовного расцвета, какой наблюдается во всех областях экономики и культуры сегодняшнего Узбекистана.

Узбекистан — один из крупнейших научных центров СССР. Напомним, что до 1917 года в республике не было ни одного научного учреждения. Сейчас их — около двухсот. Общее количество научных сотрудников составляет ныне 37,5 тысячи человек. Исследования ведутся по таким важнейшим научным направлениям, как органическая химия, гелиофизика, геология, сейсмология, археология, кибернетика.

В 1943 году создана Академия наук Узбекской ССР. Тогда в ее составе было 10 научно-исследовательских институтов, сейчас их тридцать пять. В Узбекской ССР издается одиннадцать научных журналов.

Добрая слава о древнем и вечном этом городе, о гостеприимстве, хлебосольстве, о «духе Ташкента» широко идет по всей земле. Столичный город республики является ныне крупнейшим центром международной жизни, местом важнейших форумов общемирового значения.

«Не раз подвергался опустошительным нашествиям завоевателей, свидетелем многих кровопролитных войн оказывался мой город-труженик, город-мастеровой. Почти две тысячи лет простоял Ташкент глинобитный, с земляными крышами, с узкими улицами, грязными и пыльными базарами, торговыми рядами ремесленников, арбакешей и проводников караванов, канатоходцев и дервишей...» Это — из «Слова о Ташкенте» Рахмата Файзи, народного писателя Узбекистана. Таким оставался его родной город до Октября, принесшего сюда с берегов Невы счастье второй молодости, бытия города социалистической индустрии, города школ и вузов, центра научной, культурной и общественно-политической жизни

на Востоке, по праву именуемого городом дружбы и мира.

Поздравляя с высокой наградой — орденом Ленина — свой город-юбиляр, ожидающий гостей на международную писательскую конференцию, Рахмат Файзи шлет слова привета и городам-побратимам древнего Ташкента: Тунису, столице Тунисской Республики, ливийскому Триполи, пакистанскому Карачи, Марракешу в Марокко, Патиала в Индии, югославскому Скопле, американскому Сиэтлу, одно из любимых мест отдыха в котором в честь далекого побратима названо Ташкентом...

Восстав из руин землетрясения, Ташкент сохранил свою самобытность. Многие черты традиций минувшего и ныне проступают в архитектуре домов с их стрельчатыми арками и оконными проемами, балконами с ажурными вставками, в национальном орнаменте, скульптуре, мозаике, керамике — во всем, что связано с бытом и обычаями узбекского народа. Лучшие национальные традиции, восточные мотивы и краски глубоко запечатлены в поэзии, музыке, танцах. Второе свое рождение переживают многообразные виды народного творчества — ковроткачество, шелкоткачество, золотое шитье, резьба по дереву, бронзовая чеканка, гончарное мастерство.

Всему человечеству известен также вклад узбекской литературы в сокровищницу мировой культуры. Своими историческими корнями она уходит в глубь веков. На древней этой земле гением народа были созданы неумирающие памятники словесно-речевого искусства: «Собрание тюркских слов», «Знания, приносящие счастье», «Мухаббат-наме» и многие другие. На почве их высоких традиций в XV веке возникло и расцвело творчество узбекского классика — поэта и мыслителя Алишера Навои, именем которого назван ташкентский театр, где проходила юбилейная конференция Ассоциации писателей Азии и Африки.

«У меня,— ответил Г. Марков на вопрос литературной анкеты «Мы, писатели,— совесть народа»,— давний интерес к самобытной узбекской культуре, в особенности к ее яркой талантливой литературе. Узбекские классики далекого прошлого и классики узбекской советской литературы, сформировавшиеся в последние десятилетия, пленили меня, как и миллионы читателей во всех концах страны, своим многообразием звуков и красок, своей задушевной лиричностью, своей глубиной проникновения в жизнь народа».

С размышлений, которыми поделился Г. Марков в этой анкете накануне открытия конференции, я бы и хотел начать свой рассказ о ташкентском форуме.

С чувствами путника на перевале, одолевающего нелегкую дорогу, сравнил глава советской делегации, первый секретарь Правления СП СССР, видный деятель афро-азиатского писательского движения, лауреат международной премии «Лотос» настроения своих коллег, собравшихся в Ташкенте: «Далеко видно окрест с вершины и, конечно, тянет и оглянуться назад, чтобы еще раз с чувством радости и гордости вспомнить и пережить пройденное и посмотреть вперед — что ждет там, на пути к заветной цели?»

В образном сравнении этом тоже нельзя усмотреть ни преувеличения, ни излишней торжественности — слишком весомы доводы, приведенные в пользу сказанного. Сколько же, в самом деле, поистине грандиозных событий способен вместить в себя, казалось бы, невеликий в масштабах истории срок — четверть века, возраст писательского движения, зародившегося в столице Советского Узбекистана. Сбрасывая оковы колониального гнета, народы двух огромных континентов земли приступали в независимых своих государствах к строительству новой жизни.

Г. Марков говорил о том, как стремительно рванулось вперед остановленное чужеземными владыками время, как много трудностей в проведении коренных социальных преобразований приходится преодолевать освободившимся народам, наверстывая украденные у них десятилетия, а то и века, о том, сколь нелегко дается искоренение колониального мышления и упрочение национального самосознания, возрождение самобытной культуры, решение языковых проблем, противостояние неоколониалистским попыткам духовного порабощения. И о том, разумеется, какую важную роль призвана играть в решении главных задач творческая интеллигенция молодых освободившихся государств.

Велению времени обязано объединение сил, организационно закрепленное в создании Ассоциации писателей Азии и Африки (АПАА). Она вносит весомый вклад в борьбу за социальный и духовный прогресс. Велика роль крупнейших прогрессивных писателей, стоявших у истоков этого движения. Знакомыми нашим читателям именами, перечисленными Г. Марковым, гордится мировая литература. Здесь Фаиз Ахмад Фаиз и Уильям Дюбуа, Мирзо Турсунзаде, Сембен Усман, Зульфия, Назым Хикмет, Камил Яшен, Саджад Захир, Юсуф ас-Сибаи, Шубхаш Мукхопаддхай...

При их участии предпринимались за минувшее двадцатипятилетие совместные всепланетные шаги: установление нового, справедливого международного экономического порядка, осуществление идей разрядки, укрепление взаимопонимания и доверия на земле, прекращение гонки вооружений, отведение угрозы войны — такова была их конечная цель, остающаяся и сегодня нашим общим ориентиром.

Особое внимание в этих ответах было уделено участию советских писателей в деятельности АПАА. Речь шла о неизменной поддержке борьбы афро-азиатских народов за независимость, социальный прогресс, духовное раскрепощение, о заботе об укреплении авторитета АПАА, о значении опыта советской литературы, об интересе в Советском Союзе к самобытному художественному опыту литератур Азии и Африки. Интересу, реализуемому в громадных тиражах соответствующих изданий.

Открывая юбилейное собрание

Человечество ныне переживает время обострения международной напряженности, время, когда перед нами во весь гигантский

рост встал коренной вопрос о защите всеми имеющимися в распоряжении средствами своего права на жизнь. Империализм во главе с Соединенными Штатами становится все более агрессивным, исступленным, безрассудным в своих попытках сохранить несправедливую систему эксплуатации и повернуть вспять волну мирового прогресса. Известно, что рейгановская администрация и ее союзники приступили к размещению крылатых ракет и «Першингов» в Западной Европе. Они усиливают свой «крестовый поход» против социалистического содружества, прежде всего против Советского Союза. Они предприняли новую серию агрессивных действий против народов Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, Азии, Ближнего Востока. Провокация с южнокорейским самолетом, разбойничья оккупация острова Гренада, агрессия против Ливана, усиление вызывающей поддержки режима Претории — все это показывает, что империализм не знает границ в своих отчаянных попытках ослабить социализм, другие прогрессивные силы во всем мире.

Администрация Рейгана, представляющая наиболее воинственные круги монополистического капитала, проводит политику конфронтации с силами социализма, национального освобождения, мира и свободы. Повсюду на земле империализм поддерживает силы реакции — он является союзником Пиночета в Чили и Боты в Южной Африке, врагом Анголы и Никарагуа; угнетенным народам, борющимся за свое освобождение, приклеивается ярлык «террористов».

Ясно, что неотложный долг каждого человека и всего человечества ныне заключается в предотвращении опасности ядерного смерча. Борьба за мир и жизнь становится первоочередной задачей всех честных людей планеты. Как и в прошедшей войне, когда ни у кого не было бы будущего, если бы победил Гитлер, так и сейчас ни у кого не будет будущего — не будет будущего у всего населения земли, если народы не сумеют остановить безрассудства Белого дома.

С участием более четырех тысяч представителей общественности Узбекистана в одном из крупнейших залов Ташкента — Дворце Дружбы народов СССР им. В. И. Ленина — состоялось торжественное открытие конференции АПАА.

Несмотря на возникавшие трудности, искусственно чинимые авиатранспортные препятствия, сто сорок участников из пятидесяти стран Азии и Африки прибыли на конференцию. На конференции присутствовали пять писателей из стран социалистического содружества, сорок делегатов от СССР, а также гости из трех стран Европы и США и наблюдатели от четырех международных организаций.

Не просто для того собрались на международную писательскую ассамблею наиболее заслуженные литераторы и общественные деятели из большинства афро-азиатских стран, чтобы отметить знаменательную дату. Они прибыли в Ташкент, чтобы осмыслить самые жгучие проблемы, встающие перед художником слова в тревожном нашем мире. Они прибыли сюда, движимые чувством ответственности за сохранение мира и безопасности — стремлением достойно выполнить миссию писателя в общечеловеческом сражении за торжество людского разума, предотвращение ядерной катастрофы, против ненавистных сил империализма, агрессии, реакции. И раньше всего предстояло собрать воедино размышления о вкладе афро-азиатского движения писателей в общее дело борьбы за сохранение создававшихся тысячелетиями ценностей, за спасение самого рода человеческого.

Именно поэтому с таким пониманием отнеслись делегаты конференции к приветствию Ю. В. Андропова, направленному VII конференции Ассоциации писателей Азии и Африки и с энтузиазмом встреченному всеми участниками форума. Текст его огласил Шараф Рашидович Рашидов.

В этом приветствии, исполненном веры в человеческую мудрость и справедливость, прозвучало суровое напоминание о переживаемом нами исключительно сложном и трудном времени, когда по вине империализма резко обострилась международная обстановка, возросла угроза ядерной катастрофы. Небывалые по интенсивности милитаристские приготовления США и НАТО сопровождаются атаками против сил мира, демократии и национальной независимости. На пьедестал вновь возводится политика «большой дубинки» в отношении народов Азии, Африки, Латинской Америки. Вот почему для человечества нет сегодня более важной и ответственной задачи, чем предотвратить ядерную войну, обуздать бессмысленную гонку вооружений, поставить препоны на пути агрессивных устремлений империализма.

Наказом, который собравшиеся на эту торжественную Ассамблею повезут домой в свои страны, прозвучали исполненные оптимизма слова руководителя Советского государства о том, что общими усилиями людей доброй воли можно отстоять мир и направить ресурсы современной цивилизации на удовлетворение насущных нужд миллионов людей, на ликвидацию позорных последствий колониального прошлого, слова о том, что гражданский долг требует от писателя активного участия в борьбе за осуществление этих высоких целей.

В свете этой сверхзадачи вопросы писательского движения, дальнейшего сплочения его рядов, взаимообогащения национальных литератур мира на современном этапе приобретают особенно важное значение.

С большим удовлетворением делегаты конференции восприняли ту часть приветствия Ю. В. Андропова, где дается высокая оценка деятельности Ассоциации, ее вкладу в общую борьбу прогрессивных сил за национальное и социальное освобождение, за мир и взаимопонимание между народами. Художественные произведения писателей Азии и Африки активно способствуют пробуждению самосознания трудящихся, укреплению их интернациональной солидарности.

Осуждение милитаризма, действий антидемократических и антисоциалистических

сил, ставящих под угрозу дело мира и международной безопасности, вопросы борьбы против ядерной угрозы, гонки вооружений, за сохранение мира, прогресс и независимость народов были в центре внимания конференции. Они занимали доминирующее положение. Подавляющее большинство участников в различной форме выражали свое отношение к этим актуальным вопросам во время выступлений на пленарных заседаниях, в политической и культурной комиссиях, в заявлениях для печати, в ходе творческих дискуссий.

Но вернусь к процедуре открытия. На главных выступлениях мне бы хотелось остановиться подробнее.

«Наша встреча проходит в том же героическом, только что отметившем свое двухтысячелетие городе Ташкенте, на той же земле солнечного, счастливого Узбекистана, где оформилось в целое общественное движение единство прогрессивных писателей Азии и Африки, возникла славная традиция их регулярных встреч». Этими словами приветствовал конференцию ее почетный председатель Г. Марков. «Дух Ташкента» не просто поэтическая метафора, но и живая реальность,— сказал он.— Это дух дружбы и взаимопонимания между литературами, отстаивающими дело мира и социальной справедливости. Это дух гостеприимства и сердечности, которым буквально напоены в эти дни земля и воздух древнего и вечно молодого Узбекистана. И особая роль в создании такой атмосферы безусловно принадлежит хозяевам во главе с Шарафом Рашидовичем Рашидовым, видным писателем и общественным деятелем, который четверть века назад здесь же, в Ташкенте, открывал первую в истории нашего Движения конференцию. Мы вышли из Ташкента,— продолжал Г. Марков,— и мы возвратились в Ташкент. Возвратились для того, чтобы обозреть пройденный путь и наметить новые рубежи. Писатели двух континентов собрались, чтобы обсудить свои литературные проблемы и проблемы, которые волнуют всех людей, живущих на Земле. Наш путь лежал через многие страны и города, где проходили встречи афро-азиатских писателей, каждая из которых становилась общественным и культурным событием, заметным вкладом в борьбу народов мира за единство и сотрудничество, за свободу и национальную независимость, за чистое, мирное небо над головой. Нам есть чем гордиться, есть что вспомнить!..»

Г. Марков останавливается на характеристике опасно обострившегося международного положения. Враги мира во главе с американским империализмом предпринимают все новые и новые усилия для того, чтобы подтолкнуть нашу планету к ядерной катастрофе. Невиданный ранее разгул милитаризма, антисоциалистических черных сил ставит под угрозу великое дело мира и разрядки, миролюбивые чаяния и надежды всего человечества. В этот грозный час, как никогда, возрастает роль пламенного писательского слова в борьбе за торжество человеческого разума. Каждому из нас должно быть ясно: мир и разрядка, ослабление напряженности, разоблачение кровавых злодеяний империализма, сионизма, расизма — главная забота прогрессивных писателей нашего времени, их священный долг перед будущими поколениями.

Стремясь добиться военного превосходства за счет размещения в Западной Европе новых ракет средней дальности, правительство Рейгана маскирует свои опасные для дела мира действия, разжигает антисоветизм и антикоммунизм, использует любые преступные средства, не гнушаясь гибелью ни в чем не повинных людей.

«Алчному американскому империализму и его приспешникам мало было потоков крови, которые они пролили в Корее и Вьетнаме в недавние годы. Империализм находит, а чаще всего сам создает поводы для новых и новых провокаций против других народов. Господин Рейган любит при этом демагогически распространяться о «духе гуманизма», «человеколюбии», «христианской морали». О какой, однако, морали и человеколюбии могут говорить государственные деятели страны, которые заодно с израильскими агрессорами, расистами ЮАР убивают ливанцев и палестинцев, ангольцев и намибийцев, на чьей совести кровь афганских, чилийских, сальвадорских, никарагуанских патриотов? Если это и мораль, то мораль человеконенавистническая, империалистическая, для которой нет никаких нравственных и политических преград, когда речь идет об интересах денежного мешка, о воинственных планах мирового господства».

«Народы мира, борющиеся за свою социальную и национальную независимость,— продолжает Г. Марков,— хорошо знают эту мораль, полной мерой испытали ее на собственном опыте. Миллионы людей доброй воли в Азии, Африке, Латинской Америке, как и на других континентах, с надеждой обращают свой взор к социалистическим странам, которые оказывали и оказывают реальную поддержку национально-освободительным, антиимпериалистическим движениям, борьбе народов против неоколониализма. Они с сочувствием и поддержкой встретили новые миролюбивые предложения Советского Союза, выдвинутые Ю. В. Андроповым». Принятие их позволило бы сделать реальный, конкретный шаг к миру, отражающий волю и чаяния не только советских людей, но и всех народов земли.

Как усилить борьбу за мир и дружбу народов, как остановить зловещие силы империализма и реакции, нагнетающие ненависть и военный психоз, как оградить человечество от опасности ядерной войны, обеспечить его счастье и благоденствие — эти проблемы должны были рассмотреть участники форума.

Конференции предстояло обсудить также вопросы, связанные с развитием литератур в странах Азии и Африки, их роль в создании национальных культур на пересечении древних традиций и того нового, что вошло в духовную жизнь народов, освободившихся от колониального гнета.

Г. Марков говорил о том, как радуют советских писателей, советских читателей успехи этих литератур, как дороги и близки им завоевания прогрессивных афро-азиатских писателей, с каким вниманием

и интересом они следят за этими достижениями. В сообщении его — впечатляющие цифры: за годы советской власти в Советском Союзе вышло около четырех с половиной тысяч изданий произведений писателей Азии и Африки общим тиражом свыше двухсот миллионов экземпляров...

От имени хозяев встречи на открытии конференции выступил Шараф Рашидович Рашидов. Не могу не сказать здесь, какой глубокой скорбью отозвалась в разных концах планеты пришедшая через месяц после завершения нашей общей работы горестная весть о его внезапной кончине — столь тяжкой, невосполнимой потере для всех нас!

«Молодое, полное жизненных сил афро-азиатское писательское движение в эти дни встречается с величием и мудростью древнего Востока, воплотившихся в поэтическом облике Ташкента, дошедшем до нас из глубины веков,— сказал он.— Подобно каравану, который не спеша прокладывает свой путь к живительным оазисам через знойное пекло пустыни, тянулись столетия его истории.

Нашествия бесчисленных полчищ жестоких врагов, опустошительные болезни и разрушительные землетрясения уничтожали людей и стирали с лица земли их дома. Но труд побеждал смерть. Вера в будущее закаляла сердца. И город Ташкент, подобно легендарному фениксу, возрождался из пепла, чтобы на заре новой эры, обозначившей начало подлинной истории человечества, гордо и смело поднять красное знамя свободы — знамя социалистической революции.

В такие же ясные осенние дни в столице Советского Узбекистана — Ташкенте открылась Первая учредительная конференция писателей стран Азии и Африки, которая заложила основы организационной и творческой консолидации прогрессивных литераторов двух великих континентов планеты».

Шараф Рашидович Рашидов напомнил, что именно здесь, с высокой трибуны Первой ташкентской конференции, прозвучали слова, облетевшие все континенты, нашедшие отклик в сердцах всех прогрессивных художников мира:

«Мы отметаем попытки империалистов и колониалистов посеять рознь в нашей среде и прорвать наши ряды, мы подтверждаем наше единство, наши общие идеалы и общие чаяния. Мы призываем вас, писателей всего мира, поднять голос против всех зол, совершаемых как в отношении отдельных людей, так и целых народов, против несправедливости, колониализма и эксплуатации...

Мы, писатели,— совесть народов. На нас лежит ответственность за судьбу не только наших современников, но и будущих поколений.

Мы призываем вас идти вместе с нами вперед в поисках правды, красоты и свободы, которые позволят нам создать литературу, связанную с жизнью народа и способную помочь ему в борьбе за победу разума и торжество справедливости на земле».

Да, так воцарялся «дух Ташкента» — дух дружбы и братства прогрессивных писателей двух великих континентов Земли, дух интернационализма и демократии в литературном движении современности. Так было положено начало могучему движению афро-азиатских писателей.

«Двадцать пять лет назад собравшись в Ташкенте на нашу учредительную конференцию,— говорил Ш. Р. Рашидов,— мы верили: у афро-азиатского писательского движения большое и славное будущее. Сегодня, отмечая свой юбилей, мы уже можем с полным правом сказать: да, у нас большое будущее, но за нами уже и славное прошлое — наши творческие достижения, наши успехи в борьбе с идейными противниками, богатый опыт разностороннего сотрудничества».

Слово Шарафа Рашидова — о том, какие благие плоды принес «дух Ташкента» за минувшую четверть века. Он материализовался в прекрасных, исполненных высокого пафоса, проникновенных стихах и поэмах, романах и рассказах, пьесах и статьях, зовущих к миру, единству и дружбе между народами, к борьбе за свободу и процветание стран и континентов.

Десятки чистых родников национальных культур слились в широкий и полноводный интернациональный поток благодаря творческой деятельности Ассоциации афро-азиатских писателей. Нет в современном мире творческого объединения, союза или клуба, которые могли бы по своим масштабам, географическому охвату, значительности политических, философских, эстетических и этических принципов соперничать или стать вровень с движением афро-азиатских писателей.

Это движение стимулировало самостоятельное и независимое развитие литератур в развивающихся странах. Оно приобщило писателей к участию в решении важнейших национальных и общечеловеческих проблем, содействовало укреплению межнациональных духовных и творческих связей. Движение сплотило все прогрессивные, демократические силы художественной интеллигенции двух континентов на базе совместной борьбы против колониализма, империализма, расизма, сионизма и агрессии.

Книги и пьесы, фильмы и песни, созданные писателями — участниками афро-азиатского писательского движения,— это не только непреходящие эстетические ценности. Это могучая духовная сила, которая пробуждает сознание масс и которая организует их на битву с темными силами империализма, реакции, со всеми видами и формами расового и национального угнетения.

Высоко оценил оратор роль афро-азиатских писателей в тех прогрессивных переменах и преобразованиях, которые произошли в мире. Их творческие и общественные усилия слились с революционно-демократическим и национально-освободительным движением народных масс на всех континентах.

Правомерно считать, что писатели Азии и Африки внесли свой вклад и в великую победу вьетнамского народа над американским агрессором, что самое непосредствен-

ное отношение имеют они к успехам народно-революционных сил в Анголе и Мозамбике, Эфиопии и Кампучии, Афганистане и Никарагуа. Точно так же очевидна огромная роль прогрессивных литераторов в больших исторических сдвигах, что произошли за последние годы во многих азиатских, африканских и других странах.

А сегодняшний день? Что он принес нам? Борьба против империализма и расизма достигла своего апогея. Льется кровь палестинцев и патриотов Ливана. Гибнут борцы за свободу — жертвы апартеида в Южно-Африканской Республике. Не смолкают жестокие схватки в Сальвадоре и Никарагуа. Сгущаются темные тучи над Чадом. Вот почему нет более важной задачи для литератора, на каком бы языке он ни творил, для афро-азиатского писательского движения в целом, чем остановить поджигателей новой войны. Непримиримая и самоотверженная борьба с опасностью термоядерной войны, с империализмом и неоколониализмом, несущим народам эту опасность,— вот единственно возможная гражданская и творческая позиция всякого художника, живущего мыслью о человеке, о родном народе и обо всем человечестве.

«В термоядерной войне не может быть победителей,— говорит Ш. Р. Рашидов.— Начавшись в любой точке земного шара, она поглотит весь мир. Для того чтобы до конца осознать все это, необходимо отказаться от инерции мышления старыми категориями, преодолеть те настроения растерянности и пессимизма, которые еще живут в душах отдельных писателей в капиталистических странах».

Завершающий раздел его вдохновенной, образной речи — о долге художника.

«Что может сделать художник, рассуждают пессимисты, если он не стоит во главе государства и не командует армиями? Он может сделать многое, ответим мы таким скептикам. В этом прежде всего убеждает творческий подвиг писателей-антифашистов старшего поколения, многогранная деятельность афро-азиатских писателей, патриотическая работа советских мастеров слова в тридцатые годы.

Они воспитывали поколения борцов, мужество которых вызывало восхищение во всем мире. Они формировали характеры победителей, сломивших хребет фашизму. Их книги закаляли сердца участников Сопротивления — тех, кто сражался во Франции, Югославии, Италии и тех немецких борцов-антифашистов, которые сковывали громадные силы врага в самой Германии и проявляли беспримерное мужество в лагерях смерти.

Они посеяли те волшебные семена интернациональной солидарности, гуманизма, свободолюбия, которые дали прекрасные всходы. Не о том ли говорит героическая борьба народа Чили против клики Пиночета, которая приобретает все больший размах, мощные антивоенные демонстрации против размещения «Першингов» и крылатых ракет — ядерного оружия первого удара в Западной Европе? Пламенное слово писателя, если он вдохновляется высокими и благородными целями, всегда служило делу мира и прогресса и находило сочувственный отклик в сердцах миллионов людей».

И заключение: место писателя — в рядах сражающегося народа. Его страстное слово должно открыто и честно служить делу национального освобождения и возрождения. Именно так служило и продолжает служить вдохновенное слово ветеранов афро-азиатского писательского движения, тех, кого мы потеряли за истекшую четверть века, но кто и сегодня с нами,— слово Назыма Хикмета и Николая Тихонова, Уильяма Дюбуа и Агостиньо Нето, Мухтара Ауэзова и Саджада Захира, Мирзо Турсун-заде и Юсуфа ас-Сибаи, Берды Кербабаева, Айбека, Гафура Гуляма и многих других. Они ушли, завещав нам свою горячую веру в торжество демократии, гуманизма и мира, свою непримиримую ненависть к черным силам зла и насилия, социального и национального гнета, ко всему, что физически и духовно закабаляет и унижает человека, свою надежду на то светлое и чистое в человеке, что возвышает личность, что позволяет художнику воспроизвести правдивую картину развития общества.

Писатель-гуманист, опирающийся на великие традиции реализма и творчески осваивающий опыт мировой классики, мыслит такими философскими, политическими и эстетическими категориями, которые позволяют ему на высоком уровне справляться с задачей художественного освоения мира.

«Возможности реалистического исследования внутреннего мира человека и самой действительности поистине безграничны. В этом убеждает богатейший опыт искусства реализма. И как бы ни различались творческие индивидуальности писателей, верных своему таланту, их усилия, направленные на художественное познание объективного хода жизни, неизменно служат делу мира и прогресса, воспитывают социальный оптимизм и волю к борьбе за светлое будущее человечества».

В адрес конференции поступают приветствия от премьер-министра Индии Индиры Ганди, председателя Президиума Великого народного хурала МНР Ю. Цеденбала, Генерального Секретаря ООН Х. Переса де Куэльяра, Президента Народной Республики Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, Председателя Исполкома ООП Ясира Арафата, Президента Академии наук Афганистана Сулеймана Лаика...

Горячо откликнулись участники конференции на зачитанное с ее трибуны Обращение Михаила Шолохова, призывающее писателей современности возвысить свой голос против продолжающегося безумия безостановочного ядерного вооружения.

«Около тридцати лет назад,— говорится в Обращении,— когда стремление людей к миру, казалось, повсеместно стало побеждать разрушительный дух «холодной войны», со страниц журнала «Иностранная литература» я уже обращался к мировому братству писателей с призывом повести откровенный и живой творческий диалог между литераторами Востока и Запада, людьми разных взглядов и убеждений.

Такое обращение было продиктовано тогда стремлением и желанием объединить усилия тех, кто силой художественного слова способен влиять на человеческие умы и сердца.

Сейчас же не о литературе наша речь. Речь о самом существовании рода человеческого и колыбели его — Земли, о том, быть ли завтрашнему дню, видеть ли на небе солнце нашим детям и внукам.

Противники мира отказываются внять голосу разума, подбрасывают все новое и новое топливо в ядерный костер, готовый полыхнуть вселенским пламенем истребительной войны и испепелить все живое на планете.

Что может, казалось бы,— спрашивает Шолохов,— противопоставить этому писатель, все оружие которого — перо и бумага? Смею напомнить, что этот же вопрос ставил за несколько лет до первой мировой войны чувствовавший ее грозное приближение Лев Толстой. Восьмидесятилетний писатель, согласившийся участвовать в Стокгольмском конгрессе мира 1909 года, отмечал, что в руках тех, кому выгодна война,— миллиарды денег и миллионы войск. В руках же писателя, противника войны, лишь одно, но могущественнейшее в мире средство — истина. И этого достаточно, чтобы сказать: борьба небезнадежна, более того, она принесет успех, если все миролюбивые люди, в том числе владеющие могуществом слова, обратят на это главное дело все силы своего ума, совести и таланта.

Я призываю литераторов мира, писателей современности, моих друзей и коллег возвысить голос против продолжающегося безумия, безостановочного ядерного вооружения...

Как один из редакторов «Иностранной литературы», я предлагаю для обмена мнениями по этому вопросу, неотложному и затмевающему все другие, страницы нашего журнала.

Защитим жизнь, пока не поздно!»

Голоса двух континентов

На трибуне — Генеральный секретарь Ассоциации писателей Азии и Африки известный южно-африканский прозаик и публицист Алекс Ла Гума, автор многих романов и повестей о борьбе народных масс Южной Африки, лауреат международной премии «Лотос» (в настоящее время он живет и работает на Кубе).

Современные прогрессивные писатели стран Азии и Африки — преемники тех деятелей культуры Востока, кто в древние времена были хранителями совести наших народов,— так начал он свой отчетный доклад, обращаясь к истории создания Ассоциации и отмечая, что за последние четверть века литература и искусство Азии и Африки заявили о себе как о неотъемлемой части мировой культуры.

Он напоминает о великих социальных и политических переменах в жизни этих континентов, о бурном развитии движений за независимость и национальное освобождение в период после второй мировой войны, о значении разгрома нацизма и фашизма в Европе, милитаризма в Азии, о том, как искусство и литература стали важной частью борьбы, которую ведут прогрессивные силы мира против империализма и реакции, о могучей поддержке народов, борющихся за свержение ига колониализма, со стороны мира социализма во главе с Советским Союзом.

Однако менее всего видит оратор основания для иллюзий, для легковесного оптимизма: кровавые страницы, только вчера вписанные империалистами на земле Палестины — в Сабре, Шатиле, на земле Южной Африки — в Соуэто, циничные провокационные акты недавнего времени по отношению к Советскому Союзу, акции против Бейрута, столицы Ливана — зловещая тень нависла над миром по вине империалистов, вдохновляемых администрацией США!

Согласно данным ЮНЕСКО, карта неграмотности почти полностью совпадает с границами бедности; в двадцати пяти развивающихся странах уровень неграмотности все еще превышает 80%. Несмотря на поразительные успехи многих стран так называемого «третьего мира», подсчитано, что в 1980 году 322 миллиона детей в возрасте от 6 до 17 лет не имели возможности ходить в школу.

«Это ужасающий факт, с которым интеллектуалу «третьего мира» невозможно смириться: более восьмидесяти процентов людей не умеют читать и писать! В этих обстоятельствах наши обсуждения наверняка снова породят давний вопрос: нет ли противоречия в том, что мы пишем для неграмотного населения? Есть ли вообще смысл писать, если у нас нет читательской аудитории? Марокканский писатель Тахар Бен Джеллун утверждает: «Континент неграмотных больше нуждается в писателях, чем континент, пресыщенный ученостью. Писать равнозначно тому, чтобы не сдаваться, не признавать поражения». И далее: «Мы делаем ставку на свободу и на будущее, ибо этот континент не всегда будет обречен на такие масштабы неграмотности. Те, кто придет после нас, может быть уже наши дети, будут вправе призвать нас к ответу. Писатель должен будет предъявить свои книги или же свое молчание».

Алекс Ла Гума осуждает тех, кто ставит на одну доску так называемые сверхдержавы.

Есть борцы за мир — и есть сторонники разрушения и войны. «Не будем же бояться проводить грань между ними! — обращается он к своим коллегам.— Кто выступает за мир, а кто — за войну? Вот вопрос нашего времени. Кто несет ответственность за ужасающие условия в странах так называемого «третьего мира»? — вот где надо искать ключевые ответы».

Приводя ошеломляющие данные ЮНЕСКО, о которых речь шла выше, он поясняет, почему не могут примириться с такого рода положением писатели «третьего мира», объединившиеся в Ассоциацию, почему они борются за мир в своих произведениях, почему отстаивают гуманизм, доброе в человеке, почему осуждают систему, укореняющую вражду и ненависть в отношениях людей, в их бытии.

«За четверть века Ассоциация создала

прочное братство литераторов Африки и Азии,— говорит Генеральный секретарь,— приобрела друзей и завязала контакты на других континентах: в Европе, Северной и Латинской Америке, в странах социалистического содружества. Деятельность ее вызывает понимание и поддержку не только творческой интеллигенции двух континентов. Перед ней открывается перспектива привлечения в свои ряды литераторов Латинской Америки, борющейся за национальную независимость, против империалистического гнета и сил реакции. Нет в настоящее время более сплоченной международной творческой организации, чем Ассоциация писателей Азии и Африки. В своем дальнейшем развитии она может сыграть конструктивную роль в создании всемирного объединения литераторов.

Присуждение премии «Лотос» писателям Африки и Азии за годы, прошедшие с момента учреждения премий, выдвинуло в первые ряды нашего движения имена многих хорошо известных литераторов, которые за истекшую четверть века выражали в своем творчестве негодование по поводу зверств колониализма; бичевали агрессию, коррупцию, бесчестье, неверие; проявляли сочувствие и симпатии к обездоленным.

В Африке романы таких писателей, как Чинуа Ачебе, Нгуги Ва Тхионго, Монго Бети — этот список можно продолжить именами тех, кто прямо или косвенно связан с Ассоциацией,— явились заметными событиями, стали подлинными вехами. Поэзия покойного Агостиньо Нето и других литераторов из бывших португальских колоний, которые участвовали в освободительной борьбе, внесла свой достойный вклад в литературу прогресса, демократии и мира.

Ассоциация выросла, пополнив свои ряды большинством наиболее представительных членов писательского братства в Африке и Азии. На основе коллективного членства национальных организаций и индивидуального членства она теперь охватывает более шестидесяти стран на двух континентах. Это не так уж мало, и достигнуто это за двадцать пять лет ее существования, несмотря на ухабы и преграды. В дополнение к этому писательские организации других материков привлекаются теперь в качестве ассоциированных членов АПАА.

Мы протягиваем руки в горячем приветствии прогрессивным писателям всех континентов. Мы разделяем горе и радости наших коллег — писателей Латинской Америки; мы поддерживаем мысли и чувства писателей и художников Кубы, заявивших на своем третьем съезде: «Поэзия слов и музыки, язык формы и цвета, света и тени, пространства и времени должен встать на защиту жизни, ибо жизнь и есть в конечном счете смысл их существования. Так защитим же ее, пока не поздно!»

Мы полностью поддерживаем заявление Сандинистской Ассоциации работников культуры, призвавшей писателей, художников, ученых Никарагуа защищать свою родину. «Мы уверены, — говорится в заявлении, — что можем рассчитывать на активную солидарность честных художников и интеллектуалов. Движимые глубоким чувством справедливости, они отзовутся заявлениями, выставками и любыми другими способами на призыв о помощи, исходящий от героического народа Сандино».

Ассоциация писателей Азии и Африки — часть гигантской и все возрастающей мировой общности народов, выступающих за справедливость, социальный прогресс и мир. Все прежние заявления нашей Ассоциации, где бы мы ни собирались, подтверждают это. Вместе с нашими народами, вместе со всем человечеством мы посвятим нашу энергию, подчиним наши перья достижению этих целей».

В маниакальном стремлении вернуть себе мировое господство, уничтожить социалистическую систему, национально-освободительное движение и независимость народов международный империализм не останавливается перед риском уничтожения нашей планеты и всего человечества. Игнорируя разумный подход Советского Союза к вопросам разрядки и разоружения, администрация Рейгана слепо добивается военного превосходства, тем самым провоцируя нынешнюю беспрецедентную гонку вооружений.

Движение народов за мир достигло небывалых масштабов. Обитатели нашей планеты с каждым днем преисполняются все большей решимостью доказать, что война не является неизбежной, не есть естественная составная часть развития человечества.

«Предотвратить ядерную катастрофу — дело всех людей на земле»,— говорит Алекс Ла Гума, призывая собравшихся обсудить наиболее действенные пути участия в этом общем деле писателей, поклявшихся служить своим пером защите мира.

С лирической ноты — воспоминания о прекрасном Ташкенте 1958 года, когда так же светило бархатное солнце, поспели фрукты, собран был урожай и воздух был напоен мягким теплом уходящего лета, начинает свою яркую, глубокую речь Фаиз Ахмад Фаиз — крупнейший пакистанский поэт, славный ветеран афро-азиатского движения, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», главный редактор журнала «Лотос».

Он возвращает внимание собравшихся к знаменательным строкам заключительной Декларации первой конференции:

«Нас объединила убежденность в том, что дело литературы тесно связано с судьбами наших народов, что подлинный расцвет литературы может быть достигнут только в условиях свободы, независимости, суверенитета народов, и ликвидация колониализма и расизма является условием полного развития литературного творчества».

Именно эта единодушно принятая Декларация и соответствующие резолюции ознаменовали рождение Ассоциации писателей стран Азии и Африки, сказал Фаиз Ахмад Фаиз. И это была не инициатива горстки писателей-энтузиастов, это было продиктовано самой жизнью. Так воплотилась идея, годами зревшая в умах и сердцах писателей и интеллигенции стран Азии и Африки: «Это событие стало осуществлением мечты, которую мы пронесли сквозь дол-

гую ночь колониального рабства, праздником воссоединения старых друзей, не встречавшихся прежде, свиданием влюбленных, разлученных веками».

Фаиз Ахмад Фаиз обозревает основные этапы двух с половиной десятилетий истории мировой литературы, главное внимание уделяя ее отклику на социальные преобразования и потрясения,— истории о том, как рухнули «башни из слоновой кости» эстетов от искусства, как возникли в мире, и в частности на Востоке, серьезные, политически сознательные, прогрессивные литературные движения, как на смену первозданной роли барда, священника или мага приходила функция художника слова — социальной фигуры, призванной отображать жизнь и делать ее прекрасной.

Истоки этих решающих преобразований он видит во вдохновляющем политическом опыте социалистической революции в России, в определяющем значении идейного наследия марксизма.

Современность — время напряженности, время тревог... С возмущением клеймит Фаиз вопиющее лицемерие администрации США, позволяющей себе выступать от имени «свободного мира», в то время как на деле именно истеблишмент США ставил и закреплял у власти всевозможных монархов, кровавых диктаторов, авантюристическую военщину и политическое отребье любого рода, которое ему удавалось прибрать к рукам.

Значительная часть его речи посвящена миссии писателя-гражданина в странах «третьего мира». Честь и совесть художника нередко подвергаются здесь особенно тяжким испытаниям.

Национальная независимость народа далеко не всегда автоматически освобождает его от жестокой тирании. Есть еще регионы, где по-прежнему народы лишены даже основного права на политическую независимость, где улицы городов и деревень залиты кровью борцов за свободу. Палестина, оккупированные Израилем арабские земли, Южная Африка, Намибия — с этими регионами более всего связаны политические интриги неоколониализма, разграбление экономических ресурсов, яростное наступление на культурные ценности, попытки империалистов подорвать национальную самобытность этих стран.

И о все более нарастающем ответном движении протеста говорит оратор — о том, что вызывает к жизни консолидацию сил прогрессивных писателей стран Азии и Африки.

«Долг художника и писателя нашего времени заключается в том, чтобы спасти из-под обломков традиции и прошлое своего народа, и извращенные, покрытые налетом чуждых ему неоколониалистских ценностей живые элементы своей самобытности»,— сказал Фаиз. Он указывал на необходимость соотнесения этих традиций с собственным опытом писателя и реальностями его времени. В ходе этой работы писатель вновь открывает давние культурные связи между народами Азии и Африки, прерванные в результате империалистической политики разобщения народов.

Фаиз Ахмад Фаиз говорит о заслугах Ассоциации писателей стран Азии и Африки: несмотря на проблемы, трудности, просчеты и недостатки, она продолжает существовать, ни на шаг не отступив от провозглашенных ею целей и задач. Своим назначением она всецело отвечает духу времени.

Высказывания писателя перекликаются с положениями его интересного диалога с Чингизом Айтматовым, опубликованного в «Литературной газете» незадолго до конференции.

Известно, говорил он там, что уже в глубокой древности были хорошо налажены торговые связи между различными регионами двух континентов, а ладьи и караваны, перевозя товары способствовали обмену культурными ценностями. Сейчас бесполезно гадать, как развивалась бы мировая культура, если бы традиционные связи внутри Азии и Африки, так же как естественные связи Востока с Западом, не были насильственно оборваны колониализмом, а все контакты сведены к одному: «метрополия — колония», то есть «победители» — «побежденные». Это затормозило рост традиционных культур покоренных народов, застывших на том уровне развития, на каком застигло их колониальное вторжение. И привело к появлению туземной элиты, получившей образование на западный лад и отчужденной от своих национальных корней, а часто — и от родного языка.

«Писатель оказался в двойном кольце отчуждения — от самого себя, поскольку никакое биологическое чудо не могло сделать его европейцем, и от своего народа, продолжавшего держаться за традиционную культуру. Если добавить к этому значительное отчуждение писателя и от мировой художественной мысли — он мог соприкасаться с ней только через колонизаторов,— то станет ясно, как важно было литературам Азии и Африки установить взаимные контакты. Налаживались они нелегко и непросто, что неудивительно — многое ведь делалось впервые. Нелегко дался и переход от пылких манифестаций к литературе глубокого исследования жизни. Я думаю, что уже сегодня выдающиеся произведения афро-азиатских писателей можно поставить в ряд с тем лучшим, что создала современная мировая литература. Не будь у нас возможностей сопоставлять себя с другими, использовать модели, созданные до нас,— наверное, потребовались бы века на то, чего мы достигли за десятилетия».

Создание Ассоциации отвечало задачам борьбы против колониализма, который, проиграв схватку с народно-освободительным движением, не отказался, однако, от экономического и культурного порабощения едва освободившихся народов. Писатели, объединенные вокруг Ассоциации, повели сражение за скорейшее духовное раскрепощение — важнейший фактор полной деколонизации. Трудно переоценить вклад прогрессивных писателей Азии и Африки в дело социального и духовного прогресса народов двух континентов, совсем недавно находившихся под гнетом колониализма.

Фаиз напоминает слова выдающегося

турецкого поэта Назыма Хикмета, сказанные им с трибуны первого форума: «Современная литература Азии и Африки — я имею в виду настоящую, истинную часть этой литературы — является освободительной, народной, гуманистической, ищущей, революционной и воспитательной. И потому она является сторонницей мира».

Особое внимание Фаиз уделил в своем выступлении роли, которую сыграла советская литература. Известно, что многие страны Азии и Африки в действительности получили доступ к книгам советских авторов лишь после своего освобождения от колониализма. Примечательно, что советская литература в течение весьма короткого времени оказала огромное воздействие на литературный процесс в странах Азии и Африки, на формирование мировосприятия и социального самосознания художников слова в развивающихся странах. И здесь, несомненно, значительная заслуга Ассоциации писателей двух континентов.

Взволнованные, проникающие в самую сущность тревог и надежд наших звучали в эти дни на земле Ташкента речи писателей, которых собрала вместе благородная идея форума. Звучали с трибуны пленарных заседаний, с трибуны комиссий, разделивших надвое поток обсуждения насущнейших проблем современности — комиссии политической и комиссии культурной. (Деление, впрочем, условное — скорее, по внешним обозначениям и акцентам. И в этом — закономерность свершающихся перемен — специфически литературные и социальные, политические заботы неразделимы сегодня в сознании прогрессивных мастеров культуры.)

«Писатели — представители нашего движения, как и все прогрессивные литераторы мира,— сказал Генеральный секретарь Всеарабского союза писателей, заместитель Генерального секретаря АПАА Али Окля Арсан (Сирия),— не имеют возможности сосредоточить свою энергию только на творчестве, на развитии богатств национальной культуры. Вместе со своими народами они живут под угрозой гонки ядерных вооружений. Прогрессивные писатели не могут оставаться вне своего времени, вне его тревог и кошмаров».

Арабские писатели — а они представляют активную часть Ассоциации — разделяют с братскими народами трудности жизни в условиях непрекращающейся жестокой битвы против различных видов угнетения, эксплуатации и отсталости, дают отпор планам империализма и реакции. Своими произведениями они славят героизм и самоотверженность участников освободительной борьбы народов, несмотря на все препятствия, разоблачают варварские заговоры и преступления сионизма и его агентов, посвящая свои книги народу, его надеждам, его вере в победу, его героизму в сопротивлении захватчикам и политике враждебных государств, выявляя подстрекателей войны и проявления малодушия, воспитывая чувство достоинства и стойкость, необходимые для достижения победы в борьбе за свободу и социальный прогресс.

«Кровью написаны страницы прозы и стихов о борьбе палестинского народа,— говорит он.— Арабские писатели выступают против посягательств на основы их культуры, истинный их смысл. Они обращаются к истокам своего наследия, отвергая при этом фанатизм, стремясь избежать замкнутости в области культуры, которую пытаются навязывать им агрессоры, преследующие цели разобщения сил национальной культуры, уничтожения ее самобытности».

Арабские писатели хорошо понимают меру своей исторической ответственности — родина их находится в опасности, народ их живет под угрозой агрессии и оккупации. Они сознают, что у них нет другого пути, кроме стойкости и сопротивления, кроме борьбы за победу с помощью пера и оружия. Они считают себя частью единого фронта, объединяющего всех честных людей, их цель — защита свободы, демократии, мира и справедливости, защита идей социализма и прогресса, прав человека, прав народов на самоопределение и развитие национальной экономики и культуры. Они считают, что только народ может быть полновластным хозяином своей страны и свободно распоряжаться ее богатствами. Они выступают против разобщенности, за которую приходится расплачиваться жертвами и кровью, она ослабляет прогрессивные революционные ряды арабов и препятствует осуществлению мер, направленных на освобождение Палестины, на достижение счастливого будущего. Опасаясь раскола, они призывают к мудрости в решении сложных проблем, к братскому диалогу, ибо только в нем — путь к взаимопониманию, сотрудничеству, единству.

«Мы никогда не смиримся с гнетом, унижением и покорностью, которые несут человеку ложь и заблуждение. И поэтому мы заявляем, что мы за мир, и именно с этой целью созвана наша конференция под лозунгом: «Мы будем продолжать нашу справедливую борьбу всеми средствами до окончательного освобождения нашей земли и человечества». Мобилизовать все силы — духовные и материальные на сопротивление гегемонистским устремлениям агрессоров. Бороться со всеми происками империализма, сионизма и фашизма — ради детей, ради будущего грядущих поколений и всей цивилизации. Продолжать борьбу за окончательное возвращение палестинского народа на свои земли — иначе все разговоры о справедливом и прочном мире могут остаться всего лишь риторикой — таков главный вывод его речи. Бороться за окончательное освобождение земли от любых видов агрессии, гегемонизма, отсталости и грабежа до тех пор, пока все не ощутят в полной мере вкуса хлеба и свободы... Создавать подлинно национальную гуманистическую культуру, призванную утверждать идеи добра, достоинства, идеи прав и свободы человека на земле, где воцарятся идеи мира и прогресса.

Интерес аудитории вызвало выступление Чингиза Айтматова. «В старые добрые времена,— сказал он,— писатель мог спокойно жить в тиши и уединении, целиком и пол-

ностью отдавая свои силы литературной работе, предаваясь в свободное время размышлениям об искусстве и бытии. В наш тревожный век нам это кажется несбыточной мечтой. Долг наш — по первому призыву отложить свои недописанные рукописи и устремиться в «горячую точку» планеты для того, чтобы поддержать единомыслие в рядах борцов культурного фронта, чтобы быть вместе с теми, кто ведет неустанную борьбу за социальную справедливость, за свободу, за расцвет народных культур, за достойную жизнь трудовых масс».

Писательская афро-азиатская Ассоциация именно потому возникла, существует и действует, отметил он, что эти заботы в наше тревожное время неотделимы от собственного духовного самочувствия, от нашего желания быть максимально полезным своим культурам, своим народам. По его мнению, сейчас для писателей Азии и Африки настало время в рассуждениях о своей миссии исходить не столько из региональных проблем, сколько в первую очередь из проблем глобальных, от которых зависит будущее всего человечества. Вот почему, обсуждая процессы развития культур Азии и Африки, нельзя отрешиться от событий, происходящих за пределами развивающихся стран, не выступать совместно против сил, которые ведут мир к войне.

Чингиз Айтматов предлагает собравшимся задуматься особо над тем, что даже сами по себе военные приготовления, гонка вооружений обескровливают и развивающиеся страны, усугубляя как раз те препятствия, нагромождение которых часто оказывается на пути постижения основной истины: осознания того, что страны Азии и Африки непосредственнейшим образом вовлечены во всю сумму мировых проблем, что империализм, социальным императивом которого является применение насилия,— понятие не расовое, а классовое. И потому самым верным путем освобождения человека от страха перед войной должно стать искоренение самой имперской психологии в любых ее проявлениях, с ее надменностью, с присущей ей тупой агрессивностью, исключающей способность видеть тенденции развития человечества в целом.

Сегодня все мы понимаем, продолжал Чингиз Айтматов, что любая конфронтация, любая попытка применить насилие вызовут катастрофу в мире, поэтому мы, каждый по-своему, ищем подступы к иным — разумным действиям.. Ясно, наше дело — писать. Но как? Как преобразовать в язык творчества все то, о чем мы сейчас говорим, о чем непрерывно думаем? Как найти убедительные слова для того, что и в мысли-то не укладывается?

Сам поиск ответа на эти вопросы, характер размышлений Чингиза Айтматова кажутся мне весьма интересными, заслуживающими быть приведенными так, как они звучали — сокровенно, как разговор наедине с собой.

«Глобальную тему писатель должен обратить в предмет личной тревоги читателя,— сказал он.— Я обращаюсь к одному человеку, к личности, я хочу, чтобы этот человек почувствовал, что мои мысли, переживания, страдания, надежды предназначены были конкретно ему. Я приглашаю его к духовному сопереживанию, я хочу остаться с ним наедине, чтобы посвятить этому человеку всего себя! Мне кажется, все дело в соотнесении писательского опыта с опытом читателей. Только не нужно это понимать буквально — на то мы и писатели, чтобы придать форму чувствованиям и мыслям миллионов и вернуть их им уже в виде самостоятельно существующих образов. И чем личностней эти образы, тем сильнее они могут воздействовать на людей. Конечно, при непременном условии — если писателю хватает таланта и искренности, чтобы вдохнуть в них жизнь.

Почему для меня это принцип — писать для одного? Литература, да и все искусство вообще, от века была предназначена для единения душ, а в эпоху тотальной стандартизации индивидуальность становится мерой всех вещей. Я всегда остерегаюсь широковещательных деклараций авторов, которые заявляют, что пишут для народа, что их читают массы».

«Я думаю, я хотел бы надеяться,— сказал в заключение Чингиз Айтматов,— что пишу для одного человека. Это человек, за которого я переживаю, за которого я борюсь, с которым я стараюсь быть предельно откровенным, которому я хочу высказать самые сокровенные мысли и высказать их таким образом, чтобы это его и затронуло, и восхитило, и поразило, и вознесло, и бросило в бездну. И я надеюсь — этот человек меня поймет. Если так и произошло — значит, я достиг желанной цели. Если нашелся один такой человек, я верю, что меня поймут и другие, может быть, и многие, может, и народ. Но обращался я к одному.

Вот вы можете спросить меня: ну а если не поймет? Не поймет — значит, я не сумел достучаться до его сердца, значит, нужно писать еще, писать лучше, глубже задуматься, острее чувствовать, не щадить себя. Конечно же, ни одна книга на свете не может нравиться всем, но мне необходимо, чтобы моя пришлась по душе, оказалась бы нужной хотя бы одному. Если же с самого начала идет расчет на массы, это ведет к девальвации смысла и назначения художественного творчества».

Из-за необъявленной войны, которую ведут империалисты, родина Гуляма Дастагира Панджшери, председателя Союза писателей Афганистана, вот уже в течение пяти лет является узлом классовых противоречий и одной из горячих точек справедливого национального сражения против сил империализма и реакции.

«В нашей революционной стране, в «кровоточащем сердце» пробудившейся Азии,— говорит он,— идет волнующая схватка между развивающимися классами и силами, исторически обреченными. НДПА, правительство Демократической Республики Афганистан и героический афганский народ, опираясь на бескорыстную моральную, политическую и техническую поддержку своего верного друга и великого соседа — Советского Союза, опираясь на боевую интернациональную солидарность лагеря мира, про-

гресса и социализма и всех национально-освободительных движений, находят свой трудный путь из горнила бедствий к лучезарному будущему, к великой новой жизни, к революционному завтра, свободному от эксплуатации человека человеком».

В центре внимания литературы Афганистана сегодня мужественные и человечные образы самых преданных воинов революции, защитников революции, революционных солдат, народных добровольческих отрядов вооруженной молодежи — тех, кто отправляется в окопы, чтобы защитить революционные завоевания родины. Основу новой культуры общества составляют героические биографии самых стойких рабочих и крестьян, солдат, офицеров, летопись подвигов недремлющего царандоя (народной милиции), хроника бескомпромиссной борьбы народа.

Почему проблемы мира, всемирной безопасности обрели для передового человечества значение большее, чем когда-либо? Почему движение за мир превратилось в справедливое дело всех благородных людей земли? Почему борьба за ликвидацию угрозы ядерной войны, гонки вооружений, движение в защиту мира в небывалых масштабах ширится и крепнет во всех уголках земли? Почему возрос страх людей на земле перед войнами и острыми зубами империалистов и их местных прислужников?

Все это вопросы, о которых прежде всего писатели и поэты — эти народные пропагандисты наших континентов и нашего общества — должны иметь конкретное и ясное представление. Так говорит с высокой трибуны Ташкента представитель борющегося Афганистана.

Выступает известный азербайджанский писатель Мирза Ибрагимов.

Непримиримые противоречия, парадоксы, катаклизмы современности подвергают человеческую личность испытаниям на цельность характера, выдержку, мужество и мудрость, говорит он. Самой трагической из всех проблем, которые ставит перед человеком бурлящая эпоха, является опасность, причем реальная опасность ядерной катастрофы, грозящая уничтожением цивилизации, созданной трудом и усилиями десятков тысяч поколений людей на протяжении сотен веков.

Военная эскалация как никогда сопровождается эскалацией низменных политических страстей, которые затуманивают разум иных государственных руководителей, так необходимый для того, чтобы сохранить выдержку, найти мудрый подход для верного решения сложнейшей из политических проблем. Оружие писателя — это перо. Перо, которое является священным в руках честного писателя, которое в руках Гомера, Фирдоуси, Низами, Руставели, Данте, Навои, Шекспира, Гёте, Пушкина, Шевченко, Абая, Горького, Драйзера служило веками и служит сегодня делу человечности, правды и справедливости. Это перо, по выражению одного из великих лириков и гуманистов Востока, азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули, сильнее, чем оружие завоевателей.

Слово писателя, быть может, и не образумит палача и кровожадного двуногого зверя, не смягчит каменное сердце тирана, заключает Мирза Ибрагимов, но оно способно воздействовать на умы и сердца миллионов людей и объединить их в борьбе против опасности разрушения и гибели, в борьбе за жизнь и красоту!

«Мы поддерживаем силы мира, социализма, прогресса и освобождения,— заявил Яхья Яхлюф, палестинский писатель-прозаик, Генеральный секретарь Союза палестинских писателей и журналистов, член Секретариата АПАА.— Литература вносит огромный вклад в дело мира, играет огромную роль в жизни народов Азии и Африки, является главным вкладом в борьбу человека, в борьбу всей нашей планеты за социализм, прогресс, мир и освобождение». Он рассказывает о том, как борется палестинский народ, который, имея право на самоопределение, не может создать свое самостоятельное государство, за осуществление этого права под руководством ООП, законно его представляющей, какое участие в этой борьбе принимают литераторы.

Палестинские писатели ведут борьбу против израильской агрессии. Они борются за освобождение оккупированных территорий, выступают против кэмп-дэвидского сговора. Писатели Ливана принимают активное участие в борьбе против военной оккупации, против политики, направленной на раскол этой страны. Они стремятся пропагандировать гуманистические идеи и призывают всех прогрессивных писателей мира крепить солидарность, крепить ряды борцов за мир, мир, в котором нуждаются народы всего мира, народы многострадального Ближнего Востока.

К трагической статистике обращается в своей речи индийский писатель Картар Сингх Дуггал. В 1982 году Соединенные Штаты израсходовали миллиарды долларов на экспорт оружия. Причем эти расходы не снижаются. Президента Рейгана особо заботит повышение прибылей военных корпораций. И это в то время, когда 570 *млн.* людей в странах мира голодают, 800 *млн.* людей неграмотно, 250 *млн.* не посещают школ, 1,5 *млрд.* людей не имеют доступа к медицинскому обслуживанию! И народы этих экономически слабых стран должны направлять огромные суммы на оборону, чтобы защитить свою свободу и независимость...

Многими выступавшими затрагивались проблемы идеологической борьбы, происходящей в современном мире. Говорилось о новом ужесточении курса мировой реакции на конфронтацию с Советским Союзом и его союзниками, на «уничтожение социализма как общественно-политической системы», об объявленном президентом США идеологическом «крестовом походе» против коммунизма.

В Праге, на Всемирной ассамблее «За мир и жизнь, против ядерной войны», деятели культуры отмечали роль средств массовой информации в борьбе за мир: «Войны начинаются не с бомб, а с «промывания мозгов», зачастую первыми жерт-

вами войны становятся искусство и культура».

Антимарксизм и антикоммунизм под личиной лживой заботы о «свободе творчества» и о «правах человека» стали в наши дни заглавной и нескрываемой целью империалистической пропаганды, ведущейся против мирового прогрессивного движения. Организаторы ее стремятся проникнуть в сферу культурной жизни всех континентов, уловить в свои сети людей творческого труда. В изделиях «массовой литературы» воспеваются войны и насилие, антисоветизм, прославляется неонацизм, возвеличиваются фальшивые ценности индивидуализма.

Речь шла о перенесении идеологических противоречий в сферу межгосударственных отношений. О том, что тактика эта никогда не приносила ничего хорошего ее вдохновителям. О том, сколь абсурдна она сейчас, в ядерный век: превращение противоборства идей в военное противоборство обошлось бы слишком дорого для всего человечества. «Мы исходим из того,— отмечал Ю. В. Андропов,— что историческое соревнование двух общественных систем, борьба идей — явление вполне закономерное, вытекающее из самого факта существования социализма и капитализма. Но мы решительно против того, чтобы это историческое противоборство направлялось к свертыванию мирного сотрудничества и тем более переводилось в плоскость ядерной войны».

Суан Зиеу передает дружеский привет участникам конференции от 300 вьетнамских литераторов из Ханоя, где в эти дни работал Третий съезд писателей Вьетнама.

Он говорил о том, что в течение долгих лет борьбы вьетнамского народа его соотечественники ощущали поддержку и помощь Ассоциации. «Дух Ташкента» был с нами до окончательной нашей победы,— сказал он, напомнив собравшимся слова Хо Ши Мина о том, что писатели и художники — тоже бойцы на фронте борьбы за мир.— Восемь коротких лет, прошедших со времени победы, нужны были, чтобы народ мог залечить свои раны, восстановить заводы, вернуть плодородие земле. И позволить влюбленным, которых на целое десятилетие разлучила война, вновь научиться любить друг друга.

«И вот опять Рейган ставит все человечество на край пропасти и полного уничтожения»...

Теснее сплотить ряды, бороться, сражаться за то, чтобы отстоять жизнь, призвал Суан Зиеу своих коллег.

Выступает председатель советского Комитета по связям с писателями Азии и Африки, заместитель Генерального секретаря Ассоциации афро-азиатских писателей Сарвар Азимов:

«Мы укрепляем литературные связи со всеми странами мира, не исключая ни одной,— сказал он.— Мы не приемлем теорий, разделяющих культуры на «низшие» и «высшие», на восточные и западные, мы, как и ранее, решительно отметаем попытки империалистов и колониалистов посеять рознь между нами, внести в наши ряды неуверенность и смятение. Это нелегкая борьба, но мы ее ведем, отдавая ей все силы. И поэтому мы можем с гордостью отметить: добрые семена, посеянные в дни Ташкентской конференции 1958 года, дали богатые всходы». Трудный путь, пройденный прогрессивными писателями Азии и Африки за 25 лет, С. Азимов назвал своего рода университетом мужества и зрелости для литераторов двух континентов.

«Там, где отсутствует человеческий разум,— начал свою речь Азиз Чалышлар, турецкий писатель, член Правления Синдиката писателей Турции, член редколлегии журнала «Лотос»,— нет человека, нет и человечества. Однако даже в наш век существуют те, кто боится человеческого разума...»

Сегодня в стране Чалышлара судят идеи мира. Сегодня в его стране судят великого борца за мир, выдающегося оратора человечества, одного из основателей Ассоциации писателей Азии и Африки — Назыма Хикмета. Его судят в год его 80-летия, через 20 лет после его смерти. Сегодня в его стране судят гуманистическую литературу и писателей-гуманистов, иначе говоря, под судом — само человечество.

Да, в наши дни судят человечество, хотят бросить его за решетку: на Ближнем и Дальнем Востоке, в Южной Африке, Центральной Америке, в бассейне Индийского океана. С одной стороны, жаркие локальные войны, с другой — страшная ядерная угроза.

Человечеству угрожают не только огнестрельным, но и другим, не менее опасным оружием — массовой псевдокультурой, поставленной на службу международному империализму. Именно она призвана превратить людей в бездумную, безликую массу, готовую к войне, говорит турецкий писатель.

Поставляемые в ужасающих размерах, эти изделия угрожают прогрессу народов развитых и развивающихся стран; эта массовая культура нацелена на искоренение подлинного искусства, служащего идеям гуманизма. Как сказал великий поэт Назым Хикмет, «они боятся наших песен»... Они боятся борьбы, которая ведется в сфере не только политики, но и литературы и искусства. Потому что неизбежное развитие истории отбирает у эксплуататоров и империалистов судьбы мирового литературного процесса и передает их в руки угнетенных народов.

«В Турции говорят: «У разума — одна дорога», мы можем сказать: у борьбы за мир в мире — один-единственный путь. Мы верим, что человеческий разум пойдет по пути этой борьбы. Мы верим, что весь мир будет свободно петь наши песни»,— так закончил Азиз Чалышлар.

Антонио Кардозо (Ангола) обращается к вехам пути, отделяющего сегодняшний день от VI конференции, состоявшейся, как известно, в Луанде, на его земле. Он продолжает разговор об эскалации пропагандистской войны против сил мира и прогресса, которая приобретает при нынешней

администрации Белого дома невиданный географический размах. Главным объектом идеологической, а нередко и военной экспансии американского империализма становятся целые регионы, с возмутительным цинизмом объявляемые «жизненно важными для безопасности и процветания США».

В соответствии с недавно обнародованной президентской директивой № 77 по национальной безопасности планируется серия акций, цель которых — создание в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки своего рода «пятой колонны» из проамерикански настроенных деятелей в политических, деловых, религиозных и научных кругах. Объектом особенно враждебных пропагандистских кампаний становятся прежде всего те государства Азии, Африки и Латинской Америки, которые порывают с зависимостью от империализма и западных монополий и становятся на путь подлинно самостоятельного развития.

Об этом говорил также иорданский писатель Хашем Яги. Обмануть миллионы и миллионы людей на нашей планете — вот к чему стремятся распространители дезинформации и лживой пропаганды, говорит он. Велика опасность ее для народов всего мира. Размеры ее прямо пропорциональны возрастающей опасности гонки вооружений. Честных писателей мира должны встревожить масштабы этой дезинформации. Долг их — активно противостоять проискам организаторов и вдохновителей этой пропаганды.

«Мы не вправе допустить, чтобы дух Хельсинки и Мадрида был забыт, чтобы заветы великих мыслителей Толстого и Ганди, Горького и Тагора канули в лету,— заявил Дипчанд Бихари (Маврикий).— Те, кто несет ответственность за сохранение нашей планеты, должны проявлять сдержанность и осторожность». Он напоминает собравшимся слова Михаила Шолохова: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям становиться лучше и чище сердцем, пробуждали любовь к человеку и желание становиться активными борцами за идеалы гуманизма и прогресса». Эти слова приобретают еще больший смысл в мире, где само существование Человека находится под угрозой ядерной катастрофы и расистской ненависти. Какая же польза от нас, писателей и поэтов, если читателей наших книг подстерегает опасность уничтожения. если планета, на которой они живут, будет обращена в мертвую пустыню?

Внимание участников конференции привлекло выступление писателя Ли Мэка (КНДР), принявшего участие в VII конференции после значительного перерыва во взаимных контактах.

Накаливая обстановку на Ближнем и Среднем Востоке, американские империалисты готовят новую агрессивную войну против арабских народов, нарушают мир и безопасность в Африке, выступая против народов Дальнего Востока, борющихся за национальное освобождение и строительство нового общества, сказал Ли Мэк. В настоящее время все откровеннее становятся, в частности, агрессивные происки, провокации, попытки развязать ядерную войну на Корейском полуострове.

Соединенные Штаты, следуя политике агрессивной стратегии в Азии, стремятся создать военный треугольник США—Япония—Южная Корея, расширяя военные базы в Южной Корее и вокруг нее. Они ввозят большое количество ядерного оружия. Американские империалисты непрерывно проводят крупнейшие военные маневры, нацеленные против КНДР, а сейчас, несмотря на движение протеста и отпор народов мира, вынашивают планы размещения в Южной Корее нейтронного оружия. Таким образом, сегодня Южная Корея превратилась в пороховой погреб, в ядерную военную базу, в стране создается очень напряженная обстановка, грозящая привести к настоящей войне.

Самая актуальная задача прогрессивного человечества и писателей мира — в том, чтобы разоблачить и остановить империалистов, помочь отстоять мирную жизнь на земле. Еще более сплотившись, мы должны возвысить свой голос в ее защиту.

Сменяют друг друга на трибуне писатели Таиланда, Гвинеи, Бангладеш, Алжира, Ганы, Мали, Марокко, Японии, Монголии, советских республик Азии, звучат вновь голоса Индии, голоса арабского мира. Рассказ о конкретных формах участия писателей в борьбе за мир чередуется с размышлениями о проблемах собственно творческих, хотя чаще те и другие предстают в нерасторжимом единстве. «С помощью книги мы должны освободиться»,— так сказал писатель из Ганы Атуквей Окай. С помощью книги отстоять мир — так можно было бы суммировать сказанное с трибуны конференции в эти памятные дни.

«Испокон веков воспевает литература журчание родника и прохладу гор, глубину морей и небесную синь, аромат цветов и прозрачность рек, тишину утренних зорь и звездные ночи, красоту любви и всепобеждающую силу дружбы, творение человеческого гения и торжество добра над злом... Но при этом мы, литераторы, когда это понадобится, можем стать бойцами,— говорит Джубан Мулдагалиев — казахский поэт, первый секретарь Союза писателей Казахстана.— Чтобы сохранить мир на земле. Мир — для того, чтобы добиться для всех возможности свободного и гармоничного развития личности, культуры всех народов, уважения достоинства каждой страны».

«У истоков движения писателей стран Азии и Африки никогда не было людей, прячущих свой талант за рамки жизни»,— это слова Сергея Баруздина, главного редактора журнала «Дружба народов», члена бюро Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки. Свое выступление он начинает строками стихов выдающегося ангольского поэта и первого президента революционной Анголы Агостиньо Нето:

Не уходи чересчур глубоко
внутрь самого себя,
не запирай свою память
в тюрьму бессонных ночей,
в одиночные камеры снов,
заменяющих жизнь...

Мысль его — о том, что Движение, юбилей которого отмечается сегодня, родилось

как прямой ответ на требование жизни: двадцатипятилетний путь Ассоциации, несмотря на все его сложности, подтверждает верность избранного направления — в настоящий момент, может быть, больше, чем когда-либо прежде. Империализм, против которого выступало Движение с первых дней своего существования, стал изворотливее и, главное, агрессивнее. Противостоять ему — долг каждого честного человека на Земле, будь он африканец или европеец, азиат или американец, заключает он.

Заседает политическая комиссия

Председательствующий — индийский прозаик и критик, лауреат Национальной премии Индии, международной премии «Лотос», ветеран афро-азиатского писательского движения Бхишам Сахни — подчеркивает принципиальное значение и огромную важность текста приветствия Ю. В. Андропова участникам Конференции. Тревожные и трезвые оценки, в нем содержащиеся, заставляют задуматься каждого, сказал он, в этом документе выражена твердая воля советского народа сделать все от него зависящее для сохранения мира, устами руководителя партии и государства дана доказательная характеристика курса, проводимого международным лагерем борцов за мир.

Японский делегат рассказывает о движении за запрещение ядерного оружия конституцией его страны, о демонстрациях протеста против создания американских военных баз на его земле, касается и антивоенных выступлений в других регионах — в частности, говорит об активной роли писателей в антивоенных манифестациях, о выступлениях аборигенов Австралии и Новой Зеландии против ядерных испытаний в районе Тихого океана.

Представитель Ирака призывает осудить войну между Ираном и Ираком, поддержать инициативы и усилия международных организаций, предпринятые в этой связи. От имени всех африканских делегаций вносится проект документа о положении в Ливане, представляющем серьезную угрозу делу мира.

К рассмотрению принимаются предложения делегата КНДР, познакомившего собравшихся с тревожным положением, складывающимся в стране по вине заправляющих в Южной Корее американских агрессоров. В решение Комиссии представитель Мозамбика предлагает включить рекомендации о создании постоянного комитета защиты от преследований писателей, борющихся за прогресс и мир.

Особый интерес вызвали заседания **Культурной комиссии.** Около двадцати содержательных выступлений было заслушано здесь.

Прозаика и поэта Мухаммеда аль-Аруси аль Метви, председателя Союза тунисских писателей, волнуют проблемы: «писатель и дети», «писатель и молодежь». Что может сделать литература для воспитания новых поколений в духе гуманизма, приверженности идеям добра и прогресса, братской солидарности с народами, борющимися за мир, как противостоять настроениям пессимизма, укреплять в душах людей веру в возможность добиться счастливой, достойной человека жизни на земле?

Герою современной литературы посвящает свое выступление член бюро Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки литературовед и критик Виталий Озеров. Какой человеческий тип олицетворяет нашу переломную эпоху? Труженик и гуманист — тот, кто непримирим к социальному угнетению, кого влекут идеи свободы, кто на дилемму века «война или мир» с категорической уверенностью отвечает: «только мир!»

Долг современного писателя — противостоять своими книгами проповеди исконной пассивности человека, с которой выступают идеологи империализма, утверждать идею социальной активности героя. Именно в этом усматривает оратор закономерное направление эстетических исканий и отдельных мастеров и национальных литератур, продолжающих лучшие традиции своих культур.

От анализа художественного подвига Максима Горького к романам Нгуги Ва Тхионго, Алекса Ла Гумы, Шолохова, Айтматова, к опровержению злобных пассажей советологов всех мастей, пытающихся уверить, будто труженик может быть только разрушителем, рабом будничных дел, гасящих высокие порывы. «Для наших литератур немыслима эстетическая унификация, как немыслимо и примирение с попытками сеять в умах людей пассивность и уныние перед лицом агрессии. Наш творческий девиз: «Крепить волю в борьбе с поджигателями войны!» А это значит — разглядеть в жизни и воспеть того, кто способен на такой подвиг...»

Гунасена Витана, Генеральный секретарь Фронта народных писателей Шри Ланки, начинает свое выступление с рассказа об одной иллюстрированной американской книжке для детей, изданной недавно в его стране с подзаголовком «Стреляй и считай». На первой картинке изображены военные корабли ВМС США, готовящиеся к очередному захвату чужой территории. На палубе — штабеля огромных снарядов, орудия нацелены на берег, один матрос подносит снаряды к орудию, другой прицеливается и стреляет. «Долг мой — напомнить, что есть еще в наших странах силы, которые поддерживают империализм, публикуя подобные опусы». Писатель предостерегает: опасность империалистической культурной агрессии, устремленной на «американизацию «третьего мира» достаточно серьезна, хотя в последние годы ей все более ощутимо противостоит благотворное влияние современных прогрессивных художников слова, произведений советской литературы, переведенных на сингальский и тамильский языки.

Слово — Юрию Рытхэу. В центре его внимания — проблема молодых, в прошлом бесписьменных литератур, которым, по его образному определению, «каждый день, проходя расстояние в несколько сот метров

от яранги до школьного здания, приходилось перешагивать через тысячелетия». Он рассказывает об истоках сегодняшнего расцвета культур этих народов — итоге претворения в жизнь ленинской национальной политики; об отличительных признаках новых книг северян, направленных против всех видов загрязнения среды — не только в лесу, в тундре, в поле, в море, в реке, в озере, но также и в духовном климате общества, личности, во внутреннем ее мире. «Долг современного писателя — способствовать развитию самобытных литератур народов, какими бы малыми они ни казались на первый взгляд, ибо и малые звезды украшают небо!»

Столица Заира — в тридцати километрах от Браззавиля, за двадцать минут туда можно добраться по реке. А по телефону поговорить из Браззавиля с Заиром возможно только через Париж.

Об этом рассказывает с трибуны конголезский поэт Леопольдо Мамонсоно-Пинди. Он приобщает собравшихся к нелегким проблемам своей страны, своего континента, где еще весьма ощутима зависимость от произвола колониалистов. Проблем этих много — политических, языковых, культурных,— фиксирует их даже приведенный оратором «мини-факт», с которого мы начали рассказ о его выступлении.

Завершая его, оратор из Конго предлагает создать в рамках Ассоциации секцию перевода произведений афро-азиатской литературы.

Литературовед и критик Юрий Суровцев избрал для своего выступления тему «О культурно-социологической основе взаимосвязей национальных литератур». Трактовал он ее, исходя из общественного контекста, в котором она предстает сегодня.

Не «вестернизация», не техника, не индустрия сами по себе угрожают сегодняшнему миру, но именно капитализм, империализм, неоколониализм, стремление нивелировать великое богатство человеческого рода — многообразие его культур. Таков главный тезис его речи, обращенной ко всему комплексу проблем, обсуждаемых на Конференции. Особое внимание он уделил анализу характерных явлений в развитии советской многонациональной литературы. В самой конференции Ю. Суровцев видит новую форму стимулирования международных литературных связей — форму, подсказанную жизнью современного сложного и тревожного мира. «Афро-азиатское писательское движение — важный, разумно организованный поток, течение в современном литературном мире. И мы, писатели советской страны, будем искренне рады, если что-то из опыта наших литературных взаимосвязей окажется полезным для этого в мировом масштабе осуществляемого благородного движения». Этими словами заключил свою речь Ю. Суровцев.

Звучат голоса писателей Нигерии, Ирака, Монголии, Узбекской Советской Республики. Заметное место в обсуждении заняли проблемы детской литературы — многие речи были почти полностью им посвящены.

Тему драматургии и театра затронул в своей речи известный драматург Афанасий Салынский: «Что преподнесет человечеству современный театр? Одарит ли надеждой на будущее или вселит в душу отчаяние, позовет ли на защиту мира, всего живого на земле? Вот о чем сегодня стоит задуматься». Он говорит о невиданной войне за человеческие души, бушующей в современном мире, о тенденциях воспевания грубой силы, жестокости, смакования всего того, что способствует нравственному опустошению людей, готовит их к тому, чтобы они легче становились жертвами социального насилия. Такого рода «искусство» растлителей душ, которому в Советской стране уже многие десятилетия назад поставили заслон, имеет еще приверженцев в среде реакционных буржуазных литераторов, философов и практиков театра, говорит оратор.

Передо мной одно из приложений к материалам Культурной комиссии — текст выступления народного писателя Каракалпакии Туленбергена Каипбергенова, которое не удалось заслушать и потому в завершение своего беглого обозрения работы этой комиссии позволю себе привести его целиком:

«Мы живем в такое время, когда мир, как никогда, нуждается в писательском слове в защиту мира прогресса, свободы народов. В народе говорят: «Слово лечит — слово калечит». Орудием писателя всегда было слово, объектом изображения — правда, только правда жизни. Лишь тот, кто говорит правду, достоин памяти поколений.

Еще классик каракалпакской литературы бессмертный Бердах сказал: «Мое слово сначала должно понравиться мне, потом моему дому, затем моему соседу, после — моему народу, тогда оно будет нравиться всем...»

Когда-то на древнем Востоке распространителями добрых мыслей были странствующие поэты — шаиры; из аула в аул, из края в край, из страны в страну они несли национальные песни, свои газели. Они говорили на разных языках, но мечтали об одном и том же — о торжестве разума и справедливости, о единении людей доброй воли. Ассоциация писателей Азии и Африки является в какой-то мере воплощением их мечтаний, продолжением их идей. Ведь сегодня в этом зале собрались лучшие представители культуры многих стран, собрались, сознавая свою ответственность перед человечеством и историей. Потому что творчество писателя — волнующее послание грядущим временам и поколениям. Литература — это мост, соединяющий континенты, река, в которую вливаются культуры разных народов планеты.

Никакие летописи, документы, хроники не могут заменить художественного слова. Навои и Низами, Данте и Шекспир, Гёте, Лев Толстой, Пушкин и Бердах оставили нам великую память, описав психологию и нравы своего времени. Они не только были воспитаны своей эпохой, но и сами являлись воспитателями своего времени и грядущего.

Рассказывают, что грозный Хорезм-шах при жизни жестоко преследовал поэтов за их вольные стихи, но завещал похоронить его тело у скромной могилы знаменитого Паллевана Махмуда с надеждой, что по дороге к праху поэта хоть кто-нибудь споткнется и о могилу хана.

Живет также легенда о том, как в трудный час древняя Спарта обратилась за военной помощью к своим извечным соперникам — афинянам. И последние в насмешку прислали хромого воина. Плохой солдат оказался хорошим поэтом. Благодаря его вдохновляющим, страстным гимнам спартанцы одержали победу над врагом. Талантливое слово поэта оказалось грозным оружием.

Эти предания говорят о том, как высоко ценилось во все времена и у всех народов художественное слово. Судьбы времени, судьбы эпохи зависят от людей. Но люди по-разному понимают свою роль в жизни. Есть такие, что считают себя вправе огнем и мечом навязывать человечеству свою волю. Угрожая всеобщим уничтожением, атомной катастрофой, они пытаются диктовать народам разных стран и континентов, как им следует жить. А народы мира давно уже хотят жить в мире, в соответствии со своими идеалами добра и справедливости.

Писатель, поэт, если он подлинный поэт,— всегда выразитель души народной и, следовательно, выразитель его идеалов. Вот почему сегодня писатели — в первых рядах борцов за мир, за национальный прогресс и свободу народов.

Писатель, если он настоящий, не может стоять в стороне от болей мира, от страданий людей. Рождается уже второе поколение палестинцев, чьи матери под вой и гул израильских «фантомов», под канонаду орудий с клеймом «Сделано в США» поют на чужбине колыбельные о прекрасной родине. Дети Южной Африки с молоком матери впитывают ненависть к угнетателям. И этот печальный список можно продолжить. Гневом и болью набатно звучит над планетой пламенное слово Алекса Ла Гумы, Фаиза Ахмада Фаиза, Абдаррахмана аль-Хамиси, Муина Бсису, Зульфии и многих других.

Ассоциация писателей стран Азии и Африки — это не только объединение коллег по перу — это содружество пламенных борцов за мир и справедливость. Я здесь представляю небольшой народ, который издревле живет между двумя великими реками. История каракалпаков, как и история многих других народов, полна драматических событий, связанных с борьбой за свою независимость, за свое право существовать на земле.

Основной темой каракалпакского фольклора была свобода, борьба против завоевателей. Из уст в уста передавали каракалпаки тысячестрочные сказания в стихах, в которых воспевалась любовь к Отчизне. Сегодня на многих языках мира читают дошедший до нас из глубин веков гениальный эпос «Кырк кыз» — «Сорок девушек», прославляющий героизм женщин-патриоток, защитивших свободу и независимость от иноземцев.

Древняя история каракалпаков напоминала скитания изгнанника, бредущего по бездорожью неизвестно куда, это был и ратный путь воина, густо окропившего ненасытный песок своей кровью, это и биография дехканина, который в поте лица пишет ее дедовской сохой. Словно тени, блуждали каракалпаки во тьме веков на задворках мирового прогресса. Великий Октябрь дал нам возможность встать на могучий фундамент мировой культуры. Мой народ и другие малочисленные нации Советского Союза обрели свою национальную письменность лишь после 1917 года, и первые рассказы, повести, романы увидели свет в тридцатые годы нашего столетия. А сегодня имена Расула Гамзатова, Чингиза Айтматова и многих других представителей молодых советских литератур известны миру.

У современной прогрессивной литературы не существует границ. Основополагающие принципы движения писателей стран Азии и Африки, заложенные четверть века назад в столице солнечного Узбекистана — идеи гуманизма, добра и справедливости, свободы и равенства,— являются надежнейшим фундаментом нашего содружества. Эти общечеловеческие, вечные ценности получают ныне все большую поддержку всего прогрессивного человечества. Потому что в них выражены самые заветные чаяния всех народов мира и самое человечное из человеческих стремлений — жить в мире. В связи с этим я хочу вспомнить знаменательные слова из обращения Первой ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки к писателям мира:

«Мы, писатели,— совесть народов. На нас лежит ответственность за судьбу не только наших современников, но и будущих поколений...»

Об этом должен помнить каждый честный писатель...

Слово — другим континентам

Не пора ли, однако, привести речи гостей, прибывших на конференцию с других континентов?

Писатель-коммунист из США Филлип Боноски выступает на конференции от имени «другой Америки» — не Америки газетных магнатов, Белого дома, не Америки международного валютного фонда или игорных притонов Лас-Вегаса — нет, от имени Америки, не желающей проливать потоки крови, не желающей иметь нейтронную бомбу, отказывающейся принимать политику тех, кто посылает карателей в Никарагуа, Сальвадор и Гватемалу, как посылали их во Вьетнам. Америки Марка Твена, Америки, мечтающей о том, чтобы Чили обрело свободу, отказывающейся убивать кампучийцев, палестинцев, ливанцев, Америки протестующей, ведущей борьбу за мир.

«Хотя я приехал не из Азии или Африки, но я думаю, что здесь и мое место,— говорит он.— Ведь столько моих соотечественников связано с этим континентом самим происхождением!»

Филлип Боноски рассказывает о том, как трудно ему было попасть в Ташкент — в дни злокозненных провокационных антисоветских акций администрации Рейгана до-

биpаться из Нью-Йорка пришлось через Мексику.

Ужасы мира могут оказаться не менее страшными, чем злодеяния войны, заявляет Боноски. Речь его — о зловещем цинизме, который обрекает мужчин и женщин, детей, стариков на смерть для того, чтобы испытать оборонительную систему чужой страны, о злодеяниях, которые творятся изо дня в день, с часу на час, из месяца в месяц. «Сорок миллионов слов обрушивают каждые сутки средства информации Запада на человечество, создавая в мире шум, стремясь свести на нет, заглушить ноты инакомыслия, одурманить сознание тех, кто вынужден воспринимать весь этот пропагандистский грохот».

Он говорит о нейтронной бомбе, «идеальном новом оружии» капиталистов — средстве истребления, убивающем людей и оставляющем нетронутыми материальные ценности. Лишь один изъян имеет этот вид специализированного убийства в глазах его изобретателей — с горьким сарказмом говорит оратор: такая бомба убивает людей без разбора, уничтожая потенциальных потребителей: мертвецы уже не могут быть потребителями. Филлип Боноски приводит в своей речи слова Уолта Уитмена, около ста лет назад призывавшего «бросить проницательный взгляд на собственное лицо, на всю нашу страну, как это делает врач, когда ищет глубоко укоренившуюся болезнь у своего больного».

Яркая речь его вызвала немедленный отклик с трибуны:

«Хотя не принято на конференциях отзываться о выступлениях друг друга,— сказал Име Икидде из Нигерии, — не могу не сказать о том, как глубоко задели меня мысли нашего собрата из Соединенных Штатов. Если бы нам нужно было принимать коллективное Обращение к писателям мира, я остановился бы на тексте его содержательной речи, свидетельствующей о том, насколько важны и необходимы такого рода международные встречи».

Говорит французский писатель Робер Андре — президент Международной Ассоциации литературных критиков:

«Вспомните, какие надежды родились у всех нас в 1975 году после конференции в Хельсинки! Увы, нам пришлось разочароваться. Мы видим, как возрастает угроза ядерной войны. Мыслимо ли для писателей оставаться в стороне, не обращать внимания на опасность, которая угрожает человечеству, самому его существованию — не только политическому, нравственному его бытию, но и бытию физическому.

Как говорил в Париже один известный биолог, человечество сейчас сунуло голову в ядерную петлю. Лишь одно неверное движение — и может произойти наше самоубийство, самоубийство четырех с половиной миллиардов жителей земли, и всего за несколько минут будет уничтожена живая жизнь на планете.

К сожалению, это не плод нашего больного воображения. Это реальная возможность. Думаешь об этом и задаешь себе вопрос: а что же делать? Могут ли наши слова помочь нам избежать такой участи? Думая о вещах, которые представляют для него опасность, человек все же склонен инстинктивно оборонять себя...»

«Встречи, подобные нашей конференции в Ташкенте,— добавил Робер Андре,— очень полезны. Прочту вам призыв, принятый большим собранием членов движения «Дассен», на котором присутствовало полмиллиона жителей Парижского района: «Год назад нас было 100 человек, которые бросили призыв выступить против угрозы войны мужчинам и женщинам в нашей стране. Сейчас нас сотни тысяч».

Возрастает число борцов, которые заявляют: «Хотим мира!», «Мы хотим жить!» Эти манифестации борцов за мир, за жизнь показывают, как сильно наше желание остановить гонку вооружений. Мы обращаем свои призывы ко всем правительствам, к Организации Объединенных Наций. Голос разума и гуманности должен звучать набатом, не замолкая. Мы хотим, чтобы все люди, представляющие различные философские, религиозные течения, солидаризировались с нашим призывом. Чтобы наш призыв объединил всех, привлек молодежь в движение против войны, за мир. Мы утверждаем жизнь! Нам нужна не эскалация войны, мы требуем разоружения, мы собираем подписи за мир».

Слово — Камену Калчеву — известному писателю и общественному деятелю Болгарии: «Самые зловещие картины Апокалипсиса бледнеют перед тем, что с методической последовательностью и жестоким хладнокровием готовит американский империализм для мирных жителей земли. Вчера они огнем и напалмом сожгли цветущие земли Вьетнама. Сегодня они рушат и стирают с лица земли мирные города и села Ливана. Еще свежа кровь погибших в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила. Кровавые деяния американских разбойников и их сионистских пособников угрожают не только Азии и Африке, но и нашему континенту — старой Европе, колыбели современной цивилизации. Все мы являемся свидетелями того, как американский империализм все туже затягивает смертельную петлю на шее миролюбивых народов. Именно поэтому возникает естественный вопрос: «До каких пор будет продолжаться этот поход каннибалов? Нет ли тормоза для их безумия? Не пора ли объявить войну во имя мира, во имя жизни?»

«Вот такие мысли волнуют меня сегодня,— продолжал Камен Калчев,— когда, стоя на трибуне, я смотрю с любовью и надеждой на лучших сыновей и дочерей Азии и Африки, приехавших в Ташкент, в город солнца и миролюбия, одну из прекрасных столиц великого Советского Союза — крепости мира, крепости и защитника всего человечества, нашей великой надежды.

В тяжелый драматический момент проходит сегодня наша встреча. Американский империализм подталкивает мир к термоядерной катастрофе. Гибель ожидает Землю! Гибель ожидает цивилизацию! Гибель нависла над каждым из нас, нашими детьми, над каждым живым существом! Нет времени колебаться! Отступать некуда! Превратим свое слово в дело! Сплотим теснее

свои ряды! Поставим железный заслон провокациям и шантажу подлого врага, который с откровенным цинизмом говорит о человеческих правах и при этом ежедневно, ежечасно губит тысячи жизней мирных людей!»

«Кубинские писатели,— заявила с трибуны Хеорхина Эррера,— присоединяются к требованиям и идеям Ташкентской конференции, имеющей огромное историческое значение. Кубинские писатели на стороне всех народов нашей планеты, борющихся за мир. Что означает мир для всех тех, кто в данный момент находится под жестокой пятой империализма?

Сегодня враги прогресса лицемерно настаивают на уступках, требуя от других сокращения вооруженных сил, лживо заверяя, будто сами идут на эти уступки во имя мира. Но на самом деле их цель — разобщение человечества, ведущее лишь к удовлетворению их имперских притязаний.

Нельзя верить их разглагольствованиям о мире, каждый из нас это знает. Мы здесь собрались, чтобы совместно обсудить, каким путем прийти к настоящему миру.

Никарагуа не хочет того мира, о котором говорят империалисты, натравливая и оплачивая наемников, готовящих нападение на ее территорию.

Не может согласиться и Сальвадор с таким миром, в котором военные инструкторы-янки будут душить его справедливую освободительную борьбу.

Отвергает такой мир и Пуэрто-Рико, на который североамериканский империализм взирает как на страну, за счет грабежа которой он может еще больше обогатиться».

«Мы хотим сегодня здесь,— сказал Фернандо Сильва Эспиноса (Никарагуа),— рассказать о фактах империалистической агрессии Соединенных Штатов Америки. Постоянное присутствие кораблей морского флота США у берегов Никарагуа, провокационные полеты над нашей территорией, пиратские нападения с территории Гондураса, где расположены военные базы США, специально предназначенные для подавления нашей революции в Никарагуа, сбрасывание бомб на территории, граничащие с Гондурасом и Коста-Рикой, идеологический саботаж, ежедневное запланированное запугивание населения бандитскими налетами, которые скрыто готовятся разведкой и Пентагоном Соединенных Штатов Америки. Ежедневно ведется разнузданная пропаганда радиостанций и прессы Соединенных Штатов Америки. Однако ни внутренняя, ни внешняя агрессия не запугала никарагуанский народ, во главе которого стоит Национальный Сандинистский Фронт. Наоборот. Эта агрессия вызвала небывалый подъем гражданской сознательности. Мой народ встал стеной на защиту завоеваний революции, в каждом доме и каждой семье мой народ отдает этому делу все свои силы.

Огромную роль играет сейчас Сандинистская Ассоциация деятелей культуры. Речь идет не только об изданиях революционной литературы и выступлениях видных прогрессивных деятелей искусства, но и о героическом служении священному революционному долгу, завещанному нам великими предками в борьбе за Независимость.

Сформированные нами культурные бригады, бригады художников, актеров и писателей сражаются своим искусством, пером и настоящим оружием в самых горячих, самых боевых точках столкновений с врагом. Они доносят свое слово честных писателей до наших солдат. Нет, не солдатам, а вооруженному народу. Это братская поддержка, поддержка национального достоинства.

И вооруженные никарагуанцы, стоящие на страже Родины, понимают, что искусство и литература сегодняшнего Никарагуа служат им. Служат борьбе за никарагуанскую революцию. Поэтому на этой VII конференции писателей стран Азии и Африки, проходящей под лозунгом свободы и дружбы между всеми народами мира, мы хотели обратиться к вам и просить каждого из вас — вас, представителей творческой и революционной интеллигенции, во имя революционной солидарности нести людям правду о нас, выражать солидарность с нашей священной борьбой, помогая защитить нашу Революцию, нашу национальную свободу; ведь это общее дело всех борющихся народов».

Венгерский писатель Дюла Чак, один из руководителей Союза писателей Венгрии, извещает собравшихся, что с настоящего момента этот Союз является ассоциированным членом АПАА. От имени своих коллег-соотечественников он заверяет высокое собрание, что в его небольшой республике, уделяющей значительное внимание публикации произведений писателей Азии и Африки, будет сделано все возможное для популяризации деятельности АПАА в Центральной Европе.

Председатель Союза писателей ГДР Герман Кант в своем послании Конференции пишет о том, что писатели ГДР рассматривают Ассоциацию писателей Азии и Африки как надежного соратника в борьбе за сохранение мира и выражают свою солидарность, готовность оказывать действенную поддержку их борьбе.

Завершая записи...

И снова выступают делегаты на пленарных заседаниях...

Сегодня империализм США, заявил председатель Союза писателей Монголии Дожогийн Цэдэв, подсовывает свои смертоносные ракеты другим странам, пытаясь сыграть на их желании быть или выглядеть сильными и мощными, а в действительности бросает им факел, который готов вот-вот поджечь нашу прекрасную землю.

Ныне на нашей планете самую важную роль в движении за сохранение мира на земле играют социалистические страны и прежде всего Советский Союз, сказал он. Во многом благодаря самому факту их существования человечество живет в мире вот уже около сорока лет. Все новые предложения и инициативы Советского Союза пронизаны единственным стремлением

предотвратить угрозу ядерной катастрофы, сохранить мир на земле, жизнь человечества, а не желанием получить для себя одностороннюю выгоду, как пытаются представить их некоторые круги на Западе. Оратор говорит о значении недавних ответов главы Советского правительства Ю. В. Андропова на вопросы корреспондента газеты «Правда», о том вкладе, который вносит Ассоциация писателей стран Азии и Африки в борьбу за мир, дружбу между народами, за укрепление самосознания народов двух континентов, за расцвет культур, против расизма и неоколониализма, происков и агрессии реакционных сил.

«Монгольские писатели с первых же дней активно участвовали в Движении писателей стран Азии и Африки. Они были среди тех, кто заложил фундамент этого, ныне влиятельного и авторитетного, Движения прогрессивных деятелей литературы и искусства двух беспокойных, великих, красивых континентов нашей земли. Ассоциация афро-азиатских писателей играет важную роль в сплочении прогрессивных писателей во имя мира и социального прогресса, в развитии культурных связей всех народов, во взаимном обмене опытом.

Наша сила была и будет в нашем единстве. И самое главное заключается в том, что именно в рядах нашего движения мы все чувствуем себя и патриотами наших стран и народов, и в то же время — интернационалистами».

Примечательно было выступление Давида Кугультинова, вспомнившего строки английского поэта Киплинга: «Восток есть Восток, Запад есть Запад. Они никогда не сойдутся». Киплинг жил в то время, когда господствовала геометрия Евклида. Но не была известна геометрия Лобачевского. По Евклиду две параллельные прямые никогда не пересекутся. По Лобачевскому: две параллельные прямые в бесконечности пересекаются. Для пересечения вершин культуры Запада и Востока не нужно было бесконечности. Эти вершины пересеклись: медицинские трактаты Авиценны, математические постулаты аль-Хорезми, стихи Алишера Навои, Рудаки, Хайяма были известны в Европе и обогатили мировую культуру уже в то время. Что касается Ташкента, то он стал сейчас символом современной цивилизации Востока.

«Калмыки говорят, что коровы могут растоптать красоту, красоту понимают только люди. Венера Милосская способна вызвать восторг у каждого, кроме современного каннибала, отца нейтронной бомбы,— тот пожелал бы взорвать ее. Да здравствует красота! Да здравствует любовь! И будь проклят тот, кто сеет вражду!»

Наше Движение, заявил Кабир Чоудхури (Бангладеш), связано с борьбой за мир и свободу. Мир — это не отсутствие конфликтов, а борьба за устранение конфликтов любого рода. Мир — соотношение самых различных факторов. Мир неделим и связан со свободой и справедливостью. Мир означает борьбу с кризисом, борьбу с загрязнением окружающей среды. Но прежде всего мир — это борьба с угрозой глобальной ядерной войны, которая представляет наибольшую опасность для человечества. Именно поэтому сотни миллионов людей во всех странах мира борются за мир, ибо война приведет к гибели человечества. Однако, несмотря на то, что империалистические ястребы бряцают оружием, мы верим в победу сил мира. Даже в Тель-Авиве, Вашингтоне, Нью-Йорке ширится движение сторонников мира. Величайший грех — терять веру в человека. Надо верить в человека. Человек победит темные силы войны. Поэтому писатели мира объединяются для того, чтобы победить величайшее из зол — войну, для того, чтобы утвердить идеал мира на земле.

Наши проблемы живут и ходят за нами. Основная проблема в том, заявил Абдуллай Чиам (Мали), чтобы спасти жизнь на земле. И наука должна помочь нам. Мы должны развивать свою деятельность во имя разрядки, во имя предотвращения ядерной катастрофы. Писатель должен быть прежде всего человеком действия, активным защитником равенства и братства.

Говорит лауреат международной премии «Лотос» Атуквей Окай (Гана): «Ассоциация писателей Азии и Африки играет огромную роль в жизни народов этих двух континентов. Она объединяет не только страны, но и всех, кто живет в них, помогает, в частности, до сознания каждого африканца донести мысль о том, что с помощью книги они должны освободиться и завоевать лучшее будущее».

Выступает Макото Ода (Япония): «Наши тревоги и боли можно изобразить в двух фотографиях-символах. Первая — фотография атомного гриба над городами Хиросима и Нагасаки — зловеща. Это символ того, что может ожидать мир в будущем. Если атомный гриб поднимется над какой-то из стран мира, это приведет к гибели всех людей. Вторая фотография-символ — дети Африки. Детей, изображенных на фотографии, нельзя назвать детьми. Это кожа да кости, живые скелеты, символ страданий и лишений народов стран «третьего мира», символ протеста порабощенных против гнета неоколониализма».

Мы, писатели, члены японской Ассоциации по связям с писателями Азии и Африки, продолжал Ода, создаем произведения, направленные против войны, активно участвуем в общественной деятельности. Один из примеров нашей работы — движение японских писателей за запрещение ядерных вооружений. Это движение сыграло большую роль в сплочении миролюбивых сил Японии.

Другой пример — общественный трибунал, осудивший израильскую агрессию, бесчинства в Ливане, который был учрежден по инициативе японской Ассоциации в этом году. Японские писатели поддерживают справедливую борьбу народа Палестины за создание своего государства. В июле этого года в Хиросиме по инициативе Ассоциации состоялась встреча писателей Азии и стран Тихого океана. На ней были представлены помимо азиатских писатели Африки, Европы, Америки и Советского Союза. Встреча прошла с большим успехом и имела большой международный резонанс.

Ода рассказал о том, что в Тихом океане, в его безбрежных просторах есть маленький

остров, называемый Куэфиджин. Судьба мира может оказаться во власти этого крохотного островка. Что же это за остров и почему он так важен для мира?

На нем расположена одна из важнейших стратегических баз США, где размещаются ядерные ракеты. Он используется как полигон для испытания новых видов оружия. Например, ракеты с кассетными боеголовками могут достигнуть этого острова за 27 минут из Калифорнии. Ракеты класса «МХ» также испытываются на этом острове.

Несколько лет назад писателю удалось побывать на этом острове, которым так гордится американская военщина, потому что ракетные испытания проходят успешно. Он сумел побывать на острове благодаря поддержке местного населения: ему помогло антивоенное движение, в котором участвуют жители острова. Островитяне борются за мир. В судьбе острова сплелись проблемы ядерной угрозы, угнетения и дискриминации.

Жители острова выступают против войны, против американской ядерной базы, за прогрессивные преобразования мира. Этот остров в годы второй мировой войны был важной стратегической базой японского империализма. Когда Япония развязала войну на Тихом океане, она овладела этим островком, ставшим ареной ожесточенных схваток японского и американского империализма. После поражения Японии во второй мировой войне остров перешел к США. Там погибло шесть тысяч солдат японской армии, преимущественно корейцев, которые согласились работать на строительстве военной базы.

В наше время, сказала известная писательница и общественная деятельница, лауреат международной премии «Лотос» Сономын Удвал (Монголия), огромное значение приобретает обмен духовными ценностями, являющийся важным фактором, способствующим взаимосближению и взаимопониманию народов.

Литературное общение — один из важных каналов взаимопонимания народов. Чрезвычайно велика при этом роль художественного перевода. И, конечно, не менее важно живое общение между собой, писательские встречи, конференции, беседы за «круглым столом», взаимные деловые контакты, непосредственное впечатление от посещения той или иной страны — это все связующие нити единого непрекращающегося процесса, они помогают глубже понять друг друга, близко принять к сердцу проблемы, которые заботят тот или иной народ.

«В этих контактах и связях мы черпаем новые силы, вдохновение, они позволяют нам объединяться в борьбе за мир, в них — истоки несокрушимой воли отстоять мир и прогресс».

Сономын Удвал говорит о том, с каким удовлетворением она прочитала заявление Ю. В. Андропова, где дана оценка сегодняшнего международного положения, его разъяснение по поводу политического курса советского правительства. «Я от души приветствую слова Ю. В. Андропова о том, что наши помыслы и устремления должны воплощаться в конкретных предложениях, направленных на то, чтобы добиться решительного поворота к лучшему в международной обстановке. Мы, писатели Монголии, готовы нести в своих книгах правду о чудовищной угрозе, нависшей над человечеством, каждый миг чувствуем мы плечо наших друзей, вместе с которыми мы готовы рука об руку стоять за правду, бороться за счастье народов».

Говорят известные писатели и общественные деятели, ветераны Движения, активные новые его участники — Абдаррахман аль-Хамиси (Египет), Ассефа Гебре Мариам (Эфиопия), Анатолий Софронов (СССР), Кларисс Рацифандриаманана (Мадагаскар), Уильям Контон (Сьерра Леоне), Тонгбаи Тонгпао (Таиланд), Джиги Камара (Гвинея), Омар Азрадж (Алжир), Мухаммед Барада (Марокко), Бвабва Ва Каембе (Заир). Нет возможности в журнальной статье даже просто всех перечислить — да не посетуют на автора неназванные здесь ораторы!

Конференция приняла «Обращение к писателям», в котором отмечается, что четверть века назад писатели из стран Азии и Африки, собравшиеся в СССР на древней земле Ташкента, провозгласили свою веру в идеалы, которые во все времена вдохновляли создателей художественных ценностей,— идеалы гуманизма, социальной справедливости, красоты, мира и прогресса.

История Движения писателей Азии и Африки за прошедшие 25 лет — это в значительной мере история народов двух континентов, история героической борьбы за национальный суверенитет, политическую независимость, социальное освобождение и культурное возрождение. Движение писателей Азии и Африки прошло проверку временем, выросло и окрепло.

Своим творчеством прогрессивные писатели современности воодушевляют народы на решительную борьбу против политики империализма Соединенных Штатов Америки, их союзников, создающих очаги напряженности и провокаций во всех районах мира — в Азии и Африке, в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. Возглавляемый Организацией Освобождения Палестины героический палестинский народ сражается против израильской агрессии за свою родину; ведут тяжелую борьбу народы юга Африки против колониализма и апартеида; льется кровь на многострадальной земле Ливана, отстаивающего свою независимость и суверенитет; разделена Корея, которая должна быть объединена мирным путем на принципах демократии и самоопределения. Не прекращается разрушительная для обеих стран война между Ираком и Ираном. Миллионы людей в разных частях света сражаются за свои человеческие права и достоинство. Все они взывают к нам, писателям мира, возвысить свой голос в поддержку униженных и угнетенных, помочь борющимся народам в их священном деле освобождения.

«Мы,— говорится далее в Обращении,— чрезвычайно озабочены тем, что ради достижения своих агрессивных целей США развернули невиданную по своим масштабам гонку вооружений, прежде всего новых систем ядерного оружия, что ставит мир

на земле и человеческую цивилизацию на грань катастрофы. Сегодня как никогда возрастает ответственность писателей за судьбы мира.

Здесь, на советской земле, мы еще раз убедились в искренности миролюбивых чаяний советского народа, направленных на разрядку напряженности, на обуздание гонки вооружений, на расширение сотрудничества между народами разных стран.

Жизнь и все, что с ней связано: время и пространство, солнце и луна, весна и цветы, литература и искусство,— все, что мы ценим и чем дорожим, взывают к вам, писатели мира, возвысить голос и направить всю вашу энергию на то, чтобы устранить нависшую над планетой Земля смертельную опасность. Писатели призваны помогать гасить пламя вражды и ненависти между народами, укреплять отношения доброй воли между соседями.

Мы поднимаем свой голос в поддержку прогрессивных писателей, общественных деятелей, борцов за свободу и социальный прогресс, которые подвергаются физическим и духовным репрессиям со стороны темных сил реакции и антинародных режимов — ставленников империализма.

Мы, ваши коллеги по перу, писатели стран Азии, Африки и других континентов, собравшиеся в городе Ташкенте, призываем вас, писатели мира, объединить свои усилия в борьбе против угрозы термоядерной войны, против империализма и расизма».

Конференция обратилась с посланием к главе Советского государства Ю. В. Андропову, в котором говорится о том, что участникам конференции Ассоциации писателей стран Азии и Африки чрезвычайно дорога поддержка советским руководителем благородного стремления писателей внести свой вклад в священную борьбу за мир и взаимопонимание между народами, за предотвращение ядерной войны, за обуздание гонки вооружений, за светлые идеалы человечества, против империализма и расизма, сионизма и неоколониализма: «Мы решительно поддерживаем вашу уверенность в том, что общими усилиями людей доброй воли можно отстоять мир и направить ресурсы современной цивилизации на удовлетворение насущных нужд миллионов, на ликвидацию позорных последствий колониального прошлого.

Мы с огромным вниманием ознакомились с Вашим Заявлением, в котором убедительно разоблачен представляющий серьезную угрозу нашей планете милитаристский курс нынешней администрации США. Из Москвы снова прозвучал уверенный голос разума: остановить силы реакции, удержать мир от сползания в пропасть войны.

Мы, писатели Азии и Африки, будем продолжать сражение за мир в наших произведениях. Мы будем отстаивать гуманизм и доброту, любовь и взаимопонимание между людьми. Мы будем всегда и везде бороться против ненависти и вражды, против империализма и расизма, которые зловещей трещиной проходят по сердцу единого мира, созданного для братства и свободы.

Да здравствует мир и братское единство людей доброй воли!

Все люди, каждый житель нашей планеты должны, не могут не осознать грозящую опасность. Осознать, чтобы соединить духовные и материальные силы в борьбе за сохранение жизни, за собственное свое существование.

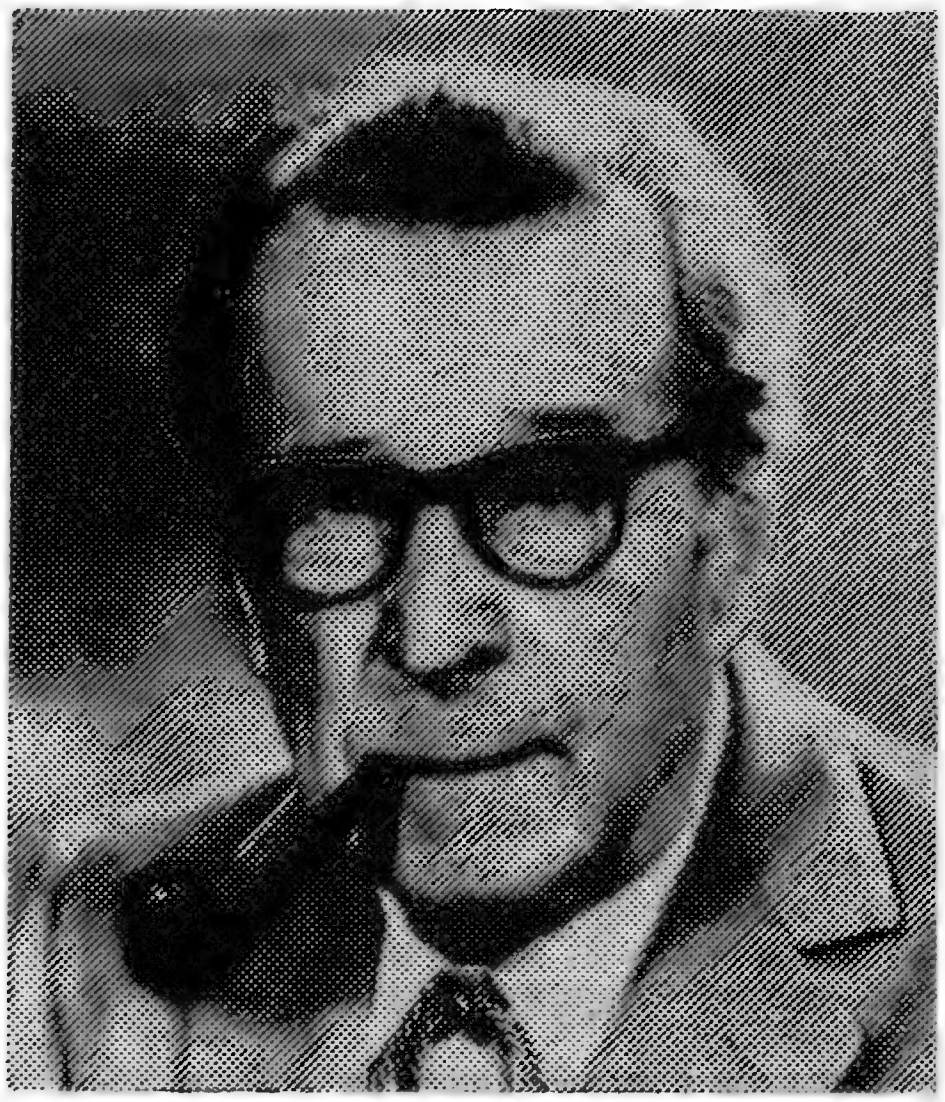
Мы глубоко убеждены в том, что человечество не обречено на гибель. Гонке вооружений должен и может быть положен конец. Народы Земли заслуживают лучшей участи, чем жить в раздираемом конфликтами мире, задыхаясь под бременем смертоносного оружия».

В то время как эти записи готовились к печати, мир стал свидетелем новых чудовищных преступлений неоколониалистов.

Земля мирного острова, независимой Гренады, обагрена кровью, лучших сынов ее преследуют, подвергают гонениям, зловещий факт агрессии пытаются представить при этом чуть ли не акцией «умиротворения». Возмущен мир — буря протестов бушует над континентами, взывает к бдительности, к умножению усилий в борьбе за мирную жизнь на Земле. Злодейская эта акция, как и размещение «Першингов» и крылатых ракет на территории Европы, начатое, несмотря на возмущение мировой общественности, под давлением американской администрации, требует новых солидарных действий представителей всех континентов. Не сомневаюсь, что в первых рядах активных участников этих действий окажутся и деятели культуры Азии и Африки, чей голос с такой тревогой и силой прозвучал с трибуны Ташкента.

◆

Документальная проза



ЖОРЖ СИМЕНОН

Я ДИКТУЮ

Монтаж по книгам

Перевод с французского Э. ШРАЙБЕР

Во времена, еще не столь отдаленные от наших дней, мемуаристы выводили страницу за страницей — гусиным, позже стальным пером, рассказывая потомкам о своей жизни, о событиях, коих свидетелями или даже участниками они были. Постепенно совершенствовались орудия труда писателей, пришло время, когда авторы дневников, воспоминаний и других трудов автобиографического характера стали привлекать себе на службу и орудия научно-технического прогресса. В послевоенные годы во Франции широкое распространение получили мемуары, отчасти импровизируемые, отчасти заранее подготовленные, которые многие недели в определенные часы передаются по радио, когда писатели отвечают на «наводящие» вопросы ведущего передачу. (Перед микрофоном выступали, в частности, Ф. Мориак, П. Клодель, А. Мальро. Некоторые из таких «радиовоспоминаний» впоследствии становились книгами, и теперь исследователи, например, творчества Клоделя не смогут обойтись без его «Импровизированных мемуаров».)

Жорж Сименон, в конце 1972 г. неожиданно для его читателей и для самого себя отказавшийся от писания романов, не захотел или, скорее, не смог отказаться от общения с теми, кто в разных странах зачитывался его книгами. В течение десяти лет, устроившись перед диктофоном в своем доме на окраине Лозанны, он вел неторопливый монолог, в котором воспоминания о прошлом переплетались с разговором о событиях современных, превращаясь в своеобразный дневник. Так появился двадцать один том цикла «Я диктую», опубликованного парижским издательством «Presses de la Cité».

Представляя читателям ленинградского журнала «Звезда» отрывки из первых пяти книг цикла, Ю. Б. Кузьменко напомнил заключительные слова Сименона из его последней книги («Судьбы»). «Я много писал, затем много диктовал, не представляю себе, что я мог бы жить молча». Действительно, воспоминания Сименона рождены ощущением внутренней потребности высказаться, пониманием того, что они нужны другим. Вот почему с самого начала публикации этих воспоминаний автор их стал получать письма — преимущественно от тех «маленьких» людей, о которых он писал и в своих социально-психологических романах, и в романах о полицейском комиссаре Мегрэ. Многие десятки, сотни писем.

«Я диктую» можно с полным правом назвать произведением художественной литературы, но это и документ познавательного и общественного смысла.

Сименон не относит себя к числу «футурологов», не пытается построить некую

© Georges Siménon, 1975—1981.

модель общества будущего. Однако он твердо убежден в том, что жить так, как живет сегодня буржуазное общество, больше нельзя, что мир должен и может быть построен на новых основаниях, разумных и справедливых. Разоблачение Сименоном многих мнимых, фальшивых ценностей западной цивилизации, под лозунгом защиты которых совершалось и совершается столько преступлений, тем более убедительно, что были годы, когда сам он верил в них. «Я диктую» — книга критического самоанализа, часто окрашенная иронией по отношению к самому себе, книга правдивая и честная.

Сименон верит в человека, в его конечную победу над силами зла, и если иногда его охватывает горькое чувство бессилия перед лицом возможных катастроф, желание отгородиться от внешнего мира, это лишь проявление минутной слабости, ибо Сименону не безразлично ни то, что происходит сегодня, сейчас, ни то, что будет потом, какой будет жизнь грядущих поколений.

О многом говорится в воспоминаниях писателя. Перед нами проходят картины жизни Парижа и французской провинции, образы, часто лишь бегло очерченные, людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям и группам. Это — не декорации, в которых проходит действие его романов, не персонажи, порожденные воображением художника, а целые пласты жизни подлинной.

Книги цикла «Я диктую» дают хорошее представление о широте интересов писателя, о позиции, занимаемой им в сегодняшнем беспокойном мире с его тревогами и надеждами.

В. БАЛАХОНОВ

История, которую мне хочется рассказать, банальна. Я, вероятно, рассказывал ее сотни раз, отвечая на вопросы журналистов всех национальностей. Но, насколько я помню, мои ответы ни разу не были точно воспроизведены. Я сказал бы даже, что чем изобретательней журналист, чем он больше личность, тем сильнее он искажал мои слова, что, впрочем, естественно. Он влезает в шкуру романиста, и, надо сказать, некоторые из таких журналистов впоследствии стали писателями.

— Господин Сименон, как вы пишете роман?

Прежде всего надо уточнить дату, когда задавался вопрос: хотя мой механизм написания романов не очень изменился, все-таки между разными периодами существуют более или менее серьезные различия.

Я попытаюсь искренне и чистосердечно ответить раз и навсегда на этот вопрос, не имеющий в общем-то никакого значения.

Приехав в Париж, я начал писать рассказики для газет. Выходили они и во «Фру-Фру», и в «Матен», в то время самой популярной парижской газете.

Вставал я всегда рано. Жили мы на Вогезской площади, и я слышал пение фонтанов. Некоторое время в красной шелковой пижаме я прохаживался по своему кабинету, потом бросался к пишущей машинке и писал рассказ строк на сто — сто пятьдесят.

Потом подкреплялся стаканчиком-другим вина, усаживался в кресло, а примерно через полчаса вскакивал, кидался к машинке и принимался за следующий рассказ.

Мне нередко случалось, не вылезая из красной пижамы, писать таким вот образом по шесть-семь рассказов в день; количество стаканчиков вина соответственно увеличивалось.

Сперва у меня была только большая комната на первом этаже. Мое кресло стояло у окна во двор, и я устраивался в нем, положив ноги на подоконник, пытаясь понять, какой может быть прок от человека, просиживающего большую часть дня в красной пижаме, положив ноги на окно, а остальное время бешено печатающего на старой машинке.

Впоследствии я смог снять еще одну комнату на третьем этаже того же дома и стал работать в ней. Меня уже не устраивало сочинение галантных и негалантных рассказиков. Я купил с десяток развлекательных романов и справился, как платят за них издатели. Первый романчик, сочиненный мной, назывался «Роман машинистки»; писал я его на террасе кафе неподалеку от площади Константен-Пекер на Монмартре.

Роман был не очень длинный. Заплатили за него неплохо. Строчил я его в ускоренном темпе, а потом стал сочинять романы потолще: приключенческие — для молодежи, о любви — для швеек, о любви же, но с любовниками и любовницами — для чувствительных привратниц.

Так я работал в самом начале. Мой распорядок дня почти не менялся. Печатать я начинал в шесть утра. Около двенадцати прерывался, давая себе небольшой отдых, потом еще несколько часов работал до изнеможения.

Бывало, что за день я вырабатывал восемьдесят четыре машинописные страницы. И так тянулось довольно долго. Роман в десять тысяч строк занимал у меня примерно три дня, в двадцать тысяч — неделю.

Меня спрашивают, зачем мне нужны были чуть ли не семнадцать псевдонимов, причем все зарегистрированные в Обществе литераторов. Дело в том, что я поставлял романы для нескольких серий и в некоторых был практически единственным автором. Фамилия автора продукции подобного сорта (позволю себе этот термин) никакого значения не имеет, но неприлично каждую неделю выдавать книги под одним и тем же именем. Поэтому я подписывал их как Гом Гю, Жан де Перри, Кристиан Брюль, Жорж Мартен-Жорж, не говоря уже о моем псевдониме Жорж Сим.

Когда мы плавали по рекам и каналам

на пятиметровой яхте «Жинет», мне приходилось писать во время стоянок.

В сельской местности поставить палатку на берегу канала не составляло труда. В других местах, например в Лионе, это оказывалось сложнее. Вспоминаю, как в пять утра я устанавливал на набережной, где мы пришвартовались, складной стол и принимался печатать. Постепенно из окон ближних домов начинали выглядывать люди и бог весть что думали, видя, как чуть ли не в центре города я, полуголый, в одних шортах, стучу на машинке.

Первый роман о Мегрэ, который назывался «Питер-латыш», я написал на борту рыболовной шхуны «Остгот», которую построил в Фекане. «Остгот» стоял тогда на якоре в Делфзейле, где сейчас высится двухметровая бронзовая статуя Мегрэ, который в ту пору знал о своей судьбе не больше меня. Успех практически не изменил моего распорядка дня. В шесть утра я был уже на ногах. Несколько минут прохаживался, затем садился печатать — главу утром и главу днем, так что первые романы о Мегрэ я писал за три дня.

Лениться я стал гораздо позднее. Я прекратил писать вечерами, и сочинение романа стало занимать у меня семь-восемь дней.

После возвращения в Париж я пошел еще дальше. Я превратился в маньяка. Прежде я выпивал в постели чашку кофе и принимался за работу, а теперь запретил домашним вставать раньше меня. Будильник, который практически был мне не нужен, поднимал меня примерно в шесть. Я натягивал брюки, рубашку, чистил зубы, наскоро причесывался и спускался в кухню, где варил себе кофе.

Вечером я заранее подготавливал кабинет с той же тщательностью, с какой воздушные гимнасты в цирке перед выходом на арену проверяют упругость канатов, связывающих их аппаратуру.

Я подготавливал столик, стоящий справа от машинки, пачку чистой бумаги, желтые папки, куда совал отпечатанные страницы, набивал пять-шесть трубок.

Глава была готова часов в десять — полодиннадцатого, иногда чуть раньше, причем безразлично, писал я о Мегрэ или не о Мегрэ. Каждая глава неизменно содержала двадцать страниц. Клянусь, что я делал это не специально. Я не нагонял, пользуясь профессиональным жаргоном, строчки. С другой стороны, не пытался ужимать главы.

Так вот и получилось, что большинство моих романов примерно одинаковой длины, за исключением четырех или пяти, написанных для газет, которые требовали продолжений для определенного количества номеров.

Не думаю, что это самые удачные романы. Я просто должен был дать столько-то страниц — и все тут.

Почти все журналисты задают мне и второй вопрос:

— А как же вдохновение?

На этот вопрос ответить гораздо трудней, хотя сам процесс оставался неизменным. К вечеру я выходил прогуляться по полям (я почти все время жил в деревне), или по соседним улицам, когда жил в городе, или на берегу моря, если это было в Марсийи, потом в Ниёле. Я прогуливался в одиночестве, с беззаботным видом — не только на первый взгляд, но и на самом деле.

Не скажу, что я размышлял о завтрашней главе или о романе в целом. Я дышал воздухом, наблюдал, что происходит вокруг. При случае заглядывал в бистро выпить стаканчик белого вина. Но всякая поразившая меня деталь пейзажа или обстановки откладывалась в памяти.

Оставалось только выбирать из воспоминаний местность, дом, семейство, типаж.

Воспоминания служили мне отправной точкой. Вернувшись домой, я брал желтый конверт коммерческого формата (это из чистого суеверия — так я начинал «Питера-латыша») и по моему собранию телефонных книг чуть ли не всего мира выискивал фамилии и имена, потом оживлял эти абстракции, давал им возраст, профессию, адрес, настоящее и прошлое, иной раз до десятого колена, хотя для романа это было абсолютно не нужно. Частенько я записывал даже фамилии учителей начальной школы, где учился мой герой, и его одноклассников, которые никак не упоминались в романе.

Подробности эти, вплоть до номера телефона, которые я использовал чрезвычайно редко, необходимы были мне, а не читателю.

Шесть утра. В доме тишина. Буль, в ту пору наша кухарка, бродит у себя в комнате, ожидая, когда освободится кухня. Я готовлю кофе. Понадобилось время, чтобы кофе сменился чаем. А еще раньше вместо кофе была бутылка красного вина, которая оказывалась пустой к тому времени, когда я кончал главу.

Летом на Поркероле я работал в башенке, которую построил какой-то чудак и где было невыносимо жарко. И к тому же в семь утра разом на всех лодках заводили двигатели.

Поскольку привычки владельцев лодок я изменить не мог, пришлось мне менять свои. Я начал работать с четырех утра вместо шести. В пижаме взбирался на второй этаж башни и начинал печатать. Примерно через четверть часа сбрасывал пижамную куртку. А еще через час с небольшим оказывался совершенно голым, но, к счастью, моя пишущая машинка не умела краснеть.

Только в последнее время, в последние годы, я изменил метод работы. Во второй половине дня я тщательно затачивал несколько карандашей и записывал начало следующей главы. Сперва это был десяток строчек, потом страница, потом две, а то и три. В конце концов я дошел до того, что писал своим мелким, почти неразборчивым почерком главу целиком, а на следующее утро брал ее со стола и отпечатывал на машинке.

Часто я даже не заглядывал в то, что было написано накануне. Пишущая машинка не допускает украшательств и того, что иные именуют «хорошим стилем». Когда работаешь на ней, назад не вернешься. Хочешь или не хочешь, а подчиняешься ритму, и вот однажды я заметил, что у меня наметилась склонность к «олитературиванию».

Это был конец карандашных черновиков, и вечерние сеансы прекратились.

Тем не менее все время, пока я писал роман и оно становилось все короче, поскольку короче становились романы, я целые дни напролет жил со своими героями, верней, с главным героем, с которым постепенно начинал себя отождествлять.

Я настолько сживался с ним, что после первой или второй главы мои дети говорили между собой:

— Это будет трудный роман.

Само собой разумеется, одни романы бывают трудней, чем другие. И вот вступало в действие что-то вроде мимикрии: мой облик и настроение менялись в соответствии с тем, что я писал. Иногда я становился, хоть мне еще не было сорока или пятидесяти, старым, сгорбленным брюзгой; иногда, напротив, снисходительным и благодушным.

Этого не замечал я один. Открыли мне на это глаза мои близкие.

Короче говоря, я мог бы повторить знаменитую фразу Флобера: «Госпожа Бовари — это я».

Я последовательно был, не сознавая этого, более чем двумястами героями, поскольку линию поведения они выбирали себе сами, а не я им.

С течением времени это становилось все более утомительным. Не всем это, возможно, понятно, но, скажем, актеры меня поймут. Устаешь переходить из образа в образ. Я мог бы еще писать романы. Со мной это бывает иногда во сне. Я стучу на пишущей машинке. Создаю героев. Заставляю их действовать, потом вдруг просыпаюсь, вижу, что лежу в постели, и облегченно вздыхаю.

Приступая к двести пятнадцатому роману, я час просидел над желтым конвертом. Записал фамилии, адреса, номера телефонов. Все было готово. Но на следующее утро я не стал в шесть утра садиться за стол и писать первую главу; почувствовал, что у меня нет сил.

Тогда я и решил бросить писать. Было это год назад в канун моего семидесятилетия.

С той поры я только болтаю перед диктофоном. Выбрал я самый простой и самый дешевый: он был предназначен не для работы, а для развлечения. Ну, и чтобы снять налет торжественности и высокопарности с того, что я рассказываю,— кое-кто мог бы сказать: мелю.

Несколько лет назад на том месте, где был написан «Питер-латыш», то есть родился Мегрэ, поставили бронзовую статую комиссара. Сейчас мне это кажется таким же нереальным, как сам Мегрэ, как все написанное мной.

Воскресный день. Я, как и ежедневно, восхитительно провел сиесту. В этот раз я гулял в лесу. Этакая послеобеденная прогулка. А теперь снова сижу перед моей игрушкой и ощущаю потребность продолжить разговор, если можно так выразиться, с того, на чем оборвал его утром. Я спрашивал себя:

— Почему? Почему я всю жизнь таскал с собой пишущую машинку, а не, скажем, померанского шпица? Почему у меня регулярно возникало чувство, что окружающий мир становится пресным, и я убегал от него в вымышленный? В чем причина?

Я попробовал использовать метод вопросов и ответов.

Деньги?

— Решительно — нет. Деньги меня не интересуют. За те пятнадцать лет, что я живу в Швейцарии, я и четырех раз не был в банке. В самом начале, в Париже, я был беден, но, когда получал свой крохотный заработок, тут же его тратил — на что угодно, лишь бы потратить, рискуя потом всю неделю просидеть на одном камамбере. К тому же, выбери я другую профессию, скажем в торговле или в промышленности, я заработал бы куда больше и не знал бы тех крестных мук, которые испытывал над каждым романом.

Слава?

— Я не тщеславен. Посмертная слава интересовать меня не может, потому что, если она придет, я об этом не узнаю. Что же касается прижизненной, я к ней равнодушен. Ни на официальных, ни на светских приемах я не бываю. Не хожу на генеральные репетиции и прочие парадные торжества, за исключением двух лет в молодости, когда единственным моим развлечением была верховая езда да игра в карты с крестьянами в деревенском бистро.

Почести?

— Я абсолютно равнодушен к ним, у меня не осталось ни одного из моих орденов. Ими играли мои дети. Я никогда их не надевал и вряд ли даже смогу перечислить. Я никогда не принадлежал к официальным кругам. Не вхожу ни в какое жюри. Не являюсь председателем никакого общества — даже деревенского кружка любителей духовой музыки.

Житейская независимость?

— Я был независим: жил как мне нравилось, ездил куда хотел, но платил за это слишком дорого, потому что всюду таскал с собой пишущую машинку. И хотел я того или не хотел, но из-за необходимости работать путешествия как-то блекли.

Что же еще? Не вижу никакой правдоподобной причины, которая объяснила бы, почему я выбрал эту профессию. Верней, одну вижу, но ее могли бы назвать многие писатели — и в прошлом, и современные: ничего другого делать я не умею.

В сущности, если бы я не стал писателем, то, вероятней всего, превратился бы в неудачника. Когда я писал развлекательные романы, чтобы заработать и одновременно изучить механику построения прозы, у меня холодные мурашки пробегали при мысли: а вдруг и в шестьдесят, и в семьдесят лет я все так же буду сочинителем развлекательных романчиков.

Не знаю, толково ли я объяснил. Я ни о чем не жалею. Я прожил жизнь — свою жизнь. Возможно, выбери я другую профессию, мне не пришлось бы так изнурять себя. Но с тех пор, как я перестал сочинять и мне не надо больше представлять себя на месте своих героев, я живу в мире с самим собой.

Мой друг М., репортер конкурирующей газеты, подбил меня писать вместе с ним пародию на полицейский роман. Почему

на полицейский? Не знаю, откуда возникла эта мысль. Полицейских романов я не читал. Ну, может, прочел один или два Мориса Леблана да один Гастона Леру.

Я тогда взахлеб читал Гоголя, которого очень любил и которого до сих пор считаю величайшим русским писателем...

Тем не менее мы с приятелем сочинили этот пародийный или, если угодно, иронический роман. Он назывался «Пуговица от пристяжного воротничка».

Три дня назад я получил посвященную мне книгу со статьями и исследованиями ведущих критиков. Книга эта в принципе предназначалась к моему дню рождения 13 февраля. По каким-то таинственным причинам дошла она до меня буквально только что.

Она на меня нагнала страху. Вчера я прочел три статьи, исключительно хвалебные, и от каждой у меня оставалось чувство неловкости.

Зачем все это? Об этом я думал сегодня утром, когда брился. Такой же вопрос я задавал себе, когда у меня приходили брать интервью для телевидения, хоть я не придавал им никакого значения, потому что в большинстве случаев дело сводилось к ответам на банальнейшие вопросы.

В статьях же, напротив, производится тщательный анализ моих произведений. Безусловно, я думаю, что они, то есть мои произведения, обладают кое-какими достоинствами: как-никак я в течение сорока лет творил их, что называется, в поте лица своего.

Но когда я вижу подобные хвалы черным по белому, то впадаю в состояние некоторого замешательства.

Ко мне относятся как к знаменитости. Однако я нисколько не чувствую себя знаменитостью. Напротив! Когда на улице или где-нибудь еще ко мне подходят и просят автограф, я начинаю заикаться, стаскиваю шляпу, а расписавшись, совершенно сконфуженный, удираю.

В этом я вижу подтверждение теории, о которой уже говорил, только начав разглагольствовать перед диктофоном: детство сопровождает нас всю жизнь.

Я скромный человек — родители мои были людьми скромными и учили меня скромности. Вопреки всему я остался скромным.

Не знаю, как благодарить тех, кто написал эти статьи. Сказать: «Да, я узнаю в них себя» — значило бы проявить гордыню. Сказать: «Нет, я не узнаю в них себя» — значило бы чуть ли не оскорбить авторов.

Я получал много анализов подобного рода, в частности от врачей психиатров, психологов. Должен сказать, что я их не читал, чтобы уберечься от чувства неловкости, которое бессилен побороть.

Воспитанием я приучен говорить «спасибо». А толкнув кого-нибудь на улице, говорю: «Простите» или «Извините».

Сколько раз за свою жизнь я просил прощения и извинялся! Ибо все люди — такие же, как я, и имеют право на уважение: пусть я добился кое-какого успеха в своем деле, но сотни тысяч людей добились того же в своем.

Здороваясь с нашим привратником, я приподнимаю шляпу. И ничего экстраординарного в этом не вижу, потому что когда он в шляпе встречается со мной, то поступает точно так же.

Короче говоря (добавлю, что не считаю это своим особым достоинством), я человек скромный и таким останусь.

Т. заметила, что писавшие обо мне сдирали слой за слоем, чтобы открыть меня подлинного. Они наблюдают меня в жизни, как бы сквозь зеркало без амальгамы.

Вероятно, так оно и есть. Может быть, человеку невозможно познать самого себя? Я начинаю верить в это. Но восстаю, когда пытаются изменить мое чрезвычайно простое, непритязательное представление о себе самом.

Оно мне необходимо.

Из книги «ЧЕЛОВЕК КАК ВСЕ»

Отец мой был всего-навсего бухгалтер. Мать получала крохотную пенсию. Право же, ничего аристократического в нас не было.

Тем не менее моя мать с необъяснимым презрением относилась к людям физического труда. Мне она, например, неоднократно наказывала:

— Не смей водиться с детьми рабочих.

А я завидовал детям рабочих: пусть одежда у них была не такая, как у меня, зато игрушки красивей, и питались они лучше, чем мы.

Мы (с Тижи) занимали огромную комнату с высокими, как во всех домах на Вогезской площади, потолками и двумя окнами, выходящими на мощеный двор, в глубине которого росло несколько деревьев и кустов, слегка оживлявших его своей зеленью.

Комната эта служила нам всеми жилыми помещениями сразу. Вместо кровати у нас был диван. Большущий стол использовался и как обеденный, и как письменный — мною. Тижи наконец смогла приобрести стационарный мольберт: до сих пор ей приходилось довольствоваться маленьким этюдным.

У нас была еще комната, поменьше, которую мы разделили перегородкой. В одной половине была кухня, во второй мы устроили туалетную. Установить там ванну мы не могли и потому мылись в огромной оцинкованной лохани, а вместо душа выжимали на себя губку.

Мы жили на границе района, который можно было бы назвать тогдашним гетто. Это старинный квартал Марэ, старые, неремонтированные особняки которого населяли ремесленники, работавшие в основном по золоту и алмазам.

Месяц-другой нас навещали друзья с улицы Мон-Сени. Мы тоже несколько раз бывали у них. Потом вдруг без всякой видимой причины между нами и ними возникла трещина.

Начался новый отрезок нашей жизни, ориентированный на богему не Монмартра, а Монпарнаса, его бистро, ночные кабачки и торговцев картинами. Тижи много писала, чаще всего — большие картины, холст для которых стоил нам бешеных денег, но тут я даже пикнуть не смел. Я тоже работал, издатели развлекательных романов

принимали мои рукописи, но наряду с романами я продолжал заниматься рассказами. Не отказался я и от ежедневных пеших прогулок по Парижу. Вспоминая о них сейчас, я только теперь отдаю себе отчет в том, что всю жизнь, где бы ни находился, неизменно ходил пешком. Для меня всегда было потребностью брести наугад, задрав нос, вбирая в себя всевозможные запахи, прислушиваясь ко всем шорохам, ловя обрывки разговоров и наполняя голову образами.

Конечно, в наши дни многое переменилось, например обитатели Вогезской площади и острова Сен-Луи. На площади живут теперь звезды экрана, кинопродюсеры и финансисты. То же самое — на острове, где в ту пору мы прогуливались по вечерам, обходя его со всех сторон. Все тогда было для нас ново, увлекательно, все хотелось запомнить, все мы считали как бы своим достоянием. Раз в неделю мы бывали в кино, но не «в городе», как мы называли тогда Большие бульвары и Елисейские поля, а в «Сен-Поле», в нашем квартале, где вновь видели тех, кого встречали днем. В антракте между двумя картинами мы выпивали по стакану вина в соседнем баре, прислушиваясь, не раздастся ли звонок, возвещающий о конце перерыва.

Через несколько месяцев нам пришлось снять еще одну квартиру на третьем этаже. Она состояла из комнаты, почти такой же огромной, как на первом, тесной кухоньки и — наконец-то! — ванной.

В тот год, когда я впервые приехал на Поркероль, на острове жили человек полтораста, и все они принадлежали к трем семействам. Звали их как в средние века: Гоше-бородатый, Гоше-табачник, Герси-трактирщик, Герси-цирюльник и т. п.

В селении была большая хорошо утоптанная площадь, обсаженная эвкалиптами и шедшая чуть-чуть под уклон. А наверху стояла построенная моряками церквушка; казалось, она сделана из детских кубиков.

В то утро была жара. Группки мужчин и женщин стояли перед домом, из открытых окон которого неслось:

— О-о!.. О-о!.. Ай!.. Пресвятая матерь, дрянь ты этакая!.. Клянусь, поставлю тебе в церкви свечу!.. За что мне эти страдания?.. Что же ты не помогаешь мне?.. О-о! Ай!.. Клянусь, поставлю свечу!..

Люди слушали, переговаривались, одни посмеивались, другие качали головами. Хозяйка дома Адель рожала, и вопли, брань и проклятия в адрес пресвятой матери не утихали все утро.

Время от времени мужчины заходили к Морису, выпивали по стаканчику белого и опять возвращались на свои места.

Эта сцена поразила меня на острове больше всего: она иллюстрирует образ мыслей островитян.

Был там один старик, который в течение всего года отращивал волосы и бороду. Весной полностью одетый — он никогда не раздевался — он залезал в море и все сбривал. Спал он на скамейке. А когда наступали холода, приходил ночевать в комнатенку при мэрии; кроме стола и стула, там не было никакой мебели.

Никто не знал ни его фамилии, ни откуда он появился. Летом он искал в прибрежном песке червей и продавал их рыболовам.

Как-то его не видели кряду дней десять, и нам с мэром пришло в голову заглянуть в эту каморку. Войти туда было невозможно — столько там оказалось мух. Старик сидел, опираясь руками на стол. Он был мертв.

Все это — не просто Поркероль, а Средиземноморье. Беззаботность, внешняя веселость. А под ними — трагическое, пожалуй, видение жизни.

Впоследствии я неплохо изучил Средиземное море. На своем корабле я обошел его, заходя во все порты. В этом плавании не было ничего от туризма. Оно дало мне возможность увидеть обитателей побережья такими, какие они есть.

Всякий раз, возвращаясь туда, я вновь приходил в восторг и давал себе клятву навсегда поселиться на побережье, все равно где — во Франции, Италии, Греции, Тунисе.

Но через несколько месяцев меня начинала бесить беспечность этих людей, заласканных солнцем и теплом. Я обнаруживал в себе северянина, которому просто необходимо серое небо и даже дождливые дни, а также активная деятельность.

Эта борьба между человеком севера и человеком Средиземноморья длилась во мне годами, я бы сказал, всю мою жизнь, и даже теперь, не заполони Средиземноморье туристы, я, пожалуй, соблазнился бы и поселился там.

После нескольких месяцев жизни в Париже или другом городе порыв теплого ветра, запах эвкалипта или розмарина рождали во мне желание умчаться на юг, а поскольку ничто меня не сдерживало, я прыгал в машину и отправлялся в путь.

Поркеролъцы выделяли меня среди других. Но больше ноги моей там не будет. В 1956 году я из любопытства заглянул туда и обнаружил, что остров превратился в предприятие по обслуживанию курортников.

Куда подевались времена Гоше-бородатого, Гоше-табачника и всех других?

Во всяком случае, для меня там больше нет места.

О некоторых периодах, скажем от двадцати до тридцати лет, у меня сохранились живейшие воспоминания, но по части хронологии я уже слегка путаюсь.

Не скажу, что десятилетие от тридцати до сорока куда-то провалилось, но я его не помню, главное, не помню себя; у меня нет чувства, что я его прожил. Я могу ошибиться на два, на три года — для меня тут нет никакой разницы.

Вот, к примеру, терраса ресторана «Фуке». Было время, когда я проводил на ней все вечера в компании артистов и продюсеров. Что я там делал? Не знаю. Случалось, в одиннадцать или в двенадцать ночи я требовал, чтобы меня с Тижи провожали в Бурже, справлялся, какой самолет отправляется первым, и улетал без всякого багажа в Прагу, в Будапешт, все равно куда.

А сейчас все эти годы как в тумане. Я совершал путешествия и куда более далекие, от которых еще остались только

фрагментарные картинки: стая обезьян, преследовавшая нас в африканском лесу, спокойное плавание через Тихий океан, Австралия, остров Таити, еще не ставший приманкой для туристов.

В каком году я арендовал в Орлеанском лесу замок Кур-Дье с охотничьими угодьями в десять тысяч гектаров? Я устроил там загонную охоту и имел несчастье ранить косулю, которую мне пришлось добить. С тех пор я не беру в руки ружье.

Все это правда. Так я жил. И хочется добавить: бессмысленно. И так же бессмысленно немного позже я несколько месяцев просиживал на одном и том же желтом стуле на террасе «Фуке». И так же бессмысленно одевался, чтобы отправиться на какой-нибудь коктейль.

Мне остается только Поркероль: там у меня в течение лет пяти-шести был дом, я купил «остроноску»— местную рыбачью лодку. У меня был матрос. Целые ночи мы проводили в море. А вечером я играл в шары с местными жителями.

Надо сказать, что после периода лихорадочной жизни я ощущал естественную потребность расслабиться, возвратиться на море или на землю.

Во всяком случае, если меня спросят, какие годы я хотел бы пережить заново, эти я не назову. И однако, где бы я тогда ни находился, я писал по шесть романов в год.

После того как я прекратил писать, мне случается читать современные мемуары, то есть истории, написанные нашими современниками для современников. Раньше я ограничивался чтением мемуаров и переписки исторических лиц.

Книги, которые я просматриваю сейчас, вызывают у меня тягостное ощущение. Авторы, пользуясь тем, что знали того-то или того-то с двадцати лет, выставляют на свет божий не только его слабости, но порой выбалтывают то, что им говорилось по секрету.

Даже если это касается людей знаменитых или очень известных, о которых постоянно писали в широкой или «определенной» прессе, все равно я всякий раз испытываю чувство неловкости.

Вот почему, болтая перед микрофоном, что стало для меня манией, я стараюсь не называть фамилий за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Безусловно, эти устные заметки не предназначены для публикации. Хотя первый опыт несоблюдения подобного решения у меня уже есть.

В 1959 году я делал в тетрадях дневниковые записи и был совершенно уверен, что они никогда не увидят света. Тетради эти десять лет пролежали в ящике, их не читал ни один человек. Потом по настоянию одного из друзей я решил опубликовать их под названием «Когда я был старым».

Сейчас я по-настоящему стар. Сдержу ли я слово? Не знаю.

Я не летописец. И тем более не журналист. Можно, конечно, поведать забавные историйки о людях, но даже когда речь идет о тех, кого, казалось бы, неплохо знаешь, истории эти оказываются неточными, а то и лживыми.

Мне принадлежат герои моих романов. Но не мои друзья.

И уж конечно не люди, которые однажды сидели у меня за столом или у которых однажды сидел я.

От воспоминания к воспоминанию я добрался до своего открытия Парижа. Открывал я его на автобусе.

Сейчас, когда автобусы представляют собой герметично закрытые коробки, это было бы невозможно. В 1923 году у автобусов еще имелись открытые площадки, и вот на них-то я и ездил. У меня возникала иллюзия, будто я являюсь частью города, частью толпы, кишащей на тротуарах; нередко я садился в автобус вовсе не затем, чтобы проехать из одного места в другое, а ради удовольствия открыть новые улицы. Особенно узкие, где по обе стороны куча лавок и женщины с хозяйственными сумками переходят из одной в другую.

Многие годы это было для меня огромным наслаждением, наградой, которой я поощрял себя, когда работал до шести утра. Тогдашние Большие бульвары были примерно тем же, чем сейчас являются Елисейские поля; правда, выглядели они куда живописней. На бульваре Мадлен я влезал на площадку автобуса, устраивался в уголке, покуривал трубку и, восхищенный, глазел по сторонам.

Тогда наряду с такси существовали еще фиакры и разные экипажи, там можно было увидеть дам в пышных нарядах и мужчин в цилиндрах.

Террасы были полны народу, и у каждого большого кафе — «Неаполитанского», «Английского» или «Мадрида» — была своя клиентура.

Недавний провинциал, я горящими глазами смотрел на картинки парижской жизни. Да, это была жизнь. Жизнь многообразная, менявшая свой облик чуть ли не через каждую сотню метров.

Между хорошенькой женщиной с бульвара Мадлен и хорошенькой женщиной с бульвара Капуцинов не было ничего общего.

То же самое и с магазинами. На бульваре Мадлен — большие, шикарные, а чем ближе к бульвару Сен-Мартен, тем они становились проще, доступней.

Этот маршрут я проделывал сотни раз и не ради того, чтобы куда-нибудь доехать, а ради удовольствия. И не жалею об этом.

Хотелось бы, чтобы все города давали возможность проникать вглубь, сливаться с ними, вдыхать их запахи, наблюдать людей в часы досуга и за работой.

В сущности, контакт с другими людьми всегда был и останется моим неутомимым стремлением. Но, может, потому, что я стал стар, этот контакт оказывается для меня все более и более трудным.

Из книги «СЛЕДЫ ШАГОВ»

26 сентября 1973

Одни спортсмены прекрасно бегают дистанцию в сто метров, другие — двести, или четыреста, или тысячу метров, или даже тридцать километров. Но бегать другую, не свою дистанцию они, как правило, не способны.

Одни спортсмены прекращают бегать или плавать в двадцать пять лет, а другие и в сорок участвуют в соревнованиях.

Мне не предназначено было бегать на три тысячи метров. И также не предназначено писать после семидесяти.

Это естественно. И это надо принимать как должное.

Делать «плохого Сименона» я не хочу, но и не хочу убивать себя, делая «настоящего».

Со вчерашнего дня французский парламент занимается проблемой мелких торговцев, которых душит конкуренция супермаркетов, больших магазинов, где продается все по ценам на десять — пятнадцать процентов ниже, чем в традиционных лавочках.

Замечу мимоходом, я этому совершенно не верю. Сейчас пачка «Данхила», например, содержит на две сигареты меньше, и я не уверен, что они из того же табака, что раньше.

Но вопрос не в этом. Французское правительство догадалось, что на будущих выборах ему не хватит многих десятков тысяч голосов. И внезапно заинтересовалось мелкими торговцами и ремесленниками.

Я-то от этого в восторге, но не думаю, что это спасет лавочки и мастерские. И это вопрос не политики, а образа жизни.

3 октября 1973

Весь этот час я думал о давнишних рынках, а также о тех, что пока еще существуют, но долго не протянут.

Рынок или торговая улица — это не только пестрое жизнерадостное зрелище, где люди ощущают близость друг к другу, но и контакт с природой, сведенный нынче к дням уик-энда.

В Льеже между фруктовым рынком и овощным было метров пятьдесят. Там стоял такой запах, какого я никогда больше не слышал: пахло дынями, и покупатели, прежде чем купить, нюхали их, пахло сливами, абрикосами, яблоками — их перерабатывали на консервы.

На овощном рынке цветная капуста была прекрасна, как настоящие цветы, а стручки фасоли — такого нежного и яркого зеленого цвета, что так и тянуло их погрызть.

И все это исчезнет? Уверен. Когда открыли первый универсальный магазин типа Галери Лафайет, Золя написал о нем роман [1]. Продавали там только товары для женщин: платья, шелка, хлопчатобумажные ткани. Но Золя прозрел в нем ад.

Рынки, торговые улицы имели, а сохранившиеся и до сих пор имеют одно преимущество: они способствуют общению между жителями квартала. Не только общению с продавцами, но и между покупателями. В очереди люди обмениваются мыслями, иногда кулинарными рецептами, часто сплетнями. Не заменяло ли это с успехом радио и телевидение?

Неужели у нас отнимут чувство общности, нормальные, неофициальные человеческие отношения? На этих улочках можно было и не знать фамилии своего собеседника или собеседницы. Это могла быть просто седая дама с шиньоном, или пожилой господин с собачкой, или хромоножка, или, на льежском наречии, «воображала»— та, что при покупках словом ни с кем не обмолвится, а к товару даже не притронется: ее сопровождает служанка с корзинкой.

Знаю, во все времена пожилые люди сожалели о прошлом. И всегда происходили какие-то изменения в образе жизни. Увы, на сей раз это уже революция. Так же как в кино — садишься там между двумя незнакомыми, и никто ни с кем словом не перекинется, все сидят, уставившись на экран, и он один говорит за всех.

Неужели в свой черед исчезнут кафе, где играют в карты, на бильярде, в кости? Исчезнут террасы, с которых разглядывают прохожих? Боюсь, что да.

Уже существуют бары без цинковой стойки, где нет ни столов, ни стульев, куда забегают, чтобы на ходу что-нибудь выпить или зайти в уборную, бары, где нет человечной, теплой атмосферы.

И вот человек жалуется на одиночество.

15 октября 1973

С сотворения мира, думаю, каждая раса мнит себя избранницей бога, Будды и не знаю, кого еще.

Периодически одна раса берет верх над другой. Не надо забывать, что сарацины победно дошли до центра Франции, а Испания надолго была захвачена маврами; и перечень этот можно продолжить.

Наконец-то мы начинаем понимать, что различия между расами не столь велики, как считалось раньше. Просто направленность у них разная.

Долгие века раса, именуемая белой, гордо и безжалостно правила миром. В прошлом столетии боялись нашествия желтой расы. А сегодня Никсон, равно как и главы других государств, едет в Пекин. Больше ста двадцати стран (точной цифры я не знаю, поскольку она все растет) представлено в ООН.

Что касается Африки, то она в конце концов объединилась или, во всяком случае, образовала некую общность и намерена занять подобающее место в мире.

Эпоха колониализма была периодом неслыханного процветания белой расы. Это была эпоха, когда белый колонизатор — я это видел — приказывал негру посидеть на обочине, а сам занимался любовью с его женой.

При англичанах в Хартуме цветные не имели права после шести вечера оставаться в квартале для белых или заходить на его территорию.

Я мог бы привести сотни подобных примеров из совсем недавнего — лет тридцать назад — прошлого.

Сейчас колесо поворачивается — может быть, медленно, но неумолимо.

Уже есть университеты в песках Аравии и в тропических лесах, и у нас нет больше монополии ни на что, разве только на технические знания, которые можно приобрести за несколько лет.

1 января 1974

Я жду, что случится буря, которой будет предшествовать всеобщий валютный кризис.

[1] Имеется в виду роман Э. Золя «Дамское счастье» (1883).

Правда, революция подобного рода может произойти тихо, на заседании административных советов.

Эти господа, до сих пор уверенные в своем всеведении и всевластии, стучатся в двери министерств и консультируются с правительствами. Они объединяются. Образуют компании, и невозможно установить, где находится правление такой компании: оно может быть всюду — в Японии, Цюрихе, Нью-Йорке...

Из книги «МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ»

24 июня 1974

Я читаю все выходящие журналы за исключением, естественно, женских и посвященных кино. Все больше и больше в них появляется мрачных и тревожных статей о нашем будущем. Все вызывает беспокойство: финансы, топливо, уличное движение — вплоть до электроэнергии. Нет журнала, который не предвещал бы катастрофы.

6 июля 1974

С незапамятных времен, с тех пор как стоит мир, главы государств и люди, игравшие важную роль в жизни своей страны, писали мемуары — на камне, на глиняных табличках, на пергаменте и, наконец, на обыкновенной бумаге.

Безусловно, эти мемуары представляют интерес. Они помогают воссоздавать историю. А может, фальсифицировать? За свою жизнь я прочел множество мемуаров, но что-то не припоминаю признаний вроде: «Человек я на редкость заурядный и никогда не был на высоте стоящих передо мною задач». Или: «При таких-то и таких-то чрезвычайных обстоятельствах я сел в лужу».

Существуют мемуары людей, пользовавшихся большим или меньшим влиянием при королевском дворе, как, например, Сен-Симон [1], или в литературных и художественных кругах. Но и эти авторы, разумеется, не пишут: «У меня искусственно раздутая репутация. Единственной моей заслугой является то, что я сумел попасть во Французскую Академию благодаря тестю или моим светским связям».

Воспоминания такого рода, которые я назвал бы личными, еще несколько лет назад были довольно редкими. Но вот уже года три-четыре они сыплются как из рога изобилия. Каждый писатель, достигший семидесяти пяти лет, испытывает настоятельную потребность рассказать о своем детстве, юности, пути к славе.

Чуть ли не каждую неделю я читаю, что вышла еще одна книга воспоминаний, и радуюсь, поскольку — только не надо понимать это буквально — они позволяют мне по-новому взглянуть на людей, которых я знал.

В сущности, мемуары — это лживые автопортреты, которые оставляют потомкам.

До изобретения фотографии великие мира сего, а следом за ними средние и малые заказывали свои портреты художникам, специализировавшимся в этом жанре.

Вот почему нам представляется, будто в некоторые эпохи люди были преисполнены особенного достоинства.

А что было бы, если бы фотография существовала, скажем, в эпоху Людовика XIV? Был ли бы тогда Король-солнце — солнцем? Ведь мы увидели бы тогда на лицах великих мира сего бородавки и морщины, а может, оказалось бы даже, что кое-кто из них страдал косоглазием.

Правда, нынешние официальные фотографы — великие мастера в искусстве ретуширования. Вот почему многие важные особы избегают уличных фотографов.

В сущности, великий человек — и великий и ничтожный — испытывает потребность оставить лестное представление о себе. И вот доказательство: кропотливые, порой растягивающиеся на полдня, приготовления осветителей перед тем, как снять главу государства.

И когда мы видим на экране государственных деятелей, они не потеют, не бледнеют, не краснеют. Искусные гримеры сделали их лица достойными внимания потомков.

Но вот новость: уже несколько лет как посыпалась лавина мемуаров людей, ничего общего не имеющих с историей.

Воспоминания пишут певцы, певицы, художники, писатели.

Я верю, что писатели, поскольку это их профессия, пишут сами. За всех прочих — журналисты; для них это является основным занятием.

Вчера один человек, обычный человек, не литератор, сказал мне:

— Впечатление такое, словно все эти мемуары написаны одной и той же рукой.

Почти так оно и есть. Но это не ново. Когда мне было двадцать два года и я еще писал под псевдонимом, один издатель предложил мне написать воспоминания Жозефины Бекер [1]: ей, окруженной ореолом недавней славы, в ту пору было лет двадцать.

Я отказался. Один мой коллега, к которому я при всем при том питаю огромное уважение, согласился.

Скоро мы получим воспоминания велогонщика Меркса, который едва говорит по-французски. Будут у нас и мемуары знаменитостей, полузнаменитостей и четвертьзнаменитостей всякого рода, а там — недолго ждать! — всех подряд.

У каждого человека в семейном альбоме имеется фотография, на которой он в возрасте трех-четырех месяцев лежит голенький на медвежьей шкуре. И свадебная фотография; обычно всех молодоженов снимают около одинаковой гипсовой колонны. Гораздо реже можно найти фотографию тех же людей в возрасте восьмидесяти лет.

Вот почему я не даю разрешения назвать мемуарами два тома, надиктованные мной, ибо это просто-напросто разглагольствования отшельника.

И, в отличие от Рубинштейна [2], который охотно это делает, я отказываюсь говорить о более или менее известных людях, с которыми мне доводилось встречаться. Их

[1] Герцог де Сен-Симон, Луи де Рувруа (1675—1755) — французский политический деятель, писатель, автор интересных мемуаров.

[1] Бекер Жозефина (1906—1975) — американская эстрадная певица, негритянка.

[2] Рубинштейн Артур (род. в 1887 г.) — польский пианист.

жизнь принадлежит им. Я могу говорить только о своей.

Мне могут возразить, что оба тома — «Человек как все» и «Следы шагов» — полны мной. Да, действительно. С тех пор как я не пишу романов и не придумываю героев, мне обязательно надо о чем-то говорить. И вот изо дня в день я записываю все, что мне приходит в голову.

Но это не мемуары. Я решительно восстаю против такого определения.

P. S. Право, это становится модой. Мало кто из известных адвокатов, знаменитых врачей и вообще «знаменитостей» решается уйти, не оставив автопортрета и не сообщив, какое место он занимал в обществе. Люди читали воспоминания медицинских сестер, сотрудников учреждений социального обеспечения, бывших заключенных. Уверен, что скоро объявят о мемуарах клошара. А почему бы и нет? Это может оказаться куда интереснее, чем мемуары Клемансо, Пуанкаре, де Голля и т. п.

23 сентября 1974

Перед войной, в эпоху, именуемую колониальной, я побывал почти во всех регионах, считающихся бедными: в Центральной Африке, в Индии, в Южной и Центральной Америке. Я видел детей с вздувшимися от голода животами, стариков, похожих на живые скелеты. Короче говоря, я видел людей, которые голодали, в то время как в Европе говорили только о машинах, шикарных яхтах, роскошных загородных резиденциях и приморских виллах.

Не во всем мире люди еще едят досыта. Но у меня впечатление, что мы свидетели того, как положение меняется. Кто знает, не придется ли вскоре нашим рабочим и инженерам поехать работать в страны, вчера еще нищие, а сегодня — самые богатые в мире?

Я не сумасшедший. Я никогда не занимался политикой. У меня нет никакой экономической теории.

Признаюсь, однако, что теперь подобная перспектива не так уж не нравится мне.

2 октября 1974

Тереза каждый день читает «Коррьере делла сера» и находится в курсе того, что происходит в Италии; она сообщила мне интересный факт. Рабочие одного большого завода в этом году, как обычно, ушли в отпуск. Когда же они вернулись и хотели приступить к работе, оказалось, что в цехах нет ни одной машины. Хозяева вывезли их неизвестно куда, и сотни рабочих превратились теперь в безработных.

4 октября 1974

Хочешь не хочешь, но каждому приходится сейчас думать о том, что называют мировым кризисом: он в той или иной степени затрагивает всех. Большинство стран якобы приняло меры по ограничению потребления сырья, топлива и многих других продуктов; ожидается, что ограничения распространятся на все.

За исключением, понятное дело, автомобилей, потому что автомобиль — пуп современного мира.

Вчера у меня был мой американский издатель. Он утверждает, что в США положение с книгоизданием ничуть не лучше, чем во Франции или любой другой стране. Ко всем прочим кризисам прибавился и бумажный.

Издатели с трудом добывают бумагу, чтобы печатать своих авторов и новичков, которые только начинают карьеру. Поговаривают о том, чтобы печатать книги еще более мелким шрифтом и ликвидировать абзацы.

С другой стороны, во всех странах жалуются, что люди выбрасывают деньги на предметы, которые не являются необходимыми.

Каждое утро я обнаруживаю в своей почте крупноформатные многостраничные проспекты, отпечатанные на великолепной бумаге. Проспекты, побуждающие людей приобретать массу бесполезных вещей.

Не пора ли положить конец этой инфляции типографской бумаги, которая подрывает начинания правительств?

Почтовая администрация жалуется на необходимость увеличивать число почтальонов, а тем приходится таскать все больший и больший груз. Почтовые ящики уже стали малы: большая часть проспектов имеет такой формат, что не пролезает в щель.

Экономисты уже неоднократно пригоравривали общество потребления к гибели.

И что же? Зачем каждый божий день манить людей соблазнами? У меня впечатление, что с нами обращаются примерно как с рыбами. Нам суют под нос множество крючков, только наживлены они не настоящими дождевыми червяками и опарышами, а пластиковыми.

Из книги «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ, ВЕТЕР ЮЖНЫЙ»

23 ноября 1974

Если я откажусь давать интервью, не сочтут ли это за надменность и не обидятся ли многочисленные журналисты, французские и иностранные, которые всегда относились ко мне с пониманием, а зачастую с дружбой и любовью?

С другой стороны, не почувствуют ли себя мои читатели обманутыми, если я не объясню им с помощью различных средств информации, почему я больше не пишу романов, а предаюсь, в некотором смысле, созерцанию собственного пупа?

Может быть, потому что я состарился? Или потому, что у меня нет больше физических сил таскать на руках героев моих романов?

Пусть объясняют как кому угодно — сам себе я вопросов не задаю. Я иду своим путем — не спеша, без предвзятых мыслей, без плана.

Я ломал и вновь строил свою жизнь, начиная с шестнадцати лет, но в конце концов она образовала непрерывную линию, словно уже в ранней юности я предвидел все, что со мной произойдет, во всяком случае то, что касается моей, пусть малой, причастности к жизни других людей.

Продолжат ли эту линию мои последние книги, которые я диктую почти ежедневно? Суждено ли мне попытаться выска-

заться, но не как романисту, а просто как человеку?

Буду откровенен. В глубине души я верю в это.

Бывают моменты, когда пересматриваешь свою жизнь и неожиданно обнаруживаешь в ней какие-то моменты, которым в свое время не придавал важности, потому что не понимал всей их значительности.

Так бывает с каждым из нас. Не только со мной, но и с другими людьми, которых я пытаюсь исследовать в этих беглых заметках, не имеющих никакого касательства к литературе.

Открою я дверь журналистам или нет? Смогу ли пожертвовать несколькими часами своей нынешней жизни? Они ведь так драгоценны для меня, и я смакую их по каплям.

Придется отвечать на одни и те же вопросы. И отвечать примерно одними и теми же фразами. Мне это будет стоить то прогулки, то часа, проведенного наедине с Терезой, когда мы сидим каждый в своем кресле, лишь иногда отрываясь от чтения, чтобы обменяться несколькими словами или взглядами, которые так же красноречивы, как слова.

Признаюсь, что при мысли об этом мне становится грустно.

29 ноября 1974

Эта маленькая история всплыла у меня в памяти вчера, когда я смотрел по телевизору дебаты во французской палате депутатов по вопросу об абортах. Но я не собираюсь говорить об абортах.

Это было в 1945 году. Во время войны я жил в Вандее и, вернувшись в Париж, встретил давнего друга, уже знаменитого, если не великого, но еще молодого духом. Он мне тут же сообщил:

— Некоторых членов Французской Академии придется исключить из нее, но не из-за их кончины, а потому что они были вишистами; признано, что они недостойны оставаться в ней. А остальные ее члены понимают, что Академию надо омолодить, поскольку время сейчас довольно революционное, и, приняв нескольких молодых нонконформистов, старики создадут себе в некотором смысле алиби. Я выдвигаю свою кандидатуру. Потом, пройдя в Академию, я устрою так, чтобы приняли еще троих наших друзей.

И он назвал фамилии этих троих, тоже известных литераторов, сейчас, увы, уже покойных. Потом воскликнул:

— Представляешь, как мы вчетвером растрясем этих старых хрычей с набережной Конти!

Действительно, по прошествии нескольких лет все четверо были избраны в Академию. Я ждал шума. В ту пору я жил в Соединенных Штатах. До меня почти не доходили вести о том, что происходит в Академии.

В 1952 году я ненадолго приехал в Европу, встретился с четырьмя мушкетерами и был поражен тем, как они переменились.

Вот одна из множества историй. В один из годов в состав жюри Каннского фестиваля входили шесть академиков. Я спросил моих друзей:

— За какой фильм вы будете голосовать?

Они мне ответили, словно это само собой разумелось:

— Так, как скажет самый старый из нас.

— Ты хочешь сказать — самый старший?

— В Академии имеет значение не возраст, а годы членства. Решает всегда старый.

Тот же самый друг рассказывал мне:

— На прошлой неделе мы были с визитом в одном буржуазном доме. Там нарушили все правила приличия: мою жену за столом посадили рядом черт знает с кем, а не справа от хозяина дома, как положено. Я сделал ей знак. Мы поднялись и ушли.

Четыре мушкетера не изменили обычаев Академии, напротив, стали ревностно соблюдать все правила этого почтенного заведения на набережной Конти.

Вспомнил я об этом только потому, что, глядя вчера, как депутаты сменяют друг друга на трибуне, был уверен: большинство из них баллотировалось на выборах только ради того, чтобы, выражаясь вульгарно, «растрясти лавочку».

Ничего они не «растрясли».

8 декабря 1974

Вчера я выступал по одной из французских провинциальных радиостанций. Каждую субботу там кто-нибудь, совершенно неожиданный, комментирует события дня.

Как всегда, вопреки своим благим намерениям, я доставил себе удовольствие говорить все, что у меня на душе. Кое-кого это раздражит: наших правителей от самых высоких до самых маленьких, от президента до супрефекта, а также банкиров и крупных дельцов я сравнил с призраками.

И совещание на высшем уровне, которое состоится завтра в Париже, я назвал совещанием призраков.

Убежден, что теми, кого считают нашими правителями, на самом деле управляют люди, чьих имен мы почти никогда не знаем. Места правителей заняли транснациональные корпорации, а их хозяева предпочитают оставаться за кулисами. О них говорят очень редко.

Но я отнюдь не экономист, не психолог; я не кончал ни Национальной школы управления, ни Школы политических наук, ни университета. Я бросил коллеж в пятнадцать с половиной лет.

И все-таки, когда мне случается, как вчера, выпустить пар, то на следующий день я чувствую себя чуточку скверно, словно влез не в свое дело.

Действительно, это не мое дело. Очень красиво говорится, будто в большинстве стран сейчас демократия, но человек с улицы, каковым я являюсь, не имеет права выбора. Нет, он периодически опускает в урну бюллетень. Но чего стоит этот бюллетень?

Грош ему цена. В сущности, наверху оказываются те, кто цепляется за прошлое и лишь изредка соглашается на уступки ради настоящего и будущего,— призраки, как я только что сказал и, думаю, неоднократно уже говорил в этот микрофон.

Тем не менее я чувствую себя как бы

виноватым. Виноватым в том, что слишком много сказал. В том, что открыл свои сокровенные мысли.

Неужели у всех этих министров, депутатов, важных персон, которые регулярно появляются на телеэкранах, совесть действительно чиста? Или они, как я, немножко стыдятся высказывать мнения, которые, в отличие от моего, являются не вполне их собственными?

Их утверждения зачастую настолько лживы или тенденциозны, что трудно поверить в их искренность. Ну, а если они искренни, то тогда эти люди настолько близоруки, настолько оторваны от действительности, что я даже колеблюсь, как их правильней назвать — слепыми идеалистами или идиотами? Они меня не интересуют, и я почти не общался с ними. Но мог наблюдать довольно близко и потому знаю, что их схватки на трибуне или на маленьком экране — одна видимость, на самом деле они все связаны приятельскими отношениями, а то и сообщничеством.

И если на публике представители двух противоположных партий обмениваются жестокой бранью, то за кулисами они на «ты» и пожимают друг другу руки.

13 марта 1975

У меня смутное ощущение, что я уже говорил об этом, но все равно: эта проблема тревожит меня. Ежедневно, иногда по нескольку раз в день, по радио, по телевидению, в заявлениях министров я слышу одно слово — «хулиганы».

Все чаще и чаще этим словом обозначают молодых людей от пятнадцати до двадцати лет. Все те, кто носит чересчур длинные волосы, кто обеспокоен своим будущим, кто разочарован обществом, которое создано не для них, кто иногда прибегает к той или иной форме протеста,— все они хулиганы.

Им вынесен окончательный приговор. И вот в деревнях, в маленьких городках против них организуют прямо-таки настоящее ополчение, цинично признаваясь, что при малейших волнениях, при малейшем взрыве их возмущения и недовольства вооруженные граждане сперва дают залп в воздух, а следующий уже в толпу демонстрантов.

Однако ученые, будь то биологи, психиатры, психологи или социологи, согласны в том, что нынешняя молодежь в возрасте пятнадцати — двадцати лет испытывает отвращение к обществу, которое создали их отцы и деды.

И вот эти отцы и деды, которые нынче возмущаются молодежью, похоже, забыли, что именно современный мир, основанный на непосредственной выгоде и махинациях, и порождает отвращение в том возрасте, когда начинаешь судить критически и устаешь ходить по струнке.

А волосатые парни (многим их волосы кажутся слишком длинными) на демонстрациях, порой весьма шумных, сталкиваются с замкнутым миром; и этот мир вызывает их возмущение.

Где-то я уже рассказывал, какое значение имело слово «хулиган» в ту пору, когда я еще был пай-мальчиком, выраставшим в старых традициях послушания и претендовавшим на то, чтобы считаться хорошо воспитанным.

Начальное образование я получил в заведении, которым заправляли отцы минориты, державшие бесплатные религиозные школы. В том же, верней, в соседнем доме, отделенном от нашего двором, отцы минориты держали школу для самых бедных: почти все ее ученики ходили не в башмаках, а в деревянных сабо.

Нам было запрещено общаться с ними. И уже тогда употреблялось слово «хулиганы».

— Не смейте водиться с хулиганами из соседней школы!

То же говорила моя мать, когда нечаянно заставала меня играющим с детьми рабочих.

— Я запрещаю тебе якшаться с этими малолетними хулиганами!

Но в ту эпоху почти все пятницы были отданы на откуп студентам, которые тогда принадлежали к господствующему классу, то есть чаще всего к тому слою, который сейчас называют сторонниками христианской демократии.

В пятницу вечером им было дозволено все. Они развлекались тем, что били газовые фонари на улицах, врывались в публичные дома и издевались над девицами, а потом крушили мебель. Самой невинной их забавой было перетащить столы и стулья с террасы кафе куда-нибудь на окраину.

У полиции был приказ не вмешиваться: ведь бесчинствовали молодые люди из «хороших семей», будущие судьи, врачи, адвокаты, высокопоставленные чиновники, депутаты, сенаторы.

Не думаю, чтобы подобное положение было особенностью одного Льежа. Так было и в других городах, и в Париже.

Воскресенье же было днем баталий, драк на дубинках между студентами разных университетов. То в Льеж приезжали студенты Лувенского университета и устраивали потасовку, то льежцы с тем же налетали на Лувен.

Ни жандармерия, ни полиция, ни тем паче отряды республиканской безопасности, которых еще не существовало в то время, не препятствовали этим сражениям, иногда кончавшимся не одними только шишками да синяками.

Сегодня термин «хулиган» используется применительно к другому социальному слою, объединяющему всех тех, кто не желает иметь ничего общего с буржуазией (хотя среди них немало детей из буржуазных семей), кто недоволен и отвергает общество, которое им оставляют старшие.

Видит бог, то, что они оставляют, не может ни показаться прекрасным, ни воодушевить преисполненного энтузиазмом молодого человека.

Легко министру или депутату громогласно, с негодованием, прямо-таки в стиле Третьей республики заявлять по адресу молодежи, выражающей желание жить здоровой жизнью, жить не в такой удушливой атмосфере:

— Пора покончить с хулиганами!

Так вот, термин «хулиган» сегодня я не приемлю так же, как в детстве, когда из-

за этого у меня происходили ссоры с матерью.

Тем более что те, кто сейчас его употребляет, раньше сами были хулиганами. Но хулиганами не из-за бедности и безысходности.

— Пусть побесится, пока молод...

Этими вот словами оправдывали сынков из «хороших семей», сынков богачей: дескать, кровь молодая играет, распирает жажда жизни.

Только их не называли хулиганами. Их называли студентами.

А сейчас учащиеся коллежей, лицеев и многие их преподаватели, оказывается, превратились в хулиганов.

Я буду с молодежью, с теми, кого сейчас клеймят именем «хулиган», против подлинных хулиганов, против почтенных хулиганов — хулиганов, выдающих себя за людей с незапятнанной совестью и присвоивших себе право ежедневно появляться на экранах телевизоров, что мне представляется настоящим вызовом народу.

Из книги «СКАМЕЙКА НА СОЛНЫШКЕ»

19 апреля 1975

Я не верю законам, которые издают правящие марионетки. И знаю, что все, что нам вещают по телевидению, по радио и в газетах, не имеет ни малейшего отношения к правде; знаю, что в действительности миром правят несколько человек, которые отнюдь не мудрее нас, но куда более жестоки, циничны и готовы без колебаний уничтожить целые народы.

Я страдаю, глядя на трупы, которые нам демонстрируют каждый день, словно понемногу приучая к тому, что нас ждет. Страдаю, видя физиономии министров и глав государств, когда они ликуют, что оказались на своих постах и могут нас обманывать.

13 июня 1975

Я уже приводил чудовищные слова одного государственного деятеля, которые он сказал своему врачу доктору Моренду, а тот процитировал их в своих мемуарах: «Выходит, Моренд, это действительно мир? Какой тоскливой станет жизнь!»

Слова эти принадлежат Уинстону Черчиллю. Но их вполне можно приписать пятидесяти, сотне, тысяче государственных деятелей прошлого и настоящего.

15 июня 1975

Рабочий, которого мы не без некоторого самодовольства именуем неквалифицированным, старается заработать как можно больше денег, чтобы отослать их своей семье, оставшейся, как правило, на родине и живущей в относительной нищете.

Чиновник считает, что он гораздо умнее своего столоначальника или начальника отдела, и все старания направляет на то, чтобы как можно скорее занять их место.

Что касается сильных мира сего, обладателей огромных состояний, то они тоже, иногда совершенно отрываясь от действительности, несутся следом за какими-то призраками, зачастую просто смехотворными.

Инженер, изобретший новый тип универсального карандаша и сразу возведенный в баронское достоинство, тратит миллионы, строя яхты, которые должны выиграть трансатлантическую гонку. Он не моряк. Он даже не страстный любитель парусного спорта. Но он хочет добиться чего-то иного, что для него куда ценнее состояния, которое ему принесла золотая карандашная жила.

Есть несколько десятков владельцев скаковых лошадей, которые, несмотря на свою ответственность перед сотнями тысяч своих рабочих и работниц, не моргнув глазом ежегодно просаживают миллионы, чтобы выиграть приз на ежегодных крупных скачках.

Но забавно, что все эти банкиры, финансисты, авантюристы высокого полета, все эти более или менее честные либо более или менее бесчестные люди почти всегда оказываются скупердяями.

Я много бывал в роскошных отелях и казино. И там я не только видел этих людей, но и слышал, что говорит о них прислуга.

Вот, к примеру, несколько лет назад был такой бородатый человек, которого звали королем нефти, или еще Господином Пять Процентов, потому что он получал пять процентов стоимости всей нефти, продававшейся в мире. Должно быть, он и сам не знал точных размеров своего состояния.

Я раз десять видел, как он, выходя из автомобиля у «Палм-Бич» в Канне или у Муниципального казино, царственным жестом протягивал монету в пятьдесят сантимов служителю, открывавшему дверцу машины.

А потом, после игры, где ставил сотни тысяч франков, он так же царственно давал пятьдесят сантимов рассыльному.

Из книги «ОТ ПОДПОЛА ДО ЧЕРДАКА»

8 ноября 1975

Мы видим только лозунги, которые все больше и больше смахивают на торговую рекламу. Постепенно они теряют притягательность, но едва народ перестает верить в них, придумываются другие лозунги.

И народ поддается на обман! Достаточно поглядеть на политическую ситуацию в мире и заглянуть в историю. Стоит только людям попробовать думать по-своему, довериться тому, что можно бы назвать совестью, их сразу начинают истязать, казнить, короче, проявлять над ними власть.

Мы должны быть послушными детками, не доставлять беспокойства полиции, не вынуждать вразумлять себя с помощью виселицы или расстрела, чтобы мораль, как бы ни варьировалась она в иных своих проявлениях в разных странах и на разных континентах, продолжала оставаться в ведении тех, кто правит нами и настолько хорошо понимает друг друга, что даже, посылая свои народы сражаться между собой, они продолжают поставлять оружие другой стороне и действуют заодно, как воры на ярмарке.

Из книги «ПОД СЕНЬЮ НАШЕГО ДЕРЕВА»

7 июля 1976

Не желаю, чтобы кто-нибудь из моих детей стал преуспевающим буржуа. Я предпочел бы ощущать в нем свойственное моло-

дости бунтарство, по крайней мере, насмешливость по отношению к общепринятым взглядам и кипение новых идей, независимо от того, что это за идеи и приемлемы ли они.

Я чувствую себя чуть ли не виноватым и тем не менее пытался учить детей нонконформизму с раннего детства. Нет, я не давал им так называемого буржуазного воспитания. Их не обучали правилам хорошего тона.

Впрочем, дети сами отвергали эти правила, когда они их стесняли или хоть капельку ограничивали их свободу. Маленьких людей, которые их окружают, мои дети, разумеется не презирали, но, что гораздо хуже, не знали.

Они, дети, сосредоточены на себе, на своей будущности, на своем нынешнем и грядущем преуспеянии.

В их лексиконе отсутствует одно слово, и это слово — великодушие.

Я мог бы добавить и второе, но его они смогут постичь гораздо позже — понимание.

Я совершил ошибку, преуспев, как говорится, в жизни. Бывают моменты, и очень часто, когда я об этом жалею. Если бы мои дети росли в более скромных условиях или даже в бедности, они были бы бунтарями, каким я был в их возрасте и остаюсь в семьдесят три года.

Из книги «ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИКУЛЫ»

10 августа 1976

Мне сегодня тревожно, я пытаюсь себе представить, что думают обычные люди, вроде меня, которых я называю маленькими людьми, о буре, которая постепенно разражается во всем мире. Можно сосчитать по пальцам страны любого континента, живущие относительно мирно.

Конечно, во все века существования так называемой цивилизации всегда были горячие точки, места, где воевали племя против племени, король против короля, император против других императоров или кандидатов в императоры.

Но по моему мнению, возможно и неверному, никогда еще волнение на нашем крошечном земном шаре не достигало подобной интенсивности.

Между собой враждуют и вооружаются, рискуя взорвать всю Землю и всех нас, не только государства; внутри государства борются друг с другом разные группировки.

Всех опаснее, разумеется, военные. В давние времена сочиняли оперетки о южноамериканских генералах, ежегодно, а в иных странах чуть ли не каждый месяц устраивавших государственные перевороты.

Это смахивало на игру в рулетку. Генералам хотелось набить карманы и уйти на «заслуженный отдых», местом которого они чаще всего выбирали Париж или Лондон.

Метод этот нашел новых последователей и завоевал новые континенты. Но теперь становятся диктаторами не только военные (генералы или, как минимум, полковники).

Можно бы удивляться, что в 1976 году, когда весь мир лихорадит и мы являемся свидетелями чудовищных катастроф, я продолжаю говорить о маленьком человеке.

Но для меня он важнее всего, и именно он расплачивается за амбиции так называемых сильных мира сего, именно он, в каком бы уголке мира он ни жил, ежедневно страдает из-за ситуации, создавшейся в нем.

Кроме того, им так манипулируют, что он даже не подозревает об этом. Казалось бы, наша эпоха является эпохой средств массовой информации. В старину до восьмидесяти процентов населения были неграмотны, и газеты, которые имели всего четыре — шесть полос, читали только учителя, кюре и те немногие, кого именовали образованными. Потом появилось радио, потом телевидение, что позволяет доносить новости со всего мира до самых глухих деревушек.

Находясь на покое, я читаю множество газет и журналов, в том числе иностранных. Несколько раз в день слушаю радио и смотрю телевизор.

Однако это привело к тому, что в голове у меня возник настоящий хаос. В сообщениях радиовещания, субсидируемого государством, но не принадлежащего ему целиком, в передачах телевидения, также зависящего от государства, зачастую совпадают только слова: противоречия между этими сообщениями бросаются в глаза.

В США много говорят о свободной прессе. Но эта свобода, как все в мире, относительна. Она зависит не от законов, а от владельца газеты или газетного треста: некоторые владеют пятнадцатью — двадцатью газетами, не считая радио- и телестанций.

Естественно, что у какого-нибудь мелкого разгребателя грязи, затевающего скандал, мало шансов заставить тех, кто зависит от крупного капитала, выслушать себя.

А нас, замалчивая правду, обманывают утром, днем и вечером — в каждой радио- и телепередаче, в каждом газетном столбце. Обманывают, чтобы усыпить, чтобы не дать нам осознать действительность и составить собственное суждение.

Все это тревожит меня, и потому я диктую без обычной радости. Когда в Ливане совершают жестокие нападения на персонал Красного Креста, пытающийся спасать раненых, в том числе женщин и детей, когда безумец или полубезумец Иди Амин учиняет массовые убийства противников своего режима, когда западные страны борются друг с другом за то, чтобы поставить, вопреки решению ООН, оружие ЮАР, где к чернокожим до сих пор относятся как к скоту, когда президент, а вслед за ним премьер-министр Франции ездят, точно нищие, из страны в страну, домогаясь заказов на поставку подводных лодок, танков, атомных энергетических установок, я чувствую такое отвращение, что сегодня вечером, в часы, когда я обычно этого не делаю, чуть не силой заставил себя диктовать.

Я вовсе не пессимист. Напротив, я сохранил веру в человека, но, в моих глазах, высокопоставленные особы, невзирая на все их дипломы, утратили право называться людьми.

12 августа 1976

Сейчас миром правят крупные финансисты, имен которых мы не знаем, но которые, подобно генералам, ничем не рискуют. Они делают свои дела, сохраняя анонимность, и используют законы разных стран, позволяющие им, как в казино, играть на черном и на красном, ставить на отдельные номера и на комбинации номеров, на чет и нечет, короче, заниматься тем, что является для них — а они вообще крупные игроки — сутью бытия.

Сейчас трудно узнать, кому принадлежит та или иная компания. Швейцария сегодня объявила, что на ее территории нет ни одного предприятия, загрязняющего окружающую среду. Другие, как сейчас говорят, богатые страны, поскольку теперь есть не только богатые и бедные люди, но также богатые и бедные страны, уровень жизни в которых очень различен, тоже следят у себя за чистотой окружающей среды. Загрязняющие ее предприятия они размещают в бедных странах. Они не только получают прибыль, но утверждают, будто способствуют развитию этих стран.

Сегодня утром меня потрясло и возмутило официальное заявление Гофман-Лароша в Базеле. В широковещательном коммюнике он сообщает, что Компания покроет м а т е р и а л ь н ы е потери из-за катастрофы в Севезо[1] в течение десяти лет. Не знаю, хорошо ли вы поняли — ма-те-ри-аль-ные потери. Компания позаботится о домах, о землях, потому что не имеет права от этого уклониться.

Но в коммюнике нет ни слова о людях— мужчинах, женщинах, детях.

С неделю назад компания заявила, что она была застрахована от несчастных случаев подобного рода.

Имеются в виду убытки. Деньги. Только деньги. Единственная цель и единственный идеал транснациональных компаний.

То, что население страдает и в течение многих лет будет испытывать на себе последствия производственной катастрофы, компаниям все равно. Они застраховались от материальных последствий всего того, что давно уже происходит, пока еще в тайне, в некоторых «бедных странах» и приносит прибыли компаниям.

Мне нечего добавить. Сегодняшнее коммюнике — приговор политике денег, но это вовсе не значит, что господ финансистов гильотинируют и Жискар д'Эстен откажется их помиловать.

Который век история повторяется, и просто удивительно (может быть, это просто чудо!), что маленький человек еще живет.

15 августа 1976

Можно сказать, что я начал так называемую профессиональную деятельность с шестнадцати лет. Я только что получил в наследство одежду богатого кузена, погибшего, но не на войне, хотя он был человек отважный, а от «испанки»[1].

И вот я впервые надел длинные брюки, а в ту пору это означало переход от детства к юности.

Я поступил репортером в «Газетт де Льеж». Через несколько месяцев я уже вел там ежедневную рубрику «За пределами курятника» и хочу отметить, что взгляды, которые я выражал, не обязательно совпадали с направлением газеты.

В день я прочитывал дюжину газет, и нередко мои фельетоны были посвящены текущим событиям.

Сейчас я нахожусь на другом краю жизни, чтобы не сказать карьеры — не люблю этого слова. И вот замечаю, что мои устные заметки, посвященные злобе дня, почти так же гневны и негодующи, как статьи шестнадцатилетнего юнца.

Возможно, кто-нибудь решит, что я умышленно их накаляю. И кто-то отнесет мой гнев, а то и ярость на счет старческого маразма.

Но то же было и в шестнадцать лет. Правда, тогда я выражал свои взгляды несколько осторожней, чтобы не вылететь из газеты. Я сохранил их на всю жизнь, и тот, кто умеет читать, обнаружит их в каждом моем романе.

С тех пор как я стал диктовать и говорить без обиняков, я все чаще позволяю себе вспыхивать негодованием. Семидесятитрехлетний старик узнает в себе кипучего юного репортера, каким он был в шестнадцать.

---

[1] Имеется в виду катастрофа 1976 г. на химических заводах транснационального концерна Гофман-Ларош в итальянском городке Севезо под Миланом. В результате ее произошел выброс в окружающую среду страшного яда — диоксина, одного килограмма которого достаточно, чтобы убить пять миллионов человек.

[1] Разновидность гриппа, эпидемия которого свирепствовала в годы после первой мировой войны.

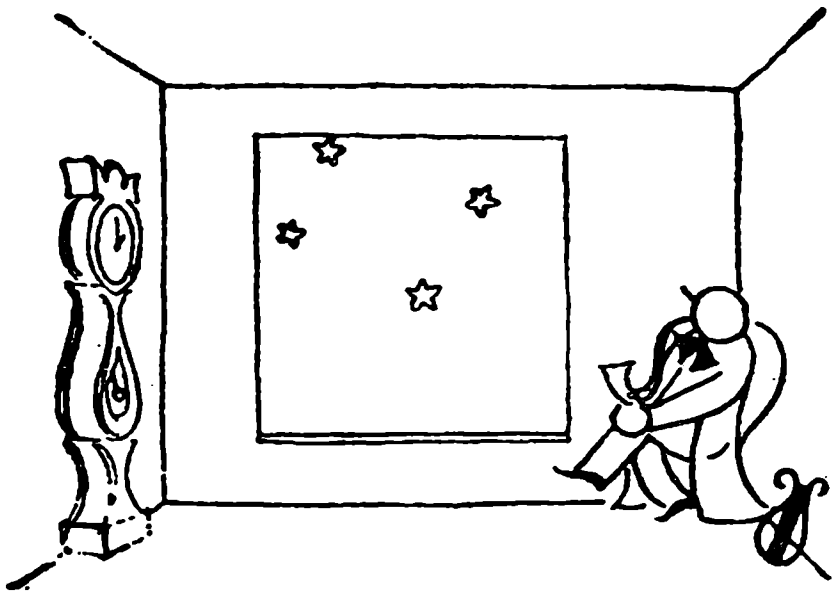
(Окончание следует)

Антирубрика

ПИТ ХЕЙН

ГРУКИ

Перевод с датского НОРЫ КИЯМОВОЙ

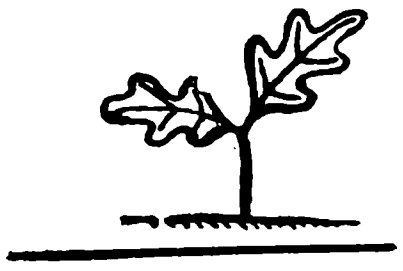


ВЕЧНОСТЬ И ЧАСЫ

Гимн конечному

Осмыслить вечность нельзя никак —
непостижимо понятие.
А часы пережевывают ее —
тик-так —
размеренно и старательно.

Миг за мигом время наше
разнимается. И уступает.
Так, разжеванная, как детская каша,
вечность усваивается. И не путает.



О, ХОББИ!

Я дуб
вековой
культивировать
начал —
жизнь моя
стала
полней
и богаче!

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ГРУК

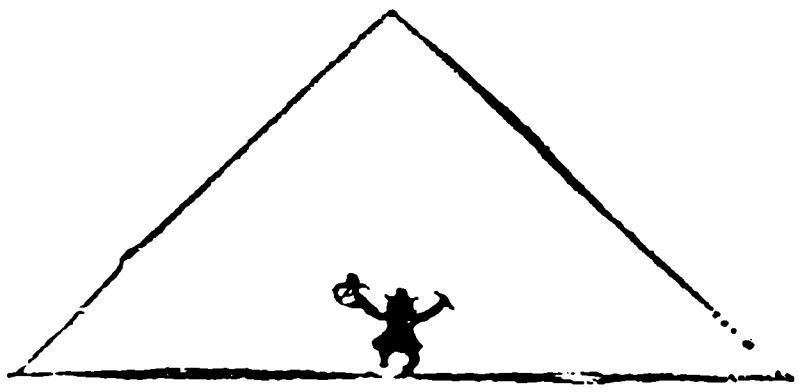
О том,
что случается с человеком,
и о том,
как он сам это воспринимает

Тот,
кто теряет
одну перчатку,
гораздо счастливей,
чем тот,
кто хватится
первой
и бросит
вторую...
и первую
снова
найдет.

ГРУК О БЕРЕЖЛИВОСТИ

Домашнее средство

Рассудок —
редкое богатство.
Не трать богатство
понапрасну.

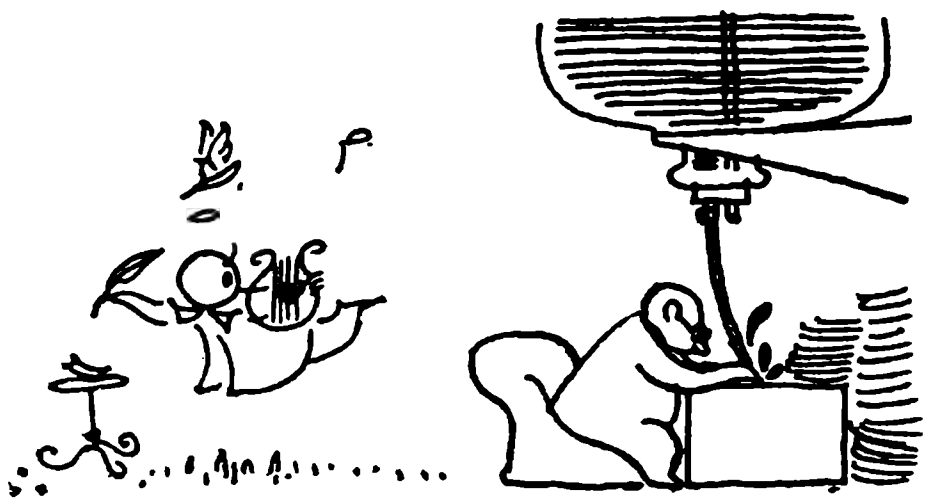


ИСКУССТВО ВОЗДЕРЖАНИЯ

Искусствоведческий грук

Трудно постичь нам египетский образ
мышления,
к сожалению.
Нет, роспись гробниц не вызывает
сомнения.

Но как на протяжении стольких формаций
от росписи пирамид удалось воздержаться
этой нации?



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Заключить в пробирку
время
и — писать, писать
все время.

Сердца вздох,
восторга крик
на бумагу
лягут вмиг.

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Два ощущения при виде распускающихся почек

Листва оденет бук —
и вот в чертогах я весенних,
где зеленый солнца луч
облака окрасил в зелень.
Как потерянный, брожу я,
радость творчества тая,
с удивленьем чувствуя,
что все это создал я.

Но вскоре прозаически
я мыслить начинаю
и в итоге лишь травинкою
себя я ощущаю,
и мнимое величие
гнетет мое сознание:
я был творцом, а стал
частицей мироздания.

Знакомо ли Вам это?

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГРУК

Духовные я надеваю вериги —
я книгу читаю про книгу о книге.
Не то чтоб сюжет был стремительно-
бурным,
но воздух становится литературным,
и я становлюсь парафразом на миг
в книге про книгу о книге из книг.

ДЖИЛАНИ БАНО

УШЛА

Перевод с урду ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

— Кто это? — лишь только она скрылась, с любопытством спросил Шахид.

— Не знаю,— равнодушно ответил я, раскрывая папку.— Брат, когда уезжал в Дели, оставил записку для какой-то своей студентки. Это она и приходила.— Я снова склонился над бумагами.

— Эх, приятель, что за штучка была! — вздохнул Шахид и уставился в пространство. Затем еще раз тяжело вздохнул: — Ушла! Речь ее — благоухание цветов. Своим присутствием она наполнила комнату ароматом...

Слушая разглагольствования Шахида, я непроизвольно глубоко вдохнул. Действительно, в комнате чувствовался какой-то приятный аромат. Обычно же в комнате пахнет лишь старыми папками, поэтому мне часто приходится увеличивать скорость вентилятора, который, подобно нашему посыльному Сундараму, постоянно выходит из строя.

«Что это за аромат? Чей он? Он мне как будто знаком. Эх, не удосужился на нее взглянуть!»

— Лань приходила! Лань!..— восхищался Шахид, рисуя на своей папке лань.— Ты когда-нибудь раньше видел такие глаза?

— Я ее не видел,— сильно смутившись, признался я.

— Ты ее не видел? — Шахид был поражен.— Что же ты лжешь, приятель? Ты же только что при мне с ней разговаривал! Она смотрела на тебя влюбленными глазами. Честное слово! — Шахид рисовал огромные глаза лани.

— Да, но я не разглядел ее внешности.— Я говорил Шахиду абсолютную правду. Когда Сундарам доложил, что пришла женщина за какими-то бумагами, я попросил ее зайти и передал ей записку. Может быть, даже взглянул на нее, но ее лицо почему-то ничем меня не заинтересовало. Дело в том, что налоговые инспекторы предъявили сегодня нашей фирме серьезное обвинение, чем совершенно меня обескуражили. Должно быть, поэтому я и не обратил внимания на такую красавицу. «Как же это я так сплоховал? Шахид — тот в момент даже и глаза рассмотрел».

Шахид в таких делах дока. Как только в отделе появляется симпатичная девушка, он тотчас берется за ее дело. И через несколько минут уже появляется кока-кола или из буфета заказывается чай.

— Ненавижу желтый цвет, но ее желтое сари сделало невозможное,— продолжал Шахид.

Я же, склонившись над папкой, принялся ее перелистывать.

— Я думал, это какая-то твоя родственница. Иначе как-нибудь завлек бы ее посмотреть свой отдел.

Шахид сел рядом со мной, закурил сигарету, но тут же затушил ее и положил в пепельницу.

— Ладно, приятель, я пошел работать. Если она придет когда-нибудь еще раз, обязательно позови меня под каким-нибудь предлогом.

Шахид поднялся и ушел к себе в отдел. Я еще раз глубоко вдохнул. Казалось, в воздухе сохранился какой-то аромат. Я принялся припоминать: «Какая она была? Только вот стояла передо мною, протянула руку и взяла у меня записку. Возможно, даже что-то мне сказала. Кажется, она была чем-то удивлена. Вероятно, ей не верилось, что брат профессора Азама может оказаться директором такой крупной фирмы. Или, может быть, ее удивила моя внешность? Мой брат очень светлый. Обычно не верят, что я, такой смуглый человек, брат Азама. Но что такое цвет! Мать говорит, что черты моего лица гораздо красивее, чем у брата».

Я вскочил и помчался в туалетную комнату. «Действительно, лицом я недурен. К тому же красивая рубашка, дорогие брюки... Волосы только слегка редеют. Она стояла, а я сидел. Конечно же, она заметила мою наметившуюся лысину. Еще одна глупость. Нужно было встать. И по этикету ведь положено проявлять уважение к женщине. Как же это я ни на что не обратил внимания в тот момент? Даже ее глаз лани не заметил».

Повсюду распространялась печаль ее желтого сари. Страстно хотелось, чтобы все повторилось заново. «Сундарам объявит о ее приходе. Я тут же отодвину бумаги и, приветствуя ее, встану. Шахиду о ее приходе сообщать не стану. Какой волокита этот парень! В доме красавица жена, двое детей, а он постоянно волочится за девушками...»

Лишь месяц прошел с тех пор, как я занял место директора, поэтому мне ужасно нравится изображать из себя крайне занятого директора. «Вот, полюбуйтесь, обремененный работой директор! — с сожалением размышлял я.— Какой вред иногда приносит невинный форс! Налицо и результат: красивая девушка стояла передо мною, а я ее даже не разглядел. Шахид говорил, у нее красивые глаза, как у лани. А какого оттенка ее кожа?.. Об этом Шахид не упоминал, но скорее всего она очень светленькая, иначе такому поклоннику женской красоты, как Шахид, она бы не понравилась. По всей вероятности, она светлая, как Захида. Но какая у Захиды внешность: высокая, худая. Мать только на белизну и позарилась. А мне теперь всю жизнь страдать. Что же касается одежды — Захида неотесанная самка. До сих пор она ни разу не надела желтого сари».

Зазвонил телефон. Говорил Нагешвар. В четыре часа совещание, а сейчас половина четвертого. «Нет, я не пойду — что-то мне нездоровится». Обхватив руками голову, я растянулся в кресле. Время от времени ко мне в комнату заходили то Сундарам, то Вакар, то Шахид. Приносили то письмо, то подшивку. Я взял себя в руки и попытался было разобраться в лежащих передо мной бумагах. Но на всем плясали желтые пятна, а в душе клубился дым сожаления.

Снова зазвонил телефон. Говорила Захида:

— Пора идти в кино. Приезжайте скорее домой!

Вчера я сам заказал билеты, но сейчас, когда я услышал голос Захиды, я почувствовал раздражение.

— Если уже время, иди одна! Мне сегодня голову даже поднять некогда...

— А вы сегодня...

Я бросил трубку. «Уф! Начались жалобы: не сделали сегодня то... не сделали это... Женитьбой обрек душу на страдания». Я прикурил сигарету и принялся искать ту срочную подшивку, но нигде ее не обнаружил. Завтра ее необходимо отослать в налоговое ведомство. «Куда же она запропастилась?» Повертев головой, я попытался вдохнуть аромат, однако, кроме запахов своих носков, ничего не почувствовал.

«Ушла! — во мне опять поднялась волна ярости.— Какую я сегодня совершил глупость! Пришла студентка брата — должен же я был уделить ей хоть немного внимания». Откинув занавеску, покачивая бедрами, в комнату вошла миссис Дельфин. Запах ее духов распространился по всей комнате. Всякий раз, когда появляется она, становится как-то светлее и усталость от непрерывной работы исчезает неизвестно куда. Когда она заходит ко мне в комнату, то старается, чтобы ее кофточка с глубоким вырезом и исходящий от нее аромат духов находились ко мне поближе. Поэтому я постоянно прощаю ей бесконечные ошибки, невыходы на работу и капризы. Когда же она появляется, немедленно начинается болтовня о новых фильмах, культурных программах и сердечных делах служащих фирмы.

Однако сегодня, когда она подала мне бумаги и склонилась ко мне, я отвернулся от нее в сторону и отчитал:

— Миссис Дельфин, вы стали допускать много ошибок при перепечатке. Заберите и перепечатайте все заново! — Избранный мною тон крайне удивил миссис Дельфин.

Сразу же после ее ухода я нажал на кнопку и приказал:

— Пришлите ко мне Вакара!

Вошел клерк Вакар.

— Где документы подоходных налогов? Сколько можно их ждать? — Я сердито отбросил лежавшие передо мною бумаги.

Вакар удивленно посмотрел на меня и, наклонившись, взял бумаги. Затем собрал их и подчеркнуто вежливо положил передо мною.

— Вот они.

Я выхватил из его рук бумаги и рявкнул:

— Можешь идти!

Вакар ушел к себе и там стал что-то потихоньку нашептывать миссис Дельфин. Оба они украдкой смеялись.

«Негодяи,— подумал я про себя.— Нужно за них взяться. Бездельники, бестолочи... Я тоже хорош — сегодня такую глупость сморозил: даже не взглянул на девушку, и она ушла. Почему же мне в тот момент показалось, что ей не стоит уделять внимания?»

Я просматривал папку и никак не мог понять, что там Вакар писал в объяснении. Работать не было никакой возможности. Я надел пиджак. «Завтра пойду к брату в университет и спрошу, кто была эта его студентка. А сейчас схожу, пожалуй, в клуб — поболтаю с Шахидом. Выясню, по крайней мере, какого оттенка была ее кожа».

Когда на площади Победы машина проезжала мимо стадиона, я вдруг вспомнил, что сегодня клуб закрыт.

«Уф!» — поневоле пришлось ехать домой.

На газоне в креслах сидели Захида, мать и дети. Завидев меня, Захида сердито отвернулась, вскочила и направилась к дому. Дети казались притихшими.

— В чем дело? Что случилось? — Я сел поближе к матери.

— Захида очень на тебя обижена. Только что жаловалась на тебя,— объяснила мать. — Ты не пошел с ней в кино. Она ходила к тебе на работу за запиской от какой-то девушки, а ты даже не поговорил с ней. Говорит: «О девушке какой-то думает»,— продолжала мать.

Вздрогнув, я посмотрел на веранду. На Захиде было желтое сари, а в ее огромных, как у лани, глазах блестели слезы.

ДОРОТИ ПАРКЕР

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Перевод с английского ЕВГЕНИИ ШВАРЦ

Что это? Отчего вокруг такая темень? Стоило отвернуться, и меня похоронили заживо? Как они посмели! Хотя нет, кажется, я поняла, в чем дело. Я проснулась. Так и есть. Проснулась среди ночи. Премило. Просто замечательно. Двадцать минут пятого, а сна ни в одном глазу. Как вам это нравится? В такое время приличные люди только ложатся, а мне уже надо вставать. И чем все это может обернуться? Какая вопиющая несправедливость! Ведь так можно и ожесточиться, даже дойти до кровопролития.

Да, но вам, наверно, интересно, как все это случилось? Просто я легла спать в десять часов, только и всего. А для меня это погибель. Де-есять ча-а-асов — читай: погибель. Рано ложиться, рано вставать, лучше уж богу душу отдать. Тот, кто в десять лег в постель, станет психом ровно в семь. По совету моряков ложись до третьих петухов. В десять часов, после того как целый вечер провела за чтением. Чтение — моя стихия. Я бы и сейчас включила свет и почитала, но ведь именно из-за чтения все и произошло. Я докажу вам. Бог мой, к каким только несчастьям оно не приводит! Это всем известно, всем, разумеется, кому известно. Да сколько умнейших людей не читали годами. Послушайте, что об этом думает Ларошфуко. Он сказал, что, если бы люди не умели читать, очень немногие стали бы влюбляться. Вот это был человек, и вот его мнение. Молодец, Ларошфуко, так держать, мальчик! Уж лучше б я не умела читать. И еще лучше — не умела бы раздеваться. Тогда бы уж ни за что не попала в эту дурацкую историю в

половине пятого утра! Если б люди не умели раздеваться, стали бы они влюбляться? Нет, у него лучше. Что поделаешь, мужчины в этом смыслят больше.

Ларошфуко-то хорошо, лежит себе тихонько, как мышь, а я тут ворочайся с боку на бок! И что это я из-за него так распалилась? Да не пройдет и минуты, как я выброшу его из головы раз и навсегда! Ларошфуко то, Ларошфуко се. Вы лучше послушайте меня: если бы люди не умели цитировать, очень бы немногие стали влюбляться в Ларошфуко. Да я клянусь вам, что не назову и десяти человек, которые бы знали его не по цитатам. Начитаются хрестоматийных очерков, обычно начинающихся: «Кажется, это старый милый циник Ларошфуко сказал...», а потом ходят и трезвонят о его прошлом. Свора невежд — вот кто они. Ладно, берите своего Ларошфуко, мне-то что за дело. Лучше буду держаться за Лафонтена.

Ума не приложу, зачем мне сдались все эти французские писатели, да еще в такое время. Ладно, прочту про себя «Fleures du mal»[1] и сразу стану добрее. А от Верлена буду держаться подальше — он все время гонялся за Рембо. Даже от Ларошфуко лучше держаться подальше. Злосчастный Ларошфуко! Самодовольный французишка! Как бы я была признательна, если б он оставил меня в покое. Что он тут в конце концов делает? Что мне Ларошфуко, что он Гекубе? Да я даже не знаю его имени, вот до чего мы с ним близкие друзья. Кто он здесь, собственно, такой, мой гость? Это он так думает. Как бы не так! И что он тут околачивается, зря только время теряет. Чем я могу ему помочь? Из его высказываний я помню еще всего лишь одно: «В несчастьях даже наших близких друзей мы всегда находим нечто приятное». Так что с вами все ясно, мсье Ларошфуко. Maintenant c'est fini, ça[2].

Самые близкие друзья. Тьма-тьмущая моих милых близких друзей. Все они сейчас храпят как свиньи, а я? Я уже фактически встала. Напились и завалились спать в самое чудесное время, в самые плодотворные для человека часы. «Творите, творите, творите,— говорю вам,— ночь на исходе». Так сказал Карлейль[3]. Какой же он умница, что подумал об этом. Томас Ка-арле-ейль, а что я о тебе зна-а-аю! Нет, пожалуй, хватит. К чему в моем положении волноваться еще из-за Карлейля? Что великого он сделал, разве что основал колледж для индусов? (Из-за этого колледжа он, наверное, сто раз в гробу перевернулся.) И пусть этот Карлейль держится от меня подальше, если, конечно, понимает, что ему на пользу. Хватит мне хлопот с этим милым старым циником Ларошфуко и с несчастьями его близких друзей!

Так, первым делом надо вылезти из кровати и на скорую руку завести новую компанию близких друзей, это надо сделать в первую очередь. Все остальное может подождать. Но скажите мне на милость, как я могу познакомиться с новыми людьми при таком образе жизни, где все шиворот-навыворот, ведь я сейчас — единственное живое существо, которое бодрствует в то время, как все остальное человечество спит. Нужно это как-то уладить. Надо попробовать сейчас же заснуть. Придется приспособиться к этим мерзким жалким стандартам ленивой цивилизации. К чему всем прочим менять свои пагубные привычки и следовать моим путем? Нет, нет, не надо. Это вовсе ни к чему. Лучше я пойду вашим. Ну разве подобная женщина не находка? Всегда готова сделать то, что угодно другим, неважно — по нраву ей это или нет. И никогда ничего сама не предлагает.

А что бы мне предложили вы, как мне теперь снова уснуть? После всей этой возни и суеты вокруг Ларошфуко сна как не бывало. Не могу же я в моем возрасте выбросить все из головы и приняться считать овец. Терпеть не могу овец. Может быть, это жестоко, но у меня это с детства. Нечто вроде овцефобии. Стоит хоть одной овце появиться в комнате, и я мгновенно настороже. И пусть не думают, будто я собираюсь, лежа здесь в темноте, считать их уродливые мордочки,— ну разве что не усну до середины августа будущего года. Положим, их вообще никто не сосчитает — что из этого? Если некое число воображаемых овец останется в области догадки, кому от этого жарко или холодно? Нет, сэр, я им не маркер. Пусть сами себя считают, раз они без ума от математики. Пусть сами делают свое грязное дело. Явились сюда ни свет ни заря и требуют, чтобы их считали! И ведь были бы настоящие. Нет, большей нелепости в жизни не слышала.

Но ведь есть же на свете хоть что-нибудь, что я могу сосчитать? Надо подумать. Нет, сколько у меня пальцев, я уже наизусть знаю. Может быть, заняться моими счетáми? Или посчитать дела, которые я должна была сделать вчера и не сделала? А может, посчитать дела, которые я должна сделать сегодня и не сделаю? Никогда ничего не довожу до конца, это уж точно. И никогда мне не быть знаменитостью. И мое имя никогда не впишут в книгу Имен Деловых Людей. Я ведь ничего не делаю. Ничего. Раньше у меня хоть была привычка грызть ногти, но теперь я даже этого не делаю. Да я и гроша не стою. Жалкий обломок затонувшего корабля. Вот что я теперь такое, и оставьте меня в покое. О, это ужасно.

Да, вот так и впадают в меланхолию. И все, наверно, оттого, что я проснулась в этот тягостный час. В то время, когда душа головокружительно замирает меж днем ушедшим и днем грядущим, не смея длить один иль не впустить другой. Время, когда все вокруг, тайное и явное, сковано сном и не дремлет только душа, время, когда все ведомые и неведомые тропинки ускользают из-под ослабевших ног, время, когда, как ни напрягай глаза, увидишь только тьму. Тьма, тьма кругом. Час мерзости, ужасный час господства тьмы. Всегда одна лишь тьма... Кажется, это милый старый циник Ларошфуко сказал, что после тьмы хоть потоп?

Так. Теперь вам все ясно? Ехали, ехали и приехали. Эй, Ларошфуко, а вот и мы.

---

[1] «Цветы зла» — сборник стихов Шарля Бодлера (1821—1867).

[2] Наконец-то мы с этим покончили *(франц.)*.

[3] Томас Карлейль (1795—1881) — известный английский публицист, историк, философ.

Послушай, приятель, а может, ты все же пойдешь своей дорогой, а я — своей? У меня здесь важная работа — мне нужно себя усыпить. Ты только представь себе, как я завтра буду выглядеть, если немедленно не засну. Предстану с заспанной физиономией пред всеми моими друзьями, ясноглазыми, отдохнувшими, со свежими лицами... предатели! «Милочка, что ты с собой сделала, ты еще недавно так хорошо выглядела?» — «Всю ночь напролет мы кутили с Ларошфуко и до упаду смеялись над вашими несчастьями». Нет, это становится невыносимо. Ну разве справедливо так мучить человека только за то, что раз в жизни он лег в десять часов. Клянусь, это больше не повторится. Я буду паинькой. И больше никогда не лягу спать, если, конечно, сейчас засну. Только бы выбросить из головы этого французского циника circa[1] 1650 года и забыться сладким сном. 1650 год. Могу поспорить, видок у меня, будто я не сплю с этого самого года.

А как вообще люди засыпают? Боюсь, я просто разучилась это делать. Может быть, оглушить себя ночником? Или начать медленно, убаюкивающе цитировать прекраснейшие из высказываний великих умов, если я, конечно, в состоянии вспомнить всю эту чертовщину. Наверно, это то, что надо. И поможет мне избавиться от этого назойливого иностранца, который торчит тут с двадцати минут пятого. Пожалуй, так и сделаю. Только сначала переверну подушку — у меня такое ощущение, будто Ларошфуко спрятался в наволочке.

Итак, с чего начнем? М-м-так. О, кажется, я знаю.

Всего превыше: верен будь себе.
Тогда, как утро следует за ночью.
Последует за этим верность всем[2].

Ну теперь они у меня в руках. Главное — начало, а дальше все пойдет как по маслу. Итак:

Что мне амвон и небеса,
Что мне престол земной,
Коль добродетель и краса,
Роз, у тебя одной.

Так, дальше:

Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет.

И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!

Чертополох нам слаще и милей
Растленных роз, отравленных лилей.
...А он застыл на пике Дариена.

Ах, льет сиянье месяц золотой
На миссис Портер с дочкой молодой,
Что моют ноги содовой водой...

Зачем же умирать, когда запели
зяблики,
Уж лучше умереть, когда поспеют
яблоки.

С тобой сквозь ветер на коне
Лететь! И если мир в огне
Сгорит иль канет в бездну вод —
Сей день дарован мне!

И он услышал, как пробило восемь,
Но как пробило девять, он уже не
слышал.

Недолго длиться здесь тоске иль
наслажденью;
Любовь, презренье, нега
Нас не коснутся более под сенью
Иного брега.

В могиле тихо и тепло,
Но там никто вас не обнимет.
Не родится стих чудесней
Живого дерева вовек...

Надеюсь, мне сегодня не придется повеситься. Сгинь, костлявая, прошу тебя.

Итак, дальше. «Уединение служит прибежищем посредственности и неизменным спутником гениальности». «Постоянству поклоняются только люди заурядные». «Что-то там такое — это чувство, которое нам припомнилось в тиши». «Что есть циник? Это человек, который всему знает цену и ничего не ценит». Милый старый циник — это тот, кто... черт! — опять голова Карла Великого. Надо сосредоточиться. Итак. «Косвенные улики как форель в молоке». «Любой стигмы достаточно, чтобы пересилить догму». «Если вы хотите знать, что Всевышний думает о деньгах, взгляните на тех, кого он ими наделил». «Если бы люди не умели читать, очень немногие...»

Так. Хватит. Сдаюсь. Ваша взяла. Больше никаких глупостей. Включаю свет и читаю до одурения. Хоть до десяти вечера, раз на то пошло. А что скажет на это мсье Ларошфуко? А ведь он что-то скажет, правда? Само собой, скажет! Он и кто еще? Ларошфуко и какие-такие немногие люди?

---

[1] Приблизительно (*лат.*).

[2] Здесь и далее цитируются английские и американские поэты и писатели.

Издано в СССР

СОЦИОЛОГИЯ ПЕСНИ, МИФОЛОГИЯ БУДНЕЙ

Тони Моррисон. Песнь Соломона. Роман. Перевод с английского Е. Коротковой. Предисловие Н. Анастасьева. Москва, «Прогресс», 1982.

До выхода этой книги Тони Моррисон опубликовала два романа (она дебютировала в 1970 году, когда ей было за сорок)— они были написаны добротно и со вкусом, но прошли незамеченными. «Песнь Соломона», увидевшая свет в 1977 году, сразу сделалась бестселлером. Книгу широко рецензировали, ею заинтересовались кинопродюсеры, роман получил премию «Клуба лучшей книги месяца» — последний раз такая награда была присуждена чернокожему писателю в 1940 году, когда лауреатом стал Ричард Райт, выпустивший роман «Сын Америки».

Успех «Песни Соломона» и у широкого читателя, и у критики (совпадение нечастое для литературной Америки последних десятилетий) был тем более примечателен, что писательница во многом отходила от тех художественных установок, что в нынешней литературе США приобрели статус «магистральных». Об этом напоминает в своем предисловии Н. Анастасьев: «Совсем недавно, скажем в 60-е — начале 70-х годов, в ней (литературе США.— С. Б.) ... преобладали настроения тоски, пессимизма, даже отчаяния, помещенного, впрочем, в скорлупу иронического стиля. Пристально вглядываясь в сегодняшний день Америки, писатели обнаруживали в ней лишь тяжелые приметы нравственного вырождения». Что и говорить, в свое время в таком подходе было свое художественное обоснование, была эстетическая и гражданская необходимость. Но в искусстве смелость и новизна — понятия весьма относительные, подверженные неожиданным метаморфозам. Достаточно на мгновение утратить обратную связь с реальностью, как открытие начинает неуловимо перерастать в штамп, из средства познания превращаясь в способ формальной организации материала, в стилистический прием. Рождается и штамп восприятия: читателям кажется, что художник негодует, хотя он в лучшем случае холодно реагирует, а то и не без удовольствия живописует страхи, неврозы, отчаяния и тупики «потерянных героев», которые выступают у него в роли оппонентов (причем единственных!) миру туполобых, всем довольных обывателей.

Тони Моррисон отнюдь не закрывает глаза на процессы распада, на разрушение тех ценностей и ориентиров, что долго выступали для американцев чем-то незыблемо устойчивым, а теперь все чаще и чаще предстают в виде набора слов, лишенных внутреннего содержания, вдохновляющего смысла. Вместе с тем основной пафос ее книги — поиск тех основ, что позволяют человеку оставаться человеком даже в сложных для развития и самоосуществления человека условиях сегодняшней Америки.

«Песнь Соломона» — это история одной семьи, ее нескольких поколений, история, поданная в сменяющих друг друга ракурсах — психологически-бытовом, философском, сказочно-мифологическом,— в разной степени удаленных от повседневности, но так или иначе имеющих своей целью отразить ее изменчивый облик, уловить то, что оказывается вне поля зрения тех, кто стремится осмыслить ее, рассматривая проблемы и конфликты, ею порожденные, под каким-то одним углом.

«Песнь Соломона»— роман о черной Америке. Белых в нем почти нет (а если и есть то, как правило, на положении «внесценических персонажей»). Классическая для негритянской литературы США антитеза черного и белого начал не снимается писательницей, хотя и присутствует в ее романе опосредованно, как бы выносится за скобки для того, чтобы лучше разобраться в тех процессах и явлениях жизни негритянского населения, что нередко отступают на задний план в произведениях тех, кто размыш-

ляет об уделе черного человека в белой стране.

«Черный цвет — он разный. Можно пять, шесть видов его насчитать. Бывает шелковистый, а бывает шерстистый. Бывает просто пустой... И все время разный»,— говорит Пилат, одна из центральных героинь романа. В этих словах, сказанных вроде бы невзначай,— авторская позиция, принципиальная полемика Моррисон со своими коллегами по перу, слишком часто подходящими к черному лишь как к антониму «белого» и тем самым многое упускающими. Пилат и ее брат Мейкон, Мейкон и его сын по прозвищу Молочник, Молочник и его друг Гитара — в этих оппозициях и выявляется бесконечное многообразие человеческих характеров и типов, всего того, что поверхностному взору представляется одноцветным. С другой стороны, говоря о проблемах вроде бы специфически негритянских, Тони Моррисон рассказала о них так, что местное и частное обрело под ее пером смысл общечеловеческий.

Клан Померов — это сгусток проблем и противоречий, характерных для американской действительности в целом. Мейкон Помер и его сестра Пилат воплощают собой два способа существования, два мироощущения, находящихся в отношениях конфликтных — до полного взаимоотрицания. Мейкон Помер давно усвоил, что для черного человека Америка отнюдь не земля обетованная. Он знает верный способ укротить враждебные обстоятельства — через приобретательство, через верное служение культу доллара. Он торгует недвижимостью — «мертвыми вещами»— и по мере продвижения вверх сам мертвеет, вполне оправдывая в конечном итоге нелепую фамилию, закрепившуюся за его отцом из-за ошибки пьяного янки, регистрировавшего освобожденных рабов (он занес ответы на вопросы, «где родился» и «кто отец», в графы для имени и фамилии, вот и стал округ Мейкон именем, а «помер» фамилией, и с тех пор все мужчины в роду звались именно так).

С именами и фамилиями в романе вообще происходят постоянные недоразумения. Дом Мейкона находится на Недокторской улице. Раньше она называлась в народе Докторской, и местные власти, решив покончить с таким произволом, решительно напомнили, что она — Мейнз-авеню, а не Докторская. Официальное название, увы, все равно не прижилось, зато возникло новое, народное — Недокторская. Основатель фамилии Померов взял своеобразный реванш над миром янки, давшим ему нелепое имя: лошадь свою назвал президентом Линкольном, корову—Улиссом Грантом, а свинью—генералом Ли. Назвал без всякой иронии, без задней мысли. Как и в случае с дочерью: открыл Библию и наугад ткнул пальцем. Получилось Пилат. Похожим образом были названы и его внучки: одна Магдалиной, другая получила длинное имя: Первое Послание к Коринфянам, сокращенно: Коринфянам.

Это можно было бы счесть случайностью, комическим штрихом, если бы, обретая в романе характер систематический, такая игра с именами собственными не указывала бы на те запутанные отношения, что существуют между видимостью (внешним обозначением) и сущностью, которая то допускает ироническую перекличку с внешним, то, напротив, указывает на заведомую абсурдность таких соответствий. Если Мейкон в погоне за материальным успехом и впрямь «помер», то его сестра Пилат своими поступками то и дело опровергает зловещую символику своего имени. Разумеется, переводить этот роман было нелегко, начиная с его названия, которое можно трактовать и как «Песнь Соломона», и как «Песнь песней», и как «Песнь о Соломоне». Передать все оттенки адекватным русским словосочетанием трудно, и вариант нынешний, думается, возражений не вызовет. Е. Короткова в целом достойно справилась со своей задачей, хотя не обошлось и без курьезов. Так, герой, носящий кличку «Empire State», надо полагать, по аналогии с нью-йоркским небоскребом того же названия, получил в переводе несколько загадочное наименование «Имперский штат», хотя, вероятно, стоило использовать принятую у нас транслитерацию «Эмпайр Стейт». А вот транслитерация «озеро Сьюпериор», напротив, вряд ли подходит: есть стандартный вариант «озеро Верхнее».

Пилат щедра, открыта людям, всегда готова помочь, ничего не требуя взамен. Она живет как живется, не обращая внимания на принятые стандарты и правила поведения. Кочевала по стране, замужем не побывала, зато родила дочь Ребу, которая, тоже не побывав замужем, родила Агарь. Так и живут они втроем, на окраине, поторговывая вином домашнего изготовления, бросая тень на респектабельного Мейкона.

Пилат выступает от имени естественности и свободы, Мейкон от имени «дурной социальности» — необходимости. Сложнее обстоит дело с сыном Мейкона по прозвищу Молочник. Слишком долго он «вступает в жизнь», присматривается к миру взрослых. Он, правда, не стремится пойти по стопам отца, сделать карьеру, добиться «места под солнцем». С другой стороны, ему и так хорошо, в нем слишком много уже от потребителя: с малых лет он привык брать от жизни, ничего не предлагая взамен, всасывать блага и удобства, как ребенок всасывает материнское молоко. Идея «обязательств» перед кем бы то ни было его тяготит, воспринимается как посягательство на его драгоценную свободу, как попытка «использовать» его. Он не зол и не расчетлив, но ждать от него тепла, помощи, любви — дело напрасное. В поглощенности самим собой он может быть страшно жесток: так, жертвой его эгоцентризма станет полюбившая его внучка Пилат Агарь.

Полная противоположность ему его друг Гитара. С Гитарой в роман врывается злободневность, обжигающая и трагическая. Гитара — активист экстремистской группы «Семь дней», действующей по принципу «око за око»: всякий раз, когда белые расисты убивают чернокожего и остаются безнаказанными, мстители из «Семи дней» уничтожают выбранного наугад белого. Не важно, что он ни в чем не виноват: для Гитары и его единомыш-

ленников все белые — не люди, потенциальные насильники и убийцы.

Гитара, Мейкон, Пилат олицетворяют последовательные жизненные позиции: бунтующую, конформистски-деловую, пренебрегающую «суетой сует» этого мира — аутсайдерскую. Между ними мечется Молочник, инстинктивно чувствуя недостаточность каждой из них, но не умея выработать свою собственную. Вместе с тем ему все больше и больше хочется взглянуть на мир собственными глазами, найти свое место, так сказать, узнать свое настоящее имя. Последняя часть книги посвящена путешествию Молочника «к истокам»: он отправляется туда, где жил его дед, в надежде отыскать тот самый мифический «клад», что послужил причиной давней ссоры его отца и Пилат.

Здесь повествование делает своеобразный разворот, двигаясь вспять, наперекор времени историческому. Постепенно начинает наполняться смыслом песенка, лейтмотивом проходящая через роман. Оживает легенда о Соломоне, летающем африканце, завезенном в Америку, наплодившем там детей, а потом решившем улететь обратно в Африку. Он захватил с собой сына Джейка, но обронил по пути. Джейком звали и деда Молочника, до того как он получил дурацкую фамилию Помер. Неожиданная «передышка» от будничности оказывается важной для Молочника. Он не только отыскал корни. Ему открылись некоторые важные истины, он приходит к выводу, что «все отношения между людьми в самом деле сводятся к формуле: «ты спасешь мне жизнь или отнимешь ее». Конечно же, это лишь доля истины, все обстоит гораздо сложнее, но отрадно уже то, что герой начинает терять прежнюю сосредоточенность на самом себе.

Моррисон упрекали за то, что, начав с реальности, она кончила мифом, позволив «сказочно-песенному» восторжествовать над социальным. Что ж, не раз в литературе Запада социальное трактовалось как нечто изначально вредоносное для личности, спасение которой якобы открывается лишь в асоциальном пространстве. Создавая дилемму: миф или история, такие художники выбирали миф, где есть пленительная свобода, берущая верх над унылой необходимостью, продуктом социальной истории. У Моррисон, однако, взаимоотношения между мифом и историей, похоже, лишены однозначности. Недаром в момент наступления, казалось бы, полной гармонии раздадутся выстрелы Гитары, убежденного, что Молочник и Пилат перепрятывают «клад», которого не было: на самом деле они предают погребению кости отца Пилат, потомка «летающего Соломона». Реальность, напоминает Моррисон, лишена гармонии, порой опасна для человека, и от нее не укрыться в мифе. Вместе с тем в книге нет того ощущения безнадежности, что слишком часто в последнее время определяет тональность многих произведений американских писателей. Финал трагичен — погибают Молочник и Пилат, — но в нем нет безысходности. Гибель героя, смерть личности нередко трактуются современной западной литературой как самое большое несчастье, какое только может случиться. Согласно таким установкам, с гибелью индивидуума все кончается, ибо он есть начало и конец всего. Не так у Моррисон. Строго спрашивая со своих соотечественников, писательница верит: пока существует в человеке мечта летать, пока есть стремление «давать жизнь», излучать добро и тепло, то жив род человеческий, а человек выстоит и в конце концов восторжествует.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

ЛИЦО ПОД МАСКОЙ

В. Б. Иорданский. Хаос и гармония. Москва, «Наука», 1982.

Маска, лик, недоступный для суетных мыслей...
О лицо, сотворенное богом еще до того, как забрезжила память веков.
Лицо на заре мирозданья...

В этих строках Сенгора, посвященных Пабло Пикассо, запечатлен тот условный образ Африки, который так долго заслонял для Европы ее реальный облик. Этот огромный континент, на протяжении столетий щедро питая чужие грезы, сам оставался непостижимым. Загадочной, пугающей или влекущей маской-ликом, а не человеческим лицом, непроницаемой черной мглой, на которую человек Запада проецировал свои фантазии о «величии первобытного» — со знаком ужаса или восхищения. Страна людей с песьими головами, страна каннибалов и Калибана, страна, где страсти пылают в своей первозданной мощи, не скованные никакими условностями культуры, и где европеец может приобщиться к этой не ведающей запретов свободе...

Эти стереотипы не исчерпали себя и по сей день, что неудивительно. Все представления такого рода принадлежат к сфере мифов и очень мало поддаются рациональному опровержению. Но способен ли «миф об Африке» выдержать испытание самим африканским мифом?

За последнее время вышло немало работ, посвященных проблемам архаического и народного сознания. Переиздан классический труд А. И. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», большое внимание читателей привлекли работы советских исследователей Д. С. Раевского «Очерки идеологии скифо-сарматских племен» и А. Я. Гуревича «Проблемы средневековой народной культуры». Книга В. Б. Иорданского «Хаос и гармония» счастливо дополняет этот ряд, тем более что посвящена она африканской мифологии — одной из наименее известных и малоизученных. Опыты такого рода по воссозданию смыслов бесписьменных культур часто принято именовать «реставрациями». Продолжая эту аналогию с архитектурой, замечу, однако, что далеко не всегда реставрированный памятник — это памятник воскрешенный. Бывает, что все детали и оттенки выверены по чертежам, схемам и научным справочникам, а здание мертво. Равным образом порою, «реставрируя» другую культуру, исследователи

членят перед нами ее душу как безжизненное тело, распластанное на анатомическом столе. Все элементы мифа ясны, описаны его «бинарные» и «троичные» структуры, но в нем нет жизни, нам недоступен тот его глубинный смысл, который когда-то делал этот миф необходимым буквально как воздух. Но бывает иначе: не поступаясь научной корректностью анализа, автор вместе с тем умеет донести до читателя мысль и голос создавших его людей. Тогда возникает особое и довольно редкое впечатление живого диалога с другой культурой, сколь бы древней или своеобразной она ни была. Такое впечатление оставляет книга Иорданского — порою даже не диалога, а непосредственного присутствия на тех вечерних беседах в африканской деревне, где сказываются мифы и легенды и где даже в разговорах на самые обычные, житейские темы (как назвать ребенка? где построить дом?) сквозят древние смыслы.

Человеческий голос африканской цивилизации мы слышим с первых же страниц книги, и голос этот задает «вечные» человеческие вопросы: «Почему люди несчастны? Почему болезни и ранняя смерть подстерегают их? Почему в течение жизни человек испытывает так много страданий и боли?.. Один из самых распространенных и глубоко укоренившихся штампов европоцентрического сознания — это устойчивое, приобретшее силу самоочевидности представление, согласно которому «восточные» (и уж тем более — африканская) культуры не знают понятия «личность», а человек в этой культуре, именно в силу слабого ощущения своей личности, почти не знает страха смерти.

Но обратимся к самой африканской культуре: как и повсюду, неизбежность человеческого конца — вопрос, который непрестанно тревожит ее мысль. «Огромно количество пословиц о неизбежности ухода из жизни,— отмечает Иорданский.— «Мы все принадлежим смерти, мы лишь путники»,— утверждала народная мудрость бабембе. Ей вторила другая пословица этой же этнической группы: «Смерть — это посетитель, которого никому не избежать». И каждый человек готовился к той минуте, когда ему придется сказать «прости» своим близким... «Пляски смерти» великого Гольбейна были бы понятны и близки африканцу прошлого».

«Кто видел скрытое лицо Смерти?» — спрашивали баконго (что напоминает русскую пословицу: «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь»). За всем этим остро ощущается трагизм борьбы с небытием, с издревле нависающей над человеком неизбежностью уничтожения, и в таком свете несколько иными предстают отношения тесной, нерасторжимой связи между личностью и коллективом, характерные для африканской общины. Сколь бы жестокой, авторитарной и подавляющей ни была с европейской точки зрения ее власть над индивидом, при взгляде на эти отношения «изнутри» архаического мироощущения они обнаруживают и другую свою сторону. Община была единственной гарантией выживания для отдельного человека, вне ее он был обречен на смерть. Более того: она поддерживала не только его земную жизнь, но, в представлениях африканца, обеспечивала и его потустороннее бессмертие. Община помогала личности постоянно сохранять и возобновлять свою связь с позитивными, творящими, а не разрушительными силами мироздания. Даже и после смерти она помогала каждому из своих членов не подпасть под власть энергий распада и небытия, отождествиться с «гармонией» и противостоять «хаосу» — если воспользоваться сквозным образом книги, вынесенным автором в ее название.

Колоссальное, героическое напряжение культуротворчества, а не безмятежная игра страстей не обремененного культурой «дикаря» — таким оказывается пафос, дух африканского общества, когда мы обращаемся к самому африканскому мифу, а не к «мифу об Африке». В. Б. Иорданский пишет: «Архаичное сознание было величайшим драматургом в истории человечества... Им драматизировалась сама вселенная, где порядок и гармония торжествовали над хаосом и уродством только для того, чтобы быть разрушенными соперничеством и враждой мифических сил. Бесконечной драмой было столкновение человеческого мира культуры с окружающим его миром дикости, а беспрерывные, чаще всего тщетные усилия людей вернуть, восстановить изначальный порядок, возродить нарушенную гармонию отношений социального микрокосма с мифическими силами временами приобретало поистине трагический оттенок».

Думается, эту малопонятную современному человеку «пуповинную» связь с общиной следует особенно держать в уме, обращаясь к этическим представлениям древнего африканца. Хорошо известно, что область этического вообще едва ли не труднее всего поддается беспристрастному анализу. По крайней мере, два «искушения» подстерегают исследователя на этом пути. Одно из них — стремление осудить как «аморальные» любые нормы и представления, которые расходятся с общепринятыми в нашей культуре. Излишне напоминать, сколь дорогую цену заплатили колониальные народы за расхождения своей этики с европейской: на этом основании им порой едва ли вообще не отказывали в звании человека.

Но возможен и другой подход. Абсолютизируя разнообразие этических представлений, иногда делают вывод об отсутствии объективного содержания этики вообще. Что в одной культуре «зло», в другой считается «добром», и, стало быть, существуют лишь социально и исторически условные и преходящие нормы поведения.

Однако не важнее ли этих частных различий само стремление к разграничению «доброго» и «злого», имманентно присущее человеку и человечеству? При всей исторической и социальной относительности этих понятий за ними угадывается некий неизменный центр, вокруг которого, так или иначе, колеблются частные этические системы. В глубокой древности в египетской «Книге Мертвых» умерший оправдывался, говоря: «Я не чинил зла людям... Я не был причиною слез. Я не убивал. Я не приказывал убивать. Я никому не причинял страданий...»

Этот древний общезначимый идеал, где «злое» есть то, что разрушает бытие чело-

века, человеческого сообщества или космоса, то, что исходит от «черных», отрицательных энергий распада, «доброе» же противостоит этому процессу энтропии, прорисовывается и за сложнейшими хитросплетениями бессмысленных, с нашей точки зрения, «табу», сугубо внешних запретов. Автор сообщает нам: «Карался не аморальный поступок, а акт, нарушающий гармоничность отношений между общиной и мифическим миром, гармонию внутри самой общины». И он же рассказывает: «...среди различных субстанций, образующих личность человека, фоны выделяли «сэ» — совесть, этическое самосознание. Вместе с тем они, вероятно, видели в «сэ» «жизнь» в широком смысле слова...» Или: «В архаическом обществе существовал идеал человека и его поведения, выработанный веками социального опыта. Замбийские «чева» считали «добрым человеком» того, кто обладал «мягким», нравящимся всем характером», кто «никого не обижал», был «мудр, великодушен и общителен». Так ли уж это далеко от того представления о «добром человеке», которое существует в нашей культуре?

И все же, каким бы человеческим ни было лицо африканца под маской традиционной культуры, гаснут древние очаги, исчезают священные рощи — Африка бесповоротно ступила на путь модернизации. А что же станется с великим наследием прошлого и суждено ли хоть каким-то элементам веками, в драматической борьбе выкованной духовности перешагнуть в новую эпоху?

Приговор, выносимый автором этой угасающей культуре в последней главе книги, кажется неожиданно — и, быть может, неоправданно — суровым. Конечно, трудно отрицать тормозящую роль многих архаичных представлений, авторитарной власти коллектива над личностью, бесчисленных, потерявших смысл запретов. Но хотелось бы надеяться, что, ступая на новый путь, африканские народы сохранят то мужество, ту поэтическую силу, с которыми их предки отстаивали «гармонию» перед лицом «хаоса», человеческое бытие — перед лицом грозящего ему уничтожения.

К. МЯЛО

Издано за рубежом

САГА ОБ УЧИТЕЛЕ

Zdeněk Pluhař. V šest večer v Astorii. Praha, Československý spisovatel, 1982.

Зденек Плугарж. В шесть вечера в «Астории». 1982.

Народный писатель Чехословакии Зденек Плугарж, многие романы которого уже известны советскому читателю[1], незадолго до своего семидесятилетия (он родился в мае 1913 г.) выступил с новым крупным произведением этого жанра. Чешская критика восприняла его как «в известном смысле вершину и синтез» творчества видного прозаика, как «лучший роман последних десяти лет».

В статье «Ответственность писателя», опубликованной в апреле 1983 г., Плугарж, как бы подводя итог своей почти сорокалетней литературной деятельности (первая его книга вышла в 1944 г.), отмечал, что на его творчество оказали кардинальное воздействие три исторические вехи: мировая война с шестилетней оккупацией его родины, освобождение ее Советской Армией и знаменательный февраль 1948 г. Эти три исторических рубежа определяют и судьбы героев его новой книги. Однако в той же статье Плугарж писал: «Февраль, который стал определяющим фактором истории,— это, разумеется, большая литературная тема. Ее нельзя обойти, не принять во внимание ни в одном прозаическом произведении, касающемся послевоенной действительности, даже если речь идет о более узкой, интимной тематике. Но мы чувствуем, что в современном романе прямое литературное изображение февральских событий было бы уже известным анахронизмом. В моем последнем романе «В шесть вечера в «Астории», который представляет собой также попытку изобразить одно послевоенное поколение, близящийся политический переворот и его реализация даны в подтексте. Показано воздействие февраля на отдельные фигуры, на их мышление, поведение и дальнейшие судьбы».

Что же выдвинуто в этом «романе поколения» на первый план? Обратимся к сюжету.

Пролог переносит нас в Татры. Конец лета 1945 года... Ночь. Гроза... Вверх по каменистой тропке идут семеро. Три года назад на полулегальной выпускной вечеринке, в обстановке террора, развязанного гитлеровцами после убийства «протектора» Гейдриха, ученики восьмого класса одной из пражских гимназий договорились в первый же год свободы совершить совместную поездку в Татры. Первая красавица Ивонна необдуманной насмешкой обидела влюбленного в нее тщедушного молодого бухгалтера Гейница. Желая доказать ей, на что он способен, тот опередил группу, но заблудился в горах. Классному воспитателю Франтишеку Крчме с шестью вызвавшимися сопровождать его учениками, несмотря на поздний час и непогоду, пришлось отправиться на поиски пропавшего. Гейница наконец находят лежащим с вывихнутой ногой над отвесным обрывом. Простодушный силач Пирк и «некоронованный король класса» Мариан Навара (оба они уже побывали в концлагере) с риском для жизни спасают товарища. Во время импровизированного ужина в горной сторожке, где «спасательная экспедиция» укрылась от ненастья на обратном пути,

[1] Роман «Если покинешь меня...» (1957) переведен на русский, украинский, латышский, эстонский языки, романы «Пусть бросят в меня камень» (1962), «Успех» (1965) — на украинский; в «Библиотеке литературы ЧССР» вышли романы «Конечная остановка» (1971) и «Один сребреник (1974).

бездетный Франтишек Крчма решает взять на себя обязанности негласного отца этой семерки — в случае надобности помогать своим подопечным и ненавязчиво внушать им «главные этические постулаты, а также основы того, что превращает биологическую особь в человека, определяя его характер: гражданскую ответственность, принципиальность, честность в работе, терпимость к другим и т. д.».

Ученики прозвали Крчму Робером Давидом. В 1936 г. чешскую литературную общественность взбудоражило появление сборника «52 горьких баллад вечного студента Роберта Давида», написанных как бы от имени духовного наследника Франсуа Вийона. Подлинным автором книги был Витезслав Незвал. В балладах Роберта Давида, которые Франтишек Крчма, преподаватель чешского и французского языков, не раз читал ученикам, содержится «рыцарский кодекс» бедняка. Так же как для героя известного рассказа Яна Дрды «Высший принцип», прозвище становится для Франтишека Крчмы, в сущности, лестной и ко многому обязывающей характеристикой.

Одну из «горьких» баллад Незвала декламирует Ивонна, придя на пробу в киностудию. От волнения декламирует необыкновенно плохо. Этот провал влечет за собой цепь легкомысленных поступков, в результате которых красивая, смелая и, быть может, одаренная девушка оказывается в Германии в роли брошенной возлюбленной американского фоторепортера. Вместо звезды Голливуда — заурядная барменша. Судьба Ивонны напоминает судьбу Гонзика Пашека, главного героя романа Плугаржа «Если покинешь меня...». Побег за романтической мечтой, которая на деле оказывается обманчивой иллюзией, и трудное возвращение на родину объединяют этих персонажей.

На праздновании пятилетия выпуска 1942 года в пражском кафе «Астория» Роберт Давид (так будем называть Франтишека Крчму и мы) сознает, что Ивонна — его первый, как говорят немцы, «Sonderkind», то есть ребенок, нуждающийся в особой заботе, внушающий наибольшую тревогу. Перед читателем пройдут еще три таких вечера (в 1952, 1957 и 1962 годах), играющих роль своеобразных интермедий, и на каждом из них выявляется новое «дитя для заботы». На десятилетнем юбилее — это начинающий писатель Камил Герольд, сын владельца фешенебельного гастронома. После февраля 1948 года он вынужден покинуть филологический факультет и не без труда находит правильный путь в жизни и литературе (для Плугаржа его творческие искания — это и часть литературной автобиографии, и ретроспективный взгляд на историю послевоенной чешской прозы, и способ сформулировать и выразить устами Франтишека Крчмы собственное реалистическое литературное кредо). На вечере в честь пятнадцатилетия — Мариан Навара, получивший звание лауреата государственной премии за важное медицинское открытие, но не выдержавший той моральной нагрузки, которая ложится на плечи молодого ученого после раннего крупного успеха. В тот или иной момент «детьми для заботы» оказываются все семеро подопечных Крчмы. Одних он выручает в трудную минуту, другим помогает найти себя, полностью раскрыть свои дарования. В жертву своим принципам самоотречения. Учитель приносит самое дорогое — долго скрываемую им любовь к своей бывшей ученице Эмме Михловой.

Зденек Плугарж — писатель с большим жизненным опытом, с широкой шкалой интересов и увлечений. В канун Мюнхена он работал на строительстве пограничных укреплений, в период гитлеровской оккупации прошел через тюрьмы и концлагеря, после войны возглавлял строительство крупной плотины; совершал альпинистские восхождения в Татрах и Альпах, побывал во многих странах. Личный опыт находит отражение и в его творчестве. В первые послевоенные годы главные его темы, наряду с темой Сопротивления (романы «Мечта, хлеб мой», 1947; «Тучи над Савоей», 1949),— человек в труде, в борьбе с природой, человек и техника («Кресты тянутся к Тихому океану», 1947; «Бронзовая спираль», 1953; «Синяя долина», 1954). Постепенно в писателе-инженере все больше раскрывался талант педагога, но не в узкопрофессиональном, а в самом широком смысле. Педагогическая струнка проявляется в его научно-популярных книгах, в книгах, адресованных юношеству, в использовании приемов приключенческого и детективного жанров для постановки серьезных этических и социальных проблем, в склонности к сентенциям и афоризмам. Проблема воспитания и воспитательной роли литературы (в основном на отрицательных примерах) глубоко затрагивается в романе «Если покинешь меня...». Непосредственно к педагогической проблематике Плугарж обращается в романе «Пусть бросят в меня камень». Как это часто бывает, зарождению замысла этого произведения помогла случайность: окна кабинета писателя выходили в сад детского дома. Столкнувшись с фактом детской преступности, Плугарж главных ее виновников увидел во взрослых. В этой книге впервые в его творчестве появляется образ самоотверженного воспитателя. Писатель стремится всесторонне осмыслить жизненные проблемы. В романе «Конечная остановка» Плугарж изображает дом престарелых: лишними, ненужными, брошенными, забытыми здесь оказываются престарелые родители неблагодарных детей. И если в книге «Пусть бросят в меня камень» фигурируют родители, которые к собственным детям относятся как к чужим, а в «Конечной остановке» родители страдают от недостатка внимания со стороны родных детей, герой нового романа Плугаржа как бы усыновляет и удочеряет чужих детей, которые признают в нем духовного отца.

Каждая социалистическая страна вносит свой, особый вклад в мировую культуру социализма. И не случайно, что Зденек Плугарж, сын нации, выдвинувшей великих моралистов и педагогов — Томаша Штитного, Яна Гуса, Петра Хельчицкого, Яна Амоса Коменского,— создал роман, который можно назвать сагой об Учителе.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ В ПОРТУГАЛИИ

На читательских вкусах современных португальцев не могло не отразиться широкое распространение средств массовой информации. В Португалии, где достаточно много неграмотных — в некоторых районах страны их количество достигает 30% — этот процесс оказал особенно большое и, как правило, пагубное влияние на читающую публику. Общеобразовательная миссия оказалась телевидению не по плечу, и если оно изредка уделяет внимание литературным новинкам, то речь идет об очередном бестселлере. И хотя на сей день Португалия не достигла такого уровня экономического развития, который позволял бы говорить об обществе потребления, тем не менее пороки такого общества страна уже переняла у своих западных соседей. К ним, в частности, относится увлечение легкими, развлекательными произведениями, к тому же предварительно «разжеванными». Излюбленным чтивом подростков, обслуживающего персонала являются в Португалии детективы. При этом нужно заметить, что книги этого жанра, поглощаемые нашим средним читателем, лишены даже той пластичности и выразительности, что нередко отличают подобные произведения в других странах, например во Франции. У нас это чисто коммерческие поделки, нередко затрагивающие сентиментальные струнки, нередко воспевающие насилие, но такого рода книги мешают читателям найти путь к истинной литературе. В последнее время очень популярен стал и другой вид развлечения — фотороман, близкий родственник бразильского телеромана (именно бразильского, поскольку португальский только зарождается и его сюжеты несравненно беднее).

Эта неутешительная картина позволяет сделать вывод: среди широкой читательской массы нет интереса к современной национальной литературе. Если и случается, что влиятельная пресса поддерживает то или иное произведение серьезного автора, это бывает лишь в виде исключения, особенно учитывая, что литературные страницы, не говоря уже о приложениях, в португальских газетах — большая редкость.

И все это тем более обидно, что в Португалии выходит немало книг глубоких и новаторских с точки зрения содержания и формы, книг, которые достойны всяческого внимания и серьезного анализа.

Один из наиболее интересных писателей 80-х годов — это, без сомнения, Жозе Сарамаго. Двумя своими последними романами, «Поднявшиеся с земли» (он уже переведен в вашей стране) и «Записки о монастыре», этот уже немолодой писатель — ему за шестьдесят и на его счету целый ряд прозаических и поэтических книг — продемонстрировал, какие неизведанные возможности таятся в жанре романа. В этих книгах — особенно в последней — автор значительно обогащает традиционную манеру повествования и традиционную историческую прозу. Писатель с необыкновенной тщательностью и методичностью воспроизводит не только быт и эпоху, но даже и язык XVIII века, когда строился существующий по сей день знаменитый монастырь в Мафре. Рассказывая о его строительстве, гигантский размах которого потребовал усилий многих тысяч людей, вводя в повествование ряд исторических фигур, Сарамаго создает реалистический роман, где верность фактам уживается, однако, с художественным вымыслом и где каждая страница дышит поэзией; роман, в котором основными темами являются любовь, труд, стремление людей к прогрессу.

Интересным литературным событием стал недавний роман Лидии Жоржи «День чудес», воскрешающий одну из наиболее устойчивых национальных литературных традиций — традицию романа, в котором этнографические элементы сочетаются с фантастическими. В книге рассказано о затерянной деревушке, существование которой никак не связано с «большим миром». Сюда приглушенно и с опозданием докатываются отголоски известий о колониальной войне и о революции 25 апреля — эти события никак не влияют на жизнь поселка. Писательница убедительно показывает, что в Португалии существуют два мира, каждый из которых живет своей обособленной жизнью, однако контакт между этими мирами и важен и необходим. В другой книге, «Набережная полдников», Лидия Жоржи идет еще дальше и рисует — день за днем — существование прислуги роскошного отеля, что воспринимается как метафорическое изображение жизни страны, которая, едва выйдя из нищеты, старается подражать богатым, более развитым странам — членам общего рынка.

В современной португальской литературе довольно популярен магический реализм, прекрасным примером которого стал роман Жоана де Мело «Я из другого мира». Действие его протекает на небольшом острове, где наряду с обычными явлениями происходят всякие необыкновенные события, а среди персонажей книги есть и мифические существа. Власть на острове сосредоточена в руках политиков и клерикалов, которые держат в повиновении все население острова. Так продолжается из века в век, пока не начинается стремительное развитие техники, убивающее все, что было необыкновенного на этом острове. Жизнь становится иной, и люди покидают остров. В этой книге писатель, которого мы знали как автора романа о колониальной войне «Я видел, как убивали и умирали» и сборника рассказов «История Сопротивления», обращается к метафорическому повествованию, наполненному библейскими образами и реминисценциями.

Фантазия занимает большое место и в книгах Марио ди Карвальо. Это прекрасный рассказчик, которому высокая литературная культура позволяет со вкусом объединять в своих книгах такие, казалось бы, разнородные элементы, как португальский фольклор, романтизм, восточная философия и традиция португальской литературы XVII века о путешествиях и кораблекрушениях. На страницах его книг мы ощущаем влияние По и Конрада, Борхеса и записок порту-

гальских путешественников «Трагическая история мореплавания».

Писатели пробуют новые пути в литературе и делают немало успехов, но это нисколько не умаляет заслуг авторов, которые уже давно приобрели широкую популярность. Достаточно назвать хорошо известных советскому читателю Фернандо Намору и его последнюю книгу «Печальная река» или Жозе Кардозо Пиреша и его роман «Баллада о собачьем пляже». Последняя книга получила Большую премию Ассоциации португальских писателей и стала бестселлером 1983 года. Такой популярности немало способствовал и сюжет книги: в ней рассказывается о преступлении, совершенном в 60-е годы, во время диктатуры Салазара, о сведении счетов внутри самого репрессивного аппарата. Искусно выстроенная книга читается как увлекательный детективный роман. Подробнее о ней вы прочитаете ниже, в статье Марио Вентуры, который включил в свое эссе фрагменты беседы с Жозе Кардозо Пирешем и размышления автора о собственной книге.

Назову еще несколько книг, которые, по моему мнению, можно поставить в один ряд с наиболее выдающимися произведениями писателей других европейских стран. Это роман Агустины Бесса Луиш «Золотые ребята», рассказывающий о периоде после апрельской революции. В нем описана история современных магнатов от политики, их провалы и поражения. Остросоциальные и психологические книги молодого талантливого писателя Антонио Лобо Антунеша, роман «Площадь Толстого» Нуно Брагансы, повествующий о любви, борьбе, антифашистском Сопротивлении и вынужденной эмиграции. В последнее время появилось несколько интересных писательниц: Теолинда Жерсан, романы которой («Молчание» и «Пейзаж с морем и женщиной вдали») так по-женски лиричны; Габриэла Льянсон, сумевшая в книге «География непокорных» соединить элементы романа, поэмы, эссе и мифа.

В заключение можно сказать, что сегодняшняя португальская литература, используя свободу слова, которую ей дала апрельская революция, все активнее обращается к современной действительности и, даже обращаясь к прошлому, ищет в нем истоки сегодняшних явлений и событий. Португальская литература находится в поиске, и этот путь зачастую оказывается плодотворным.

УРБАНО ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

г. Лиссабон

«ДИССЕРТАЦИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ»

Jose Cardoso Pires. Balada da Praia dos câes. Lisboa, O jornal, 1983.

Жозе Кардозо Пиреш. Баллада о собачьем пляже. 1983.

«Страх есть воплощение одиночества, и страх толкает на преступление. Моя книга обвиняет не реальных убийц, а систему, порождающую страх, коверкающую людские судьбы. Роман основан на действительно имевшем место событии: убийство майора, бежавшего из тюрьмы, где он ожидал суда за участие в антифашистском мятеже»,— пишет Жозе Кардозо Пиреш в послесловии к своей книге «Баллада о собачьем пляже», которую критики назвали «диссертацией о преступлении и о том, что его окружает».

По прочтении «Баллады о собачьем пляже» хочется задать несколько вопросов Жозе Кардозо Пиришу. Между тем может создаться впечатление, что автор, который способен перевоплощаться одновременно и в подсудимого, и в следователя, и в свидетеля, и в судью, по-видимому, мало что имеет сказать, он путается в различных версиях, дает противоречивые объяснения, старается обойти некоторые вопросы или отвечает вопросом на вопрос.

И вот он показывает фотографии, документы, которые — и спрашивающий даже не сразу обнаруживает это — могут с равной вероятностью и прояснить истину, и ввести в заблуждение.

Вглядимся в одну из фотографий и вслушаемся в пояснения автора: «Двадцать лет тому назад, может чуть меньше, может чуть больше, пустынный берег в пригородах Лиссабона, бурное море, пустынные дюны, группа людей — видите, это полицейские. Они склонились над неглубокой могилой, где лежит безгласный, полуразложившийся труп неизвестного, жертвы, как вы сами можете догадаться, насильственной и, значит, неестественной смерти. Это и есть начало истории, которая насчитывает сегодня вот уже два десятка лет».

Кто бы мог сказать в тот хмурый зимний день — а о том, что зима сурова, свидетельствуют непромокаемые плащи полицейских на фотографии,— что только что начавшаяся история будет продолжаться так долго, а через двадцать лет ее снова выкопает — простите за аналогию — на свет божий летописец, решивший воссоздать атмосферу более сорока лет царствовавшего в нашей стране фашизма.

Другая фотография, третья.

Автор курит и рассказывает, как около пятнадцати лет тому назад он решил написать об одном происшествии и написал историю преступления. Получилось нечто прямо противоположное тому, что он задумал. Ну, что такое преступление само по себе? Детективная история, вряд ли что-либо большее. Как это ни печально, работа нескольких лет пошла насмарку. Только много позже, когда известные социальные перемены в стране изменили саму историческую перспективу, он взялся заново за эту историю, которую точнее было бы назвать историей того, что окружало преступление. Или чрева, которое его породило. Ну, или как там читателю захочется... Летописец, услужливый и внимательный, лишь предлагает некую гипотезу.

А теперь записки писателя.

Как ящик Пандоры, открывается папка с записями автора. Наблюдателю кажется, что вот-вот он проникнет во все писательские тайны, в святая святых литературного творчества. Отдельное слово, фраза, цитата могут стать зародышами объемистого сочинения. Так же как долгий

путь начинается всегда с первого шага, так и дорога созидания книги зачастую начинается с какой-то случайной мысли или слова. Вот, например: «Отец Томаж перерезает ленту и поднимается на мачту».

Это не просто фраза, но резец, с помощью которого можно вылепить барельеф эпохи. Америко Томаж, последний президент республики во времена фашизма, старец, послушный всем капризам диктатора Салазара, воплощал в себе всю абсурдность эпохи — той эпохи, что породила преступление, о котором рассказывает книга.

«Собаки — это драматический образ человека, точнее, выражение его сути».

Итак, мы приближаемся к объяснению названия книги. Ведь собаки, которые раскопали труп убитого майора, завершили его уничтожение.

Вдумайтесь в название книги, о которой идет речь: «Баллада о собачьем пляже». Любовь к истине заставляет нас искать в самой книге подтверждение следующего незамысловатого определения, которое мы тоже находим в записях автора: «Баллада — это поэтическое повествование о сказочном или фантастическом происшествии».

Какова же мораль этой истории? Потому что каждая история неизбежно должна иметь мораль, а если ее нет, то любители литературных норм или нормированной литературы, если угодно, обязательно ее обнаружат. Что ж, пойдем дальше, вот перед нами другой документ из папки писателя:

«Португальцы — мы все кормимся Историей, прошлым, мертвецами, мы любим заниматься самокопанием, и так создается наше национальное самосознание».

И вот после этой едкой сентенции незаметно и просто преступление отходит на задний план. В конце концов напрашивается вывод, что все мы — подсудимые «Баллады о собачьем пляже». Вывод, который подтверждает нашу склонность к самокопанию.

Закроем папку писателя. Удостоверясь, что это не история преступления, а размышление о том, что его вызвало, поговорим о героях книги. Главное действующее лицо на всех 250 страницах романа — это город Лиссабон. Обратимся снова к автору, чтобы он дал определение этому персонажу:

«Книга вся погружена в музыку шестидесятых годов. Есть там одинокий полицейский, который держит дома ящерку и часто бродит по городу, вполголоса напевая арии из опереток проституткам квартала. Есть певец Нат Кинг Коле, мелодии которого бьются и мечутся в кондитерской на улице Гомеша Ферейры.

По моему замыслу, характерные фигуры той эпохи должны оживлять картину: капитан Майа Лоререйру, который был ужасом для всех транспортников и для старого кабаре «Аркадия» (теперь оно называется «Солмар»), капитан Малтеж, который прославился тем, что разгонял студенческие манифестации против фашизма».

Итак, город — настоящий герой «Баллады о собачьем пляже». А остальные — просто статисты, и наименее реальные из них именно те, которых наша память идентифицирует с людьми, действительно жившими двадцать лет назад. Рядом с руководителем группы, полицейским Элиашем Сантаной, персонажем выдуманным — он дружит с ящеркой, да и сам он нечто вроде ящера в ночном Лиссабоне,— так вот рядом с ним жертва и преступник, имена которых легко обнаружить в полицейской хронике начала шестидесятых годов, но они кажутся фигурами нереальными, расплывчатыми, отдаленными. Не говоря о Лиссабоне, все герои достаточно вероятны и правдоподобны, но ирреальны.

А где же реальность? Возможно, она возникает с того момента, когда мы, стараясь понять ее, начинаем ее интерпретировать? Для следователя по делу об убийстве капитана Алмейды Сантуша в 1961 году существует одна реальность. Для меня, присутствовавшего на судебных заседаниях в Синтре, во время которых разворачивалось — хоть и неполно — все сплетение мрачных и запутанных отношений (политических и человеческих), реальность совсем иная. А для писателя, который двадцать лет спустя использовал преступление на пляже для вскрытия противоречий эпохи, реальность представляется уж совершенно третьей. Как говорится, реальность — это то, что видит перед собой каждый из нас.

Жозе Кардозо Пиреш знает это и потому заканчивает свою книгу словами: «Между фактом и вымыслом есть определенная дистанция, и в то же время они сближаются на каждом шагу. Предполагается, что они существуют независимо друг от друга и одновременно в противоречивом слиянии, существуют как реальность и как сомнение в ней, и их совпадение и взаимоотталкивание отнюдь не случайны».

Иначе говоря: ничто не происходит случайно. И не случайно, а по воле автора появилась прекрасная книга «Баллада о собачьем пляже», в которую Жозе Кардозо Пиреш вложил столько труда.

МАРИО ВЕНТУРА
г. Лиссабон

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ОБРЕЧЕННЫЙ»

Так называется новый роман известного австрийского писателя Томаса Бернхарда, вышедший в издательстве «Зуркамп». По выражению критика газеты «Франкфуртер альгемайне» Петера Демеца, роман представляет собой «один гигантский монолог», который произносит герой, австрийский пианист. Когда-то он учился у самого Горовица вместе со знаменитым канадцем Гленом Гульдом и венским студентом Вертхаймером. Все трое были друзьями, вместе жили, вместе музицировали. Глен Гульд заметно превосходил товарищей талантом и совершенством своей игры. Он умер от инфаркта во время концерта, а затем покончил с собой и Вертхаймер — он повесился на дереве перед домом своей сестры.

Теперь рассказчик мучительно пытается понять, почему его друг так поступил. Может быть, он хотел таким образом освободить сестру, которую привязывал к себе, «как тюремщик», не давая даже выйти замуж? Или причины глубже?

Когда-то Глен Гульд полушутя назвал Вертхаймера «обреченным», то есть человеком, внутренне предрасположенным к гибели. В этом мире он искал лишь какого-то абсолютного совершенства и чувствовал, что это недостижимо.

В комнате, где провел свои последние часы Вертхаймер, рассказчик находит пластинку с записью Глена Гульда и, прослушав ее, понимает: игра Гульда — это верх совершенства, невозможность достичь которого привела в отчаяние Вертхаймера.

Один из исследователей творчества Бернхарда както заметил, что в его мире правы только мертвые гении, а у живых нет надежды. Критик считает, что нечто подобное можно сказать и о его новом романе. Романтическое противопоставление «низменной» жизни «высокому» искусству имеет в литературе древнюю традицию. Здесь очевидна, замечает критик, спорность такого представления: живому не оставляется никаких надежд, он обречен чувствовать себя беспомощным и бессильным.

БОЛГАРИЯ

ПОЭЗИЯ И БОРЬБА

«Поэзия и борьба» — под таким девизом проходил традиционный праздник болгарской поэзии, посвященный 60-летию Сентябрьского антифашистского восстания. Эта знаменательная дата торжественно отмечалась по всей стране. Поэты, деятели культуры, представители общественности собрались в Михайловграде, городе, который был центром восстания. Они приветствовали известного поэта, Героя Народной Республики Болгарии Младена Исаева, который в 1923 г. еще юношей участвовал в этих исторических событиях. М. Исаев был удостоен специальной премии «Сентябрь». Еженедельник «Литературен фронт» помещает беседу с поэтом. Говоря о впечатлениях от посещения памятных для него мест, он сказал: «Я был глубоко взволнован и в то же время счастлив тем, что смог увидеть, как новые поколения выполняют революционные заветы и выражают свою признательность тем, кто воевал за их будущее».

Весь праздник поэзии, как отмечает болгарская пресса, стал ярким выражением преклонения перед теми поэтами, которые откликнулись на восстание, воспели в своих произведениях поднявшиеся на борьбу массы и оплакали жертвы кровавого террора, начавшегося после подавления восстания. Одним из них был Гео Милев, создатель замечательной поэмы «Сентябрь». Фашисты зверски расправились с ним, но поэма быстро приобрела популярность не только в родной стране, но и за рубежом.

В дни празднования 60-летия Сентябрьского восстания Союз переводчиков Болгарии организовал международную встречу переводчиков поэмы. Как сообщает еженедельник «Пулс», в ней приняли участие переводчики из Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии, Англии, Финляндии, с Кипра, из Советского Союза. Среди них была и М. Павлова, которой принадлежит лучший перевод поэмы на русский язык.

Всего в зарубежных странах насчитывается более двадцати изданий поэмы Гео Милева. Интересно итальянское издание с иллюстрациями Р. Гуттузо. На испанский язык поэму перевел выдающийся чилийский поэт П. Неруда.

ВЕНГРИЯ

ПИСЬМА ЭНДРЕ АДИ

Как о большом событии в культурной жизни Венгрии пишет газета «Непсабадшаг» о выходе в Будапеште в издательстве «Сепиродалми» писем Эндре Ади в трех томах. Это самый полный свод эпистолярного наследия, составивший почти тысячу четыреста писем и телеграмм, посланных поэтом, и больше четырехсот, полученных им.

Автор статьи, посвященной этому изданию, Андраш Михай Ронаи пишет, что письма выдающегося венгерского поэта XX века, провозвестника и глашатая венгерской социалистической революции 1919 года, расширяют и углубляют представления о его литературно-общественной и публицистической деятельности, которая сплачивала в первые десятилетия нашего века вокруг крупнейшего венгерского прогрессивного журнала «Нюгат» наиболее передовую, демократически настроенную часть литераторов.

Говоря в своей статье о Дьёрде Белиа, составителе трехтомника и авторе комментариев, Андраш Михай Ронаи особо отмечает письма Ади к Лайошу Хатвани — известному литератору, очень много сделавшему для поэта, страстно защищавшему его от нападок идейных и эстетических противников. Эти письма, пишет Ронаи, выражают взгляды Ади на передовую венгерскую поэзию и — что особенно важно сегодня — открыто демонстрируют его идейное кредо: правомерность обращения поэта к политике, к революции, к теме рабочего класса.

По письмам Эндре Ади, указывает дальше Андраш Михай Ронаи, можно проследить, как мужественно боролся Ади в пору шовинистического угара первой мировой войны, за сохранение в литературе демократических тенденций, с каким достоинством он отвечал модернистским писателям, сторонникам искусства для искусства, ополчившимся на него за нежела-

К образу Ференца Листа, внесшего огромный вклад в развитие венгерской и мировой музыкальной культуры, не раз обращались живописцы и скульпторы разных стран.
На снимке: новая работа венгерского скульптора Имре Варги «Ференц Лист» (г. Печ).

(Журнал «Уй тюкёр»)

ние быть знаменем декаданса в венгерской литературе.

Особо отмечает Андраш Михай Ронаи обширную переписку Ади с Адель Брюль, вошедшей в его поэзию под именем Леды, и Бертой Бонца, называемой поэтом в своих стихах Чинской.

«За тремя томами писем Ади,— пишет в заключение Андраш Михай Ронаи,— бушует пламя, рвущееся из истории и освещающее его поэзию».

миссии более значимой, чем эта». Таково идейно-художественное кредо, которое он последовательно исповедует на протяжении всего своего творческого пути.

По случаю юбилея Ш. Шомоди Тот награжден орденом Труда Золотой степени.

ГДР

«БЕСПОКОЙСТВО»

Так назвала свой киносценарий писательница Хельга Шуберт. Ее имя хорошо известно в Германской Демократической Республике. Знают ее и в Советском Союзе. В журнале «Иностранная литература» публиковались рассказы писательницы (см. «ИЛ», 1976, № 9 и 1978, № 7) и статья о ней (см. «ИЛ», 1980, № 1).

Хельга Шуберт, по образованию врач-психотерапевт, начала писать сравнительно поздно. В ее произведениях сказался профессиональный опыт. Она тонкий, наблюдательный психолог. В основном героини ее — женщины, наши современницы.

Главная героиня сценария «Беспокойство» Инга Герольд работает консультантом по вопросам семьи и брака. Она разошлась с мужем, воспитывает сына-подростка. У нее есть человек, которого она любит, но тот женат и семьи с ней создать не может. До поры до времени жизнь идет у Инги по определенному, налаженному руслу. Но неожиданно в результате обследования у нее заподозрили тяжелую болезнь и ей предстоит операция.

Один день из жизни женщины описала Хельга Шуберт. В этот день Инга как бы проживает свою жизнь заново. Она переоценивает свои поступки, поступки близких людей, задумывается о своих взаимоотношениях с ними, ставит перед собой вопрос: правильно ли она живет.

Режиссер Лотар Варнеке создал фильм, который был с интересом принят зрителями. На 2-м Национальном фестивале в городе Карл-Маркс-штадт было присуждено шесть пре-

На снимке: кадр из фильма «Беспокойство». В роли Инги Герольд — Кристина Шорн.

(Серия «Диалог» издательства «Хеншель»)

ШАНДОРУ ШОМОДИ ТОТУ — 60 ЛЕТ

Имя этого талантливого прозаика, лауреата премии имени Аттилы Йожефа широко известно не только в Венгрии, но и за рубежом. Его повести «Как дела, молодой человек?» и «Ты был пророком, милый» благодаря своей остроактуальной нравственной проблематике и высоким художественным достоинствам вызвали живейший интерес у советских читателей.

В одном из интервью писатель сказал: «В ходе упрочения социалистических основ общества нет ничего более важного, как всемерное поощрение коллективистского образа мышления. И у литературы тоже нет

мий — за сценарий, за режиссуру, за исполнение главной роли и второстепенной женской роли, за операторское искусство и за монтаж. Кроме того, фильм был удостоен премии «Дер гроссе штайгер».

В послесловии к сценарию, изданному издательством «Хеншель», писательница Эрика Рихтер, работавшая над его драматургической обработкой, пишет:

«Для Хельги Шуберт и Лотара Варнеке — это попытка завязать со зрителем серьезный разговор о смысле жизни, о взаимоотношениях поколений, об эмансипации, о стремлении к независимости... Фильм и сценарий неидентичны. Лотар Варнеке внес какие-то детали, но это только усилило впечатление от глубокого и интересного сценария».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1983 год. За свои литературные и публицистические произведения премии удостоен председатель Союза писателей ГДР Герман Кант. Премии получили писатели Вольфганг Йохо «за все творчество в целом» и Ганс Вебер «за книги для молодежи», поэты Эрих Арендт «за поэтическое творчество и переводы» и Карл Микель «за разностороннее творчество, в особенности за свою лирику».

Премия вручена коллективу, работавшему над документальным телевизионным фильмом «Буш поет» — «хронике борьбы рабочего класса с империализмом и фашизмом» (последняя работа Конрада Вольфа, которую он не успел завершить).

Премии получили также композиторы, художники, графики, архитекторы, театральные критики.

ЕГИПЕТ

«УЛИСС» ДЖОЙСА НА АРАБСКОМ

В Египте опубликован в переводе на арабский язык роман Джеймса Джойса «Улисс». Этому литературному событию посвятил заметку обозреватель журнала «Аль-Хиляль» известный писатель Юсуф аль-Куайид. «В Каире, — пишет он, — впервые вышло полное арабское издание одного из важнейших романов XX века — романа «Улисс» великого ирландского писателя Дж. Джойса». (Вторым «великим романом» XX столетия аль-Куайид называет «В поисках потерянного времени» французского писателя Марселя Пруста, перевод которого осуществляется в настоящее время в Сирии министерством культуры. Уже вышли в свет на арабском три части этого романа.)

«Улисс» в арабском переводе включает два больших тома. «За этим переводом, — пишет аль-Куайид, — стоит «неизвестный солдат» — доктор Таха Махмуд Таха, профессор английской литературы из Каирского университета, работающий ныне в университете Кувейта. Этот человек заслуживает не просто ордена, не просто одной из многочисленных премий нашего времени, которые потеряли свой смысл. Он заслуживает памятника». Доктор Таха изучает творчество Джойса многие годы. Несколько лет назад он выпустил в Кувейте «Энциклопедию Джеймса Джойса». На перевод романа «Улисс» он потратил немало лет и усилий.

За этим большим трудом, заключает свою заметку аль-Куайид, стоит еще один «неизвестный солдат» — владелец и руководитель Арабского центра исследований и публикаций доктор Махмуд аш-Шенити, предпринявший на свой страх и риск издание огромного произведения, которое следовало бы издать за счет государства.

ИНДИЯ

СПЕКТАКЛЬ ПОД УГРОЗОЙ

В Индии отмечается своеобразный «театральный бум»: по всей стране действуют многочисленные самодеятельные кружки, группы, ассоциации; в крупных городах возникают профессиональные театры, которые быстро завоевывают признание и популярность; драматургия становится одним из наиболее динамично развивающихся жанров литературы.

Наибольшим успехом пользуются спектакли, поднимающие насущные социальные проблемы современной Индии. Далеко не у всех зрителей такие спектакли встречают восторженный прием. Активный протест вызывают они у тех, чьи интересы задевают. В связи с этим не может не привлечь внимание опубликованная в еженедельнике «Нью эйдж» большая рецензия на спектакль «Божественные просчеты», поставленный на языке малаялам «Клубом народного искусства Кералы». В течение почти десяти месяцев он с успехом идет во многих городах этого южного штата. В пьесе, написанной Каньяпурамом Рамачандраном и поставленной известным драматургом и режиссером Тхоппилем Бхаси, разоблачается преступная деятельность шайки гангстеров, которые крадут произведения искусства из храмов при поддержке тех, кто по долгу службы должен охранять святыни.

Растущая популярность спектакля вызвала недовольство реакционеров. В адрес участников и устроителей спектакля посыпались угрозы. Особую активность проявляет РСС («Союз служителей нации») — молодежная военизированная организация индусской реакции. Молодчики из РСС неоднократно совершали нападение на помещения, где проходил спектакль: били стекла, ломали мебель, рвали занавес, портили осветительную аппаратуру. Для того чтобы уберечь исполнителей и публику от обнаглевших бандитов и не допустить срыва спектакля, местная организация КПИ выставляет оцепление из добровольцев.

Не раз налагали запрет на спектакль и местные власти под тем предлогом, что демонстрация пьесы служит причиной нарушения общественного порядка. Запрет снимался лишь после решения высшего суда штата, куда «Клуб народного искусства» обращался с апелляцией.

Прогрессивная общественность штата выражает возмущение оголтелой кампанией травли, развернутой вокруг спектакля боевиками из РСС.

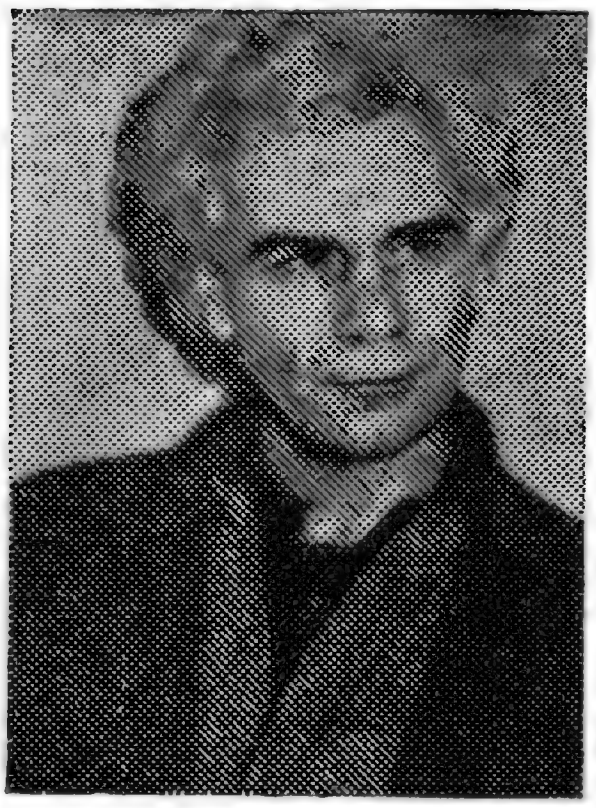
Фильм режиссера Шравана Кумара «Мачеха», созданный по сценарию известного прозаика хинди Камалешвара, повествует о том, как власть денег калечит людей, порождая между ними подозрительность, недоверие, ненависть. Только среди простых людей человек может найти поддержку и понимание. Рецензент газеты «Джан юг» отмечает отличную игру исполнителей главных ролей — Падмини Кольхапури (на фото) и Шрирама Лагу.

(Газета «Джан юг»)

ИТАЛИЯ

НОВАЯ КНИГА Л. ШАШИ

В книжных магазинах Италии появился новый сборник рассказов Леонардо Шаши «Кроссворд». Автор, как замечает критик журнала «Эспрессо» Паоло Милано, дал книге такое название, взяв за основу мысль Пьетро Паоло Тромпео: «Когда



Джан Мария Валонте, с успехом сыгравший главную роль в фильме швейцарского режиссера Клода Горетта «Смерть Марио Риччи» и отмеченный премией Каннского фестиваля за лучшее исполнение мужской роли, дал интервью корреспонденту «Юманите диманш», в котором, в частности, сказал: «Для меня важно не идти по проторенной дорожке, нанизывать один фильм на другой, я выбираю только то, что мне по душе. Я также считаю, что личность актера не должна подавлять создаваемый им образ, нужно знать точную меру актерского вклада в персонаж, задуманный автором». На снимке: Джан Мария Валонте.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

Аполлон и Музы принимаются решать кроссворд, рождаются замечательные комбинации».

В Советском Союзе имя итальянского писателя широко известно. Произведения Л. Шаши издавались и отдельными сборниками и печатались в журнале «Иностранная литература» («Сова появляется днем», «Каждому свое», «Американская тетушка»).

Творчество Леонардо Шаши привлекает своей гражданственностью, гуманизмом, верностью нравственному и общественному долгу. Писатель тонко чувствует ту неразрывную связь настоящего художника с родной почвой, в которую навсегда пущены его корни. Для Шаши — это Сицилия, где он родился и вырос и которую, как говорит он сам, не променяет ни на какое другое место в мире. С Сицилией связаны все помыслы и чувства писателя. Поэтому лучшими произведениями Шаши, по признанию критики, являются так называемые «сицилийские» рассказы.

В сборнике «Кроссворд» есть также несколько очерков (их скорее можно назвать рассказами) об известных сицилийцах. Одним из наиболее интересных следует признать эссе о несправедливо забытом романисте и историке итальянской романистической критики Джузеппе Антонио Боргезе (1882—1952). Оригинально сделана зарисовка-портрет художника раннего Возрождения Антонелло да Мессина, где рассказ ведется от имени персонажей картин художника. Вновь в сборнике читатель встречается с одним из самых любимых и постоянных героев произведений Шаши, уроженцем сицилийского города Агридженто, романистом и драматургом Луиджи Пиранделло. В этом рассказе Шаша вспоминает о его произведении «Покойный Маттиа Паскаль» в связи с постановкой Марселем Л'Эрбье в свое время одноименного фильма с И. И. Мозжухиным в главной роли.

Наряду с рассказами о коренных сицилийцах в сборнике немало этюдов о других известных итальянцах. В том числе об А. Мандзони, Альберто Савинио и других.

За эти рассказы и десятки других, в которых писатель обнажает социальные язвы общества, где он заявляет о необходимости улучшения человеческого бытия, выступает против насилия, морального падения, разложения человеческой личности, Леонардо Шашу, по словам журнала «Эспрессо», можно «считать писателем-гражданином».

КАНАДА

ЮБИЛЕЙ МОРЛИ КАЛЛАГАНА

В нынешнем году исполнилось 80 лет известному англо-канадскому писателю Морли Каллагану, с чьим творчеством связано становление современной канадской прозы. Литературно-критический ежемесячник «Букс ин Кенэда» тепло поздравил М. Каллагана.

Еще в начале 20-х годов, когда молодой студент колледжа в Торонто М. Каллаган подрабатывал в газете «Торонто стар», он подружился с ее американским корреспондентом Эрнестом Хемингуэем. Последовав примеру своего друга, М. Каллаган обосновался в Париже. Там состоялось его знакомство с Фицджеральдом, Дос Пассосом, Гертрудой Стайн, другими американскими «изгнанниками». Тогда же он делает и первые пробы пера — и не безуспешно. Его первые рассказы были высоко оценены Фицджеральдом и Хемингуэем. В 1928 году вышел первый роман М. Каллагана — «Странный беглец», вслед за которым в 30-е годы появились еще четыре романа, посвященные волновавшей его проблеме «канадской трагедии». Герои ранних романов М. Каллагана — отверженные буржуазного общества, толкающего их на путь преступления. Так, анализируя причины, заставившие главного героя романа «Странный беглец» стать убийцей, писатель показывает трагедию этого человека, оказавшегося жертвой рокового стечения обстоятельств, противостоять которым он не в силах. Наиболее убедительное воплощение тема «канадской трагедии» получила в одном из лучших романов писателя «Радость на небесах» (1937, рус. пер.: М., «Радуга», 1982), где выпущенный на поруки преступник становится как бы «убийцей поневоле»...

После очень плодотворных в творческом отношении 30-х годов в прозе М. Каллагана наступил некоторый спад, хотя среди книг, написанных им в 40—50-е годы, были и удачные, отмеченные незаурядным талантом — таковы, например, трогательная детская повесть «Клятва Люка Болдуина» (1948, рус. пер.: М., «Детская литература», 1981) и социально-психологический роман «Любимая и потерянная» (1951, рус. пер.: М., «Прогресс», 1972). В 70-е годы М. Каллаган словно пережил второе рождение. Заметным событием в литературной жизни Канады стали такие его романы, как «Тихий уголок» (1975, рус. пер.: М., «Радуга», 1982) и «И снова к солнцу» (1978, рус. пер.: М., «Радуга», 1982), получившие признание у многих читателей далеко за пределами страны.

В беседе с корреспондентом журнала «Букс ин Кенэда» М. Каллаган не без гордости говорил о том, что его книги сегодня читают не только в странах английского языка, но и в Болгарии, Румынии, Швеции. Писатель особо отметил тот факт, что все его лучшие романы и рассказы изданы в Советском Союзе тиражами в десятки тысяч экземпляров.

КНР

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В Китайской Народной Республике широко отмечалось 60-летие литературной и педагогической деятельности профессора Цао Цзинхуа (род. в 1897 г.). Имя этого выдающегося литературоведа, переводчика и популяризатора русской и советской книги в Китае хорошо известно в нашей стране. Цао Цзинхуа — друг и соратник великого Лу Синя, основоположника современной реалистической литературы Китая. Он много сил и таланта отдал делу распространения русской классической и советской литературы у себя на родине. Ему принадлежат переводы ряда произведений советских писателей: А. Серафимовича «Железный поток», А. Толстого «Хлеб», К. Фе-

дина «Города и годы» и многих других.

Известна переписка Цао Цзинхуа с авторами, книги которых он переводил на китайский язык. Вот строки письма А. Толстого от августа 1941 года:

«Дорогой и глубокоуважаемый Цао Цзинхуа!

От имени писателей Советского Союза горячо благодарю Вас за выражение сочувствия народам СССР в нашей борьбе с фашистскими армиями Гитлера. Не только обороняя свободу и независимость нашей родины, ведем мы эту борьбу, но ради освобождения человечества от калечащего умы фашизма. Мы непоколебимы в нашей воле разгромить и уничтожить врага... Мы счастливы тем, что Вы, дорогие друзья, китайские писатели, солидарны с нами. Близится час, близится день, когда мы будем навсегда освобождены от агрессии кровавого фашизма».

Сердечное письмо А. Серафимовича помечено августом сорок пятого года — вслед за победой над немецким фашизмом пришла весть и о победе над японским милитаризмом:

«Очень рад был получить от Вас письмо, глубокоуважаемый товарищ Цао... В эти дни известие, что хребет кровавому японскому зверю сломлен, особенно радостно: народ — гигант, труженик,— народ наконец может отдаться мирному труду, отдаться творчеству, которое он проявил во всю свою вековую историческую жизнь. Поздравляю Вас и весь китайский народ трудовой с чудесной победой над бессердечным и захлебнувшимся в крови и слезах зверем...

Меня особенно порадовало, что Вы чувствуете себя хорошо и литературно работаете. Ничто так не сближает народы, как их литература. Всякий, кто взаимно сближает народные массы, делает огромное негаснущее дело».

В течение многих лет продолжалась переписка между Цао Цзинхуа и Константином Фединым. Первое письмо К. Федина помечено августом сорок пятого года, последнее — пятьдесят четвертым годом. В письме от января 1948 года содержатся следующие строки:

«Сердечно благодарю Вас за только что полученное мною от Вас китайское издание «Городов и годов» в Вашем переводе и поздравляю Вас с выходом в свет этой книги. Выпуск ее стоил Вам больших усилий, которые теперь вознаграждены».

В письме от января 1950 года К. Федин сообщает Цао Цзинхуа о том, что посылает ему только что напечатанный в «Литературной газете» обзор «Советская литература в Китае», где «несколько раз упоминается Ваше имя и отмечена выдающаяся роль Вашего труда как пропагандиста русской советской литературы среди читателей нового Народного Китая».

КУБА

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА

26 декабря 1984 года исполняется 80 лет со дня рождения Алехо Карпентьера, знаменитого кубинского писателя. Газета «Гранма» пишет, что Культурный центр его имени наметил широкую программу празднования знаменательной даты (см. «ИЛ», 1983, № 4). Кроме того, создан международный комитет, который будет координировать мероприятия различных организаций в других странах. В него входят представители Венесуэлы, Франции, СССР, ГДР, США, Пуэрто-Рико, Колумбии и Перу. В марте будущего года в Париже, в Сорбонне, состоится международный семинар, в июне творчество Алехо Карпентьера будет обсуждаться в Берлине, а в ноябре в Венесуэле состоится международный симпозиум.

В сентябре 1983 года Культурный центр имени Алехо Карпентьера в третий раз проводил «карпентьеровские чтения», приурочив их к 30-летию со дня выхода романа «Потерянные следы». Тема чтения — «Роль книги «Потерянные следы» в развитии латиноамериканского романа».

На открытии выступил выдающийся кубинский литературовед доктор Хосе Антонио Портуондо, директор Института литературы и языкознания Академии наук Кубы. На чтениях присутствовали гости из других стран Латинской Америки. Особый интерес вызвал доклад известного кубинского музыковеда Иларио Гонсалеса, который в 1948 году вместе с писателем странствовал в верховьях Ориноко. Это путешествие было отражено в романе «Потерянные следы».

Выступления участников чтений ярко осветили значение творчества Алехо Карпентьера в становлении современного латиноамериканского романа, пользующегося особой популярностью в мире.

РУМЫНИЯ

СОЮЗУ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 75 ЛЕТ

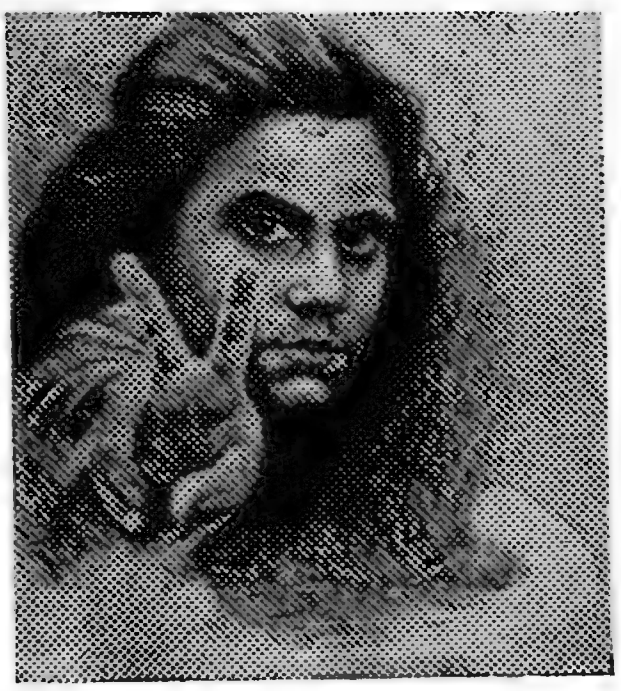
В 1983 году исполнилось 75 лет со дня основания Союза румынских писателей — первого профессионального писательского объединения в Румынии, одного из первых в Европе. У колыбели писательского союза стояли такие выдающиеся художники слова, как М. Садовяну, Л. Ребряну. Это положило начало единению писательских сил Румынии в борьбе за право на творчество и приемлемые условия работы.

В Бухаресте состоялось торжественное заседание, посвященное этой знаменательной дате, на котором выступил Председатель Союза румынских писателей Д. Р. Попеску. В докладе, явившемся своеобразным экскурсом в историю писательского движения в Румынии, говорилось о большом вкладе мастеров пера в решение важных проблем в жизни страны на разных этапах ее развития, особенно в социалистический период.

И в выступлениях участников заседания, и в заключительном его документе определены задачи писательской организации Румынии: активное участие в социалистическом строительстве, создание высокохудожественных произведений, дающих объективную картину как исторического развития страны, так и современной действительности.

На снимке: плакат Орландо Янеса, посвященный борьбе народа Палестины за свои права.

(Журнал «Революсьон и культура»)



ФРАНЦИЯ

«ШЕРЕЗАДА» ЛЕЙЛЫ СЕББАР

Несмотря на свое название, роман Лейлы Себбар (издательство «Сток») не имеет отношения к «Тысяче и одной ночи». «Шерезада» повествует о судьбах французской молодежи, выходцев из семей рабочих-эмигрантов, которые не находят себе места в современном обществе и в поисках выхода примыкают к анархистам.

Среди них — Пьеро, занимающийся изготовлением бомб и взрывных устройств для группы политических экстремистов. Вместе со своим товарищем Базилем, называющим себя «борцом за гваделупскую революцию», Пьеро проводит вече-

Один из последних номеров «Магазин литтерэр» (обложку этого журнала вы видите на снимке) посвящен Натали Саррот и приурочен к выходу в издательстве «Галлимар» нового произведения старейшей французской писательницы «Детство» (см. «ИЛ», 1983, № 11). «В восемьдесят три года,— пишет «Магазин литтерэр»,— автор «Эры подозрения» и «Золотых плодов» обращается к не совсем привычному для себя жанру — жанру автобиографии».

ра в спорах о музыке и политике, совершая налеты на шикарные рестораны.

Среди группы отчаявшихся «скваттеров», занимающих отданное на слом здание, оказывается героиня книги. Семнадцатилетняя Шерезада, полуфранцуженка-полуалжирка, едва понимает арабский язык, которому ее когда-то в детстве обучал дед. Девушка страстно увлекается магрибской литературой, в которой она ищет культурные истоки своего народа. Шерезада мечтает вернуться на родину.

Критик «Кензен литтерэр» пишет, что Лейла Себбар с глубокой нежностью относится к своим героям. «Дети эмигрантов разрываются между двумя мирами: свою родину они не помнят, а в принявшей их стране чувствуют себя лишними. Игра в террористы для героев писательницы — лишь форма бунта в обществе, где для революционеров, которыми были когда-то их предки, не осталось места».

ЮАР

КИНОПОРТРЕТ ЮЖНОЙ АФРИКИ

«Портретом Южной Африки» называет американская «Интернэшнл геральд трибюн» серию из шести фильмов, снятую для учебных программ западногерманского телевидения по рассказам известной южноафриканской писательницы Надин Гордимер. Все эти картины затрагивают проблему расизма в ЮАР, что, как подчеркивает рецензент, отражает существо политических противоречий в стране. Фильмы рассказывают о жизни белых и черных граждан ЮАР, жителей города и деревни.

Надин Гордимер поставила условие, чтобы режиссерами и сценаристами телефильмов были деятели культуры ЮАР, выбранные самой Надин Гордимер. Второе условие запрещало любые сокращения при показе по телевидению других стран. Эти фильмы, как пишет газета, «являются достоверными и убедительными экранизациями рассказов Гордимер — с присущими ей четкостью интонации и пониманием сложности проблем, лежащих в основе жизни страны». Сама писательница была одной из первых, кто признал неравноценность художественных достоинств фильмов. Однако в целом, как пишет газета, эта мозаика «складывается в картину, которой нет равных по силе изображения жизни Южной Африки в современном кино».

Пять из шести фильмов были сняты в самой стране и допущены к ограниченному показу на национальных фестивалях. Причем для каждого фестиваля необходимо новое разрешение цензуры. Один из фильмов был сразу же запрещен для показа в течение двух лет.

Фильм «Устная история», вызывающий аллюзии с событиями в Родезии, Намибии и расовыми конфликтами в самой ЮАР, снимался в Кении с участием актеров театра, возглавляемого известным писателем Нгуги Ва Тхионго. «Этот фильм, — сказала Надин Гордимер, — безусловно нельзя было снять в ЮАР. Нас остановили бы через пять минут».

Авторы этого номера

НИКОЛАС ПЕРЕС ДЕЛЬГАДО — NICOLÁS PÉRES DELGADO (род. в 1941 г.)

Кубинский писатель. Участвовал в возглавляемом Фиделем Кастро Движении 26 июля против диктатуры Батисты. После победы революции работает в печати.
Рассказ «Они спустились с гор» взят из сборника «Те времена» («Aquellos tiempos». La Habana, UNEAC, 1977), отмеченном премией Союза писателей и деятелей культуры Кубы — УНЭАК.

ЛУИС РОХЕЛИО НОГЕРАС — LUIS ROGELIO NOGUERAS (род. в 1945 г.)

Кубинский писатель — прозаик, поэт, киносценарист. Лауреат многих литературных премий Кубы. Автор поэтических сборников «Морковная голова» («Cabeza de zanahoria», 1967), «Пятнадцать тысяч жизней путника» («Las quince mil vidas del caminante», 1977), «Подражание жизни» («Imitatación de la vida», 1981) и др., романов «Четвертый круг» («El cuarto círculo», 1976, написан в соавторстве с Г. Родригесом Риверой), «И если умру завтра...» («Y si muerto mañana...», 1977). Эти романы переведены на русский язык.
Рассказ «Цветок для Мауры» вошел в сборник «Рассказы о любви» («Cuentos de amor». La Habana, Letras cubanas, 1981).

МАНУЭЛЬ КОФИНЬО — MANUEL COFIÑO (род. в 1936 г.)

Кубинский писатель. Ему принадлежат сборники рассказов «Время перемен» («Tiempo de cambio», 1969), «И солнце однажды явится судье» («Y un dia el sol es jues», 1976), романов «Когда кровь похожа на огонь» («Cuando la sangre se parece al fuego», 1975), «Любовь в тени и под солнцем» («Amor a sombra y sol», 1981). Его роман «Последняя женщина и близкий бой» напечатан в «Иностранной литературе» (1973, № 1, 2).
Рассказ «Дания» взят из сборника «Проходя там, по этим улицам» («Andando por ahí por esas calles». La Habana, Letras cubanas, 1982).

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ (род. в 1922 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, Народный деятель культуры. Автор многих сборников стихов: «Лирика» (1967), «Мироздание» (1969), «Ответственность» («Отговорност», 1971), «Поздние признания» («Късни признания», 1974), «Канун осени» («Предесен», 1978) и др., книг для детей и юношества, пьес. Стихи и проза В. Голева печатались в «Иностранной литературе» и других советских изданиях.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Похититель мгновений» («Крадец на мигове». София, Народна младеж, 1981).

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ (род. в 1903 г.)

Болгарский поэт, дважды лауреат Димитровской премии, Народный деятель культуры. Его перу принадлежит множество поэтических сборников; стихи Х. Радевского переводились на иностранные языки. На русском изданы сборники «Басни» (1954), «Стихотворения и басни» (1957), стихи печатались в «Иностранной литературе» и других советских изданиях.
Предлагаемые стихи напечатаны в книге «Христо Радевски. Избрани стихотворения. Лирика», София, «Български писател», 1979 и в журнале «Септември» (1983, № 8).

ИВАН МИЛЧЕВ (род. в 1910 г.)

Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии. Автор многих поэтических книг, в том числе «Открыть себя» («Да се откриеш», 1968), «С десятого этажа» («От десетия етаж», 1973), «Неуловимое» («Неуловимото», 1976).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Большая любовь» («Великата обич». София, Военно издателство, 1979) и «Избранная лирика» (София, «Български писател», 1980).

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА

Болгарская поэтесса. Автор нескольких поэтических сборников, среди них — «Утром у реки» («Сутрин край реката», 1972), «Из пекла твоего иду» («От жарта ти ида», 1978), «Товарищи звезд» («Другари на звездите», 1980). П. Йордановой принадлежат также сборники сказок и стихотворений для детей.
Стихи «Комната» и «Дом» взяты из сборника «Слезы и огонь» («Сълзи от огъня», София, «Български писател», 1981).

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ — BERNARD CLAVEL (род. в 1923 г.)

Французский писатель, член Академии Гонкуров. В годы войны был участником движения Сопротивления. Советские читатели знакомы с творчеством Б. Клавеля по переведенным на русский язык романам «В чужом доме», «Тот, кто хотел увидеть море», «Сердца живых», «Плоды зимы» («ИЛ», 1970, № 5, 6), «Пора волков», «Испанец» («ИЛ», 1980, № 6, 7). За роман «Плоды зимы» Б. Клавелю была присуждена Гонкуровская премия, одновременно творчество его удостоено Большой премии города Парижа.
Мы публикуем новую повесть Клавеля «Человек с Лабрадора» («L'homme du Labrador». Paris, Balland, 1982).

ЕРОФЕЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА

Советская переводчица с французского. В «Иностранной литературе» в ее переводе напечатаны: «Реквием по монахине» Фолкнера — Камю (1970, № 9), повесть Адели Фернандес «Ранний плод — горький плод» (1974, № 3), пьеса Марка-Жильбера Саважона «Чао!» (1972, № 10), романы Б. Клавеля «Испанец» (1980, № 6, 7), Р. В. Пия «Обличитель» (1978, № 11, 12).

СТИВЕН КИНГ — STEPHEN KING (род. в 1947 г.)

Американский писатель. Автор сборников рассказов «Ночная смена» («Night Shift», 1977), «Разные времена» («Different Seasons», 1982), романов «Кэрри» («Carrie», 1974), «Светящийся» («The Shining», 1977), «Позиция» («The Stand», 1978), «Несущая огонь» («Firestarter», 1980), «Куджо» («Cujo», 1983), «Кристина» («Christine», 1983) и др.

О творчестве Ст. Кинга — в предисловии А. Зверева «Второе зрение».

Роман «Мертвая зона» вышел в Нью-Йорке в 1979 г. («The Dead Zone». New York, New American Library, 1979). Публикуется в журнальном варианте.

ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1931 г.)

Советский журналист, публицист, переводчик с английского. Автор книг «Встреча с Британией», «Их мораль», «Лицо и изнанка буржуазной демократии» и др.

ТАСК СЕРГЕЙ ЭМИЛЬЕВИЧ (род. в 1952 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах с английского публиковались стихи Дж. Китса, Т. Мура, У. Б. Йитса, У. Уитмена, Г. Лонгфелло, Э. Лира, рассказы Дж. Сэлинджера, К. Воннегута, Р. Брауттигана и др.

ЛЕОН ДЕ ГРЕЙФФ — LEON DE GREIFF (1895—1975)

Колумбийский поэт. Автор сборников стихов «Поэтические выкрутасы» («Tergiversaciones», 1925), «Книга знаков» («Libro de signos», 1930), «Вариации вокруг ничего» («Variaciones alrededor de nada», 1936), «Груда хлама» («Farrago», 1954) и др. Публикуемые стихи взяты из полного собрания сочинений поэта (Leon de Creiff. «Obras completas». Medellin, Colombia, Aguirre Editor, 1960.)

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.)

Советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (М., 1980), переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды и других испанских и латиноамериканских поэтов.

ОГНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский литературный критик, переводчик с испанского и португальского. Автор ряда статей о современной прозе писателей стран Латинской Америки и Португалии.

ЖОРЖ СИМЕНОН — GEORGES SIMENON (род. в 1903 г.)

Французский писатель. Начал печататься в 1919 г. Произведения Ж. Сименона многократно переводились на русский и другие языки народов СССР. В «Иностранной литературе» напечатаны его повести «Бедняков не убивают» (1964, № 8), «Поезд из Венеции» (1967, № 8), «Тюрьма» (1968, № 8), отрывки из дневниковых записей «Когда я был старым» (1973, № 5).

В последние годы писателем создан 21-томный цикл «Я диктую». В издательстве «Прогресс» готовится к печати однотомник, составленный из фрагментов этого цикла. В первых двух номерах мы печатаем отрывки из однотомника. («Mes Dictées». Paris, Presses de la Sité, 1972—1983).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИЩ[illegible]-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. С. [illegible]ИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПА[illegible]ВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. [illegible] ФЕДОРОВ** (отв[illegible]тарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. [illegible]ЯОХОВ, Л. З. [illegible]ИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** [illegible] редакт[illegible] **Н. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая, [illegible] телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных [illegible] в СССР»
Москва, Пушкинская пл.,

Журнал выходит один раз в [illegible]

Сдано в набор 4.11.83. Подписано в печать 13.12.83. [illegible] 108¹/₁₆
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., [illegible] 25,[illegible]

Тираж 377 000 экз. (2-й завод: 127 001—3[illegible] экз.) Зак. [illegible]

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радяньска Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект 94.

ЛУИС МАРТИНЕС ПЕДРО «Электрина»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394